



— Умный человек думает, дурак говорит глупости, — уже глядя мимо Чагина, ледяным голосом произнёс Салтыков.

— Даю вам два дня.

— Да кто ты такой! Да я тебя в порошок сотру! Видал я таких в гробу!

— Что поделаешь, воскрес! — стараясь говорить спокойно, ответил Чагин. Он уже понял, что разговора не получится. Отвечать криком на крик — значит встать с ним на одну доску. И откашлявшись, стараясь не сорваться на предложенный ему тон, Сергей голосом актёра, выступающего на сцене, произнёс:

— Вот что, уважаемый Юрий Ильич. Вы только что сами напомнили, что не стало ныне от напёрсточников житья. Я с вами согласен. Они по произволу своему чинят умыслы, и законы, что всем едины, обращают в двоякие: народу — послушание, господам — на усмотрение. У вас ныне корысть и алчность законом называются, а некоторые этим ещё и похваляются. Я вам даю вольную.

Чагин перевел дух. Салтыков остановившимися, пустыми глазами уставился на него, не ожидая, что Сергей перейдёт на такой непривычный по нынешним временам слог. На секунду Чагину показалось, что перед ним не человек, а застывший в железе тевтон, который непостижимым образом натянул на себя доспехи...

Читайте в ближайших номерах журнала повесть нашего постоянного автора Валерия Хайрюзова “Земляки”.

НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№ 8 2020

100 лет со дня кончины А. А. Шахматова



Шахматов Алексей Александрович — выдающийся филолог, языковед, историк русского летописания, исследователь современного русского языка и его истории. Он заложил основы текстологического изучения русских летописей, разработал научную гипотезу возникновения русского летописания, которую развил в своих капитальных исследованиях “Разыскания о древнейших русских летописных сводах” и “Повесть временных лет”, а также проследил историю развития русского летописания с XI по XVI в. Занимался изучением проблем образования русской народности, славянского этногенеза, внес большой вклад в изучение русского языка, сравнительного языкознания и диалектологии.

НА СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА ИВАНИЦКОГО



Олимпийское золото Токио 1962. Четырежды чемпион мира с 1962 по 1966 годы. Не проиграл ни одной схватки иностранцам. Дважды чемпион СССР в 1964 и 1965. Вот что такое Иваницкий!

Это в статистике. А в наших нетленных воспоминаниях Александр Владимирович останется высоким и могучим богатырём, при этом добрым и нежным другом, вежливым и внимательным собеседником, с которым так приятно разделить застолье! Удивительно красивый во всех отношениях человек, чрезвычайно образованный и умный.

После окончания спортивной карьеры, с тридцати лет отвечал за детские соревнования “Золотая шайба” и “Кожаный мяч”. С 1973 года он — главный редактор главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР, отвечавшей за освещение событий Московской Олимпиады 1980 года.

Большой интеллектуал, Иваницкий с молодости увлекался писательством и журналистикой, он — автор нескольких книг. А последнюю свою книгу “Ломаные уши” Александр Владимирович принёс для публикации в “Наш современник”, поскольку являлся давним читателем и поклонником журнала, личным другом главного редактора. В этом году книга воспоминаний “Ломаные уши” вышла отдельным изданием. Успел...

Трудно поверить, что выдающийся человек, в свои 82 года оставшийся настоящим богатырём, ушёл из жизни.

Всегда будем помнить тебя, наш дорогой Александр Владимирович, покуда сами живы!



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Проза

- Александра ЯКОВЛЕВА
Игра в оленей. Рассказ 6
- Андрей АНТИПИН
Живые листья.
Из книги миниатюр 22
- Ирина МИХАЙЛОВА
Воздушная тревога. Повесть 43
- Ольга ЗЮКИНА
Такие разные люди. Рассказы 82
- Андрей ТИМОФЕЕВ
Последняя страница. Рассказ 100
- Юрий ЛУНИН
Дневная луна. Рассказ 107
- Ирина ИВАСЬКОВА
Куриная слепота. Рассказ 120
- Максим ВАСЮНОВ
Фотография. Рассказ 137
- Дмитрий КУТУЗОВ
Спасение виновного. Рассказ..... 146
- Ксения ДВОРЕЦКАЯ
Южный берег. Рассказ 157
- Валерия ШИМАКОВСКАЯ
Больничные рассказы..... 168

Поэзия

- Кристина КАРМАЛИТА
Письмо на стекле..... 3
- Дмитрий ХАНИН
Дождь в дорогу, верится, к удаче 19
- Наталья ИВАНОВА
Перелётные рейсы..... 41
- Владимир ХОХЛОВ
Тысяча лет октября..... 79
- Константин ШАКАРЯН
И путей отступления нет... 96
- Марина ВОЛКОВА
Душа закону высшему верна... 104
- Дарья ИВАНОВА
Письма к Богу 118
- Наталья ШУХНО
Пройти по улочкам зелёным..... 134
- Юлия БЕЛОУС
Стихи на билете 144

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
*первый заместитель
главного редактора* —
(495) 625-01-81

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора,
зав. отделом критики* —
(495) 625-02-81
ns-kritika@yandex.ru

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

Я. В. Сафронова —
*редактор отдела
критики* —
(495) 621-48-71

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Софья ВАХНИНА
Жизнь измеряется рассветами.... 154

Андрей КОЗЫРЕВ
Работать, верить, жить..... 164

Поэтическая мозаика 175

Марина ШАМСУТДИНОВА
Космический причал 180

Очерк и публицистика

Станислав КУНЯЕВ
“К предательству таинственная
страсть...” 182

Дмитрий ФИЛИППОВ
Таня Савичева.
Девять страниц 203

Андрей КАЛАШНИКОВ
Солдаты свободного Отечества.... 217

Елена ТУЛУШЕВА
Весна. Карантин 227

Сергей ШАРГУНОВ
Стоны страны.
Депутатский дневник 229

Алексей КАПИТОНЕНКОВ
Правда против стереотипов 237

Память

Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожинов 246

Критика

Сергей ПЕТУНИН
“Синдром Водолазкина”:
почему филологи пишут
плохие романы?..... 263

Максим ЕРШОВ
“Надежды”
девятнадцатого года 281

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 04.08.2020. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №2337-2020. Тираж 3800 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

КРИСТИНА КАРМАЛИТА



ПИСЬМО НА СТЕКЛЕ

* * *

Александрю Денисенко

И вино, говорят, не вино, а один порошок —
всё в России не так, даже птицы летят как-то худо.
Новогоднюю ель окружают советские блюда,
и скрипит за окном неприветливый русский снежок.

Я сказала: не будет меня до конца января.
Мне ответили: “Ах, вы, конечно, ту-ту за границу?”
А я враз обернулась обычной серой птицей
И — ту-ту — усвистала в родные леса и поля.

Ледяную страну свою домом навеки избрав,
я со снегом кружилась, ныряла в густые сугробы
и — как будто бы заново из материнской утробы —
выплывала нагая, не зная ни зла, ни добра.

Укачала меня в колыбели таёжной метель,
и руками белёсыми русский обветренный холод
обучал вечерами уколами хвойных иголок,
как согреть и украсить застывшую в сердце постель.

КАРМАЛИТА Кристина Евгеньевна родилась в Новосибирске в 1984 году. Окончила факультет психологии НГПУ. Работает фотографом. Публиковалась в журналах “Наш современник”, “Сибирские огни”, “После 12” и других. Автор сборника стихов “Сны стеклодува” (2013) и сборника пьес “Голоса” (2014). Член Союза писателей России. Живёт в Новосибирске.

И когда изловчилась я вьюгой лицо защищать
и ходить по зазубренным льдинам, как будто по шёлку,
в темноглазом лесу новогодняя старая ёлка
научила меня белоснежные песни слагать.

До конца января я вернулась, стихами полна,
и запела у серых домов снегирём красногрудым.
“Всё в России не так, даже птица поёт как-то худо”, —
дорогой и знакомый послышался вздох из окна.

* * *

Ещё немного атаракса
мне на дорожку положи.
Темнеет на бумаге клякса,
и эта клякса — моя жизнь, —
её мне тоже положи.

Какая есть — другой не будет,
но “повторится всё, как встарь”:
и мама в семь утра разбудит,
и во дворе моргнёт фонарь,
и “ну, аптекарь, отоварь!” —

А может, и того не будет.
Но завершится всё, что есть:
слепая вереница будней,
светящая Благая Весть
и эта бросовая песнь.

Всё заверни, сложи в котомку,
перекрести на дальний путь
дешёвой выцветшей иконкой,
её мне тоже не забудь —
фонариком повесь на грудь.

* * *

Дмитрию Рябову

Я напишу тебе стишок
о том, как — раз, два, три —
прекрасен утренний снежок
и яркие фонари,

о том, как хорошо вставать
под музыку рассвета,
о том, как — три, четыре, пять —
я ненавижу это.

* * *

Какая жизнь пошла тяжёлая,
какая злая суета...
Огромным городом изжёвана,
приду домой — слаба, пуста.

Улягусь в ванну разусталая —
плывут над ванной облака.
Вот облако одно растаяло,
и светят звёзды с потолка.

* * *

Вот и ты забываешься —
как письмо на стекле,
под дождём расплываешься,
оседаешь во мгле.

Вот и всё забывается
и, накрыто водой,
только Богом является
в тишине голубой.

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА



ИГРА В ОЛЕНЕЙ

РАССКАЗ

Ранним летним утром стойбище оглашается треском оленьих копыт: это стадо идёт с ночного выпаса. Авкают телята, путаясь в ногах у своих матерей, храпят молодые рогачи, залившимся лаем подгоняет их лайка Изок.

Маленький Ноляко, выбравшись из чума, встречает стадо: “Ты то! Ты то!” Это значит “идут олени”. Это значит и “доброе утро”. Всякое утро в тундре доброе, если олени вернулись на стойбище.

Вслед за стадом идёт и Сойти. Ему девятнадцать. Для тундры — взрослый мужчина, хоть с виду почти мальчишка. Ноляко подбегает, ввинчивает лобастую голову ему в живот.

— Поиграем в оленей?

— Лучше сестру позови. — Сойти рассеянно треплет младшего брата по светлым, как у матери, волосам. — Я спать.

— А когда папа вернётся, поиграешь?

— Обязательно.

Отец уехал в посёлок семь дней назад, и семь ночей рядом Сойти провёл в тундре на выпасе. Пока отец в отлучке, сменщика ему нет. В последние годы волки слишком уж расплодились и осмелели — Сойти охранял стадо, не смыкая глаз. Иногда проваливался в забытьё, но тут же пробуждался и таранился по сторонам в поисках врагов. За эти дни Сойти очень устал.

ЯКОВЛЕВА Александра Геннадьевна родилась в 1990 году в г. Омске. Окончила Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности “филология”. Среди предков — остяки (коренной народ Сибири), что нашло отражение в ее творчестве. Автор книги рассказов “Вот она я” (диплом “За лучший литературный дебют” Германского Международного литературного конкурса). Лауреат молодежной литературной премии им. Ф. М. Достоевского, премии “Русский Гофман”, премии “В поисках правды и справедливости”.

Майма встречает старшего брата у чума. Взгляд серьёзный, даже грозный.
— Слово есть, — разговор начинает по-взрослому, но Сойти обрывает:
— Нет, сестра. Что бы ни сказала — не слышу.
— Слышишь! — упрямится. — Следующую ночь я пойду.
— Выдумала.
— Я разве слепая? Совсем подурнел, под глазами черно...
— Про мою красоту не думай, — смеётся Сойти, — думай про свою.

Если подурнеешь ты, бабушка нас обоих съест.

Майма дует алую губку, а Сойти лобуется ею. Сестра у него красавица: круглолицая, темноглазая, кожа — как молоко, а ярится — щёки вспыхивают спелыми ягодами. Такая в тундре стоит всего отцовского стада, и даже больше. Строптивая только, что дикий олень. Вот и теперь: хочет бить-ся, хочет возражать.

Маленький Ноляко вдруг хватается её за руку, тянет:

— Майма-Майма, поиграем в оленей?

И Сойти сбегает от Маймы под полог родного чума.

В чуме тепло, пахнет шкурами, свежим чаем и молоком. На огне доходит завтрак.

У очага сидит мать. Имя её — Ксения — в семье почти забыто. Светлая славянская голова расчёсана на пробор, волосы заплетены по-северному. Мать следит за пламенем, то и дело подбрасывает валежник. Работа мужчины — заботиться об оленях, её работа — заботиться об очаге. Огонь горит ровно, весело. Дымок тянется вверх, вылетает змеем в круглое окошко и устремляется вдаль, в бескрайнюю тундру, к облачному горизонту.

Снаружи шум: маленький Ноляко и Майма спорят, кто первый будет охотником. Простая игра в оленей в тундре необходима. Растут дети — вместе с ними растёт и забава, становится уже заботой. Ещё совсем недавно Сойти тоже всего лишь играл. Теперь он входит в чум, уставший с ночи. На полудетском лице его тень, будто сам Хасавако проступает сквозь сыновние черты. Взглянув на сына, Ксения вздрагивает.

— Доброе утро, — говорит она. — Чаю попьёшь?

Сойти качает головой:

— Давай сперва стадо соберём.

*

Майма бежит вприпрыжку, топорщит над головой раскрытые ладони, будто рожки:

— Я олень! Олень!

Майме пятнадцать. Она подпрыгивает так высоко, что рожки её вот-вот уткнутся в белые пузатые облака. Ноляко — “охотник”, и аркан в его руках, хоть маленький, вполне настоящий.

— Лови меня! — зовёт Майма.

Ноляко пытается повторять броски за старшим братом Сойти, но руки и ноги у него слишком короткие, несуразные. А голова, наоборот, огромная. Ноляко то и дело падает, запутавшись в ногах, противный аркан летит, куда попало.

— Лови меня!

Майма увёртывается, словно прыткий двухлетка. Поддавков от сестры Ноляко не ждёт: разве настоящие олени поддаются Сойти?

— Лови, Головастик!

И Ноляко, наконец, ловит. Прочная верёвка цепляет сестру за ногу — Майма падает, брыкаясь для смеху сильнее, чем нужно. Ноляко в полном восторге.

— Покорись! Покорись! — восклицает он, подражая старшим, и хлопает Майму по спине палочкой: так положено усмирять норовистых оленей. Майма дёргает спутанной ногой, бякает, как настоящий рогач. Вместе они хохочут, совершенно счастливые.

— Теперь меняемся, — Ноляко протягивает Майме аркан, но тут из своего вдовьего чума выходит бабушка. Она смотрит на Майму, всю в грязи, и начинается:

— Взрослая девка, вот-вот замуж, а всё игры ей, всё игры... Ну, поднимайся, чего разлеглась? Загонять надо.

Майма встаёт, отряхивает колени. Даёт старухе опереться на свой локоть и медленно ступает вместе с нею.

— Я тоже помогу! — восклицает Ноляко.

На неуклюжих своих ногах он устремляется к стаду. Аркан волочится за ним, как хвостик.

— Уж ты можешь, — ворчит бабушка себе под нос, медленно переставляя ноги. — Помогальщик...

— Ба, — просит Майма. — Ему же восемь. И он сильный. Самое время помогать.

Впереди Ноляко спотыкается, растягивается на брюхе, но быстро встаёт, словно ничего и не случилось.

— Ну, ты погляди! А говорила я сыну: вот тебе невеста, лучшая в тундре, бери! Нет, приволок дурную кровь с большой земли. Она и родила урда... Тьфу! Изорвалась вся — тоже бесполезная стала. Наказание наше.

— Ну, Ба.

Маленький Ноляко, наконец, прибегает к коралю — загону для оленей. Кораль самый простой: сотня столбиков, вбитых в землю по кругу, вместо перекладин — длинная верёвка. Ксения уже открыла проход стаду, держит один из концов верёвки. Со вторым обычно помогают Майма и бабушка.

Ноляко обнимает мать, забирается ей под руки, бодает в ладони, в мягкий полный живот. Это он у телят научился. Он похож на неё, как две капли воды: те же светлые, почти белые волосы, тот же прямой тонкий нос и глаза, серые, как олений мех.

Ксения мягко отталкивает Ноляко:

— Иди, сынок, иди, а то затопчут.

Стадо волнуется. Среди оленей бегают Сойти с Изоком, ловят крупного сильного рогача. Если усмирить вожака, остальные тоже покорятся и спокойно пойдут в загон. Но Сойти устал, и вожак легко увёртывается от петли его аркана.

Майма делает шаг к стаду:

— Надо ему помочь.

Цепкие пальцы старухи сдавливают ей плечо.

— Стой, позорница! Стой и держи кораль, как подобает женщине.

Майма умоляюще смотрит на мать, но та в кои-то веки согласна с бабушкой:

— Он справится.

И Майме приходится стоять столбом вместе с мамой, бабушкой и сотней других столбов, деревянных, пока измученный Сойти занят своим мужским делом.

— Держи крепко, — наставляет бабушка. Майма стискивает верёвку изо всех сил.

Маленький Ноляко опять крутится рядом: без дела ему тягостно.

— Мама-мама-мама, — тараторит он. — Мама, можно и мне подержать?

— Нет, сынок, нельзя.

— Мама-мама-мама, — дёргает её Ноляко. — Почему Майме можно, а мне нельзя?

— Потому что она женщина, — отвечает мама. — Отойди.

— Женщина? — Ноляко изумлённо смотрит на Майму, будто впервые увидал. — Вот повезло!

Майма фыркает:

— И ничего не повезло. Это тебе повезло, что ты мужчина. Вырастешь — будешь ловить оленей за рога. А женщинам достаётся только самое скучное.

— Самое важное! — возражает старуха. — Без женщины оленя не поймаешь, чум не соберёшь, огня не сохранишь. Без женщины в тундре жизни

нет. Так-то. — Пожевав губами, добавляет: — Мать твоя — чужачка бес-толковая, и ты туда же...

Ксения дёргает плечом, будто её ударили, но молчит. Она наблюдает за старшим сыном. Тот не без труда хомутает, наконец, вожака: покорись! покорись! — садится верхом и въезжает на рогаче в загон. Следом идёт и стадо, Изок подгоняет отстающих.

Когда все олени собраны, женщины смыкают концы. Потом опускают верёвку к самой земле, как заведено, чтобы Сойти мог выйти из круга поверху. Но когда вновь поднимают, маленький Ноляко вдруг проскальзывает под верёвкой, на женский манер, — и со смехом убегает прочь.

— Что ты?! — восклицает Ксения.

— Беду! — воет старуха. — Беду накликать!

Майма бросается в погоню за непутёвым братцем:

— Головастик, вернись! Переступи, как положено!

А Ноляко удирает со всех ног от Маймы и хохочет. Он ещё знать не знает, зачем мальчикам ходить поверху, а девочкам — понизу, почему Сойти нельзя трогать женские вещи и самому ставить чум, а Майме — ловить оленей. Он раскрывает над своей большой белой головой ладонки и зовёт:

— Майма, гляди: я олень! Теперь ты — охотник! Лови меня, Майма, лови!

*

В тундре, куда ни правь оленей, дорога одна. Начало её совпадает с твоим рождением, а конец теряется где-то за горизонтом. Во все стороны тянется даль невыразимая, полная раздольного, дикого воздуха. Ковром изукрашенным стелется тундра до самого неба, а меж землёю и небом — одна пустота.

Крепкие нарты Хасавако идут легко, ветер подгоняет упряжку. Кучевые горы громоздятся совсем низко над головой. Кажется: протяни руку — и ухватишься за кромку облака, прибавь ходу — и достигнешь края земли.

Хасавако родился во время зимней перекочёвки, и лишь в пути он жив по-настоящему. Долго сидеть на одном месте — для Хасавако пытка. А ведь многие всю жизнь сидят сиднем, точно привязанные. Особенно в городах. Там-то все за землю держатся! Зарываются в самое чёрное нутро, громоздят дома-колонны, мостят улицы — и всё кружат, кружат на одном месте. И как же много людей, как тесно в городищах! Одни только стены, заборы, границы. Смотрят искоса налево, направо: что там у соседа? Всё поделено, порублено на куски, заперто на ключ, а ключ давно утерян.

Теперь вот на тундру зарятся. Впились в неё бурами, пускают чёрную кровь, выворачивают недра. Броде полно уж, да будто печёт их жадность голодная. А тундра — она ведь общая на всех людей и ничья притом. Так выступал на сходке старик Сэвси и тем разъярил он сердце Хасавако. Чёрные мысли теперь зудят в его голове. Чтобы сдуть их, как надоедливую мошку, Хасавако подгоняет оленей. Длинный упругий хорей так и ходит по их бокам.

Неделя в посёлке сжалась в один долгий смутный день, пёстрый от человеческих лиц и спиртного. В кои-то веки Хасавако говорил с людьми, а не с оленями. И как говорил! Даже язык припух с непривычки. Но дело улажено. На сходке Хасавако говорил с достойной семьёй Сэвси: тридцать справных важенок за Майму и прочего разного добра в придачу. Он уже подсчитывает, какова будет прибавка к стаду, если каждая важенка на будущее лето принесёт по телёнку, и довольно причмокивает. Ладом пойдёт — через пару-тройку лет можно и для Сойти подыскать достойную невесту.

Хасавако полупьян и доволен собой, в нартах весело позвякивает запас на несколько перекочёвок. Жаль только, пить придётся одному: жена от водки нос воротит.

Почти всю жизнь он знает её, девочку с большой земли. Знает с того давнего лета, когда девять чумов сообща встали на широкой реке. Хасавако и другие дети вернулись из поселковых школ-интернатов на каникулы в тундру,

и одна девочка привезла подружку-славянку, чтобы показать, как живёт её кочевая семья. За светлые волосы и кожу гостью быстро прозвали Няравэ Сэр — Белый Олень. Все хотели с нею дружить и охотно принимали в игры, даже в мальчишеские. Однажды они играли в оленей, Хасавако был одним из охотников, а Няравэ Сэр, конечно же, оленёнком. Он тогда не рассчитал, и верёвка сильно хлестнула её по лицу, кожа на щеке лопнула. Сколько лет прошло — до сих пор видно шрам.

Бывало, они убегали в тундру, подальше от стойбища, и там находили самую большую и красивую лужу. Вода в ней отливала синевой, искрилась на солнце. По её поверхности бегали насекомые на тонких, изящных лапках, а на дне, среди тёмной сонной травы, копошились всякие головастики. Осторожно, чтобы не спугнуть потаённую жизнь, они ложились на животы, свешивали головы и часами наблюдали за тем, как колышется трава, как снуют мальки, как охотятся серебристые водяные паучки. Одни играли в солнечных лучах, другие держались тёмного дна — у всех было своё место в этой луже и в этом мире. Девочка тихонько пела им песенки на своём смешном языке.

Когда Белому Оленю наскучивало наблюдать за лужей, она убегала и пряталась от Хасавако. Её макушка так и сверкала на солнце, но Хасавако притворялся, будто не видит, и звал на всю тундру: “Няравэ Сэр! Няравэ Сэр!” Так матери ищут детей в чуме, хотя отлично видят среди спальных шкур детские пятки.

Однажды Хасавако обознался и вместо белобрысой девчонки нашёл в зарослях настоящего белого оленёнка-сироту. То был знак, подарок тундры.

— Возьми его с собой, — предложил Хасавако, когда пришла пора прощаться.

Решение далось ему тяжело: оленёнок был чудо как хорош. Но Белый Олень только засмеялась:

— В город? Мама не обрадуется.

И Хасавако оставил оленёнка себе. Прошло много лет, потомки того найдёныша теперь пасутся в стаде Хасавако. Белая шерсть их радует людской взор, а кровь угодна богам. Что же Няравэ Сэр? Она вернулась в тундру и стала матерью троих его детей.

Впереди вдруг чудится крупный зверь, как будто олень. “Неужто мой?” — думает Хасавако. Он притормаживает, привычным движением вскидывает ружьё, смотрит в прицел. Похоже, его рогач: горбатая спина бежит среди травы.

Но вдруг олень дыбится, вырастает — и встаёт прямо, на задние ноги. По-человечьи. Рога выются над ним, будто корона, и утреннее солнце золотит их. Человек-олень смотрит в упор на Хасавако, потом взбрыкивает и заводит дикую пляску. Он кружит и кружит на одном месте, всё быстрее и быстрее — вот уже только вихрь один, белый с золотом...

Миг — и пропало всё, как не было.

Руки у Хасавако дрожат так, что не могут удержать ружьё, и он убирает его за спину. Спина взмокла под лёгкой летней малицей. Хасавако достаёт из-за пазухи початую бутылку, свинчивает крышку, делает два судорожных глотка прямо из горла. Осторожно подъезжает ближе к месту, где видел призрак. Ничего. Только трава примята, будто кто-то лежал в ней совсем недавно.

*

Сойти спит, зарывшись в шкуры. Олений мех мягко обнимает его, обволакивает, как вторая кожа. Ему снится привычный сон: будто он олень, молодой и быстрый. Тундра под его копытами красная, какая бывает только короткой осенью, но Сойти откуда-то знает, что это кровь с его отмирающих рогов. Сойти бежит, но, как часто бывает в таких снах, продвигается с трудом. Ноги его вязнут в какой-то чёрной жиже, что бьёт из-под земли. Вдруг он слышит далёкий перезвон колокольчиков. “Это отец!” — Сойти рвётся на звук, но только сильнее вязнет.

Кто-то трясёт его за плечо. Сойти рывком вскакивает, ещё ничего не понимая со сна.

— Сынок, — тихо зовёт мать. — Сынок, отец приехал.

Не разобрать, чего в её голосе больше: радости или тревоги.

Кто-то визжит с пологом чума, и мать спешно подкармливает огонь. Пламя с треском выбрасывает искры. Предупреждает. Сойти видит, как по лицу матери пробегает тень.

В чум вваливается Хасавако, на сына даже не глядит. Мать ставит перед ним стол с завтраком, заваривает крепкий чай. Всем своим нутром Сойти чувствует: отец в дурном настроении. Он смиренно ждёт, когда Хасавако заговорит с ним, но отец медленно жуёт кусок за куском, не предлагая сыну присоединиться к нему ни словом, ни жестом. Время мучительно тянется. Мать забила на своё женское место, у входа в чум, заняла руки штопкой, но, как только тарелка Хасавако пустеет, она уже тут как тут, наливает чаю.

— С дочерью улажено, — роняет Хасавако. — Пойди, скажи, чтоб готовилась.

Мать быстро выскальзывает из чума. Вслед ей смотрит только родильная кукла-помощница, что сидит на почётном месте, одетая в три ягушки, по числу выживших детей. Значит, скоро и у Маймы такая будет.

Хасавако делает шумный глоток, крикает, выплёскивает остатки чая. Достает из-под малицы уже початую бутылку, вновь наполняет пиалу.

— Плох оленевод, не знающий, что в стаде его делается, — говорит Хасавако и наконец-то смотрит на сына.

Язык у отца почти не заплетается, но вот мутные глаза так и бегают, выдают с головой. Липкий ужас опутывает Сойти. Он будто снова маленький мальчик, а отец — огромный, сильный, совершенно дикий. Непредсказуемый. Это как сидеть в одном чуме с волком или даже медведем.

— Ты считал моих оленей? — рычит Хасавако.

— Нет...

— Громче!

— Не считал! — голос Сойти срывается.

Всю неделю ему удавалось сохранять стадо в целости. Каждое утро в стойбище возвращались те же олени, что уходили накануне. Конечно, Сойти их не считал. Бабушка всегда наставляла: “Сочтёшь — и от волка спасу не будет. Настоящий оленевод всех в глаза знает”. Но отец гнёт своё:

— То-то и оно, что не считал. Так вот пойдя, пойдя! Проверь! Мой белый по тундре шарахается, а ты тут дрыхнешь! Сторож!..

Сойти перебрал в памяти стадо. Вот с чёрным пятном на лбу, вот с рыжиной в шерсти. Самый крупный, самый старейший... У того рог обломан, этот с шишкой... Всех белых важенков вспомнил, всех телят.

— Да на месте вроде... Я ж проверял.

Пиала, брошенная в Сойти, едва расходитесь с его головой, но брызги падают на лицо и одежду.

— Сам! Своими глазами видел! — орёт отец. Глаза его вот-вот вылезут из орбит. — Мой он, мой! Только у меня такие!

По чуму разливается запах алкоголя. Сойти терпеть его не может.

— Встал и пошёл искать! Моего оленя! Быстро, я сказал!

Сойти кое-как одевается и вываливается из чума под ругань Хасавако. Ксения занята у нарта, но, завидев Сойти, бросается к нему.

— Бил? Бил?!

— Я в порядке, мам, — Сойти отстраняет её руки. — Потерял одного, пойду искать.

— Ксения! — ревьёт из чума. — Где ты шляешься, падаль...

— Не надо, мам, не ходи, — просит Сойти, но мать, как всегда, идёт: “Иначе будет хуже”.

Быстрым шагом Сойти идёт, куда глаза глядят, бессильно стискивая в руках аркан и хорей — длинное копьё погонщика. Не сразу он замечает маленького Ноляко, что бежит ему навстречу.

— Ну как, выпался? — Ноляко заглядывает брату в лицо. — Я старался тихонько играть. А бабушка меня дымом обдымила, представляешь?

От злых духов! Это потому, что я беду накликал... А видел, папа приехал? Здорово же?

— Очень.

— Теперь он тоже будет сторожить оленей, и ты отдохнёшь. Здорово же?

— Ага.

— А куда ты идёшь?

— Искать оленя.

— Потерялся? Давай, я помогу?

— Нет, Головастик. Не ходи за мной.

— Ну, Сойти! Я хочу с тобой!

Ноляко повисает на локте у брата, но Сойти с такой силой отдёргивает руку, что младший падает, не удержавшись на своих ножках.

— Вставай, чего ты, — Сойти поднимает брата. Оглядывается на чум, из которого доносятся пьяные крики и как будто бы придушенный женский плач. — Ладно, пошли. Поиграем в оленей, я ж обещал.

— Ура! — маленький Ноляко подпрыгивает так высоко, как только может. — Давай, как олени, побежим? Будем бежать, бежать — и к самому краю земли убежим. Здорово же?

— Здорово, — соглашается Сойти.

*

Сойти поднимается с колен, опираясь на хорей. Оглядывается, щурясь на солнце. Сегодня хороший тёплый день, только на горизонте собираются облачные горы. Объединный ягель под его ногами говорит о том, что здесь и впрямь проходил одинокий олень. Верный Изок, увязавшийся за братьями, взял его след. В нетерпении он поскуливает и заглядывает Сойти в глаза: “Ну, ты идёшь?”

Маленький Ноляко треплет Изока за мохнатые уши, и на шерсти остаются красные следы от ягодного сока. У Ноляко уже все карманы набиты княженикой, для Маймы.

Летняя тундра цветёт, торопится жить. Мхи переползают с камня на камень, цветы поворачиваются за солнцем, травы стелются зелёным ковром. В тундре так: когда цветёт она, небо светлеет; когда светла от снега тундра — расцветает северным сиянием небо. Цвета кочуют между небом и землёй. Кочует солнце из мира живых в мир мёртвых. Вслед за ним кочуют на оленях и люди. Без оленя нет жизни человеку в тундре.

— Хороший мальчик, — Сойти тоже треплет Изока по ушам. — Давай, ищи.

Изок — большой охотничий пёс, но прыгучий, словно кузнечик. Потому так и называли: Изок. Выслеживая оленя, Изок то и дело возвращается к хозяевам, игриво скачет вокруг них, будто подгоняя, вновь убегает далеко вперёд.

— Слышишь? — Сойти вдруг замирает, напряжённый. Ноляко тоже прислушивается. Вдалеке радостно заливается Изок: нашёл. Они идут на звук и наконец видят оленя.

— Как тебя, окаянного, занесло?..

Порядочно проплутав, братья оказываются не так уж далеко от стойбища, только Сойти старается не водить сюда стадо. Здесь из-за промышленных разработок царствует обманчивая елань: с виду — добрая земля, а ступи — одна тошь зыбучая. В ней всё ещё борется олень, серый от болотной грязи. Ногами он ищет опору, но лишь крепче увязает в елани. Уже ушёл по самую грудь, и кровожадный гнус облепил его, не оставив живого места. Но олень ещё плачет, хрипло и бессильно.

— Надо ему помочь! — торопится Ноляко.

Рука Сойти останавливает его.

— Не лезь. Утонешь.

— А кто полезет? Ты, что ли?

— Надо позвать на помощь.

— Папу?

Сойти думает о том, в каком состоянии сейчас Хасавако, и стискивает зубы до боли. На кого ему надеяться? На холёную сестру? На слабую мать? Может быть, на старуху?

— Жалко, что я маленький, — шмыгает носом Ноляко.

— Да, — говорит Сойти. — Жалко, что ты маленький... — В памяти вдруг всплывает картинка из школьного учебника: смешной человек длинной палкой поддевает валун. — Все мы маленькие, зато кое-чего умеем.

Сойти обвязывается арканом, конец верёвки протягивает брату:

— Не потеряй. Я подойду, обвяжу рога и буду подталкивать. А вы с Изокм тяните, хорошо? Втроём справимся. Смотри только, в топь не влезь!

— Понял, — Ноляко крепко стискивает верёвку.

Сойти грозит псу:

— Отвечаешь за Головастика.

Пёс виляет хвостом-калачиком.

Осторожно Сойти заходит в болото. Под его ногами чавкает и шевелится жижа. Каждый шаг опаснее предыдущего. Сойти медленно идёт к оленю с глухим упорством. Вот он уже по колено в топи. Но и олень совсем близко: лишь руку протяни — схватишься за рога.

— Почти достал! — от волнения Ноляко приплясывает на одном месте, Изок вертится рядом.

— Стой смирно, — напоминает старший брат. Некоторое время он собирается с духом, потом резко выбрасывает себя вперёд — и руки обнимают тёплую шею животного. Он достал.

— Ура! — вопит Ноляко.

Олень шумно всхрапывает и мотает головой, пытаясь высвободиться. Сойти повисает на нём, ноги никак не находят опоры, увязают всё глубже и глубже. Жирные и сонные комары облепили оленю всю морду. Сойти разгоняет их привычным жестом, вытаскивает насекомых из длинных ресниц, из ноздрей. Олень находит ладонь человека и начинает жадно слизывать соль.

Сойти шепчет в белое ухо:

— Тише ты, глупый... Тише.

Как странно: ухо чистое, без клейма Хасавако.

— Он не наш.

— Чего?

— Говорю: олень дикий!

Сойти пробует дно хореем, кое-как находит опору. Теперь нужно снять с себя аркан и закинуть на рога. Но дурной олень, почуввав спасение, вдруг отчаянно бьётся, месит грязь — и ноги старшего вязнут под оленьими копытами. Верёвка, обвязанная вокруг Сойти, скользит в руках у Ноляко.

— Мне тянуть? — спрашивает Ноляко.

В ответ Сойти страшно кричит. От этого крика олень взбрыкивает ещё больше — во все стороны летят брызги: серые, бурые, ярко-красные. Оттолкнувшись от Сойти, рогац, наконец, выбирается из елани и бежит прочь. Он весь в грязи, а копыта такие красные, что у Ноляко рябит в глазах.

Верёвка всё скользит, жжёт руки. Маленький Ноляко вдруг сильно икает. Ещё и ещё — потом хватается крепче за верёвку и, не переставая икать, тянет на себя, отступает на шаг, другой, потом закидывает верёвку на плечо — и тащит, тащит. Изок тоже помогает, закусив самый конец, мощными лапами взрывая землю. Для него это как игра: хвост-калачик весело ходит из стороны в сторону.

Медленно, с огромным трудом Сойти выползает из елани на твёрдую землю и больше не двигается.

С ногами у брата что-то не так. Ноляко только разочек глянул и больше старается не смотреть. Кажется, если посмотрит, не сдвинется с места. Поэтому он бросает верёвку и бежит — так быстро, как только могут бежать его короткие, неправильные ножки Головастика. Ноляко летит быстрее оленя, попутный ветер гнёт спину. А вслед ему вое тоскливо Изок.

Старуха родилась давным-давно, одной лютой голодной зимой. Имя ей дала пурга, что бушевала тогда в тёмной тундре. Хадне. Давно уж никто не зовёт её по имени. Только сама себе и скажет порой шёпотом: “Поднимайся, Хадне. Ещё немного потерпеть, Хадне”. Поднимается и терпит ещё немного. Ставит чум, сшитый собственными руками, уже пятый за долгую жизнь. Латает его, как может, шуря слепые глаза. Готовит еду. Поддерживает очаг. С каждым годом всё труднее, но жаловаться старуха не привыкла и к невестке беловолосой никогда не пойдёт с протянутой рукой: дескать, одолжи, невестушка, угольков — свой очаг упустила. Старуха даже спит вполглаза, караулит свой огонь. По-стариковски бессонными ночами она долго шепчется с пламенем, и пламя отвечает ей, когда ровным гулом, а когда и возмущённым треском.

Радостную весть привёз на стойбище Хасавако, но огонь и так подсказывал благополучный стговор. Старуха ловко орудует иглой, помогая Майме дошить приданое. В её маленьком вдовьем чуме жарко, пламя горит ровно и ярко. Наблюдая за ним, старуха научает внучку:

— Есть время пути и время отдыха, время холода и время тепла. Есть время мужское и есть время женское. Как бы ни был приятен путь, рано или поздно нужно остановиться, поставить чум, развести костёр. Стойбище — царство женщины. Замыкая круг, возводит она чум. Кружа, очищает землю под своими ногами. Обнимая, прячет детей от злых духов. Это и твой путь, Майма. В тундре главенствует мужчина. Он правит оленями, охотится на зверя, заботится о стаде. Но стоит мужчине откинуть полог и ступить под свод чума, он оказывается во владениях женщины. — Старуха простирает руку над огнём. — Вот твой главный друг и защитник.

Пламя целует сухую ладонь, но старуха не чувствует жара.

— Спрашивай совета, и огонь поможет. Я всю жизнь прожила, слушаясь своего. Он гораздо старше и мудрее многих других тундровых огней. Уходя к мужу, возьми угольки из моего очага. Ты, Майма, моей крови, тундровой. Как есть, вся в меня пошла. На мать свою непутёвую не гляди: чужая она, сына мне извела всего... А ты своя. Много счастья принесёшь мужу, много детей.

Она протягивает руку к внучке, треплет её по щеке. Щека мокрая.

— Ты что, внучка, плачешь?

— Нет, просто жарко очень.

Майма шмыгает носом. Старуха ёжится: её, наоборот, знобит.

— Не о чем тут плакать, — сурово говорит она. — Радоваться надо, что хорошего мужа тебе подыскали: молодой, работающий, оленный. Бабке-то своей поверь. Про меня стговорились, едва я успела положить кисы на поганую нарту. Совсем девчонкой ушла от отца, младше твоего...

Майма стыдливо отводит глаза. Её первая женская кровь случилась три года назад, и с тех пор всю одежду и обувь она кладёт на женские нарты, как заведено, — но взрослой себя не чувствует.

— Такие времена были, — шелестит старуха. — Невесты в тундре — большая редкость. И сейчас то же самое. Молодые все крылья поотращивали, разлетелись по городам. Ты, внучка, сокровище наше. Будешь хорошей женой — получишь и обхождение почётное.

— Хорошей — это какой? Не как мама?

Старуха тяжело вздыхает. Как объяснить ей?

— Твоя мама очень старается, это я вижу. Но от пришлых никакого проку. Всегда только одни беды. Спасибо, хоть двоих здоровых родила, а вот Ноляко... Надо было отдать его Нга, богу подземного мира. А я, дурная, выхаживала. И к чему привело? Огонь предупреждал, да я не слушала...

Пламя, будто откликаясь, взвизывает, во все стороны летят искры.

— Вот опять, — волнуется старуха. — Выглянь: что делается?

Майма откладывает шитьё, подползает на коленках к пологу. Выглядывает наружу.

— Головастик прибежал, чего-то ревёт, — говорит она.

— Одна беда с ним...

— Беда! Беда! — вторит маленький Ноляко. Он захлёбывается собственным плачем, и у старухи всё обрывается внутри. Последний раз он плакал так отчаянно у неё на руках, сразу после рождения, когда казалось, что огромная его голова лопнет от напряжения.

— Беги, внучка! — молит старуха. — Беги, крепенькая!

Напуганная Майма выскакивает из чума. Слышатся встревоженные голоса Ксении и Хасавако, потом всё стихает, но лишь на время. Этого времени ей хватит.

Пошарив кривой рукой по мешкам, старуха хватается жменю, другую, бросает в огонь — пламя взвизывает под самый свод. Едкий пряный запах разливается по чуму, жар волнами окатывает старуху, будто не лето снаружи, а лютый холод. Второй рукой она черпает ещё и бросает в воду, ставит на огонь. Огонь греет воду, вода — траву, трава подстёгивает пламя. Старуха сидит в кругу своего обиталища, замкнутая на самоё себя, и шепчет, шепчет неведомое. Когда Хасавако и невестка с искажёнными лицами вваливаются в чум и выпрастывают руки, полные страшного родительского горя, старуха уже готова.

Сойти без сознания. Его укладывают на шкуры, разбитыми ногами к огню. Мать волчицей скулит снаружи, причитает: что-то о городе, о больнице. Старуха выгнала и её, и пьяного Хасавако, запретила им входить. Осталась только Майма. Двигается она споро, руки её не дрожат, сердце бьётся ровно.

Вдвоём с внучкой они делают, что могут: останавливают кровь, вычищают раны, промывают их целебным отваром. Ощупав правую ногу, самую плохую, старуха дёргает стопу — Сойти лишь слабо стонет, не приходя в себя. Белая кость, торчащая из ноги, с хрустом встаёт на место. Кривой иглой и оленьей жилой они стягивают раны одну за другой. Потом сцепляют над Сойти руки и молятся северным богам для надёжности. Но Хадне, повидавшая на своём веку немало, встревожена. Боги своенравны, и в любую минуту могут отвернуться, особенно если отбираешь у них живую душу. Тундра дала — тундра взяла. Чтобы отбить Сойти, нужна хорошая жертва. Старуха надеется лишь, что её сын сделает всё, как должно.

*

До сих пор иногда случалось: он смотрел вдруг ласково, улыбался, ронял одно-два тёплых слова — и Ксения расцветала, впитывала эти крохи былой любви. Но всё чаще он приезжал со своих сходов расстроенный или разгневанный, с неизменной бутылкой — тогда она замирала на женском месте у входа, готовая ко всему. Порой обходилось лишь злой бранью. Бывало и хуже. Иной раз — совсем худо. Ксения родила троих, но потеряла больше, то и дело выкидывая из-за побоев. Однажды она разбила все его запасы, и Хасавако палкой погнал её в посёлок за добавкой. И смотрел при этом странно: без ненависти, без жалости. Будто она всего лишь олень безмозглый, а то и вовсе пустое место.

Когда становилось совсем неумогу, Ксения выходила в тундру за хвостом, ложилась на землю, в мох или в снег, и долго лежала так, глядя в небо. По небу плыли облака. Её свекровь сказала бы: это кочуют в верхнем мире аргиши предков. Когда-нибудь старуха и сама сядет на небесные нарты, рядом со своим покойным мужем и многими погибшими детьми. Потом пройдёт ещё сколько-то времени — и к ним присоединится Хасавако. Только Ксении нет места в том аргише. Она думала: может, тогда просто врасёт в землю, распушится сочным ягелем, и олени коснутся её мягкими губами, и хоть тогда она станет кому-то нужной. Но время шло, мёрзлая земля не принимала её — и вот уже со стойбища окликали, и Ксения, по добрав хворост, тяжело шла обратно.

Раньше, когда Ксения была юна, а потому красива, домашние дела давались ей с трудом: шила она небрежно, готовила из рук вон плохо. Но Хасавако любил её без оглядки. “Няравэ Сэр”, — шептал, перебирая белые

волосы, гладил шрамик на щеке. Ради неё оставил свою наречённую, хорошую девушку из многооленного рода, наперекор всей родне. А как он радвался первенцу!..

Отчего же так круто изменилась её жизнь?

Ксения сидит на земле посреди стойбища. Старуха выгнала её из чума, отобрав Сойти: нечего чужачке смотреть на таинство. А Хасавако... Ксения прикладывает ладонь к лицу. Фингал горит огнём, даже моргать больно. Она всего-то сказала, что сына надо в город, в больницу. Знала, что муж не любит оседлых, но попытаться стоило. И если бы только фингал — пережила бы, не в первый раз, но Хасавако совсем обезумел. Он зарезал уже шестерых белых оленей и как раз прикладывает нож к горлу седьмого. Приносит большую жертву.

— Мать знает, что делает, и пусть боги ей помогут, — вот что сказал Хасавако, когда Ксения, сплёвывая кровь, отползала от него, подвывая от боли и бессильной ярости.

Теперь она смотрит, как кровь льётся по белой оленьей шерсти, собирается чёрными лужами на земле, медленно всасывается, уходит, уходит, как вода. Потом она станет ягелем, и другие олени коснутся его мягкими губами...

Ксения встаёт, шатаясь, снова подходит к Хасавако, перехватывает его руку с ножом.

— Меня режь, — шепчет. — А оленей оставь.

— Не дури, женщина.

— Хочешь жертвовать — меня давай! Только сына, сына нашего в город отведи. Ему помощь нужна, нормальные врачи.

— Отцепись, тебе говорят!

От сильного толчка Ксения падает, но тут же обнимает ноги мужа.

— Нет, не отцеплюсь! — Свист — и спину обжигает аркан. — Давай, бей меня. Что хочешь делай — а сына вези в город!

— Да провались ты со своим городом! — ревёт Хасавако. — Твои городские мне уже вот где... вот где... вот где! — Рука его поднимается и опускается на спину жены. — Всю тундру... измочалили! Изрыли! Ехать к ним?! Сына везти?! Просить?! Покориться?! Сама покорись! Покорись! Покорись...

Он вдруг замирает, аркан выскользывает из руки, падает на землю. Следом за ним падает и Хасавако, напрямик в тёплые, вздрагивающие объятия жены.

— Няравэ Сэр, — бормочет он, обливаясь пьяными слезами. — Как же так?.. Что же я?.. Прости меня, прости. Помнишь, как играли в детстве?.. Ты была белым оленком, а я...

— А ты был охотником. — Ксения приподнимает его, ведёт в чум, оскальзываясь на оленьей крови. — Я помню. Ты любил искать меня в траве, а я любила прятаться.

— Тот олень... К хальмерам его! Погубил мне сына... Нет. Я сам погубил. Пожадничал.

— Что ж. Тундра дала — тундра взяла.

— Не взяла! Ещё нет. — Хасавако входит в чум, тяжело опускается на супружеское ложе. Ксения стягивает с него обувь. — Няравэ Сэр...

— Что?

— Ты отвезёшь?.. Отвезёшь его в посёлок?..

— Отвезу.

— Вот хорошо. Хорошо. По радиции предупреди... Чтоб вертушку вызвали, или как там у них... Гляди! Головастики. Там, на дне. Ишь, ишь! Носятся... Прямо как ты. Убегай, убегай...

*

Когда старуха, утомившись, засыпает, Майма выходит из чума. Косы её растрепались, одежда в крови. Почти всё приданое испорчено. Да и будет ли теперь свадьба? Майма не думает об этом.

Стойбище тоже залито кровью, семеро мёртвых беляков лежат на земле. Остальные олени беспокоятся в загоне — кроме четверых, запряжённых в нарты. В нартах сидит мать. Опухшее лицо перекошено, подбитый глаз лиловеет, но взгляд устремлён к горизонту, над которым зависло незакатное летнее солнце. Ксения слегка раскачивается из стороны в сторону. Если и говорит с духами, то на таких глубинах, что даже прикосновение Маймы не сразу возвращает её в мир живых. Майма садится рядом, кладёт голову на колени к матери. Две крупные слезы выкатываются из её глаз.

— Мам, — говорит она, — у Сойти жар. Бабушка сделала всё, что могла, но надо больше.

Тёплая ладонь гладит её по волосам.

— Бедная моя девочка, — ласково шепчет мать. — Тебе бы в куклы играть и горя не знать... Что бабушка?

— Спит.

— Хорошо. Помоги мне.

Вместе они выносят спящего Сойти из бабушкиного чума, укладывают на нарты, укрывают, как следует. Сумка с провизией и документы уже собраны. Мать усаживается на место погонщика.

— Едем со мной?

Майма колеблется:

— Я тогда не вернусь, если уеду.

— И не надо. Придумаем что-нибудь.

— А ты, мам? Вернёшься?

Молчание. Только нервно вздрагивает плечо.

— А как же Ноляко? — спрашивает Майма.

Мать вдруг смаргивает, в ужасе озирается по сторонам. Майма — вслед за ней. В последний раз она видела Ноляко, когда тот, зарёванный, наконец, вывел их к Сойти. Потом началась суматоха, и Майма просто-напросто потеряла брата из виду. Мать хватается Майму за руки, встряхивает:

— Найди его, поняла? Изок поможет. Найди.

— Найду. Поезжай.

— Я вернусь.

Она трогает, и вот уже нарты резво летят к далёкому горизонту. Майма провожает их взглядом. Мать выбрала не самых сильных оленей, но и эти справятся.

Всё будет хорошо.

— Головастик! — зовёт Майма. — Головастик! Ноляко, ты где? Изок, Изок! Фьють!

Пса тоже не видно.

Майма берёт с мужских нарт хорей Сойти, открывает кораль. Отправляясь на поиски младшего, она уводит с собой и оленей. Их стало меньше, Майма без труда уследит за всеми. Кто-то ведь должен пасти стадо.

*

Маленький Ноляко долго идёт, не разбирая пути. Его слишком короткие ножки заплетаются, путаются в стланике, оскальзываются на кочках, и Ноляко то и дело падает на мягкие мшистые подушки. Полежит-полежит, поплачет горько — и снова в путь. Но мало-помалу силы оставляют Ноляко, и, когда ноги в очередной раз подводят его, он решает больше не вставать.

Совсем близко на тонких стебельках висит розоватая морошка. Ноляко протягивает руку, срывает сразу несколько ягод, кладёт в рот. Потом ещё и ещё. Морошки здесь много, за один раз можно досыта наесться, а если не наесться, то проползти ещё немного вперёд — и тогда уж точно. Недозрелая морошка кислит, но Ноляко всё равно ест. Он принимает эту кислую морошку стойко, как наказание. Отныне он будет питаться только ею и жить здесь, в голой тундре, среди мха и пустоты. Без семьи, без чума, без оленей. Если потеряется в тундре навсегда, старший брат непременно поправится. Он встанет на обе свои крепкие ноги, и вырастет сильным, и проживёт долгую жизнь, и облетит со своим аргишем всю тундру, и станет многооленным.

Это Ноляко, а не Сойти должен был затоптать олень.

Это Ноляко, а не Сойти следовало отдать богам.

Это Ноляко, а не Сойти нарушил правило игры — и правило жизни.

Это он подлез под кораль, так что верёвка оказалась над его головой. Накликал беду, как и сказала бабушка. Проклят он — только он, не Сойти. Ноляко твёрдо решил: он пропадёт в тундре, как заслужил, и тогда боги оставят Сойти в покое.

Слёзы давно высохли. Ноляко принял свою участь и даже обрадовался ей: он всё исправит.

А летнее кучевое небо живёт своим укладом, не ведая о людских печалях. Облачные горы вздымаются, гонимые ветром. Из рассказов бабушки Ноляко знает: там, среди облаков, кочуют его предки, а когда умирают, снова возвращаются на землю. Даже Ноляко — заново рождённый предок.

В небесном мире всё то же самое: и бескрайняя тундра, и снег, и северные сияния. Среди звёзд крадёт пушной зверь, олень ищет ягель, а в голубом небе рыба плещется. Все они умерли на земле и теперь живут в облаках. Если в тундре изобилие, то наверху, конечно, голод. Но маленький Ноляко слышал от взрослых: олень всю гибнет, потому что есть нечего. Чужаки пришли на людскую землю, раскопали тундру, вывернули ей всё нутро. Оттого и ягель сохнет, и олени мрут. А когда мрут олени, туго приходится человеку. Слышал Ноляко и то, что чужаки на своих вертушках могут стрелять оленя без разбору, сразу всё стадо положить — не для жизни, для забавы. Иногда диких, но чаще домашних, на выпасе. С высоты ведь непонятно. А гибель стада — гибель всей семье, и даже маленький Ноляко это понимает.

Но впервые Ноляко думает об оленем мире едва ли не с затаённой радостью: “Раз олени умирают здесь, значит, на небе их рождается всё больше и больше. Вот где жизнь, вот где счастье!” Он представляет себе многолюдные стойбища на облаках, нарядные чумы и нарты, полные всякого добра, бескрайние стада оленей и весёлых охотников, что всегда возвращаются с добычей. И если здесь от Ноляко одни беды, может быть, там он родится ловким и сильным охотником, и папа посмотрит на него с гордостью, а не с жалостью, и бабушка хоть раз его обнимет, хоть раз обнимет...

*

Ноляко мирно спит среди морошки, совершенно счастливый. Таким и находит его Изок. Он укладывается рядом, жмётся к мальчику тёплым боком, чтобы согреть. Вскоре он слышит Майму: “Ноляко, ты где? Изок, Изок! Фьють!” Сама она ещё далеко, а тонкий девичий голос уже летит над тундрой вольной птицей. Изок рад Майме, но маленький Ноляко крепко держится за шерсть, так что Изок лишь бьёт по земле хвостом-калачиком, приветствуя голос.

В ожидании молодой хозяйки Изок щурится на летнее солнце. Солнце медленно садится ему на нос, Изок клацает тихонько зубами, подкидывает его в небо: ещё не время тебе умирать. Солнце будто спохватывается, поднимается чуть выше. Изок лижет маленького Ноляко в ухо, тот смеётся, не просыпаясь.

Где-то трещат олени копыта, авкают телята, путаясь в ногах у своих матерей, храпят молодые рогачи. Олени бодро идут по живой летней тундре. Начинается новый день.

ДМИТРИЙ ХАНИН



ДОЖДЬ В ДОРОГУ, ВЕРИТСЯ, К УДАЧЕ

* * *

Плеск романтики сходит к нулю:
Сух наш век, потребленческо-плотский.
Я и море уже не люблю,
Разве что макароны по-флотски.

Наши годы легли на дуршлаг,
И воды утекает немало.
А в столовой сегодня аншлаг,
Как на пляже у моря бывало...

По рецепту живу, по уму,
Мне и соли хватает, и перца.
Только в сытости я не пойму
Почему же так голодно сердцу...

ХАНИН Дмитрий Игоревич родился в 1989 году, выпускник факультета математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета, воспитанник Ростовского областного литературно-творческого объединения "Дон" под руководством И. Н. Кудрявцева. Лауреат международной литературной премии имени Сергея Есенина "О Русь, взмахни крылами" (номинация "Русская надежда", Москва), премии имени Николая Гумилёва (Крым) и др. Участник Первого международного совещания молодых писателей в Переделкино (2011). Член Союза писателей России. Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

* * *

С вечными надеждами брожу,
Прошлого не выяснив итоги.
Ласточки снижаются к дождю,
Небо наклоняется к дороге.
Новыми раздумьями дыша,
Помню я, что было мне знакомо.
Кажется, над памятью душа
Снизилась, как ласточка — над домом.
Время и судьбу не развернуть,
К сути не придвинуться кругами.
Тихо мне указывают путь
Звёзды первых капель под ногами.
Ветер дует холодом в лицо...
Что он, впрочем, знает или значит?..
По известной истине отцов
Дождь в дорогу, верится, к удаче.

АНДРЕЙ АНТИПИН



ЖИВЫЕ ЛИСТЫЯ

Из книги миниатюр

“И ЖАЛЕЕШЬ, И ЛЮБИШЬ МЕНЯ...”

К обеду разъяснило. Солнечно. Рябь таловых озёр...

В лугах увязалась молодая доверчивая телуха. Такая же ласковая и жёлтая, как солнце. Побежала с рёвом, поддевая рукав языком. Едва отогнал сломленным прутиком полыни. Долго стояла, глядела в спину; не могла понять: за что я её? И почему-то пришли на память стихи покойного самарского поэта Михаила Анищенко:

*Оглянусь: ты стоишь у плетня,
Ожидая, что всё-таки струшу...
И жалеешь, и любишь меня,
Как свою уходящую душу.*

...Я хотел бы думать, что не уйду бесследно, останусь в птице, в облаке, в проплывшей льдине... Или, на худой конец, — в строке. Но не могу себе сообразить: никогда, нигде и ничем больше меня уже не будет. А пока я ещё есть, что меня ждёт? Разве что вот это потрясающее русское одиночество, когда — земля да небо, и никому ты в целом свете не нужен — ни отцу, ни царю...

АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. В 2008 году заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публиковался в журналах “Наш современник”, “Сибирь”, “Юность”, “Молоко”, “Москва”. Автор книг “Капли марта”, “Житейная история”. Лауреат литературных премий. Член Союза писателей России. Живёт в родном селе.

Продолжение. Начало в № 4 за 2020 год

И только телуха стоит, смотрит в спину. И жалеет, и любит меня.

БУМАЖНЫЕ ЗМЕИ

Уехали дальше на Север соседи. Всё утро таскали сумки, коробки. Последним пронесли кота в специальном домике для животных.

И как всегда у меня — грусть-печаль оттого, что уже никогда не увидишь! А ещё — тоска по лучшей жизни, но и обида за ту, что прожили рядом, как будто её, эту жизнь, в чём-то предали.

Вечером, проходя мимо, заглянул в ограду. Калитка открыта. Нехорошо. Пусто.

Так, наверное, после моей смерти кто-нибудь заглянет в мою книгу — и, может быть, ужаснётся моему отсутствию, моим словам без меня, бумажным змеям без человека внизу.

ГОРЯЩИЕ ИЗБЫ

Какая-то баба Надя из Киренска. Услышав радиопередачу, в которой артистка читала отрывок из моей повести, — расплакалась, позвонила в редакцию, спросила, можно ли опубликовать в их городской газете “Ленские зори”. “Чтобы, — говорит, — мы читали!”

...Эти бабы Нади — мои читательницы. И мой крест. Искать отклика, а точнее, находить его в старых людях — дорогого стоит. Но они, эти старые люди, не сегодня-завтра умрут — и вместе с ними умру я, ведь ни в ком больше я не нашёл себе продолжения. Стало быть, на роду написано — короткий век в литературе...

Всё равно, что входить в горящие избы! А баба Надя плачет. И я вхожу в эти избы. И избы — горят.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

На ночь глядя — драка возле клуба. Талантливая. Страстная. С падениями от ударов и взаимными оскорблениями по материнской линии. А главное, не из-за чего. Просто один не туда посмотрел, второй не то сказал, третий не так понял, четвёртый заорал: “Ты меня уважаешь?!” , а пятый выломал штaketину, подскочил и ка-ак даёт шестому по башке!

— Ты, — кричит, — с моей Валькой нюхался!

Шестой, понятно, мордой в грязь, а седьмой — Валькин брат — бутылкой хря-ясь! Кого хрясь, я не рассмотрел. Понял только, что пошло дело. Первый на второго, третий на четвёртого, седьмой — растаскивает, а когда надоедает — бутылкой! А пятый, который всё и начал, хватается за мобилу и давай кому-то звонить:

— Казаркинские на глубоковских прыгнули!

Тут шестой очнулся, коленки отряхнул и седьмого схватил за нос, чтобы оторвать. Спасибо, клубная сторожиха воспрепятствовала, выскочила на крыльцо и ну хайлать:

— Щас Коршунов-мент на “жучке” приедет, все-е-ех в обезьянник увезёт!

В это время из клуба набегали шмары, подруги этих драчунов. Давай растаскивать в разные стороны. А Валька даже туфель сняла на громадном каблукке, скачет с ним в руке, как на полтора ногах, то одному, то другому звезданёт.

— Я вам, — визжит, — все мозги вынесу!

Ну, кое-как развели! Хотя пятый не хотел расходиться, опять схватил свою штaketину, догнал в переулке и ка-ак хлобыстнет шестого! Чем-то он ему очень не понравился.

Но и пятого уговорили, немного попинали и унесли. И вовремя! Потому что мне тоже кровь свернули, и нестерпимо захотелось — выскочить за калитку и ударить в прыжке, а наутро стать героем деревенских новостей:

— Слышали, антипинский дурачок отмочил?! Шары закерогазил стеклянные и половину деревни отмудохал! Вот тебе и тихуша, книжки пишет...

А ещё я в очередной раз с удовлетворением отметил, что всё-таки грубый мы народ — русские. Дикий. Пещерный. Правильно нас не любят! Ведь для нас мало по рогам настучать — надо до Берлина дойти, всё разрушить, кумач водрузить и стены неpolitкорректными выражениями исписать. Мы уж если за Родину — так насмерть, а за бабу — чтобы клубный штaketник ломался на черепе у врага. Да и врага уронить — недостаточно: треба, чтоб рылом землю пропахал.

ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН

На закате спустился к реке, по колена, а затем по пояс, по горло — по мере того, как сходил под угор — погружаясь в речную прохладу: утки туда-сюда. Потом два гуся — низко-низко. А следом над тайгой по ту сторону Лены — журавлиный клин, не меньше двадцати пяти. Высоких, торжественных, бередящих! Летящих всё равно что со страниц школьных хрестоматий с их простыми добрыми картинками и вечными тремя вопросами после текста, в конце.

А за ними — тоже слаженной стаей, притёртые одно к другому, спевшиеся за долгие дни и ночи кочевья по черновикам, во мраке и морозе одиночества, — потекли слова, возвращаясь, как из тёплых краёв на Север, из памяти в холодную действительность:

*Не слышно звонкогорлых птиц —
И вдруг незримо раздвоится,
Как отмахи вязальных спиц,
Серебряная вереница...*

И пока журавли летели, уставшие и молчаливые, пока слова этих давнишних юношеских стихов звучали во мне, и дышала — река, я всё как будто стоял на высоком солнечном угоре, на самом взгорье жизни, где ближе небо и облака, света больше, а простора, веры и сини впереди — непочатый край. Но когда, наконец, и журавли утянули за перевал, с металлическим проблеском крыльев растворяясь на сумеречном фоне вечернего леса, словно кто-то вправил иглой вылезшую стёжку, и когда строчки, отрывав, оборвались многоточием, черновиковой недописанностью и недосказанностью, в которой теперь видится что-то вещее и заповедное, — я точно сошёл под этот очень крутой угор, на дно речной долины, и оказался там, где ещё недавно, пока я стоял на угоре, зыбилась моя тень. И тогда навалилась такая тень, обступило и сдавило таким холодом, как если не журавли пролетели, не строчки выгребли из старых записных книжек, а — жизнь проплыла перед глазами, расклинив на две половины — *до* и *после*...

Что это со мной было? Зачем? Почему?

СБОР СОКА И ПОЭЗИИ

Закрыв сезон берёзового сока. Он хотя ещё бежит, но уже не так сладок, как вначале, вдобавок стал мутнеть и давать осадок в виде белых створоженных хлопьев. К тому же почки на берёзах раскрылись клейкими листочками, ещё вялыми, сонными, как выдупившиеся птенцы. А это значит, цедить сок из берёзы — всё равно, что забирать молоко у кормящей матери...

Шёл к последней своей берёзе, под которой стояла склянка, — и во мне тоже кто-то “шёл”, подпирая себя ударениями:

*Я тонко чувствую: вот-вот
То, что уже не будет прозой,
Однажды горлом протечёт,
Как сок из взрезанной берёзы.*

Но коль скоро и сок в берёзах останавливается, то и стихи, перепав несколькими строчками, умирают. Ведь эти явления — сок из надрезанной берёзы и стихи — очень схожи, ибо в метафоре берёзового сока (вернее, в сборе его, а прежде в ожидании сбора) сокрыта вся суть поэзии. Как сок в берёзах бывает только весной, во время естественного пробуждения природы, так и поэзия должна говорить в высокий миг жизни. Поэтому я по старинке ощущаю себя берёзой, ждущей своей творческой весны. И если не будет стихов — не беда, ведь сок-то был, а значит, была в моей жизни и поэзия.

СВОБОДА

Вдоль берега, вывернув камни и дресву, протянулась длинная узкая канавка. Это нынешней весной пьяный тракторист проехал с опущенным плугом. И в эту постепенно наполнившуюся водой канавку, как в садок, я бросил ельца, которого поймал на рассвете, едва закинул удочку. Елец какое-то время постоял, точно соображая, что бы ему предпринять, куда бы с горя податься, если всё кругом — чужое (а на деле, может быть, преодолевая боль от свежей раны, нанесённой крючком). Потом, вероятно, придя в то состояние, которое мы называем “взять себя в руки”, внимательно обследовал стены канавки, потыкался в зелёное бутылочное стёклышко, как в глазок тюремной двери, и скоро каким-то своим чутьём разгадал, за какой из двух противоположных бровок — река, и стал искать к ней выход.

В это время прошёл сухогруз, горбясь огромными железными контейнерами с мукой, которую транспортируют по большой воде на север Иркутской области, в Якутию и морские арктические районы от Хатанги до Колымы. Накатила коричневая от глины волна, захлестнула канавку. Но и когда муть осела, елец долго не показывался, схоронясь за земляным отвалом, оставленным плугом. Наверное, в этот миг свобода родной реки показалась ему не такой уж сладкой, а заточение в канавке — не столь горьким. Впрочем, это его состояние длилось недолго. И вот уже елец, теперь и по набежавшим волнам угадав, в какой стороне река, снова заметался, пока, наконец, не перепрыгнул невысокую бровку. Я не стал его ловить, когда он заплесал в молодой траве, и елец благополучно юркнул в воду. Однако уплыл недалеко: подоспевшая чайка, раскрыв клюв, ударила по нему, выщипнула с мелководья и понесла, как серебряную ложку.

ПЕРВАЯ

“Влюбились с первого взгляда, поженились, жили душа в душу и умерли в один день...”

А в жизни: забросили удочки, и поплавки поплыли рядом.

Я:

— Видишь, наши поплавки уже познакомились!

...Было это на летних каникулах. Катались потом за посёлком на велосипедах, упали, приклеивал к её разбитой коленке нализанный подорожник. Обменялись адресами — и ни разу не написали.

РЕКИ

Девичество — река, которую можно переплыть кому-то одному. Женщина — река многих. И как в девичестве был предел, где оно, собственно, заканчивалось, так в женщине берегов нет, одно только желание быть рекой.

КАМНИ И ПЕСОК

Есть камни на берегу: водой точит, точит — и покрываются трещинками, распадаются на куски, а те, в свою очередь, раскалываются на более мелкие и снова превращаются в песок.

А есть гладыши: сколько ни точи, они от этого лишь крепче и красивее. Есть народы: со временем чахнут, слабеют и вырождаются... Страшно стать песком.

КОРШУНЫ

Утром пахали огород под картошку. Ровно и чисто — дядя Костя Аржав. Последний — из тех, прежних. Пашет на скорости. “Так оно пушистей!” — объясняет.

Высаживали втроем — мы с отцом и тётя Галя, почти не останавливаясь на перекур и не разговаривая. Кое-где всё-таки попадают нераспаханные комья, и отец говорит о них, что дед, будь он жив, обязательно разбил бы деревянной колотушкой.

Наши десять соток — взрыхлённая лента земли, со всех сторон заросшая бурьяном, который на Лене называют будьёлой. На её месте раньше тоже были огороды. Но люди побросали их. Так, спасаясь от огня, оставляют дома, землю. Огонь рано или поздно отступает, и люди возвращаются. Эти не вернулись. Может быть, огонь ещё рядом?

Три сгорбленных человека — в лебеде и польни, посреди дремотного русского простора. А когда-то на огороды (их у нас было несколько, в сумме чуть меньше гектара) высыпала орава: дед с бабкой (эти степенно шли, а не “высыпали”), Мишка и Вечерины: тётя Галя, Сашка и Катька с Надькой, и мы из Казарок: отец, Серёга и я. Между первой и второй чеченской вернулась из Ростова тётя Валя. Иногда (это уже позже) помогал дядя Коля, за год до смерти — Дядька... И только на огороде Людмилы Степановны было больше — приезжала ватага из города. О нас же говорили:

— Вон они... опять вышли!

И мы — выходили, как сам русский народ выходил — в поход на врага, в поле на рожь или за околицу — девок портить и драться, песни петь, “водка пить, земля валяться”!

Но вот — только я, да отец, да тётя Галя, да трава забвения на всю Россию, которая опять в дыму от лесных пожаров, солнце — едва-едва за плотным и белым. И когда после работы, как в лучшие времена, сидели с отцом на высоком крыльце дедовской нежилой избы, а тётя Галя, как раньше бабушка, облокотилась на перила, — над дичающим полем, над гривой горящего леса один за другим с широкими размахами крыльев пролетели семь больших ржавых коршунов. И что-то страшное, последнее было в этом. Исход чего-то вдруг ясно увиделся и почувствовался в этот миг, и как в огороде нечего было сказать о наступающей будыле, так не нашлось слов и теперь, когда коршуны летели над русской землёй и тревога за неё, за судьбу её становилась тем сильнее и кровоточивей.

ПАХАТЬ И СЕЯТЬ

Стояли на меже, смотрели, как дядя Костя пашет, — подошёл Нетёсов. Говорит: “Покурите!” (в смысле, уделите ему минутку-другую). Принёс в пакете жёлтые листочки. Раздобыл на чердаке бывшего подымахинского сельсовета. Справки, выписки, отчёты... Довоенные, военные годы. Рассказывает, что хозяин (сельсовет переделали в частный дом) два дня топил ими печь.

...Нетёсову за пятьдесят. Родился в Орленге (это выше по Лене), но большую часть жизни прожил в Подымахино, куда распределили отца-

учителя. Дом его на въезде — с просторной оградой, с хозяйственными постройками и удобным выходом в луг и на огород. Старый дом, тесный. Строит новый — большой, брусовой, с тёплой мансардой. Осталось покрыть. Но денег в обрез. Ждёт, когда накопятся от продажи сливок и творога. У Нетёсова — приличное по нынешним временам подсобное хозяйство: несколько дойных коров, телята, гуси, куры. С утра до ночи в трудах. Летом, само собой, косит и ставит сено. В общем, крестьянствует. Этим живёт вся его семья. Дети — Иннокентий, Антонина — учатся в школе. С детства приучены к труду. Носят дрова и воду, управляют скотом и — проворные, рукастые, в белых, как у матери и отца, солнцезащитных косынках — послушно помогают на сенокосе. Зимой трелюют копны по замёрзшей Лене: Кешка с Тонькой тянут за стропу, которой обвязано сено, а Нетёсов сзади толкает вилами, поправляя очки...

Нетёсов, несмотря на постоянную занятость, находит время заниматься историей наших деревень. Сидит до полночи в интернете, сотрудничает с краеведческими музеями, библиотеками, списывается с другими такими же самодеятельными, как и сам, исследователями, обменивается информацией. Ищет и читает книги по истории Приленья, уточняет данные о погибших земляках — ветеранах Великой Отечественной войны, для чего вдоль и поперёк прошерстил поисковый сайт “Подвиг народа”. Иногда приходит с котомочкой к моему отцу-краеведу. Приносит какие-то ранее неизвестные сведения, фотографии, дополнения к списку имён, высеченному на мемориальной стене во дворе школы. Но главное — приносит мысли, точнее — речение за своё, родное! Подключил к этому делу старшего брата, который живёт в Иркутске. Вместе ездили в областной краеведческий музей, а потом и в Санкт-Петербург, где работает историк Красноштанов — автор трёхтомника “На Ленских пашнях в 17 веке”.

Интернет в посёлке совсем захудалый, едва-едва загружает страничку, да и то не с первого раза, прежде долго крутит заветное колёсико. Так Нетёсов прибил во дворе жердь с закреплённой на конце маленькой спутниковой тарелкой, платит 840 рублей в месяц и спокойно открывает, что ему нужно. Лет пять назад он даже создал свой сайт с немудрёным названием “Деревенька моя”. Выставил фотографии наших окрестностей и самих деревенских жителей, а также материалы о них из районной газеты. И мои рассказы, в том числе — “Плакали чайки”. Говорит:

— Дочка Иннокентия Ивановича спрашивает: реальный случай или вымысел?

...И вот стоим на меже, разговариваем, листаем пропахшие пылью и тленом тетрадки. А над нами, как ангелы белые, — облака. И скворцы, отыскав в пахоте червей, несут в клювах в свои скворечни, установленные над крышами старинного сибирского села. И повсюду, куда ни глянь, — будды! Сошлась и топчется у самых стен. У ворот ворогом. Но дядя Костя — пашет. И Нетёсов — сеет, спасая из огня...

ПО СЛЕДУ ОРДЫ

Я шёл через молодой и солнечный, но уже обезображенный и униженный лес, по красному от разорванной глины и всё разрушившему на своей дороге тракторному следу, как за промчавшей по Руси Ордой. Казалось, вот-вот она прошла — с гиками и свистом, с топотом коней и нахрапом нагаек, опустошая русские селения, заливая их кровью, насилуя женщин и увозя за волосы в полон, детей и непокорных — убивая, а над стариками и беззащитными потешаясь злобно и неумно. И одна мысль не шла у меня из головы, завоёвывая на своём пути другие мысли, пока я не сразил её карандашной стрелой и не поднял на бумажный щит:

Что ПРЕТИТ имеющему власть не ГЛУМИТЬСЯ над властью не имущими, а человеку на КОЛЁСАХ — свернуть в сторону перед молодыми деревьями?

РАСПЕВ ЛЕТА

Солнечные душные дни, вчера омрачённые косым дождём, прохладой и рваной хмарью. Небо то густо-синее, то нежно-голубое, а то пламенно-розовое. И это необъяснимо хорошо — вольно смешивающее акварели небо! Изредка всё же проплывают — как щуки в омуте — ненастные, лохматые. Как в детстве, ждёшь грохочущих колесниц Ильи-пророка, сверкания молний, залпов стремительного июньского ливня...

Грозы нет. Омовение в огородной бочке — а пыльным деревьям как? В реку не шагнёшь, тем более река, входя в межень, сама бежит всё дальше от леса, от босоногой ребятни ускользнуть не умея.

На закате облака и вовсе красные, арбузные. Будет завтра знойный день! И весь он наполнится тем, что только — солнце в небе, да в сенцах пипучий домашний квас, кислый от жжёных корок, а прежде (ещё во дворе) — пышный запах его. К обеду нагреется, как в теплице, и ребятишки припустятся к Лене стремительным босоногим топотом, с налёта загребая крупной размашкой в сторону бакена или с визгом сгиая вниз головой с врытой в берег доски-нырjalки. А старшеклассницы в коротких юбках и белых гольфах пойдут из школы с последнего экзамена. И до истомы, до помутнения в голове захочется опуститься в ноги, обнять за икры и медленно, долго, всем ртом целовать в ямочки за коленками, в их влажный солоноватый холод, как если бы это твоя юность шла накануне большого разочарования и ты, зная задним числом, что оно грядёт, не просишь, не умоляешь юность остановиться, но даришь ей это последнее тепло жизни.

РЫБЫ

Пока бросаешь — все здесь, сплываются на хлебный мякиш. Перестал бросать — и нет ни одной. Или, может быть, это тебя для них больше нет, а сами-то они как были, так и остались, и потому только не сплываются, что не бросаешь?

И тоже: вся надобность в тебе — разве что в этом хлебе! Но и у тебя надобность — в этих рыбах. И модель вашего союза — тебя, бросающего корм, и рыб, на него сплывающихся, — легко можно перенести на взаимоотношения писателя и читателей, актёра и зрителей, музыканта и слушателей, во всех трёх парадигмах если и объединённых между собой какой-либо внутренней связью, так это знаменателем такого тратящегося понятия, как жизнь автора.

ГОСТИ В ДЕРЕВНЕ

Нынче навестили посёлок иностранцы. Не то сотрудники какого-то международного института народной культуры, не то ещё кто. Приехали в специальном микроавтобусе, выделенном по договорённости с мэром района. Остановились в школе, там и харчевались. Ходили по улицам, фотографировали. Искали остатки храмов и приметы старины. Что-то записывали. Разговаривали между собой на отличном русском:

— Эти знаменитые избы... О них ещё Чехов писал в “Мужиках”, а потом — Белов, Астафьев... Даже Бродский, если мне не изменяет память, оставил впечатления от архангельской ссылки...

— А в здешних видах по-своему превалируют темы позднего Серова... Вы не находите, коллеги?

— Полагаем, да. И говорят по-народному! Знаете, этот хорошо известный нам сибирский говор, как в повестях Распутина...

Шёл по улице Петрован — окликнули так, как, вероятно, в их представлении окликают деревенских мужиков:

— Эй, мужчина!

Петрован был с бодуна, поэтому сразу обиделся:

— На “эй” зовут свиней! — и кроме ничего не сказал. Грубый, сиволапый.

Попросили в одном из домов попить, им вынесли в ковше. Разглядывали, как будто силясь найти что-то такое, чего никогда не видели в жизни, но о чём писали в их книжках, и поэтому ими был сделан вывод, что “это” — обязательно должно быть.

Серафима Ивановна, хозяйка ковша, всё поняла — и тоже обиделась:

— Да нет у нас тараканов! Всех карандашиком потравили... — а когда гости пригубили и ушли, выплеснула опивки на дорогу.

Пастухи разложили под угором костёр, повесили котелок. Так иностранцы и к ним подстушили, мечтая, чтобы в котелке у пастухов попевала грибная похлёбка, как в рассказе Бунина. И уже загодя стали стонать “м-м-м!” и водить носом по ветру.

— Суп из бич-пакетов! — охотно объяснила Наташа, жена пастуха, который в это время улизнул в магазин за “Боярышником”. И это вместо того, чтобы вынуть из реки бутылку с молоком и достать из котомки деревянные ложки! Гости разочаровались, ведь ни в одном произведении литературы, ни на одной картине в Третьяковке не было такого, чтобы пастухи варили суп из концентратов и шли лосьон для лица.

Я смолил и ставил столбы для забора, утрамбовывая землю в основании кирпичными сапогами, когда объявилась делегация из трёх незнакомых женщин в сопровождении местной учительницы истории. Увидев меня, учительница шепнула так, что мне стало слышно:

— А это и есть наш писатель!

Обступили, осмотрели, обсудили. Дали совет, как правильно устанавливать столбы. Их, оказывается, прежде следует обработать химической жидкостью против гниения. Какой именно, иностранцы не вспомнили, но об этом был сюжет в телепередаче “Фазенда”.

— И кирпичные сапоги на нём! — когда я отправился за паяльной лампой, чтобы растопить в ведре застывший гудрон, которым я по своему деревенскому невежеству обмазывал столбы, в спину мне восхитилась одна.

— Как у Шукшина, — догадалась другая, видимо, руководительница группы.

К вечеру все знали, что в посёлке — гости. Так и разнеслось: “Иностранцы в деревне!” А глава администрации даже прокатился на мотоцикле с дощатым коробом вместо коляски и попросил мужиков, чтобы шатались пьяные и таскали баб за волосы. А самим бабам наказал ковырять в носу и кормить сиськой на лавочке у дома. “Иначе, — говорит, — в центральной печати не напишут...”

Смех — да и только!

Правда, позже выяснилось, что это были не иностранцы, а музейщики из Иркутска. И вот тогда стало по-настоящему грустно, и настигли горькие гоголевские слова: “Велико незнание России посреди России”.

ВЕРА

Взялся с утра готовить материал для давно задуманного забора. Но что-то не заладилось, может быть, оттого, что надлежало пилить и строгать, в то время как томились ненаписанными повести и рассказы. Зря измаялся, в конце концов психанул, вывел велосипед из сарая и укатил на Затон. Дёргал ельцов и гольянов, прикормив горстью-другой гранулированного комбикорма, да прихлёбывал из фляжки, правда, не коньяк, как того требовал кодекс рыбака, а настой смородиновых листьев. Успокаивался на речном ветру — медленно, не сразу, как будто постепенно погружали в воду раскалённое железо. А пастух Азат — молодой приветливый татарчонок — в эту пору то сидел, то лежал под угором, на зелёной траве. Лошадь, привязанная к берёзе, лежала рядом, подобрал ноги, а стадо паслось в низине у речки. И весь долгий летний день — о чём думал? Что виделось его чёрным, как ночь, глазам? Тужила или, наоборот, радовалась душа?..

С юности очень беспокоили меня такие люди. Как они? Что они? Зачем? “Зачем?” не потому, что мне представляется сомнительной необходимость их существования, а оттого что так маняще для меня их собственное понимание о себе в мире: “Кто мы? Что мы? Для чего?”

...Азату чуть за двадцать или около того. Своей семьи нет, живёт со старшей сестрой, у которой муж и выводок детей. С весны до поздней осени пастишит, погоняя три десятка голов частного скота, да примерно столько же — бывшего совхозного, ныне записанного по ведомству сельхозартели, которой заведует местная фермерша. Ввиду малочисленности общего поголовья его теперь не двоят, а, напротив, сдваивают. Это выгодно в смысле найма одного пастуха, да и безопасно, не в пример прежним временам, когда шло с вечерних лугов грузное деревенское стадо в облаке выющегося гнуса — мужики жались к обочине, двигалось навстречу другое такое же с совхозным быком в голове — пацаны всакакивали на заборы, а встречались оба на тесном перекрёстке возле столярки — бабы, подобрав подола, кидались врассыпную, только пятки сверкали... Ну да когда это было?

Азат, пожалуй, и не помнит, ловко гарцуя между редких нынешних коров, телят и низкорослых, со следами вырождения, быков. В прочее время работает здесь же, при сельхозартели, скотником, либо чем другим помогает по хозяйству. Зарплату выбирает продуктами и молбчкой — сливками, творогом и молоком. Иногда — в счёт будущих выплат или накопившейся задолженности — толкает впереди себя телёнка, намотав хвост на руку. Когда перепадает деньгами, Азат запивает, и племянники с племянницами ищут его по посёлку. На другой месяц денег уже не видит, их по сговору с хозяйкой получает Назима — сестра Азата. И он устраивает небольшую забастовку, но через день-два — снова в лугу или на скотном дворе...

После обеда он подъехал к реке напоить лошадь и заодно узнать, который час. Услышав “без десяти четыре”, улыбнулся обветренным лицом.

— А то, — говорит, — рано пригону! — И галопом взлетел на угор, а снизу, от воды, показалось — как будто под синее летнее небо взмыл...

Счастливый человек! И часов у него нет!

И когда он уехал — дальше пасти своё стадо, пить молоко из бутылки и есть в тени ольхи хлеб и огурцы, чтобы с заходящим солнцем пригнать усталое стадо в посёлок, — я поёжился от мысли: как это ужасно было бы, окажись рядом такой человек, который поведал бы об Азате какую-нибудь бытовую мерзость...

Так хочется верить в людей.

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

Миха Шмурак — горластый запойный мужичок — переплыл в лодке на ту сторону Лены. Горбовик при нём. Два ведра. Собака. Баба. Перебрёл заводу за галечной косой, расправив бродни. Бросил ведра и горбовик, вернулся за бабой. Взлезла на горб, поехали тихой подводой.

— Ништяк?! — любопытствует Миха.

— Ништя-як! — успокаивает баба.

Оба — уже с утра “весёлые”, оборванные жизнью о её железные зубы. Миха — отсидевший за убийство собутыльника, которому стёр кирпичом лицо. Также о нём болтают, что оглушил и утопил в реке Саню Белого. Она — хромоногая и страшная, губы — как синюшное мясо. Волосы мочалкой. Не идёт — чепается (как если бы шла по мху на длинных каблуках). Высмотрел её в городе, куда его таскало во время одного из загулов. Живут в благоустроенной трёшке рядом с котельной, вместе с Михиной престарелой матерью. Вяжут носки и рукавицы, сбывают за курево и водку. Кроме того, Миха, набравшийся в лагере уму-разуму, чинит пенсионерам телевизоры и подшивает валенки морозостойкой резиной. Но главное в нём другое, а именно умение рисовать. Это у него с детства, годы отсидки лишь развили безусловный талант. Пишет незамысловатые картины: небо, река, кораблик.

Лес. Крест на угоре. Всё — мягкое, чуткое, нежное. Но чаще обходится шабашкой, будь то покраска забора или обновление табличек на бесхозных могилах. Напиваясь, Миха орёт на весь посёлок: “Богома-аз я! Богома-а-аз!” Почему богомаз, не объясняет. Хотя кое-кто говорит, что вместе с другими лагерными Миха участвовал в строительстве православного храма...

И так-то вот, таким-то незамысловатым способом они переправлялись через лягушатник, громко разговаривая между собой. А я стоял в школьной ограде, под синим куполом цветущей сирени, и боялся, что Миха споткнётся и упадёт вместе с бабой. Но и когда благополучно перебрали, всё не уходил, наблюдая за тем, как после короткого отдыха на берегу они поднимаются по косогору в лес. И чего-то радовался этим людям, тому, что вот пошли по грибы, ранние в этом году, первый слой, и Миха перевёз свою любовь на горбушке, и что белая, как патлы убитого им Сани, собачонка убегает по тропинке, а Миха, вылупив глаза, истерично кричит ей:

— Ты чё, рамсы попутала?! Тут же везде отморозки косолапые... Прячься за Люську!

...Простое житейское счастье простых грешных людей, их умение — или трудно осознаваемое желание — жить невеликой жизнью с её грубыми земными праздниками, их способность не задирать нос и довольствоваться малым, их — получается — нравственное смирение, их природная скромность в быту при всём его уродстве и при всей нашей мирской грязи — вот что ещё влечёт и вдохновляет меня в русском человеке.

МУЗЫКА

Спасаясь от постороннего шума, так мешающего писателю, я, помнится, перепробовал многие методы, начиная с обычной ушанки и заканчивая стереонаушниками, которыми затыкался перед тем, как сесть за стол. Но ушанка ничем не помогала, лишь веселила домашних, координируя их в вопросе моей предрасположенности к уместным отклонениям. А с музыкой долго не мог определиться, поскольку та и сама мешала, отвлекая мозг, отвлекая мысль на думанье не о рукописи, а о самой музыке.

Наверное, мучился бы до конца дней и мучил домашних, терроризируя просьбами о тишине. Но в один чудесный миг случайно нашёл в интернете видеоролики с Эгасом Тонне — талантливым гитаристом-импровизатором, весьма известным, как оказалось, в музыкальной среде. И вся моя проблема сошла на нет, стоило надеть наушники и включить запись: так согласно легла музыка уличного менестреля на сердце, что и моей работе не вредила, и свою исполняла. А вскоре заметил, что этот живой пульсирующий тон, напоминающий парение беркута над пустыней, не просто помогает в корпении над словом, гася вторичные звуки извне, но и способствует развитию собственного творческого импульса, создавая определённое настроение и высвобождая накопленную энергию.

Так было, когда писал прозу. Но вот накатила волна стихов — и бытовая колготня за дверью подступила с новой силой, так что гитара уже не справлялась, словно захлёбываясь в картавом рокоте всего, отчего гибнет искусство и к чему так безучастно равнодушны близкие нам люди. Более того, и другие, самые интимные звуки жизни, будь то сигнал полученного электронного сообщения или ляганье чайной ложечки, стали как будто обострённее. Точнее, мозг мой и всё моё существо сделались восприимчивей к ним и непримиримей, и чем лучше писались стихи, чем поток их был первородней и нескончаемей, тем это набухание враждебных поэзии звуков мира становилось явственней и невозможней. И я понял, что хотя проза — та ещё чертовка, всё-таки поэзия ревнивей к музыке и когда приходит, требует, чтобы все другие музыки, большие и малые, заткнулись. Ей все — не те, ей всё — мешает, даже пение синицы за окном, и нет для неё иной формы присутствия, кроме Слова, произнесённого в молитвенной тишине.

МОНЕТКА

И приходит час: ломается что-то в тебе, в природе, и хотя последующие дни всё ещё красны, нет в них былого великолепия, а то, что есть, суть жалость к себе и тоска по уходящей жизни. Нынче ещё благодать, светит солнце и акварельно синееет воздух, небо над этим берегом Лены в редких клубящихся облаках, а над тем и вовсе чистое, голубое, но тени облаков с этого берега уже досягают и до противоположного и лежат на тамошнем диком угоре дышащими копиями, и много в этом глубокого значения и смысла.

Назавтра дует сквозной ветер, буравит дождливую наволоку над посёлком и свинцово-синюю рябь в реке, и в тайге за Леной с самого утра надрывно кричит кедровка. Идёшь со свежим горячим хлебом из магазина — на крышу соседнего дома реденько, пробно сыплются с тополей первые, уже пожелтевшие листья, притом что на дворе только середина июля. В тусклости ненастного позднего утра особенно печально это неприметное для мира падение, всякий раз чудится, что с каждым упавшим листом что-то источается в родном, милом, бесконечно дорогом, словно из тебя норовят вырвать побольней, как доску из забора.

И хочется, невозможно мечтается сделать что-нибудь доброе для людей! Написать, например, всем нужный рассказ. Или, как в детстве, найти по дороге волшебную монетку, не затем, что так уж деньги нужны, а чтобы — как в детстве, чтобы — для людей. Чтобы, выгнутая умиранием, не лопалась так грустно эта ранняя листва под ногами, а вывернув душу, как карман, смог положить на лобное место пусть не книжку, но какой-либо иной знак того, что ты жил, любя эту землю и этих людей, и на прощание если для чего и оставил свидетельство своей любви, то уж, конечно, не в память о себе, а в благодарность за годы, прожитые рядом.

ВО ВРЕМЕНА ЛЕРМОНТОВА

Во втором часу ночи — страшная гроза, метание синего металла и судорога электричества. Чернота на весь посёлок, чёрные деревья за вспученной рекой и чёрные нахлобученные тучи над крышами. И вот — сплошной, шумный, вдохновенный, сияющий каждой каплей в темноте! Бьёт наотмашь. Тяжёлые дробины, ударяясь о стёкла, лопаются, как сырые яйца. От воды, быстро натекающей с крыши, в жёлобе надуваются пузыри и с клёкотом, тесня друг друга, катятся воробьиной дракой. Под такой грохот и рокот жутко и хорошо спать, накрывшись с головой, вспоминая во сне неким особым умением памяти, что так же спокойно и умиротворённо было в утробе матери, меж тем как буря мира уже разыгралась и ждала твоего появления на свет...

Наутро сине, рассветно, заветно на земле, как в ранние мгновения жизни. Но и пусто, как во времена Лермонтова, и грустно, и некому руку подать. И ёжишься, умываясь в огородной бочке, и скорей бежишь в дом, наступая на склизкие выползки дождевых червей, которые вылезли на разбухший тротуар, где их осадили и убили чёрные садовые муравьи.

МАЛЬЧИК НА КАЧЕЛЯХ

Когда окончательно убедился, что писать, несмотря на все потуги, не смогу, выключил компьютер и вышел во двор. И увидел на детской площадке, по ту сторону дороги, мальчика лет восьми. Один-одинёшенек, он качался на качелях, и первые минуты казалось, что нет для него ничего дороже этого взмывания, а затем дыбящего душу стремительного падения вниз. Но внезапно он с силой затормозил, взрыв ботинком борозду в песке, и когда дощатые санки на двух железных прутьях не сразу, но остановились, поспешно слез, заправил рубаху и быстро-быстро пошёл через пустырь, отмахивая панамкой прыгающих кузнечиков...

И кто скажет, что стало причиной его беспокойства? Может быть, у него появились братик или сестрёнка, и ему как старшему стали уделять меньше внимания, и он прибежал на качели, чтобы вспомнить, как его, совсем маленького, подбрасывали и ловили мамины руки, но вскоре понял, что бывают в жизни невозвратные мгновения, и пока он ещё качался, а я любовался им, маленький человек неизвестно для окружающих перенёс первое глубокое разочарование, как переносят на ногах инфаркт, и хотя шёл потом к маме, не было в целом свете существа более несчастного и одинокого.

ЛЕТИТ АНГЕЛ

Сначала — шорох на крыльце; скрип, какой бывает, когда под башмаком камешек или стёклышко. Потом — брякнувшая замочная плашка (как будто кто-то впервые в жизни увидел её — или в первый раз дотянулся — и, ещё не зная о её назначении, приподнял, рассмотрел и уронил, и она стукнулась). Подождал (я) — не ослышался ли? Нет, не ослышался: в дверь — как если не кулаком, а игрушечным молоточком. Открыл — мальчик с пальчик, стриженный “под горшок”. Две ямочки на щеках — улыбается. Но и всамделишная, прямо-таки взрослая озабоченность:

— Мамка здесь? А где?

Уходя:

— А вы кто?

Шёл по двору, разя траву налево и направо гибким стеблем черёмухи. Китайская выцветшая маечка с драконом, подвёрнутое — на вырост — трико, хлябающие — тоже на два-три размера в запас — шлёпки. Надежда во всём — найти, подбежать, обхватить...

Через час — тот же шорох, скрип, стук. Только бряканья плашки не было. Открыл — снова он:

— Мамка здесь? А где?

“Мамка” — поселковая фельдшерица двадцати семи лет — фестивалит с подружками в соседнем посёлке. Мальчик ждал её дома, потом пошёл искать. И, наверное, забыл, что ко мне уже заглядывал. Или подумал, что пока его не было, “мамка” пришла.

Сказал ему, что мамка уже дома. Спыхватился! Поднимая выпавший прут — с тревогой:

— А вы кто?

В сумерках всё повторяется. Но уже ни шороха, ни скрипа, ни ямочек на щеках. Требовательный стук и в глазах — испуг:

— Мамка где? А вы кто?!

Ушёл, как ни задерживал. Колол темноту вокруг себя своей сабелькой. В этих стоптанных шлёпках на босу ногу...

Стоял на крыльце, не зажигая света. Смотрел, как он идёт по улице, подсвеченной лишь надворными фонарями, и тень его летит впереди — ангел с дротиком в руке. И вдруг так заломило — как если смерть завтра, лёгкая и ранняя, с ветром поутру! И надо успеть дописать свои записки, выкурить последнюю сигарету, позвонить и сказать что-нибудь хорошее маме...

И пока стоял и смотрел (мальчика уже не было видно, но ангел ещё летел), всё пытался разобраться в себе, выждать и понять: отчего это внезапное беспокойство?

Почему эта смертельная тоска, как будто уже никогда не увидишь?

И что тебе в этом мальчике и в том, что, может быть, больше не увидишь?

И зачем он так настойчиво спрашивал, кто ты, словно тоже хотел разобраться в себе, высмотреть и распознать в тебе что-то такое, что лишь одного его тревожило в этот миг и чего ты сам не видишь и не слышишь?

А когда запер дверь и стал ходить большими шагами, прислушиваясь к звукам на крыльце, явилась и вовсе неожиданная мысль: а если это был покойный брат? Что, если он продолжился в этом мальчике, как прежде — в лесу, в избушке, в охотничьих ловушках, в словах, в наклоне букв?

...Назавтра Александра — “мамка” этого мальчика — сказала, что весь вечер была дома. И соседка (позже) подтвердила, что застала её в огороде, когда приходила за спичками. Игорёк, сын Александры, поливал капусту из маленькой леечки, а после мультиков снял шлёпанцы и лёг спать.

И я понял. Всё своё вчерашнее беспокойство. Тоску свою. Брат это был. Мальчик тоже был. Но был и брат. И с того случая, оставаясь один, жду, когда за дверью снова заскрипит камешек или стёклышко. Отныне я знаю, что ответить этому мальчику. Теперь мне известно — кто я. Кто — он. Кто — все мы. Что вообще наша жизнь и смерть, если мальчик ищет маму, и летит ангел над вечерней дорогой, и ничего кроме этого нет.

“И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ...”

Читаешь ли классику, слушаешь ли рассказы стариков — всегда это мучительное чувство горечи: какие люди были! Не то, что нынешнее племя! Смелчал народ. Схудал. Одни глаза остались...

И ты, конечно, не стоял в стороне и сам вместе со своим народом — смелчал и против тех, вчерашних писателей, уже не составишь силу.

Всё это так. Всё это — правда. Не объедешь. Не сдвинешь.

И всё-таки вот ещё о чём я думаю: да — смелчал народ! Да — худал! Да — только глаза остались! Да — о тех, былинных, теперь знаешь разве что по книжкам и рассказам стариков! Но зато и счастливо совпало в твоей жизни — увидеть народ в смуте, когда самим временем, на кипящих перекатах истории этот народ испытывало, измалывало, измывало, источив основу, но и вымыв корни. И можно, конечно, напаять очки и брюзжать: дескать, многое прогляпили... выродился народишка... Федот, да не тот!.. А лучше раскинуть мозгами и увидеть, чем народ стоит, несмотря ни на какие жернова, медные трубы и гидротурбины истории.

А ещё то важно, что в этот трагический для твоего народа момент сам ты был юн и открыт, корнями наружу, и боль и любовь, крик и молчание, печаль и чаяния своего народа особенно остро воспринял обнажённой душой. И вы всё равно что схлестнулись, сплелись всеми вашими корнями, а поверх выросла крепкая заболонь, и в каждую щёлку затекла целебная смолка, спаяла навеки, так что вас уже не разорвать, а если и разорвать — трещина пройдёт сбоку, а не между.

РОДИНА

По ту сторону Лены — валы. Тянутся лентой вдоль реки. Когда-то лес на угоре свели под пашню. Годную древесину свезли на строительство, а пни, вершинник и прочий хлам столкали тракторами в один длинный ряд, под сопку, как бы очертив границу, за которую отступила тайга. Со временем всё это высохло. Издряхло. Обросло кустами шиповника, малины, смородины. Между светятся алым лепестки иван-чая. От них такая печаль на сердце, как будто прямо сейчас упадёшь, и тебя поднимут на руки, отнесут и положат в дикую траву, под это низкое небо, а когда вернуться с подводой, тебя уже там не будет, даже следа не найдут...

А на дворе август. Поспела ягода. Из деревни на валы идут с вёдрами в руках и горбовиками за спиной. Мужики, бабы, дети. Из тайги — медведи. От деревенских — пестрота разноцветных пластиковых вёдер и шум. От медведей — ископанные муравейники и намятые в кустах поляны. От тех и других — тропы. Всё утро в молодом осиннике рядом с валами злобно твякает “звонок” — маленькая домашняя собачонка, которую кто-то взял с собой. Кто там — человек или медведь — неизвестно. Да это и неважно. Никто не обращает внимания. Дядя Коля-бабки-Варин сидит на колоде и рвёт рясную красную смородину прямо в горбовик, подсыпая листьёв, чтобы досадить старухе, которой предстоит обдывать на противне и катать по яголке утиным пёрышком. Проходишь мимо в сторону лая — с самым серьёзным видом напутствует:

— Поднимешь мохнорылого — гони на баб или на сенокосчиков!

...Кто-то скажет, что о чём-то таком писали тысячу раз, и что ничего в этом нет. Да, наверное. И писали, и ничего нет. Всё это так. Но бывает у русского в жизни, когда всё — впервые, ибо впервые — до слёз. Тогда увидишь иван-чай на месте вековой тайги — и многое узнаешь о жизни, о смерти, о наших стараниях. А услышишь родное словечко — и полюбишь свой народ, словно встретились на узкой тропинке. И вот уже небо не столько низкое, сколько близкое, и смородина, как встарь, рифмуется с Родиной, и рифма ничуть не истрёпанная, западает в душу и горит, как эти красные ягоды на валах по ту сторону Лены, по эту сторону Леты. Отныне если даже и упадёшь, всё это с кем-нибудь опять повторится, как и до тебя повторялось не раз! Пусть и следа твоего не останется, но будет жить эта печаль, а с нею и русский человек. И собака, как прежде, будет лаять в осиннике, и не ты, кто-то другой пойдёт на её лай, но вдруг остановится и поймёт, что всё это когда-то происходило. И улыбнётся, покусывая горькую травинку.

ТРАВОЙ И ТЕЛОМ

1

Ехал на велосипеде в тонкой нейлоновой рубашке, которая приятно холодила тело, как если бы его обложили свежескошенной травой. А кусты черёмухи, свисшие над дорогой, обдавали вечерним трепетом, теплом листьев и самого дерева, напитавшегося за день солнечным светом. Особенно контрастно этот трепет и это тепло чувствовались теперь — в час, когда от земли уже поднималась ночная прохлада, а я ехал в нейлоновой рубашке. Ехал, в общем, от куста к кусту, словно от одной точки сконцентрированного тепла к другой. И для большего счастья, для пущего ощущения свободы и полёта не хватало одного — сигареты, чтобы с отмашкой курить на встречном ветру.

2

...На днях мама — с намёком:

— К нам в школу учительница приезжает. Девушка!

— И что? — спрашиваю.

— Ничего, так просто сказала! — а сама смотрит.

И у самого уже — то же ощущение полёта, что и во время езды на велосипеде! И прежнее желание — только уже не сигареты, а приезда этой неизвестной мне девушки. Этого ветренного ветра в моей жизни. Возвращённых семнадцати, тепла рук, прохлады свежескошенной травы...

3

Как там у Гандлевского?

*“Казбечину” с индийской коноплёй
Щелчком отбросив, вынуть парабеллум.
Смерть пахнет огородною землёй,
А первая любовь — травой и телом.*

КРАТКИЙ РОМАН*

...Была чуть выше, особенно — встав на каблуки. Любовалась собой, идущей над. Плывущей поверх моей коротко стриженной. И там, на крыльце, когда заворотил, — змеёй взвилась, оплела, ртом, языком жалиющим

* Даётся в сокращении из цензурных соображений. — Прим. автора.

настигла, впилась и не пускала, пока дядя Вася не зажѐг свет и не буркнул из сеней: “Ну вы чѐ тут, мышей ловите?!..”

...Любил, когда кормила из рук, сидя за спиной и обжав тонкими, как у кузнечихи, коленями. Голову кладя на плечо. Поднося ко рту красные арбузные нарезки и командуя: “Скажи “а-ам”!” И не было большего удовольствия, чем перебирать губами эти красивые смуглые пальцы, ссасывая сладкие капли. Целовать подушечки, ноготки, ласково царапать зубами. Смущать: “А теперь — где?..” — и самому смущаться её босым великолепьем, сняв, как шкурку с омуля, золотистый чулок.

...Всѐ в ней словно соединялось металлической спицей в узле её каштановых. Казалось: выдерни, как вилы из сена, — рассыплется воздушным, чутким, летним, и ветром ответит всѐ ненужное. Повалится в руки всеми своими распущенными. Позвонками девчоночьими, птичьими. Стекольным холодом кожи. И всякий раз требовательно отстранялась, торопливо застѣгивалась, неловко заведя руки между лопаток. Сидела волчонком, ершась и щерясь: “Ничѐ-ѐ!..”

...В тот вечер слушали музыку, как волшебной ниткой, соединѐнные маленькими наушниками, одними на двоих. Неожиданно скovyрнула свой динамик из уха. Стряхнула босоножки. Одну, другую. Залезла с ногами на кровать. И стало слышно, как в кнопочке, свисшей на проводке, томясь и тесня друг друга, толкаются далѐкие голоса.

— Я — сама... — когда поднырнул, вздел её светло-зелѐное и долго, щедро поцеловал сначала в загорелую, с пушком, шелковистую кожу с внутренней стороны бедра, потом — в сетчатую полупрозрачную ткань, запавшаую волнующей чѐрточкой. И сама, действительно, выгнулась, скомкала быстрым движением, отщипнув большими пальцами обеих рук, подоткнула под себя подушку, подвигаясь животом, и, словно бабочка крылья, разложила поджатые в коленях ноги.

...Лежали потом, пустые и усталые. Налипнув друг к другу влажной кожей, как две скошенные по росе травинки. Головами дышащими склонясь. Засышая. Себя забывшая...

Обманываясь тем, что это — навсегда. Всегда — этим цветкам, травам.

ВАРНЫЕ ДНИ

Над осиновым леском — солнце. Красное, длинное, как свешенный язык. Ветром теревит верхушку (уже потускневшую, но ещё не слезавшуюся) недавно смѐтанного зарода. Пыль на крыльце и в сенцах. Жажда грозы. Она вчера прогрохотала вдали, но посѐлок обошла стороной...

В среду докашивали. Нынче собирали. Травостой — никакой. Чахлые редкие былинки. Сгребли на одной лужайке — с грехом пополам, но выросла копѐшка. Счесали на другой — и того нету.

— Пустоту скрести, — сказал бы дед.

К обѐду вовсе пекло. Нетѐсовы от мала до велика гребут в белых косянках, и от этого, наверное, так бронзовы их лица и шеи. Подняли, поставили в валки, чтоб обдуло на ветру, — она, сама, уходит проверить хозяйство, ребяташки Кешка с Тонькой отпрашиваются на речку, а Нетѐсов заводит мотоблок, принимается за нескошенные делянки. Идѐт по лугу, а под ногами у него взрываются сухие облачка пыли, когда скосит муравейник или нарыпую землеройкой горку летучей луговой земли...

— Варные дни, — сказала бы бабушка.

“Дзнь! Дзнь! Дзнь!” Это черниговский Петька катится на велосипеде, полиэтиленовый двуручный пакет с обедом надет на руль. Окликает Фомичѐву Татьяну, уже немолодую приезжую женщину, которая ворошит сено на задах, сразу за избой, то и дело кладя грабли поперѐк вала и доставая платок, чтоб утереться:

— Ну как, Татьяна, покос? Ништяк?!

Приехал к отцу, который с утра подцепил грабли и поехал грести, а тот, обратав низину за силосной ямой, возле электроподстанции, сидит возле трактора, на поляночке, накрыв голову газетой...

За Петькой бежит младшая сестра Инга в голубеньком платишке, в тапочках на босу ногу. С куском солёного хлеба в руке. Русая, соломенная! Зовёт бычка, пасущегося на меже:

— Быча, быча! На-ка чо дам...

Томшина со своим Оковалком обчесали покать у свинарника и теперь отдыхают в тени за “газиком”, отпахнув дверцу, дабы тень была просторней. Сидят прямо на траве, вытянув ноги. Пьют из термоса. Едят хрустящие огурцы. А выше по лугу гребёт какая-то неизвестная чепушила, вся в белом, в белой широкополой панаме, в белых шароварах...

— Всюду родимую Русь узнаю, — сказал бы Некрасов.

ПЕСНЯ

Пробрело на пастбище деревенское стадо, харкнул выхлопной трубой трескучий мотоцикл пастуха, скрываясь в лугах за огородами, осела пыль на дороге — поехали с Петрованом за сеном.

Заезжали за телегой: большой крепкий пятистенок на фундаменте, рубиново-красные — из морёных листовниц — столбы ворот с парадным двускатным козырьком, каждая досочка выбрана по краю изыщной фасочкой. Сбоку — кнопка электрического звонка, накрытая лоскутом резины. Петрован нажал — отворила женщина в цветном, напоила из ковша, а пока пили, вынула затычину — толстый деревянный засов. Ворота, как створки ларца, запахнулись: подворье раздольное, ладное, с летней кухней-поваркой в центре, с собакой у амбара и гроздьями мокрых сверкающих склянок, надёрнутых на штaketник. С крыльцом — высоким, синим, остеклённым с боков, чтоб не секли дождь и снег! Живи, как говорится, и радуйся, имей жену, детей, не пей, не будь писателем, приходи с пашни — уставшим, но с толком прожившим день, сиди на пуфике у порога, закрыв глаза. И доча, шлёпая босыми ногами, поднесёт кружку молока с кремово-жёлтой пенкой по ободочку...

И снова меня очень взволновало: русский быт, старые наши избы, ум былой крестьянской жизни! Но и разрушение всего, невозможность окликнуть, придержать за рукав, поклониться в пояс и сказать: “Останься! Ноги мыть буду...”

Спасибо, день разыгрался по-летнему жаркий, с солнцем и облаками, с граем воробьиным и лаем собак. Уже не ночной влагой, а пылью пахло от вчерашней кошенины. Воздух гудел, живя жизнью тысяч насекомых. На косогоре за перелеском, где когда-то были колхозные, после совхозные пашни, которые нынче задурили, рокотал самодельный трактор с красной фанерной кабиной. Это Осипов косил свою деляну. Косилочные ножницы блестели, напшифованные, сквозь зелен падающей травы. Хотя какая там зелень на ветряном солнечном юру — слёзы одни, лишь с большой площади и наберёшь! А пуще скребёшь пустоту, волоча ещё на корню иссохшие былинки или свалывшуюся в бороду заросль мышиноного гороха с чёрными впалыми стручками...

Петрован, пока мы размётывали кошны и сгружали в телегу, всё смотрел, как Осипов косит. Заметив, что меня привлекло его внимание к такой, в сущности, обыденной картине, смутился и словно в оправдание себе сказал:

— Милое дело — роторная косилка! Ею и этот молодой сосняк на пашнях скосить можно. Чо не можно-то? Скосить, так оставить, за год-два перегниёт — ещё даже лучше родиться будет. Рожь ли, пшеница. Попрёт, как на опаре...

Вывезли и отметали в сеновал первую телегу — собрались за второй, тем более что солнце было ещё высоко, да и погода позволяла. Но возница наш отлучался, а вернулся гораздо веселее, чем ушёл, вдобавок с неистребимым желанием высказать каждому встречному-поперечному, кто тот есть на самом деле. Словом, пока-а завели с ним, пьяненьким, заглохший и уже остывший “Беларусь”, испробовав дюжину свечей зажигания, которые забрасывало топливом, так что пропадала искра; пока-а Петрован накурился до посинения, сидя на лавочке возле дома и бахвалясь тем, что просыпается

раньше всех в деревне, между тем как вшивая интеллигенция вроде меня вытряхивается из постели, когда петухи давно пропели; пока-а напился чаю у сеструхи, к которой его повлекло по какому-то якобы неотложному делу... “Смеркалось. Петровна всё не было...” — можно было бы написать в рассказе.

Рассказа, впрочем, тоже нет, притом что уже не раз и вставало, и садилось моё солнышко, и вместе с ним то подступала, то уходила не солоно хлебавши любимая с детства деревенская Россия. А я всё молчал, не находя слов ни для встречи с ней, ни для расставания и мучась тем, что нечем ответить мне на её избы, ворота, женщин, море в запотевшем ковше, и больше всего боялся, что так-то вот однажды если не захлебнусь в часы её прилива, то упаду с порванным сердцем, и не спою её так, как могу, как надо, как обязан спеть и, может быть, ради этой песни живу на земле.

ВСЁ ТИШЕ ДУДОЧКА ПОЁТ

Со стороны ДК — музыка: празднуют День села. С начала нулевых повелось — справлять в последнее воскресенье июля или, как нынче, в первую субботу августа. Старики сказали бы: “Имя, падлым, на пашню надо, а не костями дрыгать!..” Но старики поумирали, пашни — заросли, нет ни словам, ни земле никакой веры. Зато уже с утра над центральной улицей — разноцветные ленточки на шпагате, от столба к столбу. Трепещут на ветру. Большое крыльцо, пристроенное к глухой стене клуба, украшено воздушными шарами. Это уличная сцена. На неё вынесли громоздкие, ещё советские усилители звука, чтобы и в Москве знали: в Казарках пальцы веером и дым коромыслом.

Под вечер к клубу идут и идут, а ребятишки и вовсе бегут, теряя шлёпанцы. Вот столпились на пустыре, где в девяностые сажали картошку, а с недавних пор открыли дворовую танцплощадку с рядами лавок напротив сцены. Чадят мангалы — дымные, едкие. И уже кое-кто ходит с первыми горячими шашлыками, снизанными на деревянные шампуры. Дети прыгают на батутах — специально привезли из города, 150 рублей за 10 минут пользования, или покупают в палатке сахарную вату на палочке, рвут сладкое облако, вгрызаясь до ушей. Местные коммерсанты сдвинули столы и выставили товары. Жёны рыбаков соорудили прилавки из перевёрнутых картонных коробок, торгуют копчёными хариусами (80-100 рэ за хвост). Взрослые хлещут водку. Молодёжь — пиво и коктейли. Из районного Дома культуры пожаловали гости — гвозди вечера. Опаздывают, курят на ходу. Артисты — в помятых брючках, с красными носами и крупными порами на спитых лицах. Артистки — крашенные, хриплые, толстые. Приплясывают, как проститутки на морозе, горланят Пугачёву и Стаса Михайлова. Старухи, послушав песню-другую, разбредаются восвояси. Прижимаются к заборам: туда-сюда гоняют машины и мотоциклы. Смех, веселье, визг! В полночь — огненные брызги над посёлком...

Вообще, грустно. С детства не любил праздников, тем более таких вот — с дешёвой помпой, с благодарственными письмами по случаю, с речами, с целованием тружеников тыла и распеванием пошлых песенок:

Ты меня любишь?

Из первого ряда (в котором полно учителей, в основном — старше сорока) — дружно, азартно:

А-га-а!

Снова со сцены — игриво, вертя кобыльим задом:

А ты со мной будешь?!

Ещё громче, ещё согласней в ответ:

А-а-га-а-а!!!

...С огромной болью чувствую собственное старение, уход грядущий, бесконечный чёрный тоннель впереди да белую маковку лесной черёмухи, которая, пожалуй, одна лишь и помашет вослед. И никогда так тяжело не переживаю одиночество, как в дни народных гуляний, которые на поверку и не гуляния вовсе, а вот уж истинно — массовые мероприятия, бесовская сбегица на скорую руку. Тогда — ржач у клуба и праздничный салют в небе! А старухи идут, прижимаясь к заборам. И всё тише поёт моя дудочка. Всё громче печаль оттого, что не с кем разделить радость от её едва слышного пения. Безжалостней скорбь, ведь и саму дудочку передать некому...

Бог мой, кому они подпевают?

БОСИКОМ ПО ТРАВЕ

Вчера наконец-то был хороший дождь. Налил бочки и даже немного пополнил Лену, которая от засухи двух последних недель совсем приуныла, и танкера идут, на перекатах со скрежетом бороздя дно, выпрастывая за собой шлейфы мутной воды. А нынче с утра — свежайший ветер! Как в сентябре. И яркая-яркая густая синева, тоже почти осенняя. Мокрая зелень — повсюду. Рябая от мелких волн и как будто засвинцовевшая Лена. И ни одной тучки весь день! Спуститься к реке — лодки, чайки, бакены. Ветром пенит на спине выпущенную рубашку. Рубашка хлопочет, холодит. Ощущение сильное, тревожное, умоляющее...

И что-то грустно, как всегда в эту пору, когда в природе отчётливо прорисуетса осеннее. Всё боишься что-то важное потерять, и знаешь, что каждый миг теряешь, и ничего поделать нельзя. И снова душит неудовлетворённость собственной жизнью, в которой никем ни для кого не стал: ни матери любимым сыном, ни женщине любимым мужчиной, ни читателю любимым автором.

Хочется снять кроссовки и босиком, как в детстве, уйти по траве.

РОБИНЗОНЫ

Больше суток то накрапывал, то хлестал, клохча в жёлобе, дождь. И вот с вечера перестал. А нынче пасмурно, небо с поволокой. Лес дымно курится, особенно в распадках и на склонах сопок. Деревья ярко-зелёные, глянцевые, как на цветной фотобумаге, ещё сырой от проявителя, и какую-нибудь отволгшую, тем больше почерневшую сухостоину с обвисшей корой видно издалека.

Дождя нет, но временами сеется мокрая пыль. Без ветра дрожат листья рябины и некоторые уже сворачивают на осеннюю желть с характерной пурпурной краснотой, похожей на ту, что бывает на коже от горчичника. На листах капусты переливаются капельками оловянной полуды бусины вчерашнего дождя. А у забора едва зримо колеблется кусток полыни, и если растереть в пальцах, потянет невозможно пронзительным, горьким, таким, что спай в горле...

Нет, всё-таки хорошо жить! И сколь грустно оттого, что дни жизни так скоро проходят. Вот и пролистывая нынче фотографии, беспорядочно сохранённые в компьютере, невольно вздохнул: одни снимки — двухнедельной давности, другие — двухгодичной, а никакой разницы нет. Всё как будто вчера было: текла вода в весеннем лесу, бежала собака по разбитой лесовозной дороге, а бабочка сидела на пороге рыбацкой избушки и, казалось, жмурилась от утреннего света, бьющего в открытую дверь, как мы щуримся от него, рождаясь, и так до последнего дня, когда дверь закроют.

Ещё раньше, с утра, посмотрел “Робинзона Крузо” в экранизации Говорухина, с Куравлёвым в главной роли. Фильм наивный, слабый, но сыграно и снято талантливо, с сердцем и душой. И столь предельно близок теперь человек на безлюдном острове, хотя в детстве, когда читал книгу, не замечал никакого родства! И полынь ещё так пахнет после дождя, и Земля с этим вот посёлком на берегу Лены тем дороже, что не навсегда дана тебе. И все мы, в общем, в известном смысле робинзоны, живущие в ожидании возвращения, так что, отправляясь в путь, пожалеем, быть может, лишь об этом запахе полыни как незначительном признаке того, что мы всё-таки были.

СИЛА

Нечаянно вспомнилось из школьной поры, как летом, во время каникул, рубил в тайге ловушки на соболя, готовясь к зимнему промыслу. И в корнях большой рослой ёлки вырыл какой-то старинной выплавки бутылку из толстого зелёного стекла. И всё ворохнулось: откуда она?! Записки в ней не было. Но в самом обнаружении этой бутылки было что-то мистическое, провиденциальное, как будто сама земля подсовывала некие приметы прежней жизни, какого-то давнишнего мира, и ты через эти предметы словно прикоснулся к тому давнишнему миру, к той прежней жизни, в которой остались твои предки, откуда растут твои корни, может быть, вообще всё твоё, а прикоснувшись, услышал то, что земля говорила тебе этой бутылкой. И тогда очень согласно вошло ощущение первородной силы, скрепы, соединяющей века и поколения, памяти, зрящей сквозь плоть, языка, звучащего ныне и присно. И так же спокойно, ровно явилось понимание, что род человеческий бессмертен, пока живёт в тебе эта сила.

(Окончание следует)

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА



ПЕРЕЛЁТНЫЕ РЕЙСЫ

* * *

Тучное небо над старым железным вокзалом.
Локомотивы — как будто двуглавые птицы.
Дизельным маслом натёрты полозья и спицы —
Легче скользится из кузни в литейную залу.
Птицы в ремонте. Их перья — в почистке, в починке.
Ставят колёса, меняют цилиндры, каретки.
Есть, говорят, к океанам железные ветки.
Значит, пора снаряжаться по южным тропинкам.
Значит, не время сидеть у окна над котельной:
Семь стеллажей и сливовое дерево в кадке.
Стулья без спинок — они не боятся усадки.
Есть, говорят, к океанам фургон карусельный.
Есть, говорят, к океанам канатные рельсы.
Кран мостовой не под крышей скользит, а под тучей.
Есть, говорят, магистрали — железной и круче,
Там, где беззвучно стучат перелётные рейсы.

* * *

Мне кажется, если к тебе прикоснуться словами —
Господь поразит язык.
Метель, а в корзине младенец. Барашки, солома.
Я только в гостях, но когда-нибудь буду как дома.

ИВАНОВА Наталья Аркадьевна родилась в г. Октябрьском (Башкортостан). Училась в Литературном институте им. М. Горького. Стихи и проза публиковались в "Литературной газете", "Дне литературы", в журнале "Аргамак", в альманахах "День поэзии", "ЛитЭРА", "Пятью пять", "Артбухта" и др. Автор поэтической книги "Имя ласточки горной". Живёт в Москве.

На ёлках звенят колокольца... Когда-нибудь встану впритык
К воротам, к просящим — в заснеженных шаялах-тулупах.
Монетки-ладошки... За каждую: “Дай-то вам Бог...”
Канатом в иголку паломники разных эпох
До самой Канавки проходят и щедро, и скупо.
Сосед мой безногий на ящиках стелет ковры:
В них — ладан, и масло, и мёд, и товары младенцам.
Идёшь на Голгофу — протянут тебе полотенце.
Идёшь в Вифлеем — обозначат звезду и дары.
Но будем, как дети, как сёстры, сухарики печь.
Пшеничные, квасные — ставить в чугунные ниши.
Горчичные зёрна... Волшебные палочки свеч...
И бисер снежинок — под ноги... под крылья... под крыши...

* * *

Аня, вот подсвечник, мне не жалко.
Воск горячий, воздух обожжён.
Я — за маслом, детским одеялком...
Ты — среди разумных жён.
Аня, Мой Жених придёт и спросит:
“Чей подсвечник?”.

Покажи ему
пальцы — от свечей в кровавой оспе,
волосы — в свечном дыму.
Ты одна Его ждала бессрочно,
сторожила Свет...

А мне опять —
отливать подсвечник, шляться ночью
и младенца ждать.

* * *

Мой герой был — рыжий, влюблённый, честный.
Только он подрос — корабли, моря.
Если где и бросит свои якоря,
то — всегда не местный.

На меня посмотрит: “А, это ты,
мы ловили пламя сачком рыбацким...
А потом трамваем — до фабрик ткацких,
поискать бинты...”

Ты уже научилась смотреть под ноги?
Или всё — на верхушки клёнов да на ворон.
И по-прежнему веришь, что каждый в тебя влюблён?
Забинтуй ожоги”.

Улыбнётся дерзко и подмигнёт,
а потом исчезнет и не вернётся.
Я встаю по солнцу, ложусь по солнцу.
И оно не жжёт.

А соседка сетует: “Вот, не жалела семья ремня.
Работающая — а ни судьбы, ни драмы...”
Разверну капрон посмотреть на шрамы —
Чур, меня!

ИРИНА МИХАЙЛОВА



ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

ПОВЕСТЬ

1

Школа, в которую я пошла работать сразу после Литературного института, находится в посёлке Калинина — самом неблагополучном районе Люберец. Раньше я даже не слышала о нём. Я родилась в центре города — в сталинской пятиэтажке, с высокими потолками и большими комнатами. Училась в Первой люберецкой гимназии, в классе, где учиться плохо считалось позором и где равнялись только на отличников, хотя тайно их ненавидели и завидовали им. Поэтому я не могла себе даже представить, что где-то может быть иначе.

Посёлок появился в советское время, когда в этом районе было принято решение построить завод имени Ухтомского. Он и построил этот район — бараки, в которых жили первые рабочие, завезённые сюда большей частью из других, более отдалённых городов, постепенно сменили на панельные и кирпичные пятиэтажки, затем появились больница, техникум и, наконец, школа. В эту школу я и решила устроиться работать учителем.

Ещё лето, и в школе никого нет — тихо и хорошо. Директор быстро представляется — учитель французского и физики. Он кивает мне на стул, а сам берёт диплом, долго его рассматривает. Мне становится неловко. Я сижу

МИХАЙЛОВА Ирина Евгеньевна родилась в 1986 году в подмосковных Люберцах. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Публиковалась в журналах и альманахах "Дальний Восток", "Зелёный бульвар", "Сибирские огни", "Пятью пять", "Нижний Новгород", "Наш современник", "Юность", "Роман-газета" и других. Лауреат международной литературной премии "Радуга" в номинации "Молодой автор года". Член Союза писателей Москвы и Союза писателей России. Работает учителем русского языка и литературы. Живёт в Москве.

в белой рубашке и брюках, к которым ещё не привыкла, чемоданчик сжимаю так, будто его хотят отобрать. В кабинете жарко, мои ладони потеют, и я думаю — если мне нужно будет что-то подписать, ручка просто выскользнет.

— Зачем тебе школа? — спрашивает директор так устало, словно ему всё это так же не нужно, как и мне. — Со своим дипломом ты можешь работать в любом журнале. А у нас небольшая зарплата и классы непростые.

— Я согласна.

— Детей мы берём со всего района. Вот какие есть — таких и берём. Не все молодые учителя справляются. Тебе это надо? Шла бы в колледж. Там попроще.

— Я хочу работать с детьми, — отвечаю заученной фразой.

Он молчит. Не знает, что ещё придумать, чтобы я отказалась.

— Ты уже работала с детьми?

— Нет.

— Как же ты собираешься их учить?

Мне хочется спросить — а как он сам их учит? Но я только пожимаю плечами. Удивительно — он отговаривает меня. Директор школы вместо того, чтобы сказать стандартное “мы вам позвоним”, меня отговаривает.

— Вы не хотите меня брать? — спрашиваю.

— Не хочу. Дети привыкнут, а ты сбежишь через неделю. Придётся опять кого-то искать. Почему Литературный институт? — опять смотрит в диплом. — Хочешь стать писателем?

— Возможно.

— Ладно, — отдаёт мне документы, — может быть, тебе будет легче понять этих детей. Ты не так уж далеко ушла от них.

Может быть. Может быть. На самом деле, мне всё равно. Я не собираюсь их понимать. Мне нужно, чтобы меня оставили в покое, — вот и всё, что мне нужно. Эта школа, скрытая в посёлке от всего остального мира, кажется мне самой подходящей. До всего остального мне нет абсолютно никакого дела.

Я выхожу на улицу и вдруг чувствую — через неделю осень. Лето позади. Всё пойдёт по кругу. Заново. И я стараюсь запомнить дорогу сюда.

Мне дали три класса — два пятых и один восьмой. В восьмом — классное руководство. Мой кабинет — в конце длинного, словно тюремного, коридора. С левой стороны — большие окна в деревянных рамах, с мутными стёклами и пыльными занавесками. Справа — туалет для девочек, директорская, совмещённая с секретарской, кабинет математики, следом — истории и потом — мой. Я захожу и плотно закрываю за собой дверь.

Мой кабинет именно такой, какие я всегда терпеть не могла. Зелёные стены, сверху на четверть побелённые, салатовые шторы, желтоватые батареи, потолок в разводах, страшный огромный вентиляционный короб, который свисает с потолка. Я поддвигаю парту ближе к подоконнику, на парту ставлю стул и залезаю на него. Шторы пахнут пылью, она накопилась в них за целый год. Я снимаю их и скидываю на пол — они светло-зелёной кучкой теперь лежат внизу.

Шкаф в конце кабинета завален какими-то бумагами, старыми тетрадами, портретами писателей, книгами, учебниками. Я роюсь в них и нахожу несколько плакатов со сложными предложениями и портрет Лермонтова.

Всё это я пытаюсь развесить в моём новом классе. Вешаю прямо на стены, на скотч, около доски. Пока это всё, что висит в моём кабинете. Я сбрасываю шторы, засовываю их в пакет и, точно вор, иду к выходу.

* * *

Мама съехала летом, пока меня не было дома. Почти все свои вещи она забрала с собой — их за всю мамину жизнь здесь оказалось не так много. Что мама не взяла — так и осталось валяться по углам, словно разбросанное нарочно. Я собрала юбки и блузки в большой пакет и поставила у выхода.

Сегодня вечером мама осталась у меня ночевать. Мы ложимся в одной комнате. Совсем как раньше.

— Как вы живёте? — спрашиваю.

Мама познакомилась с Сашей год назад. Через полгода после развода с моим отцом. Он тоже был разведён. Работал грузчиком на складе, где работала сама мама. Там и познакомилась. Она тогда привела его в нашу квартиру, и он мне ужасно не понравился. Огромный рост, большие, как у великана, руки, грубый громкий голос, словно он всё время пытался кого-то перекричать, манера на всё отвечать: “Ничего, прорвёмся!” — точно мы на войне. Нисколько не похож на моего отца. Мой отец невысокий, молчаливый, тихий. А этот — верзила. Когда он заходил к нам, приносил с собой вой и шум тысяч заводских труб. Он так некстати смотрелся в нашей маленькой квартире, словно не помещался в ней.

— Надеюсь, он не будет жить с нами, — сказала тогда я. — Мне бы не хотелось такого отца.

— У тебя уже есть один, — ответила мама.

Они сняли комнату. Мне казалось естественным и правильным, что уходит она, а не я. С тех пор, как мама ушла, мы почти не говорили друг с другом.

Я отворачиваюсь к стене и слушаю, как дышит мама. Мне всегда было спокойно от того, что она спала рядом, и всё казалось таким простым и разрешимым. Любая проблема тут же растворялась, когда я ложилась и просто слушала.

— Уснула? — мамин шёпот.

Я молчу, и она отворачивается. Чувствую — она крестится на ночь. И, наверное, крестит меня. Она не особо верит, не ходит в церковь, но думает, что это может помочь. А я верю, но иногда мне кажется, что не может.

2

Отец приехал, когда Вика окончила седьмой класс. Приехал неожиданно, на своей фуре, в конце лета, не позвонив, впервые за год. Вика не сразу узнала его.

— Иди, встречай, — говорит ей бабушка. Она первая увидела его в окно. Начинает тут же накрывать на стол. — Иди, чего стоишь?

Вика не хочет. Ей кажется, что что-то случилось, что отец не приехал бы просто так. Он не звонит в дверь и даже не стучит — заходит так. Дверь в маленьком Балашове закрывается только на ночь. Он сразу приносит в дом незнакомые запахи, суету, шум.

— Вы всё не запираетесь? — смеётся он. Громко, и Вике кажется — как-то неестественно.

Он на неё почти не смотрит, проходит сразу на кухню. Медленно раздевается. Потом снимает футболку, бросает прямо на пол. Вика её подбирает, относит в ванную. От неё пахнет машиной и мужским запахом, от которого она отвыкла.

— А чего у нас брать-то? — бабушка толкает внучку. — Иди, собери на стол в комнате. Не здесь же сидеть.

Вика из комнаты наблюдает, как отец долго умывается, моет руки, плечи, наклонившись над раковиной.

— А чего Наталью не привёз? — кричит бабушка с кухни. — Пожили бы.

— Работает Наташка.

Бабушка молчит. Злится, что приехал один, без жены — её дочери. Со-скупилась. Не видела год. А раз не привёз — до следующего лета уже не увидит.

Отец, не одеваясь, в одних трусах, проходит в комнату, садится в кресло у стола.

— Пятнадцать часов ехал, — говорит, — устал.

Бабушка собирает на стол всё, что есть. К концу августа уже готово варенье, солёные огурцы, маринованный чеснок.

— Когда обратно? — спрашивает бабушка.

— Завтра надо выехать.

— А чего так скоро?

— Работа у меня. Один день простоя здесь — пять тысяч там теряю.

Вика смотрит на отца, как на незнакомого. Она помнит черты его лица — нос почти такой же, как у неё. Плечи, широкие скулы. Цвет его глаз, его руки — большие, мужские, с синими проступающими венами. Помнит его голос — не такой, как по телефону — низкий, хриплый, точно при простуде.

Отец быстро ест, словно торопится. Без хлеба, не дождавшись чая. Наверное, так привык в Москве. Потом отодвигает тарелку и закуривает прямо в комнате. Бабушка прикрывает дверь, но Вика слышит её шёпот.

— У ребёнка-то спросил — хочет она ехать? А то решили они... Девочка выросла, друзья у неё тут.

— Там найдёт.

— Всё у тебя легко!

Значит, он приехал за ней. Она всегда знала, что приедет отец и заберёт её. Через год или два. Или когда она окончит школу. Она знала, что он не вернётся сюда жить. Никто не возвращается из Москвы обратно.

— Ну что, — отец заходит в комнату, обнимает Вику за плечи. Не так, как обнимал раньше. По-другому. — Завтра поедem.

Говорит как-то неуверенно. Точно просит. Хотя он не привык ничего просить.

— Что я буду там делать? — спрашивает Вика.

— А здесь ты что делаешь?

— Живу.

— И там жизнь.

Он стоит и не знает, что ещё сказать.

— У меня там никого нет, — говорит Вика.

— А что у тебя здесь? — отец садится на кровать, опять закуривает и стряхивает пепел на пол. От него пахнет клековенной настойкой и одеколоном. — В этом болоте? Что у тебя здесь? Девять квадратных метров? — отец окидывает глазами комнату, которую видел много раз. — И бабка. А другого ведь не будет. Никогда. Ничего не будет. — Он притягивает Вику за руку, и она садится с ним рядом. — Ты знаешь, какие там дома, какие там люди? Они всё могут. Всё, что захотят. Что ты здесь можешь? Ничего. А там — там всё есть. Всё. Деньги там валяются под ногами. Тысячи. Только поднимай. Я могу так раскрутиться! Я там квартиру отдельную снял. В Люберцах. От Москвы недалеко. Потом что-нибудь ещё придумаем. Ну, что у тебя здесь?

Вика молчит и вдруг понимает — он ничего не знает о ней. Как она будет жить с ним?

Хорошо, что летом никого из друзей нет. Ей пришлось бы как-то прощаться. А она хотела бы оставить им всем записку: “Я уехала, а вы остались”. Им всем. Учителям, одноклассникам, друзьям. Они все останутся здесь. Навсегда. Им некуда ехать. У них ничего не будет. А она сюда никогда не вернётся.словно она умерла, словно её никогда не было в этом городе, на этой улице. Они пойдут по своим делам, своими дорогами. Вика знает их наизусть. Они все знают их наизусть. И могут ходить по ним с закрытыми глазами. А у неё будет своя дорога. Много дорог. Сотни. Их в Москве не сосчитать.

Из её класса ещё никто никуда не уезжал. Она будет первой.

3

Утром, перед своим первым днём в школе, я жутко волнуясь. Открываю ящик стола, где храню сигареты, зажигалку, блюдце вместо пепельницы. Мама не любила, когда я курю в квартире, — приходилось прятать. Сейчас, когда мама живёт отдельно, прячу по привычке.

Закуриваю. Наливаю чай. Капаю в блюдце, чтобы не дымило. Выходить

через тридцать минут. Думаю, что надеть. У меня и одежды подходящей нет. Только майки, джинсы, кеды, как у подростка. Ищу джинсы попримличней, без потёртостей и рваных карманов. Потом передумываю, надеваю брюки. Вроде ничего. На учителя, конечно, всё равно не похожа.

Смотрю в зеркало. Маленького роста, улыбка какая-то кривая, волосы короткие — надо бы отрастить. Сутулюсь. Выпрямляю спину. Ну, и какой я учитель? Я бы никогда не взяла себя в эту школу, ни в какую школу. Видно, у них совсем там дела плохи, раз берут такую, как я.

Школа недалеко, и я иду пешком мимо церкви. Ещё нет восьми, но уже бьют колокола. Тревожно и зыбко. Никого нет, и от этого колокола бьют сильнее и тревожнее. Словно хотят кого-то разбудить. Какая-то девушка стоит перед входом в церковные ворота, но не заходит. Долго крестится. Вид у неё — словно решается на что-то.

Я давно не заходила в церковь. И, наверное, тоже стояла так, думая, что меня никто не видит. Я иду мимо. Мимо бесконечного звона этих колоколов, от которых кружится голова, и всё вокруг превращается в бессмысленный поток никому не нужных воспоминаний.

Мне семь лет. Бабушка спрашивает — знаю ли я какую-нибудь молитву. А я не знаю ни одной. Тогда она берёт толстую книгу, всю исписанную от руки, выбирает и долго, нараспев, несколько раз, читает мне “Отче наш”.

— Я умру, а ты будешь молиться за меня, — говорит она.

Она умерла, когда я пошла в девятый класс, но я ни разу не молилась за неё.

В школе уже полно народу. Бегут куда-то по своим делам. Я не могу понять, кто из них родители, кто — учителя, а кто — дети. И как найти свой класс — не имею представления. Я ещё никого не знаю. Стою посреди коридора с нелепой табличкой, на которой синим цветом написано 8 А.

Из актовом зала выходят люди. Обходят меня, идут по своим классам, не обращают на меня никакого внимания. Кажется, почти все вышли, никого не осталось, и я стою одна.

— Нам к вам идти? — Она кажется старше меня, но я догадываюсь — ей всего четырнадцать, и она, похоже, в моём классе.

— Видимо, да, — отвечаю я. — Больше здесь никого нет.

— Тогда я зову остальных. — Она уходит, но оборачивается. — Уберите эту табличку. Это смешно.

Я долго не могу открыть ключом дверь своего кабинета. Пока, наконец, один из парней не ударяет по ней кулаком.

Я как учитель захожу первой. Они — сразу за мной. Садятся подальше от меня, по трое и по четверо за одну парту. Болтают, смеются. Лето прошло, давно не виделись, новостей много.

Первый урок — классный час. Но я совершенно не знаю, что им говорить. Поэтому просто пишу на доске своё имя и отчество. Получается плохо, криво, не так, как должно быть. И отчество такое длинное, что не помещается в одну строчку. Я боюсь сделать ошибку. Стираю. Пишу заново.

Они сидят за пустыми партами, сбившись вместе, точно перед опасностью. Начинают шуметь — кто-то смеётся в голос, кто-то включает ролики на телефоне, кто-то толкается, кто-то громко кричит, пытаюсь кого-то переспорить.

— Сядьте, пожалуйста, по двое! — Я начинаю их перекрикивать.

Но они не двигаются с места.

— Сядьте по двое! — кричу я ещё громче, но никакого результата нет.

— Достаньте, пожалуйста, дневники! — Я отчаянно пытаюсь перекричать шум. — Вы должны записать новое расписание!

Стало только хуже.

— У меня нет дневника! — кричит один.

— Я ещё не купил! — второй.

— Зачем он вообще нужен?

— Напишите на доске — мы сфоткаем.

— Хорошо! Хорошо! — сдаюсь я. — Не надо дневников. Я раздам листочки. Запишите на них.

Но они опять выкрикивают, как будто не умеют говорить тихо.

— У меня нет ручки!

— Дайте ручку!

— У кого есть?

Теперь крики перемешиваются с громким смехом.

— Я дам ручки! — Я уже не замечаю, как тоже кричу. — Передавайте друг другу. Я запишу расписание на доске.

Я отдаю им все ручки, какие были у меня, и долго, медленно вывожу на доске их расписание уроков. Я исписала всю доску, но, когда оборачиваюсь, вижу, что никто ничего за мной не записывал. Многие сделали из моих листочков самолётики и бросают ими друг в друга. Вспоминаю, что должна зачитать им правила поведения в школе, а они должны послушать и расписаться. Но я уже понимаю, что послушать и расписаться будет сложно.

— Я зачитаю вам правила поведения, — беру распечатку. — Пожалуйста, послушайте. Вы должны приходите не позднее восьми пятнадцати. Вы не должны опаздывать на уроки. У вас должна быть с собой сменная обувь и физкультурная форма, если она нужна... Вы должны...

Я пробиралась сквозь шум и голоса двадцати человек, словно путешественник в тропиках через заросли и топи. Но меня абсолютно никто не слушает. Наконец, тот парень, который открыл дверь кулаком, встал, подошёл ко мне, забрал эту распечатку.

— Но я ещё не прочитала, — попыталась возразить я.

Он обернулся ко мне.

— Мы должны расписаться? — спросил он. — Тогда вы уже перестанете орать?

Я машинально кивнула. Тогда он расписался в ней и передал остальным, а я продолжала растерянно стоять у доски.

— Да вы не старайтесь, — слышу я голос, — вы у нас уже третья. Так что вы тоже долго не задержитесь.

Девчонка сидит на второй парте и смотрит на меня открыто. Длинные тёмно-русые волосы, зелёные глаза. Сидит с мальчиком, держит его за руку. Он ей быстро надоеет — она знает это, но ей нравится держать его за руку, чтобы все видели. Парень сидит у самого окна. Он в наушниках, смотрит что-то в телефоне. Видимо, пришёл просто отсидеть своё время, чтобы ему не поставили пропуск. Ещё два парня стоят у стены и о чём-то агрессивно спорят, вот-вот подерутся. Две девчонки отгородились планшетом. Ещё одна громко ищет зарядку для телефона, залезая во все сумки.

Я смотрю на них — пока для меня это просто строчки в журнале. В этой массе без имён и фамилий я ещё никого не различаю, но они уже мне не нравятся.

Тихая и очень спокойная завуч по средней школе садится за парту. Она ведёт биологию, в основном, в старших классах. У неё неторопливая правильная речь, тихий голос, спокойная интонация. Именно так я себе всегда представляла учителя биологии, разбирающего клетки и цепочки ДНК. Именно так, наверное, должен выглядеть учитель, а не так, как выгляжу сейчас я, — растерянно и суетливо. Я думаю, что ей больше подойдёт работать в институте, не с детьми, а со взрослыми уже студентами. У неё и имя подходящее — Любовь Александровна. Нараспев, не спеша, достойно. Но она здесь, как и я, и сейчас мы ничем друг от друга не отличаемся.

— Справляешься с восьмым? — спрашивает она.

— По-моему, не очень, — честно признаюсь, — не смогла даже усидеть их и успокоить.

— Это нормально, — она махнула рукой, — они у нас особенные. Поговори с Галиной Ивановной. Она работала у них в том году. В мае она сказала: “Необучаемые...” — и посоветовала распустить этот класс. Может быть, мы так и сделаем. Так что продержись немного. Но вообще, — она как-то задумалась, — они любят молодых. Может, у тебя как раз получится.

— Не знаю. По-моему, им было всё равно, есть я в классе или нет.

— Они привыкнут. И ты тоже. Я в этой школе много лет — и чего только не видела. Но ясно одно — все рано или поздно выпустятся. Надо просто их приручить.

Она уходит. А я остаюсь и думаю о том, что не хочу и никогда не хотела никого приручать, приучать, не хотела никому нравиться. И совершенно не знаю, как это делать.

Мама звонит мне редко и только по делу. Мы никогда не говорим долго. Всего несколько слов — только самое необходимое. Точно хотим убедиться, что мы живы. Иногда мне хочется набрать мамин номер и просто послушать голос. Но я знаю, что она узнает меня и будет кричать в трубку: “Этоты? Перезвони мне, я ничего не слышу”. Поэтому я не звоню. Особенно с тех пор, как мама ушла. Даже раньше — с тех пор, как умер мой отец.

Девятнадцатого декабря отцу исполнилось бы шестьдесят лет.

Сегодня год, как он умер. Мама знает, что в этот день мне не надо звонить, но всё равно звонит. Я не беру трубку ни домашнего, ни мобильного. Не люблю все эти разговоры, что надо бы идти на кладбище, и всё такое... Я не была там с лета, а в церкви не была с отпевания.

Его отпевали в той церкви, мимо которой я теперь хожу в школу. Большая, красивая церковь. Белая. Её недавно отстроили. Собирали деньги на строительство со всех Люберец. Отец и сам жертвовал им деньги — я видела у него именную брелок. Нашла после его смерти в коробке с дедовыми медалями. “Жертвуя — обретаем”, — написано на нём. И имя моего отца. Там же нашла иконку “Неупиваемая чаша”, которую я ему подарила когда-то. Я и не знала, что он её хранил.

После пятого звонка мне пришлось взять трубку.

— До тебя не дозвониться, — говорит мама.

— Я не пойду никуда.

Мы с ним тогда почти не общались и редко созванивались. Поздно вечером позвонила соседка, попросила меня вызвать ему “скорую”. Отец умер в ту же ночь в Ухтомской больнице. Скорее всего, его даже не успели посмотреть. Привезли в одиннадцать вечера, а через полчаса он умер. Из больницы позвонили только утром.

Потом начались разговоры: “Надо же, как рано умер!..” Как же я не видела их слова — почему все удивляются? Я знала, что он умрёт. В эту ночь или после. Или задолго до... Я знала, что он умрёт. С тех пор как они развелись, с тех пор как поменяли квартиру, с тех пор как он стал жить в этой прошитой насквозь коммуналке и сам стал пить непробудно. Это должно было случиться — странно, что не случилось раньше.

— Он звонил мне за неделю до смерти, просил денег. Я знала, что он пьёт со своего дня рождения, но ничего не сделала, — рассказывала я маме.

— Что тут сделаешь! Что сейчас об этом говорить?

Мы не говорили. Мама звонила всем сама. Я слышала только одно. “Умер. Двадцать восьмого ночью. Хороним тридцать первого”. И так несколько раз. Хоронить его никто не пришёл. Только я, мама, соседи по коммуналке, в которой он жил последний год, кое-кто с работы.

Телефон звонит шестой раз. Я отключаю его и выхожу на улицу.

Когда я шла работать в школу, я представляла себе многое — маленькую зарплату, большие классы, восемь уроков в день, бесконечное заполнение журналов и отчётов, сложные темы и каверзные вопросы. Но я не представляла, что основная моя работа будет сводиться к тому, что первую половину урока я пытаюсь отобрать у учеников карты, а вторую, плюнув на эти бесполезные попытки, пытаюсь объяснить хоть что-то, отвлекаясь на бесконечные их разговоры, замечания, которые не имеют никакого отношения ни к вводным словам, ни к сложным предложениям, ни к Пушкину.

Сегодня я слышу шорох у своего кабинета. Мои восьмиклассники толкаются у хрупкой деревянной двери, которая вот-вот развалится от их напора, заглядывают в щёлочку, шепчутся.

— Забей! — слышу я уже знакомые голоса. — Мы всё равно ничего делать не будем. Лично мне плевать.

— Ага! А аттестат тебе не нужен?

— Аттестат и так дадут. Школе показатели нужны, ты чо! Статистика. Так что живём, как раньше. Всё равно она ненадолго. Сатана Ивановна только одну четверть выдержала. Эта тоже скоро свалит.

— А если не свалит?

— Свалит, ты чо, нас не знаешь?

Их набралось уже человек двадцать. Двадцать моих восьмиклассников.

Они заваливаются сразу все вместе с шумом, смехом. Садятся на последние парты, спиной ко мне, к доске, как всегда, сдвигают с грохотом стулья. Я сначала не обращаю внимания и молча раскладываю на своём рабочем столе учебники, методички, пособия, тетради, ручки. Всё это я купила недавно и разложила в две аккуратные стопочки — пятый и восьмой класс.

Прозвенел звонок, но его почти не слышно из-за шума, который стоит в кабинете и в коридоре. Я закрываю дверь.

— Звонок был. — Этой фразе я уже научилась.

Ученики должны встать, поприветствовать меня, приготовить учебники, тетради и сесть. Но ничего этого не происходит. Несколько девочек сели поближе ко мне. Остальные как сидели на последних партах спиной, так и продолжают сидеть. Только кое-кто обернулся, сел вполоборота и украдкой поглядывает — что я буду делать.

Я беру линейку и стучу ею по столу. Но этот стук тоже тонет в общем шуме. Пишу на доске список вопросов, на которые они должны сегодня ответить. Но они даже не смотрят в мою сторону, словно демонстративно. Я бессмысленно стою у доски в центре класса. Несколько раз я пытаюсь перекричать их, но перекричать двадцать человек, которые говорят все одновременно и громко, невозможно.

— Не обращайте внимания, они всегда так, — говорит мне девчонка, которая села на первую парту, открыла чистую тетрадь в линейку и приготовилась писать.

— Не понимаю, как же вы всё это время учились? — спрашиваю.

— Вот так. Кто хотел, сидел ближе к доске, кто не хотел — сиделся назад.

Я вспоминаю, как вычитала однажды на каком-то педагогическом сайте, что в любом классе есть лидер, что надо его найти и переманить на свою сторону. Я собираюсь с силами и подхожу к последним партам.

— Кто у вас тут самый главный? — спрашиваю.

Они на секунду затихают. Задумались. Смотрю на них. И так, нас двадцать один. Мы ничего не знаем друг о друге. Мы оказались здесь случайно, а через год также случайно окажемся где-нибудь в другом месте. С другими людьми. А по сути — ничего не изменится. Нет никакой разницы — сделаю я ошибку в своём отчестве или нет. Они его всё равно не запомнят. Как и я не запомню эти двадцать имён, до которых мне нет абсолютно никакого дела.

— Ты? — я смотрю на самого высокого из них. В моём представлении, кто выше — тот и главный.

Класс взрывается хохотом.

— Осёл, ты теперь будешь главный, — гогочут они.

Высокий парень краснеет, его лицо, некрасивое и рябое, становится ещё некрасивее. Только сейчас я замечаю, что он очень худой и какой-то весь нескладный.

— Тогда кто? — спрашиваю уже не так уверенно.

Они молчат. Сидят теперь, чуть притихнув, уткнувшись в телефоны. Один — маленький и невзрачный — лёг на парту, на всякий случай положив учебник и неподписанную тетрадь. Он сидит за партой один, без компании, но видно, что он ждёт только приглашения, возможности быть допущенным ко всем остальным. Другой тоже сидит один, но, прислонившись к окну и развалившись на парте, включил громкую музыку в телефоне и слушает её.

Некоторые девчонки сидят отдельно, чуть ближе ко мне, и иногда по-сматривают на меня, ждут: если я сумею всех построить, они тоже подчинятся, если нет — то нет.

Но основная масса — двенадцать человек — сидят вокруг одной парты, навалившись друг на друга. Я замечаю у них в руках карты, которые они тайком раздают под партой. Отмечаю про себя — “тайком”, значит, они всё-таки боятся.

— Хорошо, — говорю я, — давайте так. Запишем сегодня основное, а потом можете делать, что хотите.

— Нет, — говорит один из них. Невысокий, плотный, с сильными руками. — У нас всегда было так. Кто хочет — тот пишет. Кто не хочет — сидит тут.

— Но вы же мешаете. И если кто-то зайдёт... — мой голос становится совсем тихим. Его уже и не слышно. — Тебя как зовут? — спрашиваю у этого невысокого. Догадываюсь, что, видимо, он и есть самый главный тут.

— Караулов Андрей, — говорит он и отворачивается от меня.

— Хорошо, — сдаюсь я. — Сегодня можете отдыхать. Но завтра вы сядете по двое, как и положено, принесёте тетради и будете учиться.

Андрей даже не ухмыльнулся. Он не посмотрел на меня и ничего не ответил, как будто он здесь учитель, а не я. Может, так оно и есть.

Я возвращаюсь к себе и сажусь за свой стол. Открываю журнал.

— А тебя как зовут? — спрашиваю у девчонки с первой парты.

Она всё ещё сидит с открытой тетрадью, готовая делать то, что я ей скажу. Мне хочется спросить — почему она здесь, почему не идёт ко всем?

— Эля, — говорит она тихо.

— Ты, наверное, отличница?

— Нет. С русским не очень. И с химией.

Я рассказываю ей одной тему урока и мысленно молюсь, чтобы никто из других учителей не зашёл ко мне. Мне почему-то стыдно за себя.

Какой-то парень тянет руку.

— Да! — кричу ему я.

— Вы должны дать нам талоны на обед, — говорит он. — Тем, кто ест льготно в столовой.

— А кто у вас ест? — спрашиваю я и ищу талоны.

Про обеды в столовой мне никто не говорил.

— Я!

— И я!

— Я тоже!

— Ты-то чего?

— Я всегда ем!

— Так, так, подождите! — останавливаю их я. — Не все вместе. Я должна записать фамилии и причину льготы. Давайте по одному.

— Савинков. Потеря кормильца.

— Разина. Малоимущие.

— Смирнов. Нет отца.

— Фомичёва. Многодетные.

— Сухов. Бабка одна.

Они говорят быстро, тараторя. Я еле успеваю записывать.

— Я поищу талоны и принесу вам, — говорю.

— Мы вообще-то сейчас должны есть, — говорит один из парней, — как мы пойдём? Я голодный.

— Да ты всегда голодный! — смеются над ним.

— О своём русском вы подумали, а об этом нет, — обиделся тот парень, который спросил про талоны, — вам на это плевать.

— Тебя как зовут? — спрашиваю я.

— Какая вам разница, как нас зовут, — вмешивается Андрей, — просто найдите эти талоны и дайте нам. Мы сами раздадим.

Я не успеваю ничего сказать — звенит звонок.

Они, не обращая на меня внимания, с шумом выходят, оставляя после себя бумажки, ручки, карандаши, перевернутые стулья, которые с грохотом

падают. Всё это валяется теперь — и кабинет, украшенный мною плакатами с весёлыми надписями “Здравствуй, осень!” и “Первое сентября”, смотрится уныло и грязно. Остаётся только один парень — тот самый, с красным некрасивым лицом.

— Почему ты не уходишь? — спрашиваю я.

— Я дежурный. У вас веник в углу, как у Галины Ивановны?

Не дожидаясь ответа, он берёт веник, совок и начинает молча, как-то обречённо подметать пол.

— Продержаться в школе месяц — значит, остаться надолго. Через месяц становится понятно, что ты из себя представляешь, кто твои ученики и сможешь ли ты работать, — говорит мне в маленьком туалете для учителей Валентина Борисовна.

Её кабинет рядом с моим, и она слышит всё, что происходит в моём классе. Споры, ругань, мои уговоры, их протесты. Несколько раз она заглядывала ко мне, и тогда мои ученики успокаивались и сидели какое-то время тихо. Её они боятся. Она грубая, всегда говорит конкретно и прямо, даже с учениками, поэтому её боятся и отчасти уважают.

Она закуривает сигарету и протягивает пачку мне. Курить в школе категорически запрещено. Даже на территории. Но все курят. Охранник закрывается у себя в комнатке. Информатик дымит в лаборантской каждую перемену, пока нет детей — и под конец дня туда невозможно зайти. Кто-то бегаёт за школу. Но большинство закрывается в маленьком учительском туалете на первом этаже.

Не курить в школе нельзя. После каждого урока хочется постоять спокойно одной или поговорить со взрослым человеком, поэтому я спускаюсь на первый этаж в нашу негласную курилку.

— Тебе надо выработать тактику, — говорит Борисовна, — с каждым учеником свою. Одного надо пожалеть и понять, другого — только ругать, с третьим договориться. Это и есть индивидуальный подход, а не то, что тебе рассказывали в институте. Когда я пришла сюда первый год, мне дали выпускать класс. Первый год — и сразу выпускной, представляешь? В классе тогда было пятнадцать мальчиков, а это, сама знаешь, что такое. Водка в пластиковых стаканчиках, сигареты. Решили куда не везти, отмечать выпускной здесь — в школе. Закрыли двери, окна. Я лично проверяла карманы на входе. Сумки свои они сложили в кабинете, и мы их заперли. Они до утра за мной ходили — я ни в какую. Вручили аттестаты, накрыли им стол, потом дискотека. И хоть бы один улизнул или напился — все сидели грустные, но трезвые. Но чего нам это стоило! Я лично грудью стояла, закрывая собой выход, и пока всё не закончилось, ни один не вышел.

Она тушит сигарету о раковину и выбрасывает в мусор.

Я думаю о том, что я бы не смогла их сдерживать. Это значит, что я плохой учитель? И как далеко сейчас моё бывшее представление о функции учителя в школе от того, что мне приходится видеть, слышать и делать здесь.

Даже через два месяца жизнь в восьмом классе не стала иной. Они по-прежнему отказывались садиться по двое, отказывались придвигаться ближе ко мне и отказывались носить учебники и тетради. Я взяла в библиотеке ещё один комплект учебников и раздаю им на уроке. Иногда они что-то читают и пишут, но, в основном, только делают вид. При этом они всё время ругаются на уроках, выясняют отношения, спорят, орут друг на друга. Я удивляюсь — неужели нельзя общаться на переменах или после школы? Но у них как будто срабатывает какой-то рефлекс, как у животных. И, заходя в класс, они тут же начинают что-то друг другу доказывать, как быки, оказавшиеся на одной узкой улочке.

Недавно я дала им написать сочинение “Какие книги я читаю?” Даже не сочинение, а ответы на вопросы.

1. Какие книги я прочитал за лето?
2. Какие книги я читал не из школьной программы?
3. Какие книги я люблю и почему?

Вопросы на доске я писала дольше, чем они свои ответы. Сейчас эти листочки с их ответами лежат у меня на столе.

Из двадцати листочков три были абсолютно пустые, — кроме фамилии, на них ничего не было. Ещё три работы были очень краткие:

1. Никакие
2. Никакие
3. Никакие

На одной работе было написано крупно поперёк листа одно слово — “НЕ КАКИХ”. На ещё одной просто и понятно — “ПОЖАЛУСТА НЕ СТАВТЕ ДВА!”

Некоторые листочки были всё-таки исписаны. Я бросаю взгляд на них.

“Я не люблю книги, потому что в них всё не правда. Зачем тратить время и придумывать что-то? Я люблю играть потому что это лучше. Я читаю только в школе но всё равно не люблю”.

“Я не люблю читать потому что читаю плохо и меня ругают (и ещё смеются другие). Это обидно поэтому я лучше буду молчать”

“Книги... Не знаю. У меня с ними сложные отношения. С одной стороны хорошо что они есть и можно узнавать что-то новое и интересное. Но с другой это сложно прочитать книгу. Нужно внимание, а все говорят что у меня его нет. Вообще я читаю только учебники, потому что они нужны для школы”

“Я люблю читать. Но я не люблю школьную программу. Это скучно. В 7 классе мы читали про детство писателя Горького, зачем мне знать про его детство?! Я люблю фантастику и ужасы. Я вам советую прочитать. Если хотите... Я вам принесу. Только не говорите остальным...!!!!”

“Если бы у меня было столько же свободного времени, сколько у писателей, я бы читал. Но я очень занят. Я больше люблю спорт. Такой как футбол. А вы любите спорт? Какой?”

“Вы читаете книги потому что это ваша работа. А у меня другая задача. Я больше люблю компьютер”

“Перестаньте задавать эти вопросы про книги. Я НЕ ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ!”

Только четыре работы были действительно написаны. Это четыре девочки. Одну из них я уже знала — это Эля с первой парты. Трёх других ещё нет.

Их листочки, помятые, исписанные кривыми детскими нетвёрдыми черками, заставили меня улыбнуться. Первый раз за время здесь. Они так искренне, можно даже сказать, от всего сердца, отвечали на эти вопросы, старались, когда могли бы просто ничего не писать. Но они написали. И написали очень много. Трое обещали принести свои любимые книжки. Ещё двое обещали, если я задам, что-то прочитать. Ещё несколько написали, что стесняются читать вслух и попросили никогда, ни при каких обстоятельствах, их не спрашивать. Кто-то умолял не ставить “два” или хотя бы не ставить в журнал. Кто-то написал, что его любимый предмет — география, и он читает только карты. Кто-то — что химия, но таблицу он ещё не выучил. Хотя о любимом предмете я не спрашивала. Это должно было стать вторым сочинением.

Последний листок — Андрея Караулова.

“Мне не нужны в жизни книги. Зачем их вообще писать? Писатели — это бездельники. В них нет смысла. Я никогда не читал и не буду читать. Так что не тратьте время, чтобы заставить меня. Это бесполезно. Спросите у Галины Ивановны. У вас ничего не получится. Вы уйдёте так же, как и все другие. Запомните это. П. С. И не делайте вид, что вам важно наше мнение. На самом деле, вам на это плевать. Вы просто делаете свою работу”.

Его сочинение, написанное без ошибок и аккуратно, теперь лежало сверху. Самое удивительное — я могла согласиться с каждым его словом.

Больше всего мне нравятся первые уроки в восьмом классе. На них обычно никто не ходит, кроме тех, кто давно не был, и им надо “засветиться”, как они говорят, и тех, кто пытается хорошо учиться. Поэтому на

первом уроке обычно тишина. Я могу что-то рассказать тем десяти ученикам, кто всё-таки пришёл.

Но сегодня ажиотаж. Как-то само собой класс разделился на мальчиков и девочек и громко спорит.

— Да она дура просто и всё, — доносилось с половины мальчиков.

— Сам ты дурак! — Это девчонки. — Молчи, вообще!

— Сядьте! — говорю я.

Но класс уже завёлся, несмотря на раннее утро. Девочки готовы броситься на мальчиков. А мальчики смеются и обороняются от них орфографическими словарями, которые всегда лежат на последней парте.

Сегодня я пытаюсь рисовать на доске схему сложносочинённых предложений. Мел крошится — он уже весь исписался, и остался только маленький кусочек.

— Можно я схожу за мелом? Я знаю, куда! — кричит с места парень.

Это Ярослав Чекалин, которого все называют Чекушка. Он очень подвижный и весёлый, всё время смеётся, и я не видела его грустным никогда, хотя настроение у моих учеников меняется каждый урок.

— Ага... К себе домой пойдёт, и больше мы его сегодня не увидим, — смеётся девчонка, которая сидит перед ним.

Он смял в круглый маленький комочек свой листок, где пытался срисовывать за мной с доски схему, и бросил в неё. Я подхожу к ним и встаю между. Я уже знаю — стоит мне в такой ситуации отойти, как потасовка продолжится. Поэтому я бросаю свои схемы и стою между ними.

На свой страх и риск я возвращаюсь к доске, продолжаю чертить схему. Но меня уже никто не слушает. Девчонки теперь шепчутся между собой. А этот светленький весёлый парень, практически единственный мой слушатель, теперь погрустнел и опустил голову.

Через минуту опять потасовка.

— Что такое? — я опять встаю между ними, как вставала чуть ли не каждый урок на этой неделе.

— Да их подружка залетела, — ухмыльнулся Данил, — вот они и лезут к нам. Тоже, наверное, хотят.

— Какой же ты идиот! — Настя бросила в него учебник и угодила в плечо.

Данил отбросил учебник обратно, но промахнулся.

— Так, всё! — вмешиваюсь я. — Сядьте, пожалуйста. Всё время ругаетесь! Сколько можно. Мне что, родителям звонить?

Они сели. Данил отвернулся и уткнулся в телефон.

— Что случилось? — спрашиваю.

Они не смотрят на меня.

— Настя! — я подхожу к уже знакомой девчонке.

— А вы что, не знаете? Анька залетела. Она больше не будет ходить. Все знают.

— Какая Анька? — не понимаю я.

— А вы что, её не помните? Она же весь месяц в школу ходила. Ещё вам про союзы рассказывала. А вчера узнала, что беременна. Больше не придёт — уехала к бабке в деревню.

— А! — Данил махнул рукой. — Вы её и не помните. Для вас все на одно лицо.

Данил не похож на остальных. Он всегда мрачный, ни на кого не смотрит, сидит один, уткнувшись в телефон. Он пытается хорошо учиться, но у него не получается, поэтому он злится. Иногда мне кажется, что он злится на весь мир. Про него я только знаю, что он, в отличие от многих, из обеспеченной полной семьи, но ему это только мешает, и он злится ещё больше, если кто-то напоминает ему о его родителях и его возможностях.

Я помню, как он буквально взорвался, когда я сказала, что ему можно не учиться, что любой платный колледж с радостью его возьмёт. Он тогда скинул учебник с парты и сказал, что больше ничего делать не будет.

— Выйди из класса! — сказала тогда я.

Это всегда была крайняя мера, на которую я шла, — выгонять никого из класса нельзя, но я выгоняю, когда становится совсем трудно с ними сладить.

— Я никуда не пойду. Вы должны меня учить, вот и учите.

— Тогда пиши.

— А это уже моё дело.

— Тогда я имею право поставить тебе “два”.

— Ставьте. Мне всё равно.

Но я знала, что как раз ему не всё равно. С такими намного тяжелее.

Сейчас я с трудом вспоминала девочку, которую спрашивала про союзы и которая сказала, что знает союз “и”, “но”, а больше не помнит.

— Я помню Аню, — соврала я. — Но это её дело. Не надо никого осуждать.

— А нам что, тоже так можно? — Настя почему-то спрашивала об этом меня.

— А вы хотите? — крикнули парни и опять засмеялись.

— Да заткнитесь вы уже, — сказал Андрей.

Все тут же замолчали. Он всегда говорил спокойно, но его они слушались. В классе теперь стояла тишина. Наверное, первый раз за всё время. Они задумались.

Пока они думали, я рассказала им про простые предложения и знаки препинания при сочинительных союзах. Они даже что-то писали, машинально механически записывая за мной с доски. Но думали явно о своём.

Я тоже думала. О том, как я сейчас завидую этой девочке. Этой Ане, которая скоро будет сидеть дома со своим ребёнком и больше не придёт в эту школу. Не знаю, кто из нас больше счастлив. Иногда мне кажется, что всё, что я делала здесь эту неделю, было лишено хоть какого-то смысла и радости. Наверное, поэтому молодые учителя так часто уходят после первой недели, месяца или года. В каждом деле должна быть или радость, или смысл. Здесь же не было ни того, ни другого. Работать здесь — всё равно, что работать на автомобильном заводе. Закручивать и закручивать свои гайки. Каждый день, всю жизнь. Сейчас, когда я механически пишу на доске, я с ужасом думаю о том, что останусь здесь навсегда и никогда никуда не уйду. Так может, эта Аня сделала правильно — сбежала отсюда, разорвав этот бесконечный бессмысленный и никому не нужный бег по кругу.

На перемене Ярослав приносит мне мел — целую охапку.

— Не обижайтесь, но я ненавижу девушек, — говорит он. А потом, подумав чуть, прибавляет: — Вы только исключение. Но вы не считаетесь, вы же учитель.

— А с кем встречалась эта Аня? — спрашиваю я и не верю, что говорю об этом со своим учеником.

— Не знаю. Она такая тихая была. Всё время молчала. По-моему, она любила Даню. Но это точно не он.

Я беру мел.

— Что у меня за работу? — спрашивает Ярослав и кивает на стопку листочков.

— А что ты написал?

— Я написал, чтобы вы не ставили “два”.

— Тогда не поставлю, — шучу я.

— Спасибо! — верит мне он.

Опять улыбается. Я не перестаю удивляться, как быстро меняется у них настроение, словно каждый новый час — это новый жизненный цикл. Может, так оно и есть.

После шестого урока, который свёлся в итоге к тому, что девочки обсуждали Аню, а мальчики играли в карты, остаётся одна девчонка. Она высокая, с длинными вьющимися светлыми волосами и серыми глазами. Я вопросительно смотрю на неё.

— Вы хорошо объясняете, — говорит она. Я чуть было не ухмыльнулась, совсем как Андрей, но вовремя одёрнула себя. — Можно, я останусь? Я не всё поняла.

О ней я ещё ничего не знаю. Я вдруг думаю — может, не зря всё? Интересно, способен ли один ученик, наученный мною, выполнить мой педагогический план?

— Знаете, — говорит она через пятнадцать минут, — я передумала. Не хочу ничего учить. Вы пойдёте домой? Можно проводить вас?

Я киваю, и мы выходим вместе из надоевшей нам за день школы.

— Как тебя зовут? — спрашиваю.

— Вика. Я пришла в этом году.

— Я тоже.

— Вам нравится здесь?

— Не очень. А тебе?

— И мне.

Вика рассказывает, что приехала из маленького города и уже жалеет об этом.

— Почему же ты осталась здесь? — спрашиваю я.

— Из-за отца. Ну, и из-за мамы. Вообще, не знаю. Наверное, не только. Понимаете, у нас там не особо-то разживёшься. Работы почти нет, зарплаты в среднем тысяч десять — и то, считай, повезло. Москва в сравнении с этим кажется золотой.

— Но здесь тоже сложно.

— Сложно. Но... Здесь всё равно есть выбор. Можно работать больше и больше. Можно на двух, на трёх работах. А там... Понимаете, когда есть только почта и магазины, особо не зарабатываешь.

Меня удивляет — она так серьёзно рассуждает, точно сама через всё это уже прошла, хотя не проработала, наверное, ни одного дня в своей маленькой жизни.

— Получается, ни там, ни здесь ты не счастлива? — спрашиваю.

— Я была счастлива в Майском. Это наша деревня. Моя бабушка там родилась. Она и сейчас там живёт. Она вообще нигде больше не жила, кроме Балашова и Майского, и была вполне довольна. Мы туда каждые выходные раньше ездили, кроме зимы. Знаете, туда ходит только один автобус два раза в день — утром и вечером. Он едет по такой разбитой дороге, что все в салоне подпрыгивают, и кажется, вот-вот вылетишь в окно. Но зато, когда доедешь, такая красота! Лес и поле. Как на картинах, даже лучше. Там и школа есть. Я просила остаться, но никто не захотел. Они думают, что в сельской школе плохо научат, но это же не так?

— Нет. Мне кажется, там даже лучше.

— Но только до школы ездить надо было, а зимой автобус не пройдёт — дорогу обычно заваливает снегом. Так что не получилось там остаться. И там только девять классов, а потом всё равно надо ехать в Балашов или в Саратов. Хотите я вам напишу, как доехать до Майского? Вдруг летом некуда будет поехать?

Мы садимся вместе на качели во дворе её дома, она достаёт из рюкзака тетрадку, вырывает листок и зачем-то пишет мне адрес своей деревни и номер их одного-единственного автобуса. А потом даёт листок мне. Я убираю его в сумку.

— Хорошо, — говорю, — может, и приеду.

Под ногами лежит уже вялая листва, перемешанная с грязью и дождём, и всё говорит о том, что до следующего лета теперь далеко. Вика ловко спрыгивает с качелей. Ей уже пора домой. Я смотрю на часы — семь часов. На этот раз я провожаю её до подъезда.

— Я ещё приду? — спрашивает, как будто я собираюсь куда-то исчезать.

Киваю, она забегает в подъезд, и через минуту в комнате на втором этаже уже загорается свет.

4

Мама дома с самого утра. Отца нет. Он уехал, как только привёз Вику. Отоспался день, сделал несколько фотографий с дочерью у дома на свой телефон — и всё. Потом прислал СМС: “Матери скажешь, уехал под Самару. На обратном пути отзвонюсь”. Она стёрла, не дочитав.

Мама с утра злится на всё. Всё не так — и Вика чувствует себя виноватой. Она здесь всего неделю и ещё не привыкла. Мама, кажется, стала дальше от неё, чем раньше, Вике неловко оставаться с ней наедине — словно с чужим человеком. Они почти и не разговаривали эту неделю. Только нашли школу, сделали регистрацию. Всё. Иногда мама спрашивает, не писал ли отец? И тогда Вика врёт, что писал, что он на рейсе и скоро приедет. Она уже поняла, что лучше соврать, иначе они поссорятся. Впрочем, мама не верит и только делает вид, что верит, — и они всё равно ссорятся. Что бы Вика ни сделала, они ссорятся.

Мама моет посуду. Нож выскальзывает из мыльных рук, падает на пол. Вика поднимает его.

— А самой помыть нельзя? — Мама, не оборачиваясь, швыряет нож на стол. — Не звонил?

Вика молча идёт споласкивать нож в ванную. Скажет, звонил — не поверит. Скажет, не звонил — начнёт орать.

— Нет, — говорит Вика и включает воду.

— А обязательно воду перекрывать? — кричит мама сквозь шум. — У меня теперь холодная идёт.

Вика закрывает кран и садится на край ванны. Она живёт в одной маленькой комнате с родителями. Вот она — Москва. Вика часто ловит себя на мысли, что не так представляла себе город, когда ехала сюда с отцом. Она выходит на улицу и оборачивается на свои окна.

Ей принадлежат два окна. Одно — большое — на кухне. Оно выходит на главную дорогу. Другое — маленькое — в комнате. Оно выходит во двор, где почти ничего нет. Сейчас в окне темно, только горит синим монитор компьютера.

Улица, где живёт Вика, разделена дорогой на две части. Точно так же, как родной Балашов разделён на две части рекой. Одна сторона — чётная, и все дома там двухэтажные, в основном, старые обшарпанные коммуналки, комнаты в которых сдаются всем подряд. Между домами — детский сад и площадка с одними-единственными качелями. Между деревьями на верёвках развешено бельё. Соседи сторожат его по очереди. Выносят стульчики, сидят по двое, болтают о какой-нибудь чепухе или просто долго молчат, пока кто-нибудь не посмотрит на часы и не скажет, что пора меняться. Вику это удивило — кому захочется воровать чьё-то мокрое бельё? Даже в Балашове так не делают. Викин дом такой же маленький, в два этажа. На крышу можно было бы влезть по водосточной трубе — настолько невысоко.

Другая сторона — та, куда выходит кухонное окно. Там совсем другие дома. Высокие и красивые, с консьержками, которые никого не пускают, с грузовыми лифтами. На крышу не забраться по трубе. Вика никогда не видела таких домов. Наверное, именно о них говорил отец. У неё есть ключ от двери домофона в такой дом. Она нашла его случайно у магазина и теперь иногда заходит туда, чтобы подняться на последний этаж и выйти на балкон.

Наверху ещё жарче. Пахнет раскалённым бетоном, пылью, окурками. Но ей здесь нравится. Сверху можно увидеть весь район. Справа — её дом, окно, из которого она часто смотрит сюда. Сразу за ним — её новая школа. Серая, с решётками на окнах. Рядом со школой — церковь.

В своём городе Вика часто забиралась на крыши. Не на такие высокие, конечно. Любила сидеть там до заката, пока не начнут разыскивать — и Вика не станет представлять, как бабушка садится в комнату под лампу, надевает большие очки, достаёт записную книжку и набирает её номер. Ошибается, не попадает в нужные кнопки, но всё равно набирает. Снова и снова. И, наконец, звонит. Тогда Вика бежит вниз по лестнице, задерживая дыхание, чтобы быстрее, но всё равно опаздывает. Бабушка долго отчитывает её, грея ужин.

Сейчас Вику вряд ли кто-то будет отчитывать. Мама кинет СМС: “Быстро домой”. Но всё равно не заметит, во сколько та пришла.

От высоты и солнца кружится голова. Чтобы не упасть, Вика садится прямо на грязный пол.

Дойти до школы — это перебежать через дорогу.

Первого сентября шёл страшный ливень, а Вика надела новые чёрные туфли и мамины капроновые колготки. На них тут же появились пятна от дождя. Она садится на скамейку на первом этаже, снимает туфли, отряхивает их, размазывает грязь по колготкам и думает о том, как же можно в таком виде появиться в классе, где наверняка все очень красивые.

— Ты же в восьмом “А”? Пойдём! — говорит ей девчонка. На вид лет восемнадцать, и только по серьёзному её виду Вика понимает, что это — учитель. Её учитель.

В классе никто никого не слушает, все галдят, смеются. Вика сидит у окна и смотрит на нового учителя. Учитель как учитель. Ничего особенного. Но Вика смотрит, не отрываясь. Она кажется другой — не такой, как все остальные в этой школе. Точно она из другого города или даже страны. Невысокая, худая, с короткими светлыми волосами, в джинсах, рубашке и пиджаке. Меньше всего она похожа на учителя, скорее на мальчика, который вышел отвечать к доске.

Звонок. Все выходят. Выбегают. Толкают друг друга у выхода. Теперь это её новый класс и её новые друзья.

Вика включает музыку на ноутбуке. Делает тише, потому что мама ещё не ушла. В квартире тихо — значит, она сидит на кухне, пьёт чай из своей большой кружки. Она всегда завтракает и собирается утром в полной тишине. Шорохи в коридоре — надевает плащ. Обувается. Положила щёточку для обуви на полку. Звенят ключи. Она никогда не забывает ключей. хлопает дверью.

Вика включает свет и встаёт. У неё в комнате зеркало во весь шкаф. Она смотрит в него. В папиной большой футболке она выглядит совсем маленькой. Снимает её. Вика очень изменилась за год. Всматривается в своё лицо. Серые большие глаза. Нос с горбинкой. Проводит пальцами по своему отражению. Ещё детские щёки, но так быстро всё меняется. Она кладёт руку с растопыренными пальцами на зеркало, словно на ровную гладь реки. Холодно. Хочется разрушить его, чтобы пошли волны, как от резкого ветра. Уже теплее — стекло нагревается. Убирает руку. Всё те же серые глаза и тот же нос. Ей кажется, что однажды она проснётся и не узнает себя. Всё изменится. Станет совершенно другим. Её лицо, тело. Всё это страшно, непонятно. Одевается.

На кухне никого. Чашка помыта и убрана. Мама никогда не оставляет грязных чашек. У себя в городе Вика определяла, дома ли бабушка, по невымытой чашке. Она пила всегда из одной и той же и оставляла её на столе. Мыла только, если уходила куда-то надолго. Если чашка стояла невымытая — значит, бабушка дома и никуда не уйдёт. Вике от этого всегда становилось спокойно.

Во дворе много листьев. Их не успевают убирать — они падают снова. Жёлтые, зелёные, разные. Если выйти рано утром, можно ходить по ним босиком, пока они ещё влажные. Как в деревне, когда приезжаешь туда в начале осени. Бабушка тогда обычно закатывала банки со всякими вкусностями, которые не разрешала трогать до зимы. А Вика не понимала, почему всё это нельзя трогать до зимы, когда очень хочется.

Этот город можно обойти быстрее, чем Балашов. Пятнадцать минут на маршрутке до метро. Двадцать — пешком до парка. Двадцать пять — до стадиона. Пять минут бегом до церкви, в которой Вика ещё не была. Семь — до школы. Всё.

Вика идёт до школы. Доходит до светофора, нажимает кнопку, чтобы загорелся зелёный. Ждёт. Вдруг слышит рядом:

— Что-то тебя давно не видно.

Оборачивается и видит ту учительницу, их классную, и вспоминает, что не была в школе неделю.

— Я болела, — врёт Вика.

Зелёный. Они вместе переходят дорогу, но идут не к школе, а в противоположную от неё сторону. Идут рядом, почти касаясь друг друга руками.

У классной чёрное длинное пальто, слишком тёплое для осени, и коричневая сумка через плечо.

— Я соврала, — говорит Вика, — я не болела.

— Ты не хочешь ходить в эту школу?

— Не хочу. Там все орут и никого не слушают.

— А чего бы тебе хотелось?

— Иногда хочется просто помолчать.

— И мне.

— Знаете, мне не нужно сейчас домой. Давайте пройдемся.

Прошли школу и Викин дом, дошли до метро. А дальше идти некуда. Дальше — уже Москва.

5

Первая и вторая четверть здесь закончилась провалом. Я смогла только выяснить, как зовут моих учеников, но всё равно не запомнила, спросить, какие книги они прочитали за лето, но не получить ответа и с ужасом выставить им оценки — почти все тройки, несколько двоек. Это всё. Уроки сменяли друг друга, ученики сменяли друг друга, и мне казалось, что и я стала другой за эти несколько месяцев.

В 8 “А”, про который все говорили “неуправляемый”, “неадекватный”, “сложный”, “ненормальный” и “коррекционный”, учились шесть девочек и четырнадцать мальчиков. Как я уже поняла, в этом классе было три тихони, один явный лидер, один негласный лидер, один забитый и всеми унижаемый, несколько тех, кто жил своей жизнью отдельно от класса, и несколько тех, кого невозможно было успокоить и просто усадить на место. Но все они абсолютно разные, у всех своё мнение, и к каждому из них, как я поняла, нужен особенный подход, на который у меня нет никаких сил. Сейчас я с ужасом думаю о том, что мне придётся в следующей четверти опять прийти сюда и пытаться вести у них уроки. Третья четверть — третья попытка.

Больше всего на свете мне хотелось просто развернуться и уйти. Но вместо этого я решила организовать родительское собрание.

В семь часов в школе уже никого нет, кроме охранника, который не уходит домой, а спит тут же — в маленькой подсобке на первом этаже. В коридорах тишина, какой никогда не бывает днём. Первую неделю здесь я думала, что не смогу привыкнуть к этому постоянному шуму, что сойду с ума. Я читала, что в американских тюрьмах применяли такую пытку — заставляли человека слушать сразу много очень громких звуков. Я чувствовала себя заключённым в такой тюрьме. Все вокруг орут — и на переменах, и на уроках. Мне казалось, что дети вообще не умеют говорить тихо, что они только орут или визжат. С самого утра и до обеда, пока не закончится последний урок, меня преследовал этот шум.

Но сейчас, вечером, тихо и спокойно. Работа уже не кажется такой жуткой.

Родители не заходят по одному. Они стоят внизу, пока не соберутся группой, и только потом поднимаются ко мне в кабинет. Мне интересно — почему? Бояться? Одна из них — полная, невысокая, с отёкшими толстыми ногами в огромных, точно мужских, растоптанных ботинках, украдкой заглядывает ко мне.

— Можно?

Я сижу на своём месте, за столом, заваленным листочками, обрывками бумажек, учебниками, тетрадами. Киваю ей, и они все заходят.

Садятся, как и их дети, подальше от меня — на третьи и четвёртые парты. Только, в отличие от них, садятся молча и смотрят на доску. Я открываю журнал, достаю тетради, точно хочу спрятаться за всё это.

— Ну, — начинаю не я, а та, полная, которая зашла первая, — мы готовы. Слушаем вас.

Я встаю и чувствую себя на допросе. Это они меня спрашивают, а не я их, хотя это я учу их детей, точнее пытаюсь это делать.

— Я здесь недавно, — хочу сказать я, — но уже увидела многое. Во-первых, не все из ваших детей ходят в школу каждый день. Во-вторых, если и приходят, они ничего не пишут и не делают. У них нет дневников, тетрадей и ручек. Я всё время даю им листочки, из которых они в конце урока делают самолётики. Они не обращают внимания на звонки, приходят и уходят, когда хотят. Их волнуют только талоны на обед, которые я им даю. Иногда мне кажется, что они приходят сюда только из-за этих талонов. Они постоянно дерутся и курят в туалете. Когда они приходят в класс, запах не выветривается весь урок. Они совершенно меня не слушают, и, что бы я ни говорила, они делают то, что хотят. Они не выучили ещё ни одной темы и вряд ли знают, что мы проходим. Я не знаю, каким чудом они получают оценки, но пока я не могу даже сделать переключку, чтобы не начать кого-то успокаивать, выгонять из класса или пытаться с боем забрать дневник, которого всё равно в итоге не оказывается в их сумке. Я не знаю, что я могу сделать, чтобы просто выполнить свою работу.

Но я смотрю на этих родителей и ничего не говорю. Они всё это слышали много раз от тех двух, которые были до меня. На меня смотрят мои же ученики, только старше.

Вот — мама, у которой, кроме её дочки из моего класса, ещё четверо. А муж их бросил и живёт рядом с другой женщиной. Они видятся в магазине каждый день.

Вот — папа, который недавно освободился из колонии, где отсидел семь лет. Летом он красил здесь классы, и только поэтому его сына оставили учиться.

Дальше — мама Насти. Она уже два раза была замужем, но оба раза неудачно, она ярко накрашена, но это её только портит.

А за ней мама Ярослава. Они с сыном живут в общежитии, в одной комнате, отгородившись друг от друга тонкой фанерой, и всё время ругаются.

Мама Данила — молодая, такая же мрачная женщина, смотрит, как и её сын, исподлобья, не верит, что я могу чему-то научить их всех. Я и сама не верю.

— Мы знаем, у нас сложный класс, — говорят опять родители, а не я. — Нам бы только дотянуть до девятого. У нас и так уже столько учителей поменялось.

Я сижу со своим журналом, даже его не открыв. Их родители старше меня в два раза. Многие многодетные, и их другие дети тоже скоро пойдут в эту школу. У многих нет высшего образования, у некоторых нет даже среднего специального. У них усталые помятые прокуренные лица. Они смотрят на меня так, словно именно от меня сейчас зависит, окончат их дети школу или нет.

— Но надо же что-то делать, — говорю я.

— Вы же учитель. Уж доучите. Без вас мы как?

Мы выходим вместе. Я киваю охраннику, и он закрывает за нами. На крыльце школы закуриваем.

— Знаете, — говорят мне, — если вы не уйдёте, они к вам потянутся. Надо просто время.

— Но времени как раз нет, — говорю я, — ни у меня, ни у них. Им через год сдавать экзамены, а они не знают, что такое предложение. Если так дальше пойдёт, и не узнают.

Я вспоминаю свои плакаты, на которых кто-то уже зачеркнул “здравствуй, школа” и написал — “ненавижу тебя, школа”. Плакат висел долго, пока кто-то из учителей не зашёл и не заметил.

Не сплю всю ночь. Лазаю по педагогическим форумам. Советуют одно и то же — детей надо удивить, привлечь внимание, сделать что-то неожиданное.

Нашла целую памятку учителю:

1. Подходи к детям с оптимизмом.
2. Вспоминай себя в детстве.
3. Будь с ними честным.

4. Никогда не кричи на них.
5. Не сердись.
6. Будь вежлив.
7. Не приказывай.
8. Оберегай их от дурного.
9. Будь с ними вместе.

Ничего из этой памятки я не соблюдаю. Вообще, почти все, с кем сталкиваюсь в школьных коридорах, удивляются — зачем я пришла.

— Шла бы в журнал, — говорят.

Помню, сразу после института устраивалась в одно медицинское издательство выпускающим редактором. На собеседовании спрашивали — насколько грамотно пишу, внимательная ли, могу ли запоминать большой объём информации, знаю ли корректорские знаки. И так далее. Дали текст, который надо было отредактировать. Отредактировала. Всё им понравилось.

— А чем конкретно я буду заниматься? — спросила я.

— В основном — читать материалы, подготовленные к изданию.

— Но я же не медик. Я в этом ничего не понимаю.

— И не надо. Просто вычитывай текст.

На второе собеседование я не пошла. Как-то неинтересно. А сейчас думаю: а здесь интересно?

Сегодня я дежурная по коридору. В должностной инструкции, которую мы все подписали в сентябре, написано — “обязанность каждого дежурного учителя обеспечить тишину и порядок на переменах”. На деле же дежурство означает бесконечные замечания, крики на кого-то, ругань, ссоры и плохое настроение на всю перемену. В дополнение к этому нужно каждые пять минут заходить в туалет для девочек, который расположен на моём этаже, и смотреть, чтобы никто не курил. Так что выполнить свою обязанность просто невозможно.

Перемена — это то время, когда меньше всего хочется видеть и слышать детей. Но это как раз то время, когда дети, освободившиеся от тисков урока, вырываются на свободу, разбегаются по этажам, выясняют отношения, ищут возможности сбежать из школы, выкурить сигарету, стащить обед в столовой и придумать что-нибудь, чтобы не пойти на следующий урок. То время, когда они ходят за мной, и, в отличие от урока, здесь я им нужна.

— У меня болит живо-о-от, — девочка из моего класса ходит за мной всю перемену и ноет.

— У тебя он болел вчера, — говорю я и отворачиваюсь от неё.

Нам дано распоряжение: “Отпускать детей только в строгой необходимости и не более чем одного в день. А в сложных классах — не более чем одного через день”.

У меня как раз сложный класс.

— Я же не виновата, что он опять болит. Вчера — это вчера. — Она продолжает идти за мной.

— Но я же не могу отпускать тебя каждый день.

— Почему? Вы же учитель!

В её представлении я — учитель, а значит, могу всё. И самое главное — могу выпустить её из ненавистной школы.

— Ну-у, последний раз, — ноет и ноет она, — ну, пожа-а-алуйста... Я буду ходить за вами каждую перемену.

— Хорошо, давай листок и ручку.

Как ни странно, листок и ручка тут же находятся, хотя на уроке ни того, ни другого никогда нет. Я пишу корявым почерком, положив листок на подоконник: “Прошу отпустить...”

— Напомни свою фамилию.

— Студенцова.

“...Студенцову Серафиму с третьего урока по состоянию здоровья”.

Пишу число и подписываюсь. Отдаю ей. Она, счастливая, тут же убежит. Серафиму все называют просто “Симка”. Она из многодетной семьи. У неё два старших брата и три младшие сестры. Самая маленькая сестра — в детском саду, и Серафима водит её в сад, а чаще всего сидит с ней дома.

Отца у Серафимы нет, точнее — есть, но он живёт отдельно, а все дети в семье воспитываются мамой и растут сами по себе, как и Серафима, которая в школу ходит редко, а если и приходит, то на несколько уроков, а потом начинает искать возможности сбежать. То ко мне идёт, то к охраннику, то просто вылезает в окно первого этажа.

У Серафимы короткие, почти белые волосы, она очень маленькая, тоненькая, точно прозрачная и, кажется, переломится от одного только неловкого движения. Но она очень сильная и готова влезть в драку с любыми девочками и даже с парнями, если нужно. Особенно она ненавидит Руслана — тоже из моего класса. Он ходит в школу редко, как и Серафима, но если они приходят оба — драка будет точно.

Один раз они вскочили прямо на уроке. Она на него — с учебником, он — со стулом. Только Андрей, который вскочил следом, успокоил их. Тогда я первый раз была ему благодарна.

— В чём дело? — спросила я.

— Ни в чём, — Симка села на место и надулась.

— Скажи, — я подошла к ней.

— Вам какая разница? — Она не любила всех учителей и почему-то особенно — меня.

— Скажи! — я стояла над ней, возвышаясь, как судья.

Вмешалась Настя.

— Рустик сказал, что она гуляет со всеми парнями.

— Почему он так сказал? — спросила я.

— Настюх, молчи! — Симка замахнулась на неё.

После уроков Сима сама подошла ко мне и сказала:

— Мне Рустик встречаться предложил, а я не хочу.

— Если не хочешь — не надо, — ответила я.

— Но он теперь будет меня гнобить. Если ему девушка отказывает, он её потом ненавидит.

— Но это не повод с ним встречаться.

— Вы думаете?

— Конечно. Он тебе нравится?

— Нет.

— Тогда, конечно, не надо.

Она стояла около меня и не уходила.

— А у вас так было? Чтобы кто-то вам предлагал, а вы не хотели?

— Ну, конечно.

— И что тогда?

— Нужно делать то, что ты хочешь, — сказала я, но как-то неуверенно.

Этот Руслан — Рустик — в школе почти не появлялся. Его мама раньше работала здесь секретарём, но она тоже ходила на работу редко, и её уволили. Говорят, что она сильно пьёт. На собраниях я её ни разу не видела, и на звонки она не отвечает. Больше никого у Руслана нет, поэтому он ходит, когда хочет, и делает, что хочет. Но он никогда не унывает, всегда весёлый, жизнерадостный. Иногда я ему даже завидую.

Я вообще начинаю завидовать своим ученикам. Часто мне хочется оказаться на их месте — не быть никому должной, делать только то, что хочется. Но потом я думаю о том, что они сами не знают, чего им хочется, и не знают, что им делать, и потому так себя ведут.

Обычно мы дежурируем по двое. Моя коллега, та самая Галина Ивановна, тоже учитель русского языка и литературы, работает в другом конце коридора. Ей лет семьдесят, у неё короткие крашенные в пшеничный цвет волосы, мелкие завитушки, тонкие и ломкие, которые иногда встают в разные стороны, и тогда она похожа на взъерошенную испуганную огромную птицу. Я слышала, что она очень строгая, и дети называют её “Галина Гитлеровна” или “Сатана Ивановна”. Интересно, как называют меня?

Она всё про всех знает. Если случайно столкнуться с ней в коридоре, то она обязательно заболтает и начнёт рассказывать — про детей, учителей, родителей.

— Доработай год и уходи отсюда, — говорит она, — бросай ты этот класс, как я бросила. Там нормальных детей вообще нет.

Я ничего не отвечаю на это, только киваю.

— Это такая помойка, — продолжает она. — Здесь как был рабочий район, так он им и остался. Откуда здесь взяться нормальным детям? Я в том году одну четверть работала в твоём восьмом “А”. Это же ужас, а не класс. Тебе очень не повезло, что на тебя его повесили. Но никто бы больше не согласился. А ты молодая, ты будешь молчать, на тебя можно и повесить.

На это я тоже молчу. Я и так уже поняла, что на меня сбросили то, что никто не хотел брать. И мой 8 “А” оказался никому здесь не нужным, лишним.

Мама сегодня забрала остатки своих вещей. Ящики открыты, шкафы настежь, как после погрома. Стою посреди маленькой квартиры, смотрю вокруг. Пусто. Но ведь сама этого хотела.

На столе на кухне записка: “Пирог хороший. Вчера готовила. Ешь. Вещи забрала все. Звони. Мама”. Открываю холодильник — пирог на месте. С сыром. Из слоёного теста. Мама сама делает. Отрезаю прямо холодный. Думаю, что она обязательно бы сказала: “Погрей”. Варю кофе. Молока нет. Пью так.

6

Отец приехал рано утром, перебудив всех. Он привык, как и раньше, ещё когда жили дома, приходя утром с суток, заходить громко и шумно. Вика помнит, как он всегда заваливался к ней в комнату не стуча, стаскивал одеяло и тащил в ванную — умыться. А она была маленькая, не умела отбиваться, плакала и обижалась. Теперь бы он так не сделал.

Он заходит, хлопает дверью.

— Поесть-то найдёшь? — говорит маме.

— Пусть тебя бабы твои кормят, — отвечает она, но встаёт и идёт на кухню.

Вика лежит, накрывшись одеялом, хотя давно не спит. Отец ходит по комнате, открывает шкаф, видимо, переодевается.

— Ничего не найдёшь, — бормочет он.

— Она туда сложила, — говорит Вика, садится на кровать и показывает на кресло в углу, — твои вещи все там.

Отец находит свою футболку в груде вещей. На кухне уже душно и жарко. Мама разогревает вчерашнюю жареную картошку и курицу. Пахнет несвежим маслом.

В Балашове на выходные Вика с отцом обычно ездили в Майское. Особенно поздней осенью — перед долгой деревенской зимой. Он сажал её в грузовик рядом с собой, и они ехали несколько часов по неровной, вдрызг разбитой дороге. На каждой кочке машину подкидывало вверх, отец держал руль уверенно, сжимая его изо всех сил, крутил то влево, то вправо — смотря по тому, куда кидает машину. И всегда говорил:

— Это ничего. Это разве кочка? Вот это кочка!

Грузовик подбрасывало ещё больше. Вика смеялась тогда очень громко, хотя было страшно, но она знала — рядом отец, и что бы ни случилось, всё будет хорошо. Когда они проезжали мимо убранных полей, отец открывал окна, и Вика чувствовала ещё тёплый ветер и степной запах. Ей нравилось это время — нет следа летней жары, но всё ещё живёт и дышит так, как могут дышать скошенные травы. А потом отец останавливался где-нибудь на дороге, и они садились на колючую холодную землю.

— Смотри, это к зиме, — говорил он, подбирая непонятно откуда взявшийся, слегка подмороженный хрустящий лист. Вика брала его в руки, и он рассыпался.

— Поможешь мне с машиной?

Он наливает полное ведро горячей воды и моет свою огромную фуру прямо во дворе. Вика в одной футболке и джинсах, как и он. Без куртки, хотя уже очень холодно.

— Может, прокатимся? — спрашивает он.

Вика забирается в машину, садится рядом с ним, смотрит в окно. Кругом асфальт, асфальт, и пахнет мутно и сыро.

— Мы не сможем поехать домой на каникулы? — спрашивает Вика.

— В этот раз не выйдет. Я только с рейса. Да и денег лишних нет. Может, весной.

— Ты уже не уедешь?

— Пока нет. Хочешь чего-нибудь?

— Не знаю. А что тут есть?

Он отвозит Вика к палатке с быстрой едой, покупает горячую кукурузу, приносит в машину. Посыпает солью, протягивает.

— Почти как в деревне, — говорит, — помнишь?

Вика помнит.

— Не привыкла ещё здесь?

— Что-то не очень.

— Слушай, я всё понимаю. Но мы не вернёмся назад. Ты будешь жить здесь. И учиться, и работать.

— А где ты недавно был? Покажи на карте.

Отец достаёт большую карту из бардачка, раскладывает на коленях, пачкает её липкими от кукурузы руками и показывает города, в которых был.

— Здесь и здесь. И здесь тоже.

— Так много! — удивляется Вика.

— Так два месяца же. Здесь тоже был.

— А в следующий раз куда?

— Куда пошлют.

— А с тобой можно?

— А школа?

— Да наплевать.

— Я тебе дам — наплевать. Купим домой? — Он показывает на пустой пакет из-под кукурузы.

На Новый год должны были поехать домой. Всё уже было подготовлено. Вика собралась и ждала. Отец приехал двадцать девятого декабря. Это был последний учебный день. Ждали маму. Если выехать ночью, как хотели, то тридцатого уже там. Но мама пришла пьяная. Вика слышала из коридора.

— Где ты так? — отец.

— Отвали, — мама.

Она прошла на кухню, прямо в сапогах. Развела грязищу.

— Нам же ехать, — отец прошёл за ней.

— Никуда я не поеду.

— Собирайся, — отец крикнул Вике, — одни поедем.

— Она тоже никуда не поедет. По бабам своим таскать её будешь?

— Собирайся.

— Я сказала, она никуда не поедет. А ты чего стоишь? Налей чего-нибудь. Чай налей.

Вика стоит в коридоре, прижавшись к стене. Её отец, крупный, загоразживает проход в кухню, но ей видно мамино некрасивое лицо с размазанной яркой косметикой. Мама хочет пройти, но отец не пускает её.

— Пусти...

Он толкнул маму, и та упала обратно на стул.

— А ты чего стоишь и смотришь? — мама кричит Вике. — Зачем я тебя только рожала? На его стороне всегда. Своего папочки любимого.

Отец с размаху ударил её по щеке. Она упала головой на стол, зарыдала. Потом вскочила, бросилась на него.

Вика бежит в коридор. Одевается.

— Куда собралась? — Отец за ней. — Иди спать.

— Руки убери от меня.

Дрожа, пытается найти своё пальто. Отец отнимает, не даёт надеть его. Пальто рвётся.

Отец пытается затащить Вику в комнату, но она вырывается.

— Куда ты пойдёшь? — отец загораживает дверь.

— Отойди.

Стоит у двери.

— Отойди. Или ударишь меня, как её?

Он забирает ключи.

— Остынь.

— Отойди, я сказала.

Отходит.

— Дай ключи.

— Куда ты пойдёшь?

— Дай мне ключи.

Отдаёт.

— Замёрзнешь — вернёшься, — кричит он вслед.

7

Я наконец-то иду в комнату отца. Прошло больше года, а я всё не решилась. После его смерти я была там всего один раз. Отключила холодильник, помыла посуду, забрала продукты, закрыла дверь. Всё остальное оставила как есть. Вещи, диван, бельё, на котором он спал, — ничего не взяла. Год всё так и лежит. Понимаю, что, наверное, неправильно. Но не могла так сразу.

Дверь в квартиру открыта настежь. Замка нет. В коридоре темень. Пытаюсь включить свет — нет даже выключателя. Вместо него — торчат во все стороны провода. Тихо. Где все — непонятно. Праздники — должны быть дома. Сидят, наверное, по своим комнатам. Боятся выходить или спят — кто их знает. Подсвечивая себе телефоном, открываю дверь и захожу в комнату. Включаю свет.

Диван всё ещё не сложен, но постельного белья нет. Складываю диван. Открываю шкаф — там аккуратно развешаны поглаженные, чистые рубашки. Отец всегда любил порядок. Снимаю их, кладу вместе с вешалками в одну кучу на диван.

Открываю другой шкаф — с бельём. Под носками нахожу несколько книг с молитвами. Достаяю всё вместе — и тоже на диван. На верхней полке всякая мелочь вроде бритвы и прочего. И огромной стопкой — четыре тома Толстого. Пролистываю. Страницы жёлтые, старые, обложек нет — на титульном листе от руки написано “Л. Толстой. I том”. Откуда они у отца — не знаю. На первой странице внутри книги подпись — “Евгению от верной подруги Нины”. И год — 1973. Ему было двадцать три года.

Смотрю вокруг. Пусто как-то. Вроде ничего и не изменилось. Около дивана — тяжёлый, на железных ножках журнальный стол. Балкон открыт. Холодно. Рядом с балконом справа — полочки, отец их сам делал. На них лекарства — но-шпа, анальгин, какие-то ампулы. На “скорой”, наверное, кололи. Так и лежат. Никто их не выкинул.

Обоев нет. На голых стенах — какие-то телефоны. Написаны крупно — отец плохо видел. Нахожу свой телефон. Над ним надпись: “Дочь, мобильный”. Отец всегда записывал всё важное на стенах. На старой квартире, где жили вместе, все стены были исписаны номерами. В основном, рабочие: “Коля-балкон, Света-ванна, Дима-подрядчик...” И так далее. Отец делал ремонты, так что можно сказать — это клиентская база. Последние годы отец просил разместить его объявления в интернете. Я ему объясняла, что таких объявлений море, но он не понимал.

— Ты мне не хочешь помочь, а это деньги, — говорил он.

Мечтал открыть свой бизнес, работать на себя. Не любил, когда кто-то указывал ему, что делать. Совсем как мои ученики.

Он мне рассказывал, как однажды делал дачу какому-то бизнесмену. Делал евроремонт и брал тоже евро. Бизнесмен хорошо заплатил, но сказал, что если через месяц плитка отвалится, он его найдёт и зароет на своей же собственной даче. Но плитка не отвалилась. Ни через месяц, ни через год.

— И этот жлоб мне такое говорит! — ругался отец. — Если я делаю — то делаю. А захочу — сожгу его вместе с его дачей.

Он много чего рассказывал.

Я понимала. Я его всегда понимала.

Слева должен быть телевизор. Но его нет. И полочки под телевизор тоже нет.

Звоню маме.

— Я у отца, — говорю о нём, как о живом. По привычке. — Тут телевизора нет. Не брала? А кто? Соседи? Спрошу. Да.

Обещаю перезвонить.

Да чёрт с ним, с телевизором. Выхожу на балкон. Бутылок нет. Значит, убрали или соседи взяли — сдать. Хотя, не знаю, сдают ли сейчас. С балкона видна моя школа — одного цвета с серым небом. Можно увидеть главный вход. Где-то там моё окно.

Вспоминается, как ходила сюда, когда отец был ещё жив. Он тогда пытался бросить пить, но срывался. Звонил мне и просил денег. А я шла сюда. Так было много-много раз. Он выходил на работу на полгода. Потом — опять звонок, и всё сначала.

Вспоминаю, что в тумбочке, которая пропала, лежала труба. Отец выиграл её в детском лагере. Умел ли играть — я не знаю. Но трубу жалко. Не знаю, почему именно её. Просто стало жалко. Не телевизор, который покупали вместе двенадцать лет назад на Горбушке. А именно трубу.

Стучусь к соседям. Молчат. Знаю, что дома.

— Да откройте, — говорю.

Открыли. Пьяный парень — сын хозяйки.

— Трубу отдайте, — говорю.

— Какую трубу?

— Трубу. В тумбочке была. Барахло себе оставьте.

— Мам, тут...

Выходит. Суетится. Испугалась, что заявление в полицию напишу.

— Да мы взяли просто, чтоб не пропало. Дверь открыта была. Отдай, сынок.

Сынок ушёл, вернулся, выкатывая тумбочку на колёсах. На ней телевизор. Сам закатил в комнату. Поставил на место.

— Вы как — жить будете? Или продавать? Отец вроде продавать хотел.

— Не знаю.

Открываю тумбочку. Труба там. Так это нелепо. Я посреди всего этого. Этой пьяной женщины, её пьяного сына — мальчика двадцати лет. Сажусь на диван с этой несчастной трубой. Засовываю её в дорожную сумку, которую принесла с собой. Не беру больше никаких вещей.

— Он нам и газ провёл сам, и свет, — тараторит соседка, — и замок сколько раз чинил, и вообще, по мелочи. Такие руки были — всё мог сделать.

Это она об отце.

— Знаю, — говорю я. — Присмотрите за комнатой.

* * *

Третья четверть очень долгая — почти три месяца — и замкнутое пространство постепенно начинает давить. В школе как будто не хватает воздуха, и каждый урок становится пыткой для всех. После двух четвертей, которые для моего восьмого класса окончились двойками и редкими тройками, дети немного притихли. Многие стали понимать, что так они школу не окончат вообще, многие удивились, что я ещё не ушла и не собираюсь, и все знали, что оценки как-то получать надо.

В этот момент я решила переломить ситуацию.

— Сядьте по двое и ближе ко мне, — я это говорю каждый раз.

Никто не слушает.

— Тогда сяду я.

Я разворачиваю парту и сажусь ближе к ним. Парта тяжёлая, и я двигаю её с шумом. Переглядываются. Толкают друг друга. Решили, что я сошла с ума. Может быть, так оно и есть.

— Вам помочь? — сразу весело бросается мне на помощь Ярослав.

Но Андрей его одёргивает и силой сажает на место.

— Сиди! — говорит он ему.

Притихли. Смотрят — что будет дальше.

— Теперь мы будем учиться так, — говорю я, — Ярослав, раздай тетради.

Я сама купила им тетради. Они стопкой лежат у меня на столе. Ярослав опять радостно вскочил, точно собачка, которую вот-вот возьмут на прогулку. Но Андрей опять одёрнул его и посадил на место.

— Мы не хотим, — сказал Андрей.

Андрей всегда говорит тихо — он никогда не кричит, но когда он говорит, его слушают и выполняют всё, что он скажет беспрекословно. Мне бы так.

Смотрю на них, на всех. Красивые, молодые, наглые. Четырнадцать лет. Как-то мельком вспоминаю себя. Восьмой класс. Новый учитель русского. Сочинение — “Мой кумир”. Писала про Виктора Цоя. Потом вспоминаю свой курс в институте, свой семинар. Как сидели вповалку, где придётся, потому что места в маленькой аудитории не хватало, а нас было человек сорок. Молодые, красивые, наглые. Каждый хочет что-то изменить, что-то взорвать, что-то написать. А мы ведь с этими детьми, и правда, не так уж далеко стоим друг от друга.

— Мы всё равно ничего не будем делать, давайте просто договоримся. — Теперь говорит Андрей, а не я. — Мы тихо сидим остаток года, не мешаем вам. Я за всем прослежу. А вы ставите нам оценки. В девятом классе вы от нас откажетесь, если захотите. Нас всех это устроит.

Деловой какой! Наверное, далеко пойдёт.

Вдруг мне становится смешно. Они диктуют мне условия. Они не хотят, чтобы я выполняла свою работу. Я буду приходить сюда, сидеть, получать свои пятнадцать тысяч рублей в месяц и уходить домой. Неужели всё это стоит того, чтобы учиться, работать, жить в тесной квартире? А может, они правы? Нужно делать именно так — не напрягаться, не ругаться, а просто жить, не обращая ни на кого внимания.

Но мне смешно. Смеюсь долго, захлёб, как давно не смеялась. Они совсем притихли, точно животные, когда от страха те прижимают уши и поджимают хвосты. Наверное, и правда, думают, что я не в себе. А может, я и не в себе? У них своих проблем полно. А тут я откуда-то взялась, что-то от них требую. А им не до меня. Им просто не до меня. А мне не до них. Вот и всё, что нас связывает.

— Вы все так думаете? — говорю.

— Все. — Андрей.

— Хорошо. — Я встаю, открываю дверь. — Тогда идите. Мне больше нечего вам дать. А вам — мне. Вы правильно сказали в сентябре — мы друг другу никто, а значит, нечего и стараться. Всё, вы свободны. И я тоже.

Молчат. Сидят. Не ожидали.

— А если уйдём? — Андрей.

— Больше сюда не зайдёте никогда.

Я жду. Не знаю, что я буду делать, если они все уйдут. Но они сидят. Как и мы сидели, когда мастер в институте сказал: “Если вы думаете, что я позволю вам писать здесь плохо, уходите”.

Первым встаёт Ярослав. Андрей на этот раз не удерживает его. Я слежу за ним глазами. Но он идёт не к выходу, а к моему столу, берёт стопку тетрадей и раздаёт. Все остальные молча смотрят на него. За ним встаёт Андрей. Он проходит мимо Ярослава, толкает его в бок, идёт мимо моего стола, сбрасывает учебники, они с грохотом падают на пол, и уходит.

Я захлопываю дверь так, что слетает плакат со сложными предложениями.

Андрей действительно перестал приходить на уроки. Поначалу я думала, что он испугается, придёт, как ни в чём не бывало, а мы сделаем вид, что

ничего этого не было. Но он так и не пришёл. Он ходил в школу на другие уроки, но только не ко мне. Но без него стало как-то тише и спокойнее.

— Расскажи мне об Андрее. Что он из себя представляет? — спросила я у Насти, когда она с девочками дежурила у меня в кабинете.

— Ну, он вообще какой-то странный, — ответила Настя, — я знаю, что он живёт с бабкой. Мама у него уехала за границу уже давно. Она там вроде замуж вышла. Она очень редко приезжала и его никогда не забирала с собой.

— Он в начале очень умный был, — добавляет подружка Насти, чёрненькая Нинка, вся в рыжих, точно нарисованных, веснушках, — стихи хорошо читал. Ездил даже на конкурс в Москву куда-то. Но потом изменился.

— Если бы не он, то у нас бы все лучше учились. Он всегда всех подговаривает доводить учителей. Ему, если какой-то учитель не нравится, то он будет мешать. А если нравится, то может сидеть тихо. Такой он.

— А я ему, значит, не нравилось? — спросила я.

— Вы... Ну... Как бы сказать... — девочки замялись. Видно, что они уже обсуждали это между собой. Но сейчас стеснялись сказать.

— Ну, говорите уже! — Я улыбаюсь и показываю, что не разозлюсь и не расстроюсь.

— Вы как будто не из нашего города. Вы книжки читаете, пишете грамотно, говорите красиво. Никогда нас не оскорбляете. Вы не для нас. Нам другой учитель нужен. Вы всех только бесите, потому что никто из нас не будет таким, как вы. Это знаете, как раздражает.

— Но я же такая же, как Галина Ивановна или другие учителя.

— Нет. Вы не такая. Галинка нас всегда называла “чурбаны” и “бестолочи”, говорила, что из нас сочтется невежество. И мы её понимали. А что думаете о нас вы — никто не знает. И потом, все учителя на посёлке живут. Мы их всё время в “Пятёрке” видим. А вас никогда.

— Значит, мне нужно ходить в “Пятёрочку” и называть вас бестолочами? — шучу я.

— Ну, типа того.

С того самого дня уроки стали другими. Все наконец-то сели по двое, с последних парт переселились на первые. Больше не играли в карты и не доставали телефоны. Правда, половина класса тут же потеряла тетрадки, которые я им купила, и многие опять писали на листочках, но больше не делали из них самолётики. Учебники теперь читали, а не бросались ими друг в друга. Ручки у каждого были свои, и больше не приходилось ждать, пока кто-то запишет и у кого-то освободится ручка, чтобы передать её дальше. Так что стали появляться и тройки, и даже четвёрки. Я теперь старалась пройти за одну четверть весь учебник, выбирая оттуда только самое главное и нужное.

В этот момент ко мне на урок решила прийти завуч, Любовь Александровна. Дети перепугались. Всю перемену решали — куда сесть. На первую парту спихнули Диму Осла. Потом догадались, что она сядет назад, и Димины вещи скинули обратно. На первую села Настя. Поближе ко мне, подальше от неё. Все достали тетради, сложили руки, сели, приготовился писать.

— У нас же литра! — крикнул кто-то.

Все выругались. Достали другие тетради.

Завуч зашла со звонком, обошла весь класс, села на последнюю парту и приготовилась писать свой отчёт.

У нас литература девятнадцатого века. Рассказываю про Тургенева. За него в институте у меня стоит “удовлетворительно”. И я опять думаю, что не так уж и далеко мы с моими учениками стоим друг от друга.

Мы проходим повесть “Ася”. Её, конечно же, никто не читал. Разве что Эля. Но она настолько скромная, что на уроке почти не говорит. Больше мне спрашивать некого, и я начинаю говорить сама. Это, конечно, недопустимо. По новым стандартам говорить на уроке должны ученики. Но мои и так слишком много всего наговорили за всё это время. Да и новые стандарты им как-то не подходят.

Раздаю распечатанный отрывок из “Аси”, и они читают по цепочке:

— “Нас-тало мол-чание. Я продол-жал держать её руку и гля-дел на неё. Она по-прежнему вся сжи-малась, ды-шала с трудом и ти-хонь-ко по-ку-сывала нижнюю губу, чтобы не за-пла-кать, чтобы удер-жать на-ки-нав-шие слёзы”.

В классе была тишина. Страх перед завучем — человеком, обладающим большей властью, чем я, — сковывал их. И они молча и покорно сидели. Только сейчас в тишине я замечаю, как чудовищно они читают. По слогам, коверкая слова, ставя не туда ударения, по несколько раз возвращаясь к одному и тому же слову.

— “И вот теперь всё кончено! — начал я снова. — Всё. Теперь нам до-лж-но рас-статься”.

Смотрят на меня вопросительно.

— Что значит — “должно”? — спрашивают.

— Это значит — нужно, — говорю я.

— “Я ук-рад-кой взгля-нул на Асю... лицо её быстро кра-снело. Ей, я это чув-ство-вал, и стыдно станови-лось, и страшно”.

Урок прошёл быстро и спокойно. Теперь я понимаю, каким он должен быть.

— О чём эта повесть? — спрашиваю я.

— О любви, — говорит Нинка и краснеет.

В другой раз все бы обязательно засмеялись и стали отпускать всякие шуточки, но сейчас они молчат.

— А ты как думаешь? — спрашиваю Ярослава.

— Я думаю, что они не любили друг друга. Когда любишь, ждёшь и прощаешь. А тут — она убежала, а он даже не попытался её догнать.

— А ты бы что сделал? — спросила Настя.

— Я бы догнал, — сказал Ярослав и сам покраснел.

После звонка завуч никого не отпускает и просит меня посмотреть у них домашнее задание. Там должно быть сочинение, но я знаю, что его там нет.

Я прохожу по рядам и смотрю в их тетради. У кого-то тетрадь в клетку, у кого-то в косую линейку, у кого-то по истории.

— У всех есть, — говорю.

Они переглядываются.

— У всех? У всех есть домашнее задание? — переспрашивает Любовь Александровна.

— У всех, — ещё раз говорю, — у всех есть домашнее задание.

Она могла бы проверить, если бы хотела, но она этого не делает. Уходит и просит зайти к себе.

— Я посмотрела, — говорит она, — у вас очень много двоек.

— Да. — Я почему-то чувствую себя так, словно оправдываюсь.

Она вздыхает. Она в этой школе с самого открытия и повидала всякое, но сейчас даже она вздыхает.

— Я скажу прямо. Этот класс, который вам достался, ещё несколько лет назад назвали бы классом коррекции. Но поскольку больше нет такого определения, то учить их приходится вам. Я знаю, что там непростые дети. Они плохо читают, плохо пишут, плохо говорят. Это всё понятно. И учить-ся они уже не начнут.

— Но ещё две четверти впереди.

— Это уже ничего не изменит. Так что мы на вас давить не будем. Единственное, — прибавляет она, — у вас проблемы с Карауловым? Он перестал ходить на уроки?

— Перестал.

— Вы знаете, вызывать там некого. Мать живёт не с ним. Я скажу ему, что если он не вернётся в класс, мы подадим документы в полицию — пусть лишают родительских прав, а его отправляют в интернат.

Я молчу. Ещё месяц назад я была бы только рада избавиться от Андрея, но сейчас... Может, у меня стокгольмский синдром, когда жертва становится зависимой от своего мучителя и не хочет с ним расставаться?

— Вы со мной не согласны? — спрашивает завуч.

— Я не знаю. Нельзя же вот так отказываться от него.

— У вас просто мало опыта. А я уже здесь двадцать с лишним лет. И я вижу одно: если кто-то не хочет учиться — никто их не заставит. Ни я, ни вы, ни министры, ни сам президент. Всё будет бесполезно. Так что не тратьте свои силы.

Возвращаюсь в класс.

— Мы вас не очень подставили? — спрашивают. — Спасибо, что не сдали с домашкой.

— А что, обычно сдают?

— Конечно. Галина Ивановна всё время бегала к директору. Из-за каждой ерунды.

Стопнулись около меня. Дети как дети. У кого-то — новый отец и маленький братик. У кого-то — уже третий отчим, с которым надо как-то ужиться. У кого-то — съёмная коммуналка и чёрт знает что вместо родителей. А кто-то вообще один. И всем им надо как-то с этим управляться. А ещё — интернет, друзья, любовь. И целая жизнь, которую надо куда-то деть. Бой в груди, который ничем не погасить. Вспоминаю Бродского: “Поэзия рождается из шума в сердце”. У них у всех этот шум, который не даёт им жить спокойно. А что из него родится — кто его разберёт...

После уроков, как обычно, ко мне приходит Вика и ждёт меня, чтобы пойти вместе до дома.

Я курю при ней, не стесняясь. Идём мимо её дома в парк при больнице Ухтомского. Вход закрыт, но мы перелезаем через забор.

Садимся на лестницу около морга.

— Ты была здесь раньше? — спрашиваю я.

— Да. Я здесь часто гуляю. А вы?

— Только, когда отпевали отца.

— У вас умер отец? Я не знала.

— Мы не особо общались в последний год. Да брось — обычное дело.

Терпеть не могу, когда начинают расспрашивать. Люди умирают, а все удивляются, словно это случилось впервые и словно они сами будут жить вечно.

Вика больше не спрашивает, чертит что-то пальцами на снегу.

— Замерзнешь, — говорю.

— Да ладно.

Ложится на снег и смотрит вверх. Руки всё-таки замерзают, прячет их в рукава куртки. Мои перчатки отказывается брать. Ложусь рядом и тоже смотрю вверх. Сапоги быстро намокают. Но этого как будто не чувствуешь. Уже ничего не чувствуешь.

— Хорошо бы сейчас наступил конец света, — говорит она. — Все бы умерли быстро и незаметно. Никто бы не страдал. Вы бы хотели, чтобы наступил конец света? Чтобы раз — и всё?

— Тогда к чему были твои предыдущие четырнадцать лет?

— Я и так не знаю, к чему они. Всё сразу навалилось. Скоро девятый класс — а что дальше? Я как будто не знаю, куда идти.

— Значит, не надо никуда идти. Сделай остановку. Как я, когда пришла в эту школу.

— Остановиться. А что дальше?

— Не знаю. Время покажет.

— Всё впереди?

— Ну, вроде того.

— Мне кажется, ничего нет. Родители хотят разойтись. По-моему, они не очень хотели меня рожать. Вот вас хотели?

— Я никогда не спрашивала. Мама родила меня в тридцать четыре года. Думаю, она хотела, да. А отец... Это он выбрал мне имя. А ты бы хотела, чтобы тебя не было?

— Не знаю. Но я себе всё не так представляла. Отец притащил меня сюда, думал, будем нормально жить, семья и всё такое. А теперь, когда они ссорятся, перетягивают меня на свои стороны. Мама — к себе. Отец —

к себе. А я их всех люблю. Мама сейчас съехала, живёт в Быково одна. Папа взял там квартиру в кредит. А я должна решить, с кем останусь.

— А с кем ты хочешь?

— Иногда, когда я приезжаю к ней, она становится той мамой, какую я знала в детстве. Но потом она вспоминает отца, и опять всё снова. “Иди к своему родному. Ты мне не нужна. Мне нужно строить свою жизнь”. А когда я с ним: “Почему ты не звонишь? Не скучаешь по мне. Бросила меня, живёшь там со своим”.

— У неё есть кто-нибудь?

— Был когда-то. Меня ещё тогда не привезли. Она встречалась с одним богатым и хорошим. Готов был забрать её и меня. Но я не поехала. Я сказала — остаюсь с отцом. В итоге они расстались.

— И она обвиняет тебя?

— Да. Говорит, что я променяла её на “своего родного”. А он, и правда, родной. Другого же отца у меня нет и не будет.

— А у него есть кто-то?

— Сейчас не знаю. Раньше были какие-то женщины. Иногда мне кажется, что во всём этом нет абсолютно никакого смысла. Во всей этой жизни. Вообще никакого. Все только работают, работают и жалуются, как им тяжело. Зачем работать, если так тяжело? Зачем нужна семья, если всё равно все несчастливы? Ни смысла, ни радости. Но должно же что-то быть? Так же нельзя.

Нельзя.

— Ты хотела бы уехать домой? — спрашиваю.

— Да.

Достаю кошелёк.

— Держи.

— Вы что, не надо.

— Бери. Съездишь в свой Балашов.

— Кто меня пустит без родителей?

Убираю деньги.

— Девочки, здесь не пляж, — какая-то женщина в белом халате и шубе вышла на крыльцо покурить, — идите домой.

После разговора с завучем Андрей стал снова ходить на уроки, но с Ярославом общался так, словно ждал повода для драки. И он вскоре нашёлся. Они долго перекидывались словами. Ярослав что-то сказал, Андрей ответил. Ещё сказал — ещё ответил. Потом Ярослав встал, подошёл к нему вплотную. Встал Андрей. Ярослав толкнул. Тот в ответ. Ярослав замахнулся стулом. Андрей ударил. Ударил по лицу.

Ярослав не слабак, но он отлетел в другой конец класса, сломал спиной край парты. Попытался встать. Андрей ударил ещё. Вскочили Данил, Дима, схватили его со спины за руки. Тогда Андрей ударил ногой. Ярослав уже не встал сам. Я никогда не видела столько крови.

Прибежали все, кто мог, — завуч, Борисовна из соседнего класса. В общем, все, кто был рядом. Ярослава отправили к медсестре, позвонили его матери. Но приехал отец, которого я раньше никогда не видела. Крупный, мощный, похожий на медведя. Совсем не такой, как Ярослав. Злой, явно на взводе.

Андрей стоял, казалось, совершенно спокойно, улыбался.

— Чо ты улыбаешься? — Отец Ярослава, казалось, готов был сам ударить его прямо здесь.

Я смотрела на его крепкие руки. Андрей тоже смотрел, но продолжал улыбаться.

— Что произошло в вашем классе? — спрашивают уже у меня.

— У меня спрашивают, — сказал Андрей.

— Не лезь, — говорю я ему.

— Да мне всё равно!

Вернулся от медсестры Ярослав. Увидел отца. Удивился.

— А ты чего приехал? — спросил он.

— Ну как чего? — грубый прокуренный бас звучал на весь класс. — Не надо — уйду.

Я поняла — Ярослав сам отца видел не часто.

— Так иди. Сами разберёмся.

Пришёл директор с инспектором, и Валентина Борисовна вывела меня из кабинета и завела к себе. У неё тихо, спокойно, никого нет. Включает электрический чайник.

— Что теперь с ними будет? — спрашиваю я.

— Андрею есть шестнадцать лет?

— Не знаю.

— А кто начал драку?

— Мне кажется, Ярослав первый встал. Но они всегда дружили. Наверное, это из-за меня. Из-за тех тетрадей...

Я сижу так, будто виновата во всём.

— Ну что, ты к ним охрану приставишь?

Она не может показать мне, что боится, — она старше, — но проливает чай.

— Мать Андрея не отвечает на звонки, — говорю я.

— И не ответит. Свяжись с бабушкой. Она работает у нас уборщицей.

Я и не знала. Виделась с ней каждый день, но я даже не замечала её.

— Ничего я не знаю об этих детях, — говорю я.

Беру блюдце, наливаю туда по привычке несколько капель чая. Достая сигареты. Потом вспоминаю, где нахожусь.

— Кури, — машет рукой.

Закрывает изнутри дверь на ключ.

Оказалось — у Ярослава сломан нос и рёбра. Он всегда казался мне таким спокойным. Ничто его не задевало. На уроках последнее время сидел тихо — я забывала, что он есть в классе. Только иногда в нём проявлялось что-то. Какая-то храбрость. Как тогда — с тетрадями. После этого случая его стали как-то задевать всё время.

Однажды Ярослав встал посреди урока, подошёл к Диме Осланову, что-то сказал и сел на место.

— Что такое? — спросила я.

— Ничего, — ответил он.

— Ко мне подойди, — сказал Андрей.

— Надо будет — подойду.

Ярослав был сильным, Андрей тоже. На Ярослава обращали внимание, на Андрея — приходилось из-за его выходок. Своё лидерство в классе Андрей бы не отдал, хотя это лидерство ему было не нужно. Но он к нему привык, дети к нему привыкли, учителя к нему привыкли, все к нему привыкли. Андрей передрался с пятого класса, наверное, со всеми. Доказал всё, что мог. Но терпеть кого-то другого такого же он бы не стал.

Всё-таки звоню его маме.

— Это из школы. По поводу Андрея Караулова.

Бросает трубку. Набираю ещё. Не берёт.

Ярослав в школе больше не появлялся.

— Он этого так не оставит, — говорили все, — или ножом пырнёт, или ещё что.

Меня вместе с Андреем вызвали в детскую комнату на допрос.

Пишу характеристику. “Интерес к учёбе — средний. Успеваемость — хорошая. Интересы — спорт. Материальное положение — стабильное. Есть отдельная комната, есть место для занятий и прочее. Отношение к учителям — уважительное. Отношения с одноклассниками — хорошие, дружеские”. И так далее. Переписываю несколько раз. Всё это неправда. Это все знают, но я всё равно пишу.

Самого Андрея, по-моему, всё это не очень волнует

Инспектор задаёт один и тот же вопрос — как началась драка, кто был инициатором, кто первый ударил. Андрей молчит. Его задевает, что я хожу везде с ним вместо матери. Но больше никому.

В детской комнате сидит серьёзный взрослый полицейский в форме. Андрей стоит за моей спиной, переминается.

— Три удара подряд. На самооборону не тянет. Получается, как минимум, превышение. Как максимум — нанесение тяжких телесных повреждений. Сколько было лет на момент преступления?

— Пятнадцать.

— Будем думать. Караулов, выйди.

Андрей нехотя выходит.

— Что же у вас в школе творится? Если бы ему было шестнадцать — два года лишения свободы. Что с детьми вашими происходит? Пятнадцать лет — они уже здесь. А дальше что? Колония? — Пишет что-то. — Мать, отец есть у него? — спрашивает, не переставая писать.

— Да нет у него никого.

Отрывается от своих листочков. Говорит чётко и жёстко. Работа такая.

— А если бы Чекалин у вас там умер?

Встаёт. Ходит по кабинету. Думает. Сам тут недавно — видно. Да и не он принимает решения. Но всё равно думает.

— Я два года служил в Афгане. До самого конца. Попал под призыв. Сами понимаете. Столько всего видел. И молодых. И старых. Разных. Забирали, не спрашивая. Все хотели жить. Без рук, без ног — не важно. Жить. А жили не все. А сейчас... Мирное время. Всё есть. Деньги — заработай. Девки — будут. Учись спокойно, коси от армии. А не откосишь — год отслужишь, не поломаешься. Что ещё надо? Живи — не хочу. А не живут. Не хотят. Сигают из окон, обкальваются всякой дурью. Морды друг другу бьют. По мне, не хочешь жить сам — не живи. Но не порти нервы другим. А вы трясите над ними. Я бы ему два года дал и посадил бы — всё равно ничего хорошего не вырастет. Шанс хотите каждому дать? Возможность проявиться? А не проявится. Время не то. Мы другие были. Не такие, как эти.

— Время другое было. Они не виноваты. Что они хорошего видят? Четыре стены и экран монитора?

— А мы что видели?

— У вас была идея. Цель.

— Цель... Провалилась ваша цель к чертям собачьим. Так же нельзя.

Вы же понимаете. А они знают, как можно? — Он кивает на дверь.

— Нет. И они не знают. Поэтому и сигают из окон. И морды бьют. Другому не умеют. И будут бить ещё очень долго. А потом сделают такое, что вам и не снилось в ваши девяностые. И вы их посадите. И будете правы. Потому что то, что они сделают, — это будет страшно. Они никого не боятся и никого не слушают, и никого не уважают. Да и за что уважать? Вы на войне многое видели за два года, а я — в школе многое за год. Есть там вещи, которые не стоит уважать. И они это видят. Они же чувствуют лучше вас любой подвох. Вот вы его просмотрели в своё время. Поверили кому-то. А они чувствуют, что что-то не так. И никому не верят. Только выразить не умеют. Поэтому и ведут себя так. Они же понимают, что всё, что мы говорим им сейчас, — это чушь. Неправда. Всё неправда. Не то надо говорить. Не фальшивить. А мы фальшивим. Боимся. Заперлись у себя — и боимся. Слово боимся сказать. Они этого не прощают. Поэтому и ненавидят.

— Кого?

— Всех.

— Слушайте, давайте я буду один ходить? — говорит Андрей на улице.

— Помолчи уже. Сделал всё, что мог.

— А вам что-то будет за это?

— Мне-то что? Уволюсь и всё. О себе думай.

— Не увольняйтесь. Хотите, я извинюсь перед Чекушкой? Я же не знал, что так будет. Я, когда злось, не понимаю, что делаю. Как в тумане всё.

Я останавливаюсь и смотрю на него. Он как будто стал намного старше за год. По-прежнему невысокий — с меня ростом, но такое ощущение, что не ученик мой, а старший брат. Грубит всё время. За спиной учителям говорит “ты”. Улыбается криво. Всё время что-то выигрывает в свой футбол,

а двух слов связать не может. Только и умеет долбить по своему мячу. Хочет в физкультурный институт. Но для этого нужно пойти в десятый. А какой ему десятый, если он и восьмой не может окончить?

— Да иди ты к чёрту, — говорю я, — футболист. Всю голову, видимо, отбили. Не приходи больше. Видеть тебя не хочу. Сиди лучше дома.

Через месяц Ярослав гордо вернулся в класс, весело рассказывал всем, как лежал в больнице и там научился курить с мужиками. Андрея оставили в покое. Признали превышение допустимой самообороны, но по возрасту дали только предупреждение. Все в школе выдохнули. Андрей продолжал ходить на уроки. Но теперь сидел тихо и писал всё, что я говорю. Демонстративно сел на первую парту и прочитал первое в своей жизни — рассказ Льва Толстого “После бала”.

— Я хочу пробовать в десятый, — сказал он. — Вы останетесь?

— Экзамены сначала сдай.

Я перестала пытаться понравиться ему, поэтому стала сама вести себя, как обиженный ребёнок. Отвечала грубо или не отвечала вообще.

— Я всё сдам. Мы все сдадим. Вот увидите.

В этой жаре могилу нелегко найти. Страшно — вдруг не вспомню, где она. Кажется, направо. Посреди дороги растёт дерево. Помню, как на похоронах страшно и неуклюже несли гроб. Шли прямо по чьим-то могилам, потому что прохода не было. Передавали друг другу тяжёлый, обитый красным. Переносили на вытянутых руках. “Только не уроните”, — кричала мама.

Сразу за деревом — могила отца. Памятника ещё нет. Только крест и фотография под ним. Отцу сегодня полтора года.

— Надо бы памятник поставить, — говорит мама. — И ограду покрасить.

— Покрасим, — говорю.

Уже стоят искусственные цветы. У отца — фиолетовые. Он всегда любил этот цвет.

— И лавочку поставить.

— Поставим.

— Я всё-таки себя виню, — говорит мама. — Если бы мы не развелись... Не разменяли квартиру... Но у него какой характер был... Один раз пришёл, хотел хлеба чёрного. А чёрного не было, был только белый. А он любил чёрный с селёдкой. Я сходила, купила. Хлеб, селёдку. А он взял и уснул. Полчаса звонила, стучала. Не открыл. Ключи я что-то не взяла. А холод — зима была. Пошла в кино. Так с этой селёдкой и сидела два часа в кино. Она потекла. Запах стоял страшный. Всякое было. Тяжело жили.

— Но что теперь вспоминать. Он умер. Нет его. Нет человека. Всё.

Молчим. От чёрных мраморных памятников — жар. Должна быть гроза — и в воздухе парит.

Смотрю на фотографию отца. Ему там двадцать один год, сразу после армии. Другую не нашли, не искали — не до того было. Красивый. Молодой. Жениться собирался. Не на маме. На маме — потом. Фотографировался для чего-то. Чёрно-белая. Не улыбается. Он редко улыбался.

Идём обратно.

— Вам, наверное, не стоит снимать комнату, — говорю я маме. — Живите в нашей квартире. Я пока у отца поживу. Рядом с работой.

— Там же пьяницы одни. Лучше уж мы там.

— Всё равно ремонт хотели делать. Я пока начну. Найму кого-нибудь.

— Зачем нанимать? Мой Саша всё сделает. У него, знаешь, руки какие. Я улыбаюсь.

— Про отца тоже так недавно сказали.

Мама обнимает меня. Всё как-то темнеет и кружится. И глаза режет, как от яркого света.

— А что написать на памятнике? — спрашиваю.

— Можно просто имя и дату жизни.

- А ещё что-нибудь можно?
- Что хочешь напишут.
- А можно просто: “Папе”?
- Можно.

На перекрёстке расходимся по своим дорогам. Мама — на маршрутку. Я — пешком в свою сторону.

— Звони, — говорит мама, — кроме тебя, у меня никого не осталось. Знаю.

8

Двадцать третье марта — день рождения Вики. Это уже каникулы. На столе лежат деньги на новый телефон. Вика берёт деньги, идёт в ближайший “Связной”. Телефон, который она хочет, стоит дорого. Мальчик-продавец аккуратно распаковывает его, включает, показывает, как делать фото, включает музыку. Ей всё нравится. Она покупает, идёт домой. Идёт мимо церкви и фотографирует её. Получается не очень ярко — белые стены на фоне серого мартовского неба. Уже не так рано, и колокола бьют к полудню.

Вика впервые услышала их год назад — в своём городе. Она встречала бабушку из церкви. Было пять часов — должна была начаться вечерняя служба. И вдруг неожиданно стали бить колокола. Так, словно созывая всех. Людей почти не было — будний день. Но колокола били так, словно площадь полна верующих. Никто не заходил в церковь, никто не выходил из неё. Но колокола били и били. Им ничто не было важно, кроме их собственного звона.

— Раньше колокол бил по покойнику, — сказала бабушка, — сколько раз бил, столько лет было умершему.

— А сейчас? — спросила Вика.

— А сейчас каждый день кто-то умирает, всех не перечесть.

Колокола били ещё долго. Сотни ударов, словно по всем покойникам сразу. И до самого дома Вика слышала их звон.

В своё последнее лето в Балашове она часто заходила в церковь. Помогала там по мелочам. В городе деревянная церковь. Маленькая — раза в два меньше этой, но на службе было много народа, хотя тяжело выстоять. Вика стояла. Стояла, молчала, слушала.

Вечером приходит отец. Приносит цветы. Вика ставит их в трёхлитровую банку, потому что вазы нет. А он садится на кухне. Мама теперь живёт в Быково и сюда не приезжает. Вика садится рядом, делает себе чай. Отец обнимает её одной рукой.

“Совсем как семья”, — думает Вика.

— Видела, что творится? — отец делает телевизор громче.

В новостях показывают апрельские наводнения. В Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Краснодарском крае.

— Интересно, как там наш Хопёр? — спрашивает он.

Хопёр — это река, два часа пешком от дома. Или сорок минут на автобусе. Будет набережная — грязный песок, каменные ограждения, запах гнилой воды и рыбы. Говорят, в эту реку сбрасывают все отходы. Но там всё равно купаются. Когда-то это была большая река, по ней ходили суда — сейчас маленькая несчастная речушка. Но в апреле, когда сходит снег, эта маленькая речушка разливается на весь край.

Паводки в Балашове бывают часто, но к ним привыкли, готовятся, и всё обходится. Только однажды Вика видела настоящее наводнение.

Было начало апреля. Рано сошёл снег, рано потеплело. И живая вода пошла. Скрыла под собой весь левый берег. Подошла к самым домам. Дома поплыли вместе с рекой. Две части города были отделены друг от друга, и никакого сообщения между ними не было.

Была объявлена чрезвычайная ситуация, звучала воздушная тревога. Из-за этих паводков отключили на несколько дней воду, транспорт ходил с переборами. Каждый день сообщали об уровне воды. Все сидели, отрезанные от

цивилизации. Тогда все чувствовали свою страшную беспомощность перед надвигающейся водой. Чувствовали — но было чертовски хорошо. Весь город жил одной жизнью. Все были охвачены одной проблемой, одной бедой. И от этого становилось спокойно и радостно.

У них не ловил местный канал — и Вика бегала к соседям смотреть новости. Они наливали ей чай, и она сидела у них до вечера.

Потом отключили свет — и уже соседи бегали к ним за свечками. В темноте искали спички, зажигали. На газу грели ужин. Дверь не закрывали. И кто-то всё время приходил и рассказывал последние новости.

— Так однажды было в Москве, — рассказывал отец. — Тебя здесь ещё не было. Отключили электричество в нескольких районах. И в Люберцах тоже. Метро встало. Больницы на автономном режиме. Ни телевизора, ни воды, ни света, ни радио. Ничего. Полностью отрезаны от мира. И случилось то вечером, часов в шесть. Час пик. Народу битком. А ни метро, ни электрички, ничего. Конец света. Съездил на машине в Жулебино, купил на всех воды. Взял последние три бабды. Больше не было — всё скушили. Потом ездил за водой в Раменское. Их не коснулось. Так два дня и сидели. Сидели все вместе, на кухне, зажигали газ, чтобы светло было. Страшно. Но это лучшее, что я помню.

И это — лучшее, что помнит Вика.

— Наиболее подвержены воздействию стихийного бедствия поймы рек Аткара, Медведица, Хопёр, Большой и Малый Узень, Большой и Малый Иргиз, Карай, Терса. В зоне затопления могут оказаться более двадцати километров автомобильных дорог, двенадцать мостов, около десяти населённых пунктов, до трёх с половиной тысяч человек. Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, связанные с паводком, прогнозируются в Аткарском, Лысогорском, Балашовском, Пугачёвском и Самойловском районах. Общий материальный ущерб от стихийного бедствия может составить от двух до пяти миллионов рублей.

— Пап...

— Слышу.

— Значит, он опять пошёл.

— Да, сил затопить ближайšie дома у него хватит. Но мы же здесь — не переживай.

— А бабушка?

— Она в деревне. В Майском.

— А если затопит его?

— Да какая разница! — разозлился отец. — Пусть хоть всё зальёт. У нас там ничего не осталось.

Ничего не осталось. Никого не осталось. А бабушка?

Вика выходит на улицу. Сквозь серые облака, покрытые дымкой, видно яркое слепящее апрельское солнце. Ничего не осталось. Всё затопило. Хочется закричать. Изо всех сил. Закричать так, чтобы разбились окна соседних домов, чтобы это был крик падающих с неба, задыхающихся на земле птиц или крик человека, оставшегося в глухом лесу, осознавшего, что он один, осатанелого от этой неожиданно свалившейся на него свободы. Хочется, чтобы солнце упало на землю, сожгло её и возродило вновь.

Но чтобы закричать, нужно набрать в лёгкие воздуха. А его нет.

9

Учебный год начнётся только через три месяца, но я продолжаю ходить в школу. Кого-то встречаю, разговариваю. Иногда вижу своих учеников. Восьмой класс они окончили без двоек. Теперь все ждут сентября.

— Я скоро уеду, — говорит мне Вика, и её серые глаза темнеют. — Не могу здесь больше.

— А школа?

— Там доучусь.

Она уже в девятом классе, может взять билет на поезд и уехать. Мне почему-то кажется, что я первая, кому она это говорит.

— Почему вы молчите? Мы, наверное, больше не увидимся.

Я знаю — в её городе ей будет лучше. Там пахнет жизнью. Там живые колокола и живые реки. Живые люди. Всё меняется, и всё остаётся прежним. Таким, каким и должно быть.

Мне бы тоже хотелось уехать куда-нибудь, где бы никого и ничего не было, не было бы всего этого. Но для меня есть лишь здесь и сейчас. А в этом здесь и сейчас пока ничего нет, разве что эта короткая дорога и эти сотни километров, найденные нами по ней, как арестованными.

— Береги себя, — говорю.

— И вы.

Мне хочется её обнять, но, наверное, это не принято. Она уедет на следующий день, а в моём городе начнётся ещё одно жаркое лето. Будет пахнуть расплавленным бетоном, а захочется снега — много-много, чтобы он завалил все дороги, все вокзалы, подъезды домов.

Идём за школу, туда, где вход в начальную, где дети обычно курят после уроков. Садимся прямо на лесенку под крышей. Дождь стучит. Холодно. Но хорошо. Зонта нет, и волосы быстро моknут, становятся тяжёлыми. Вика их распускает. Они у неё длинные — уже ниже плеч. Отросли за это время почти до лопаток.

Молчим. Не хочется говорить, но и уходить не хочется.

— Что будете делать? — спрашивает она. — Не уйдёте из школы?

— Нет. Останусь ещё на год. А там посмотрим.

— Сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— Двадцать пять... А что-нибудь изменится, когда мне тоже будет двадцать пять?

— Ну... Морщины вокруг глаз, — пытаюсь шутить я. — Придётся покупать специальный крем.

— Я уже покупаю, — говорит Вика серьёзно.

— Наверное, придётся работать.

— Это не страшно. А что ещё?

Поднимает глаза. Серые. Холодные. Жёсткие. Сейчас они уже не такие, в какие хочется всматриваться долго. А такие, в какие не хочется всматриваться вообще. Но я всматриваюсь.

— Тогда не знаю, — говорю. — Ничего не изменится.

Улыбается. Первый раз за всё время. Так, словно её никто не видит. Вдруг слышится шум, как показывают в военных фильмах при воздушной тревоге. Гул идёт, кажется, по всему небу. Раздаётся эхом. Нарастает. Негромкий, но монотонный и тревожный. Становится трудно дышать. Хочется посмотреть вверх, но там ничего нет — только небо, мутное от дождя.

— Что это? — спрашивает Вика испуганно.

— Учебная воздушная тревога. Последнее время часто включают. Наверное, тренировка. Не бойся. Сейчас пройдёт.

Ждём. И правда, через какое-то время проходит. Можно вдохнуть.

Смотрю на её лицо, пока она не видит, и представляю, как она приехала сюда из своего этого Балашова. Не понимаю, за каким чёртом отец привёз сюда эту девочку? В этот дикий мутный город.

Балашов. Точка на карте. Её почти и не видно. До неё отсюда десять с половиной часов. 596 километров. 596 километров по этим страшным дорогам.

— Знаете... — говорит Вика.

— Что?

— Дождь, похоже, на целый день.

— Похоже.

— Что будем делать? — говорит.

Я пожимаю плечами:

— Может, пройдемся? Хочешь?

— Хочу.

Но мы сидим и не двигаемся.

Хочется сидеть так до вечера. Пока не кончится дождь. Пока не появится

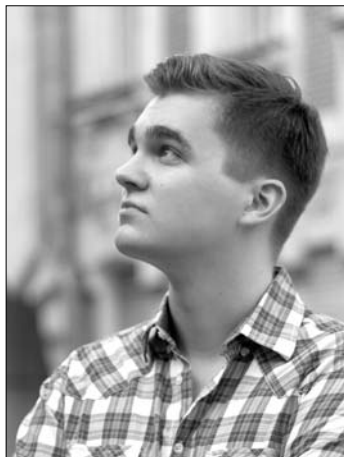
солнце. Пока дождь не начнётся опять. Пока не наступит сентябрь. И эти дороги не заполнятся сотнями людей. Бесконечным потоком людей.

Бесконечным потоком людей...

Я вдруг думаю — не было этого года. И предыдущего года. И вообще всех этих лет. Ничего не было. И нет. Есть только здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И в этом здесь и сейчас — два человека, идущих разными дорогами чёрт знает куда.

Через неделю Вика уехала. Вечером, по дороге из школы, я машинально останавливаюсь около её дома, ищу в сумке сигареты, но неожиданно достаю листок бумаги. На ней детским неуверенным почерком написан адрес и стоит подпись “Майское”. Листок приятно хрустит в руках. Я достаю телефон и прокладываю маршрут — ехать всего пятнадцать часов.

ВЛАДИМИР ХОХЛОВ



ТЫСЯЧА ЛЕТ ОКТЯБРЯ

* * *

А вот в Индии, а вот в Индии!..
Не то Кришну поют, не то Вишну...

А вы видели, а вы видели,
Как под снегом склоняет вишню?..

А вот в Индии всё в гармонии,
Чакры чистят слоновьим хоботом.
Дамару звучат — не гармонии, и
Просветляются люди оптом!

А вот в Индии — нам не Эр-Рияд,
Аюрведа там, благодать.
С нашим рылом в калашный-то этот ряд —
Только лаптем да щи хлебать.

Шутки шутками, ветер западный,
Корабли идут на восток.
Спи в пучинах вод, Диаш загнанный,
Знай, да Гама уже идёт.

Он не знает о просветлении,
Про вибрации тонкой звон...

ХОХЛОВ Владимир родился в 1997 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Стихи печатались в журнале "Нева". В журнале "Наш современник" публикуется впервые.

Но вот в Индии есть растения:
Крокус, перец и кардамон!

В море жгучего бросишь унцию —
Разнесётся над миром вопль:

Люди русские едут в Турцию
И минуют Константинополь.

* * *

Вышел из мрака не весь,
А приручился ничуть.
Я — заболотная весь,
Я — заволочская чудь.

Я — хвойный лес в ноябре,
Я — бездорожная хтонь,
Я — чёрный цвет якорей,
“В тесной печурке огонь”.

Как окультуренный храм,
Шибко культурным не стал.
Как обвокзаленный хам,
В зеркало глянул — пропал.

Утром, отбросивши сны, —
То ли заря, то ли зря.
Нам не дожидаться весны
Тысячу лет октября.

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ

Распластался город, как убитый,
Как огромный коченелый труп.
Всё же спит, усталый, знаменитый...
Стольный град сопит ноздрями труб.

Он не страшен в час перед рассветом,
Этот час дарует свет надежд.
Будто что-то будет в мире этом,
И, конечно, будет. Только где ж?..

Будет всё. И вечер, и гардины,
И прекрасной дамы светлый лик.
Выйдут в мичмана гардемарины.
Выйдет из Читы седой старик.

...Закружатся люди по паркету,
Свечи предадут на казнь огню.
Будет всё, что так угодно свету.
И прощение выйдет. Я налью.

И прощенье выйдет, как крещение.
Улетит посыльный в Березов,
И весна придёт, весна священна,
И Пилат услышит чей-то зов.

Разорвёт смычок подруге глотку,
Струнную, а знать — гуляй-гуди!..
Запылают звёзды сквозь решётку
На моей израненной груди.

* * *

Я разлагался вместе со страной,
отринутый детьми по-гефсимански.
Всё расплзлось: вздохи за стеной,
посуда в кухне и дороги в Канске.

Всё уходило, как вода из рук.
И тень от флага ёрзала на ГУМе
в который раз. Отставленный физрук
мне пробивал еду на кассе. В сумме —

тревога, вечер, я и шоколад.
Я шёл домой к предчувствию финала.
И если был вокзал, как чистый ад,
То здесь нам ад, как здание вокзала.

И даже тьма в такие времена
тускнеет к неизвестному оттенку:
смотри же, как Берлинская стена
мельчает в ГДРовскую стенку.

И ты молчала. Только не молчи!
В такую тишь нельзя одним с собою.
День догорал. И керенки в печи
казались мне пылающей звездой.

ОЛЬГА ЗЮКИНА



ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛЮДИ

РАССКАЗЫ

ЯБЛОНИ И ПЧЁЛЫ

Пенсионерка Валентина Семёновна Верёвкина на весь городок слыла активисткой. Её уважали. Проработала всю жизнь в школе, последние годы — замдиректора по воспитательной работе. А как вышла на пенсию, взяла на себя тяжёлое бремя старшей по подъезду: выбирала краску для стен. А потом стала старшей по дому, отстояла управление жильцами — никаких управляющих компаний. Сама искала работников для ремонта отопления, освещения. И вот последняя её победа — забор и ворота.

Два года назад Валя с сестрой купили участок недалеко от города. Даже думали квартиру продать и в домик перебраться.

— Так, Соня, нам бы успеть к сезону теплицу поставить, — говорила Валя, деловито прохаживаясь по участку.

— А куда ставить будем?

— Да хотя бы вот сюда, — она указала на место, где как раз её сосед что-то прибывал, стоя на стремянке так, что его было видно из-за двухметрового забора.

— Здравствуйте, — обратилась к нему Валя.

— Ну, здорово.

— Меня Валентина Семёновна зовут. А это сестра моя — Соня. Будем соседями.

— Это хорошо. Я Иван Михалыч. Обживаетесь?

— Обживаемся. А вы что делаете?

— Да так... Навес. Погодите, я вам мёду принесу.

ЗЮКИНА Ольга Сергеевна родилась в 1990 году в Брянске, окончила Брянский государственный университет, работает юристом в ООО "Объединенные кондитеры".

Мужчина вернулся с банкой, передал её через забор.

— Вот, у нас пара ульев есть. Это вам, по-соседски. С соседями дружить надо, — сказал он и, как показалось Валентине Семёновне, ехидно ухмыльнулся.

Сёстры разбили грядки: зелень, огурцы, морковь. Посреди огорода поставили бочку, наполнили водой и принялись увлечённо выращивать урожай.

Сосед Иван мастерил навес. Валя стала подозревать, что крыша навеса может свисать над её участком. И она, дабы предупредить неприятности, громко, чтобы слышал Иван, говорила сестре:

— Ой, Соня, и что же нам посадить к этому забору? Тут такая тень.

Или:

— Какой огород хороший у наших соседей: солнечный, светлый. Вот бы и у нас была сетка, а не эта стена.

Иван Михальч словно ничего не слышал. Иногда только всё с той же неприятной улыбкой предлагал мёд.

Вдоль изгороди у Ивана и Татьяны Шулятьевых росли яблони. Старые, раскидистые ветви их от щедрого урожая потяжелели и лежали прямо на заборе, ранились о металлический профиль. Красные яблоки падали на участок сестёр, прямо в укроп и петрушку.

Соня набрала яблоч:

— Валя, смотри сколько! Наварим повидла.

Валентина цокала и качала головой:

— Ты только посмотри, какие от навеса капли. Всё побило. Ничего тут у нас не вырастет.

— Да это скорее яблоки.

— Ещё лучше. Мало того, что ветки весь свет затмили, так ещё и яблоки падают.

По дороге в город сёстры увидели своего соседа Ивана Михайловича на рыночке около остановки. Он продавал мёд и яблоки.

— Здравствуй, сосед, и почём же банка мёда? — спросила Валя.

— Пятьсот рублей за литр.

— Дороговато.

— Так ведь сколько труда! Но вам подешевле отдам, — улыбнулся мужчина и прибавил подозрительно: — С соседями дружить надо.

— Мы много мёда не едим, у меня на него вообще аллергия.

В автобусе свободных мест было мало, и сёстры сели порознь.

Женщина, рядом с которой села Валя, оказалась болтливой. Не нуждаясь в знакомстве и завязке разговора, она журчала, как реченька:

— Видели на рынке соседку мою в красной кепке? Вот жадна, каждой травинкой торгует. Зверобой с пыльной дороги — и то продаст. А Шулятьев? Строит из себя добренького, а сам, пока участок соседний пустовал, два метра отхапал. И забор трёхметровый. И молчок. Сидит ухмыляется, а как на скважину я собирала, так и по сто рублей всем жалко...

С этого места Валя перестала слушать. Шулятьев два метра отхапал. Она сразу вспомнила, что забор стоит с каким-то странным выступом. Дома она проверила документы. Выходило, что забор поставили давно и межевали уже по нему. Лично у Вали Иван Михальч ничего не украл, а вот у бывших хозяев, выходит, украл — так они продали девять соток, а могли девять с половиной. Валя восприняла это как личную обиду, ведь её участок мог быть шире на полметра!

В другую поездку на дачу к Верёвкиным пришла Татьяна — жена Ивана Михайловича.

— Хорошо вы тут всё обустроили, — начала она.

— Стараемся.

— Я рада, что вы теперь здесь, ухаживаете и за двором, и за огородом, а то летом такой бурьян рос. А мы во дворе скважину бурили на воду, вот она несколько лет побыла и всё — вода закончилась.

— У нас водопровод. Мы общим пользуемся.

— Да, как раз у вашего дома колодец. Нам бы от вашего колодца к себе трубу дотянуть. Можно?

— А мне что? Колодец не мой.

— Ну, спасибо.

Шулятьевы копали, пока сестёр не было: пригнали трактор, выкопали траншею, проложили трубу. Трактор разворотил землю, сдавал назад и сломал молоденькую сосенку, что посадили Валя с Соней.

Земля от дождей просела. Ямки, лужи и грязь перед своим голубеньким домом увидели сёстры.

— Вот же хамы! — воскликнула Валя.

— Да уберут, не могут же так всё оставить, — развела руками Соня.

Но Шулятьевы не убрали. Выпал первый снег, а они всё не убрали. Татьяна и Иван жили в посёлке постоянно, для них это жильё было домом. А Верёвкины зиму проводили в квартире, для них домик в посёлке был дачей. Сам посёлок строили в советское время для обслуживания турбазы. И расположение всех построек было не таким, как у деревушки, которая рождается сама по себе, а не по плану. Жилые домики стояли по линейке, без заборов, а сараи и гаражи разместили поодаль. Когда турбаза закрылась, домики потихоньку приватизировали, огораживали, а гаражи и сараи остались нетронутыми. У Верёвкиных и Шулятьевых в гаражно-сарайном районе один сарай на двоих: общее крыльцо, две двери, внутри — сплошная перегородка.

Соня зимой часто болела, а Валя ездила проверить хозяйство. В очередной приезд ей понадобился бочонок для родниковой воды. Валентина взяла снеговую лопату и отправилась к сараям. Дорожку к их сараю обычно чистил Иван Шулятьев. Сейчас тропинку замело. Валя принялась чистить; морозно, свежо — прекрасно размяться. Ближе к крыльцу ей показалось, что тропинка берёт как-то левее, к половине крыльца Шулятьевых. Вспомнились капли с навеса, тень от забора, сломанная сосна... И она стала чистить ступеньки только наполовину, правую часть. И крыльцо почистила тоже наполовину, только перед своей дверью. Домой возвращалась с улыбкой:

— Так вам и надо! Крыльцо ещё хамам этим чистить. Вот ещё!

Два дня Валентина ходила счастливая. Соня настроения сестры не замечала, всё больше лежала, даже сидеть ей было тяжело. Слабела. Валя витала в своих мыслях, так интересно увидеть реакцию Шулятьевых. Она то и дело вела воображаемый разговор с ними:

— Сами попросились. Вы лучше землю поравняйте. Некогда ступеньки почистить? Всё со своими пчёлами возитесь, предприниматели.

Через два дня Валентина поехала на дачу без надобности. А вдруг они ждут её у калитки с лопатой?

Шулятьевы её, к сожалению, не поджидали. И Валя отправилась к сараям. Увидела ступеньки и крыльцо — от неожиданности даже выронила сумку. Ступени расчищены от снега в шахматном порядке: на первой снега нет справа, на второй — слева, на третьей — тоже справа. И Валентине почувствовалась ехидная улыбка Ивана Михайловича.

— Я вам покажу! Я вам устрою! — вслух подбадривала себя Валентина и побежала к Шулятьевым.

Кулаком забарабанила в дверь. Открыли быстро.

— О, здравствуйте, проходите, — посторонился Иван, пропуская Валентину Семёновну.

— Нечего мне проходить, у меня разговор короткий. Навес свой живо убирайте. И забор — наполовину. Довольно тень на мой участок бросать. Не уберёте — в суд подам! Я свои права знаю.

Подошла Татьяна, прыснула театральным смехом:

— Да подавай сколько угодно! Забор убрать! Кто ж такое сделает? На-распашку жить будем? Ты еще яблони потребуй спилить. Вот посмеются!

— И потребую!

— Валентина Семёновна, — заговорил Иван, — вы зайдите, поговорим, чайку...

— Спасибо. Сыта по горло! Я всё сказала! Убирайте забор и навес, и точка.

Развернулась, пошла к себе. Шулятьевы дверь не закрывали, Татьяна говорила мужу так, чтобы и соседка слышала:

— Да ну её! Никуда она не пойдёт! Вечно недовольная. Да и какой суд забор уберёт? Это же забор. Наш участок, что хотим, то и делаем.

Но Шулятьевы ошиблись. Верёвкина загорелась этой идеей. Не откладывая в долгий ящик, не давая себе остыть, в тот же день вернулась в город и отправилась в юридическую консультацию.

Встретила её молодая девушка в строгом костюме, внимательно выслушала и с заверениями, что, конечно, шансы есть, и она изучит практику по этому вопросу, отправила Верёвкину домой.

Юрист Эльвира работала всего первый год, всеми силами расширяла клиентскую базу. К тому же у неё на компьютере накопилось ещё совсем мало образцов исковых заявлений. Поэтому Эльвира по-честному зашла в “Консультант Плюс”, а дома даже подняла свои тетрадки с лекциями по гражданскому праву.

— Ага, — прочитала подчёркнутое красной ручкой, — вот то, что надо.

На второй встрече она держалась увереннее, чувствовала своё превосходство перед клиенткой, могла пугать её непонятными словами.

— В вашем случае надо подавать негативный иск. В суд общей юрисдикции. Какие требования будем заявлять? Устранить нарушения, не связанные с лишением владения. Что именно надо устранить?

Валя повторила, как завороженная:

— Да, негативный иск. Надо бы забор устранить, пол-участка в тени. Вот у других соседей сетка — как хорошо! Ещё навес убрать. Капели с него все семена забивают.

— Хорошо, — Эльвира всё записывала. — Что-нибудь ещё?

Валентина думала.

— Может, что-то вашему здоровью угрожает? Слив какой-нибудь?

— Нет, такого нет, — и тут Валентина вспомнила, как ёрничала Шулятьева про яблони, — еще яблони у них растут, тоже свет застыт. Можно и их заставить убрать?

— Заявим и такое требование, — Эльвира стучала по клавиатуре, а сама думала: “Вот же противная бабка!” — Моральный вред заявлять будете?

— Буду, пусть-ка заплатят, у них денег много, они предприниматели, пчёл держат, мёд втридорога продают. Заплатят. А у меня на мёд вообще аллергия.

— Хорошо. У вас по документам дом на двоих?

— Да, это моя сестра. Пишите от нас обеих. Она болеет.

— Дееспособная?

— Ох, не дай Бог! Конечно, в своём уме. Всё подпишет, придёт, если надо.

— Хорошо. Через три дня приходите, в пятницу, проект искового будет готов, госпошлину оплатите и всё.

Эльвира закончила институт с красным дипломом. Не то, чтобы она разбиралась в сущности права, зато хорошо умела подбирать информацию по теме. Вот и к негативному иску она подобрала всё, что более-менее подходило. Забор высокий — не по СНиПу, и деревья посажены без отступа, навес туда же. Прочитала. Всё равно как-то несолидно. Вот если ещё что-то? Пчёллы. Незаконное предпринимательство? Не то. Вот бы здоровьем что-то угрожало. В уме всё вертелось пчёллы. Они же могут налететь, покусать. Набрала в интернете, пишут — могут закусать до смерти. И тут ей на глаза попался подходящий местный закон.

Не дожидаясь пятницы, Эльвира пригласила Верёвкину.

— У вас аллергия на мёд, — начала она вкрадчиво, готовя пациента к смертельному диагнозу.

— Да, — робко ответила Валентина.

— А на самих пчёл? — Эльвира наступала. — По закону улы с пчёллами можно содержать только, если это не создаёт угрозу жизни и здоровью окружающих.

Верёвкина отпрянула. Юристка продолжала:

— Если у вас аллергия на пчёл, ваши соседи ставят вас в чудовищную опасность. Они не вправе иметь пасеку рядом с вами. Это нарушение законов Орловской области.

Верёвкина испугалась. А они ей ещё и мёд подсовывали! А ей, может, и вовсе опасно выходить на огород: прилетит какая-то пчела, укусит, а потом разбираться уж некому будет, шулятьевская она или дикая.

— Я не знаю про аллергию...

— А вы проверьте. Сдайте пробу.

Проба оказалась положительной. У Верёвкиной и правда выявили аллергию на укус пчелы. Как она могла прожить почти шестьдесят лет и не знать об этом!

О том, что Шулятьевы получили повестку, Валя поняла сразу: перестала здороваться, отводили глаза, уходили, завидя её.

Встретились они уже в суде. Валентина Семёновна пришла с Эльвирой, Шулятьевы — вдвоём. Высокомерно шушукались в коридоре.

— Девочка какая молоденькая, неопытная, — шептала Татьяна мужу.

“Не на ту попали”, — про себя отвечала им Валя.

“Не на ту попали”, — подумала Эльвира и поправила чёрную юбку-карандаш.

Судья строго и сурово задавал пугающие непонятные вопросы:

— Отводы?

— Ходатайства?

— Истец, требования поддерживаете?

— Ответчик?

Татьяна начала:

— Ваша честь, мы ничего не нарушаем. Пчёл держим не первый год, никто не жаловался. И забор повыше, чтоб пчёлы не разлетались. А яблони кому мешают? Сами-то они яблоки наши подбирают. А этой всё не нравится, всем недовольная.

— А как быть довольной, товарищ судья, ваша честь, то есть, — встала Валя, — посадить ничего не могу, всё в тени.

— Да, к тому же самовольно устроенная пасека, — подхватила Эльвира, — создаёт угрозу жизни и здоровью истицы. У неё аллергия на укус пчелы, что подтверждается медицинской справкой.

Татьяна захохотала.

— Ой же чужь! Укус пчелы! А если её дикая пчела укусит, она с лучшим судиться будет?

Судье шутка не понравилась.

— Ответчик, я вам слова не давал. Как смеют люди первый раз ко мне прийти и так себя вести?

— Извиняюсь, — прошептала Шулятьева.

— Я вас удалю с заседания, если такое повторится. Как смеют люди так себя вести в присутствии судьи? Говорить только по моему разрешению!

Судья был старой закалки. Не любил богатых, предприимчивых, защищал бедных и обманутых. И неважно, что сами они обманулись или обеднели по своей лени. Развязная Шулятьева ему не понравилась. Верёвкина тоже раздражала, но Шулятьева больше. Она вполне представлялась жадной купчихой в особняке с башнями за каменной стеной. Ещё и с пасекой решить что-то надо. Как быть?

— Проведём осмотр на месте, — решил судья, — выеду сам.

На месте впечатление его усилилось. У Шулятьевых — кирпичный дом с мансардой, у Верёвкиных — деревянный домик с голубой облупившейся краской. Забор добротный. Навес — нехорошо, свисает прямо на соседний участок.

Погода стояла солнечная. Первые весенние деньки, молодые и свежие. Жалко яблони спиливать.

На стульчике, накрыв колени пледом, сидела Соня, щурилась от солнца, улыбались морщинки вокруг глаз.

— Валя, помнишь, сколько яблок было? — говорила она сестре, что стояла рядом с ней. — Может, не надо всё это?

— Надо, Соня. Всё по закону.

Иван Михалыч что-то пытался объяснить. Судья не слушал, изредка кидал резкие фразы:

— Я вам слово не давал.

— Говорите по моему разрешению.

Шулятьев на свою беду предложил ему мёда. Судья ничего не сказал, посмотрел молча, сурово, надменно. Шулятьев виновато держал банку и, как назло, всё никак не мог найти ей места.

— Уберите это, — жёстко проговорил судья.

Его слова прозвучали, как приговор.

Валя усмехнулась:

— Всё со своим подкупом лезет.

На следующее заседание Шулятьевы пришли притихшие, с адвокатом, грузным лысым мужчиной. Адвокат много говорил, заявлял ходатайства, грозил встречным иском:

— И тогда, уважаемый истец, когда вы проиграете, мы подадим заявление о судебных расходах, сто тысяч между прочим...

Судья нахмурился. Сто тысяч? За два листочка бездарного текста?

— Вы мне что, процесс собрались затягивать своими бумажками? В другом месте экспертизу проводить будете. Встречный иск уберите, даже не доставляйте его. Отдельно заявите. Суд удаляется в совещательную комнату.

Приговор гласил: “Убрать забор. Убрать навес. Спилить обе яблони. И убрать пасеку”.

Валентина ликовала. Шулятьевы набросились на лысого адвоката. Эльвира выложила на Фейсбуке пост с заголовком “Интересный кейс”. Запись набрала сотни комментариев, которые анекдотами разлетелись по интернету. Здороваться Шулятьевы начали с Валентиной только через полгода. Надежда изменить решение их медленно покидала и ушла, оставив в почтовом ящике письмо от судебных приставов.

Первым пришёл мириться Иван Михайлович.

— Здравствуй, Валентина, нам бы поговорить, — топтался он на крыльце, не зная, куда деть руки.

— Здравствуй. — Валя заслонила дверь.

— Ну, что делать будем?

— А что делать? Всё вам написали, расписали, всё по закону.

— Ну, подумались и хватит, а? Навес уберу. Давай забор перегордим. Яблони спилить? Спилю. Но пчёл мне оставь, Валюша, пчёлка моих, Валюша, оставь, а?

— Никакая я тебе не Валюша! Совсем обнаглели. Это я еще сосну не предьявляла, а могла бы! Шутки шутить со мной вздумали, пороги наполовину чистить.

— Так ты ж сама...

— Сама? А землю кто разворотил? А теперь мириться? Думаешь, так запросто? Суд всё рассудил. Кто прав, кто виноват. Я с тобой только письменно разговаривать буду. Все разговоры в письменном виде!

— Эх, Валя, — качал головой Иван, — не пойдут тебе впрок эти пчелы. Господь всё видит.

— Ты мне на Господа не пеняй, — ответила Верёвкина и хлопнула дверью.

— Чего ты так с ним? — робко спросила Соня.

— Таких на место надо ставить. Я его сразу перебила, чтоб и не начинал.

— Жалко пчёлка, они в чём виноваты?

— Они не виноваты, а он виноват. Что же ты за человек такой? Всех жалеешь, всех прощаешь. Ни он, ни Татьяна его нас не пожалели. Никто за нас не заступится, кроме нас самих. Этой жалостью своей разрешаем хамам ездить по тротуарам, собак на нас спускают — терпим, на площадке детской машины ставят — молчим, памятник разбивают — боимся, стены уродуют — махнём рукой. Вот и молчим, вот и боимся поспорить, потребовать. А надо, Соня, надо, милая! Надо что-то делать. Не сидеть жаловаться, а делать. Что ты, Соня? Плохо? Соня?

— Нормально всё, давление просто. Водички дай. Ты молодец, Валя, ты боец. А я всю жизнь, как прицеп твой. И теперь вот совсем...

— Ладно, на, водички попей. Полежи лучше. Вот так.

Шулятьевы ещё чуть-чуть поборолись. Напрасно: Верховный суд оставил решение в силе.

Иван разбирает забор один. Медленно выкручивал саморезы, складывал в банку. Стопкой, перестилая, уложил профлист, спилил столбы болгаркой, покрасил места среза, спиленные трубы и профлист укрыл рубероидом.

Валя не выходила, смотрела на всё через маленькую щёлку из-за занавески.

Ломал навес и пилил деревья Шулятьев уже не один, с другим соседом. Все доски, катки, сучья аккуратно складывал вдоль сарая, подбирая один к другому по форме, размеру.

Ночью Валя проснулась от треска, казалось, что-то горит, выбежала во двор в одной рубашке.

Посреди огорода Шулятьевых бушевал костер: злился, извивался пламенем, стрелял искрами, затихал и жалобно стонал. Иван бегал по двору, с силой бросал в огонь ещё днём так старательно уложенные катки, доски, ветки. У сарая без разбора тянул доски, брал снизу, сверху всё рушилось, падало на него, било. А Иван всё тащил к костру, размахивался, что было сил, и бросал, бросал... Огонь трещал, пожирал, уничтожал всё то, что ещё вчера было нужным и живым.

Вот так они и жили с тех пор. Без забора. Не здоровались, не могли смотреть друг другу в глаза. Когда и куда убрали ульи, Валя так и не узнала. Теперь Шулятьевы продавали и дом.

Валя открыла дома конверт, что достала из ящика. Сухие выверенные слова:

“... возместить судебные расходы, взыскать в пользу Верёвкиных...” Не дочитала, свернула письмо и сложила обратно. Соня кротко спала. Так хотелось с кем-то поговорить! Так нужно было спросить: а правильно ли всё это? Правильно ли до конца, до хрипоты доказывать свою правоту? Валя всегда считала, что нужно найти виновного, уличить, ведь если никого не обвинить, получается, что никто и не виноват. А как наказывать?

В лучах закатного солнца блестела икона. Валя посмотрела на кроткие глаза Богородицы, и весь разум её и сердце наполнились одним словом.

Рано утром она поехала к Шулятьевым. Стучала долго, эхом откликался её стук в опустевшем дворе.

— Эй, Валентина, — окликнула её женщина с улицы, — уехали они. Дом продали, наконец. Теперь будут у тебя новые соседи. Мы тут с ними познакомились. Ну, Верёвкина, готовься!

ЖОЗЕФИНА

Катя вызвала лифт. На какой там этаж? Вроде, десятый. Неужели так высоко? Все свои двадцать три года она жила в панельной пятиэтажке, лифтом не пользовалась и побаивалась его, как боялся всего неизвестного. Но СМСка подтвердила, что этаж десятый. Придётся ехать, к тому же Катя так и не поняла, где здесь лестница. Нашла квартиру, вошла. Тапочки у входа, стопка глянцевого журналов на полу. Интересно быть в квартире без хозяина, вещи так много говорят о человеке, чего ни он, ни кто-либо другой не расскажет.

Из комнаты грациозно вышла кошка.

— Привет, Жозефина, пойдём тебя кормить, — заговорила с ней Катя, снимая пальто и сапоги.

Кошка внимательно смотрела на гостью голубыми раскосыми глазами. Девушка прошла на кухню, помыла миски, в одну положила корм, в другую налила чистой воды.

— Где ты? Иди ешь. Столько хватит? Хозяйка велела не перекармливать.

Жозефина не спеша, чинно дефилировала к мискам, чуть косила глаза в сторону Кати и недоумевала: кто ты такая, почему считаешь, что можешь вот так приказывать мне? Я же не твоя кошка. Запах привычной вкусной пищи успокоил её, и она аккуратно, чтобы не испачкать мордочку, начала есть.

— Вот и хорошо.

В комнате на диване аккуратно сложено чистое постельное бельё. Девушка улыбнулась. Нет, даже садиться не буду. Всё вечером, останусь одна и буду наслаждаться одиночеством. С глупой мечтающей улыбкой она оделась и ушла.

Вот родной подъезд, пахнет блинами и жареной картошкой. Катя еле переставляла ноги, внимательно вглядывалась в трещины на зелёной краске, словно где-то могла прочитать оправдание своему отсутствию. Вот почему бы не сказать правду? Попросила начальница покормить кошку на время отъезда. Всего два дня — суббота и воскресенье.

— Катенька, ты только корма ей много сразу не насыпай, — просила Наталья Сергеевна, — а то она переест, потом её и вырвать может. По чуть-чуть ей насыпай, три раза в день или хотя бы утром и вечером.

Катя пожалела, что согласилась. Не очень-то охота три раза в день ездить. Наталья Сергеевна, будучи мудрой женщиной, тут же озвучила выгоду:

— Если хочешь, можешь переночевать у меня. Смена обстановки бывает так необходима. Будешь одна делать что хочешь. Я тебе чистое бельё оставлю.

После такого предложения, все минусы показались ничтожными, и девушка с радостью согласилась кормить Жози.

Но как сказать об этом бабушке? Предугадывала ответ:

— Делать тебе нечего! Ездить туда-сюда, да ещё целый день. Сдохнет, что ли, кошка эта? Нельзя ей сразу еды побольше насыпать? Лучше бы своими делами занялась. Подставила свою шею — садитесь. А к тебе стали бы ездить так?

Вот Катя и искала какую-нибудь причину, уж лучше обмануть, чем выслушивать нравоучения. Когда она вошла, бабушка смотрела телевизор. Девушка шумно разбирала покупки, шуршала пакетами, стучала банками. И громко, из кухни, перекрикивая телевизор, рассказывала:

— Такая очередь в магазине! На кассе мужик какой-то скандалить начал, что-то ему не по той цене пробилось.

Вошла в комнату, бабушка спустила очки на нос, поверх них посмотрела на внучку. Катя по внимательному взгляду бабушки решила, что её невероятных приключений в магазине недостаточно, и она добавила, но менее уверенно:

— Потом ещё лента чековая закончилась, потом карта не проходила...

Последний случай, видимо, выполнил нужное действие, потому что бабушка сказала:

— Иди, отдохни, Катюша, устала, пакеты тяжёлые. Да ещё скользко ведь? Еле шла.

Девушка выдохнула, словесная атака удалась, никаких расспросов — уже хорошо. И по бабушкиному совету она пошла полежать, вернее, села на соседний диван и уткнулась в ноутбук. Внучка с бабушкой жили в однокомнатной квартире. Переехала Катя из такой же однушки, где жила с родителями, да ещё и с младшим братом. На прежней квартире ей, конечно, отгородили нечто вроде собственной комнаты — каморку за шкафом без дверей, без окон. Потом, когда она поступила в институт, решили, что лучше ей будет с бабушкой, а бабушке с ней. Уголка за шкафом у Кати здесь не было, и она любила заседать на кухне, читать, болтать по телефону, смотреть фильмы до самой ночи, а потом на цыпочках пробиралась в комнату. Бабушка когда молча ворочалась и вздыхала, когда ворчала: “Завтра вставать рано, не выспишься”, — когда ругалась: “Делать тебе нечего, с подругами ночами болтать”. Внучка то молчала, стиснув зубы, то огрызалась. Так они и жили: Катя на кухне, бабушка в комнате, а когда сидели рядом, вместе, Катя смотрела в телефон, а бабушка — в телевизор.

Сейчас для успокоения совести девушка высидела с бабушкой пару часов, вроде как загладить очередное отсутствие. К трём часам засобиралась кормить кошку.

— Я пойду прогуляюсь, мы с Таней договорились.

— Иди, раз надумала.

Катя пришла к Жозефине, выложила в миску нежнейший кошачий корм со вкусом индейки, села за стол, уткнулась в телефон. Как же ей провести этот вечер? Вечер, предназначенный лишь для неё одной. Не успела подумать, как соцсети уже подсовывали решение. На фото лохматая девчонка в пижаме с сердечками, огромных несуразных тапках, держит бокал вина, а вокруг художественно разбросаны пледы. Подпись гласила: оставь время для себя. Яркая картинка не давала подумать: так ведь всё время моё, всё на себя и трачу.

Беспечная растрёпанная девчонка пила вино, значит, и мне так надо, чтобы стать счастливой.

Сиамская породистая кошка пристально смотрела на девушку, глаза их встретились, Жозефина надменно отвернулась и зашагала в комнату.

Екатерину осенила гениальная мысль. Пледики! Надо обязательно взять с собой пледики. Без них картинка в голове уже не складывалась. Она собиралась домой, как в другую реальность, перед глазами, как рекламный баннер, стояла красивая (хоть и постановочная) фотография, которая не давала ей ясно посмотреть перед собой.

А совсем рядом, за перегородкой, Жозефина жадно обнюхивала хозяйскую подушку, мяла её лапами, поглаживала, и, вздрогнув от хлопка двери, случайно выпустила когти. А потом тоскливо зализывала эту невольную царяпину на синей наволочке.

Дома Катя выжидала момент как бы незаметно вытащить пледы. В антресолях были как раз такие, как надо, в клеточку с бахромой, один — коричневый, а другой — зелёного болотного цвета. Дежурила около бабушки, пока та не ушла в туалет. Торопливо залезла в шкаф: о горе! Пледов там не оказалось.

Всё пропало. Идеальная картинка рухнула. Бабушка вернулась. Катя не могла скрывать свою досаду и волнение. Ходила туда-сюда по комнате, задумчиво смотрела в окно, настукивала беспокойный ритм пальцами по столу, хлопала дверцами шкафа. Наконец, не выдержала, выгребла вещи с нижней полки, стала их перебирать в поисках тех самых, счастье несущих пледов.

— Катюша, что ты делаешь?

— Да так. Ищу вещь одну.

— Какую? Может, я знаю, где лежит.

— Да так. Никакую.

Сложила всё обратно. Уже почти семь, пора кормить кошку, что-то решать с ночёвкой. Катя нервничала, не успела придумать, как объяснить, где будет ночевать, не собрала вещи, не нашла пледы.

— Ба, я отъеду, мне тут надо по делам, — выпалила она и, не поднимая головы, чтобы не встретиться взглядом с бабушкой, резко вышла.

Кошка раздражала, хотелось её пнуть. Такая возможность побыть одной ускользала! Жозефина поела, осталась сидеть около миски, смотрела на Катю.

— Ну что смотришь, животное? Наелась?

Кошка в ответ мяукнула. Её “мяу” значило: “Повежливее! Зачем ты так? Я же живая”. Она даже привстала. Может, поласкаться? Но Катя сидела настолько хмурая, что даже кончиком единой шерстинки не хотелось к ней прикасаться. И Жозефина ушла в комнату — там родная синяя подушка.

Катя терзалась. Может плюнуть на всё и остаться ночевать? И зачем эти дурацкие пледы? И вино она не очень-то любит. А как же бабушка? Просто позвонить? Заволнуется, ещё давление подскочит. И весь вечер будет не в радость, будет мучиться угрызениями совести. А разве это отдых, когда мысли не спокойны.

Пришло сообщение от Натальи Сергеевны. “Как дела? Как моя девочка? Забыла сказать, можешь ночевать у меня и в воскресенье. Я в понедельник только к обеду буду”. “Спасибо, всё хорошо, кормлю”, — набрала Катя. И засобиралась домой. Всё переносится на завтра.

Бабушка сидела в тишине. Катя молча прошла к своему дивану, легла, поджала ноги к животу.

— Ты не заболела? — спросила бабушка.

— Нет.

— Что-то тревожит?

— Нет.

— Сегодня по телевизору передавали, потепление будет.

— Понятно.

— Свет выключить?

— Ага.

— И я ложусь. Ну, спокойной ночи. Точно не заболела?

— Нет.

Сон не помог, наутро Катя встала не в настроении. Бабушка нажарила любимых внучкиных оладушек. Та не стала есть, засобиравшись уходить.

— Куда ты, Катенька?

— Да я Тане обещала помочь вещи перевести.

— В десять утра-то? Поела бы. Таня к тебе с утра пораньше, да еще голодная не побежала бы.

Катя громко выдохнула, надела сапоги и вышла.

Бывает у людей удивительное свойство: сделать трагедию на ровном месте и ходить потом, лелеяя своё горе. На улице падал снег и тут же таял. Слякотью и лужами подкармливала своё несчастье Катя, пока пешком шла к дому Натальи Сергеевны.

Там она безучастно покормила кошку, легла на диван и уснула крепко, быстро, провалилась. Проснулась неожиданно, резко, будто её укололи иголкой. Жозефина сидела на подлокотнике, тоже встрепенулась, ринулась к родной подушке, но ткань ещё хранила Катины следы. Кошка жалобно мяукнула, прыгнула с дивана, но не ушла, а затаилась тут же на полу. Уже три часа дня. На телефоне десять пропущенных, восемь — от бабушки. Может, ей плохо стало? Катя кинула кошке очередную порцию еды. Жози не стала есть, даже не принохивалась, села в коридоре и уставилась на Катю. Та торопилась, рванула замок на пальто, молния разошлась, так распахнутая и выбежала.

Когда внучка вошла, бабушка неподвижно сидела в темноте, в коридорчике на стуле.

— Бабушка, я пришла. Ты звонила?

Та очнулась, подняла красные заплаканные глаза, протянула руки:

— Ох, слава Богу! Тебя выпустили, — встала, прихрамывая подошла, обняла Катю. — Они тебя не били?

— Кто? — девушка освободилась от объятий. — Дай разденусь. Что случилось?

— Да знаю я всё! Они мне звонили, всё рассказали. И как тебя угроздило? Моя бедная девочка! Я же видела, чувствовало моё сердце, что что-то не так. И что ты мне сразу не сказала?

— Про что ты? Кто звонил?

— Из участка. Участковый. Всё рассказал. Ты вчера по шкапам деньги искала? Что же ты сразу не сказала? Я бы все отдала.

— Что за ерунда? Какие деньги?

— Все, что были. Всё отдала, до копеечки. — Бабушка села на табуретку. — Мне, правда, не хватало, но он сжалился надо мной, старой бабкой, сказал, и столько хватит. Ну, ничего, денег ещё наживём, главное — все живы, здоровы. Так тебя не били, Катюша?

Катя по стене сползла на пол, взялась за голову руками.

— Ты что? Деньги кому-то отдала?

— Отдала.

— И сколько?

- Всё, что было, восемьдесят тысяч.
- Восемьдесят? Ты отдала восемьдесят тысяч?
- Да ещё наживём, главное, все живы, здоровы...
- Кому отдала деньги? Как? За что?
- Он позвонил, спросил про тебя, не было ли чего подозрительного.

Про какую-то террористическую операцию... Ты там статьи какие-то писала в интернете. Вот они тебя и забрали. И что тебе власть эта далась, Катя?! Торчишь днями и ночами в своём компьютере. Сколько раз я тебе говорила! И по телевизору передают — того посадили, того поймали.

— Да это мошенники! — крикнула Катя. — Тебя обманули! Как ты поверила? Почему мне не позвонила? — вспомнила восемь пропущенных и замолчала.

У бабушки задрожали руки:

— Я же для тебя, родная! Всё для тебя, — она заплакала.

— Как ты отдавала деньги? — мягко спрашивала внучка. — Носила куда? Ты же приложением пользоваться не можешь.

Катя кипела обидой. “Восемьдесят тысяч! — только и вертелось в голове. — Как их вернуть?” И думала она об этих деньгах, как о своих, а не как о бабушкиных.

А бабушка, рассказывала, всхлипывая:

— Помогли мне. В банкомате положили, а дальше он сам, он же учётковый, у него доступ есть. Скажи мне правду, куда ты попала? Куда ходишь всё время?

Катя молчала, вздыхала, прикидывала, как обратиться в полицию, наконец ответила тихо, неуверенно и виновато:

— Кошку я Натальи Сергеевны, начальницы своей, кормлю...

Бабушка стукнула кулаком по коленке и сердито, с упреком, сказала:

— Что ж ты мне врёшь опять, а? Говори правду!

Как очередь из автомата, как тысяча уколов, как электрические разряды, слова эти обрушились на Катю. Она встала, сжала кулаки, открыла дверь, круто развернулась и заорала:

— Не вру я! Не вру! Не вру!

И ушла, хлопнув дверью. Бежала по улице злая, растрёпанная, распахнутая, обрызгивала себя грязью, остыла только, когда пришла к дому начальницы.

Кошка её уже встречала. Жозефина, оставив свои чопорные, аристократичные манеры, как простая дворовая кошка, крутилась вокруг Кати, тёрлась об её ноги, мурлыкала.

Девушка не обращала на кошку внимания, положила ей корм, поставила миску на пол и села на табуретку.

Жозефина подошла к миске, понюхала и, не притронувшись, опять стала ласкаться. Катя не реагировала, её словно не было здесь. Тогда кошка забралась на подоконник, а с него прыгнула прямо Кате на колени, выгнула спинку и нежно зацарапалась.

— Эх ты... Погладить тебя? — Катя положила ладонь на сиамскую спинку, кошка вздрогнула, будто не поверила, что этот человек может быть нежным, потом расслабилась, замурлыкала, Катя медленно гладила кошку, гладила, гладила... и заплакала. — Эх, Жозефиночка, и еды тебе не надо, только внимания... Надо же, всё понимаешь... а не человек...

И утерев слёзы, Катя побежала обратно домой, чтобы пожалеть свою милую бабушку, а потом и самой свернуться клубочком у неё на коленях.

САМОИЗОЛЯЦИЯ

— Ты что, правда, будешь ездить в Москву каждую неделю?

— Ну да, по субботам.

— Ты серьёзно? Я, когда переехала, тоже думала каждые выходные ездить домой. Через месяц меня тошнило от вокзалов. А в Брянске таких курсов нет?

— Нет, это же Литературный институт. Он один такой.

— Ну, ты даёшь. Я в шоке от тебя. Реально.

Так разговаривала со мной подруга, когда узнала, что я поступаю на литературные курсы.

Я и сама сомневалась:

— Не лучшее время поступать, да, Вова? — говорила я мужу. — Витя только в садик начинает ходить, болеть будет, да и работа...

— Поезжай, — ответил он. — Сам с ним сидеть буду. Все субботы.

Мужской ответ. Скупой. По делу. Серьёзный. Надёжный.

И началось... Поезда, дороги, переезды. Ночные, вечерние, дневные. Сидячий, плацкарт, купе.

Возвращаюсь домой. В вагоне душно: хочется быстрее выйти. До прибытия минут десять, некоторые одеваются, достают багаж. С небольшим рюкзаком обгоняю пассажиров с громоздкими чемоданами. Но в тамбуре всё равно не первая, там уже двое мужчин.

— Девушка, куда торопишься? — шутливо заговорил пожилой. — Два часа до Брянска ехать.

— Я хочу домой! — бодро ответила ему.

— Что так? Долго не была?

— Нет, просто хочу домой.

— Дома небось мамка еды наготовила, ждёт.

— Наоборот, я сама мамка, меня ждут.

Мужчина посерьёзnel.

— А что же хозяин твой не накормит?

— Накормит. А я всё равно хочу к нему.

Мужчина ответил тихо, совсем серьёзно:

— Да, девушка, тут ты права. Тут ты полностью права.

Замолчал, отвернувшись, и задумчивые глаза его отражались в заснеженном окне.

Витя поначалу плакал, потом смирился, отпустил. Когда время отправления позволяет, провожает меня с папой. На платформе отпускает мою руку, переходит на сторону Вовы.

— Мы с папой команда. Иди в вагон, мама, не надо стоять.

И уходит, не оборачиваясь, без поцелуев и объятий. Маленький мужчина. Серьёзный, скупой на нежности, деловой, надёжный.

Всё больше убеждаюсь, что не я учу жить ребёнка в этом мире, а он меня.

— Mam, расскажи сказку, только про машинки.

Я устала, думать лень, рассказываю на скорую руку.

— Жил-был трактор, пахал поле, а мечтал работать на стройке. Однажды он встретил бетономешалку, они подружились. Бетономешалка взяла его с собой на стройку. Так исполнилась его мечта. Конец, а кто слушал — молодец.

— Нет, нет, нет! Так не пойдёт. Они же ничего вместе не подделали! А как они подружились? Надо побольше рассказать, что они делали вместе. Рассказывай побольше, мамочка, не бойся.

Вот так. Раскусил меня. Завязка есть, развязка есть. А развитие действия, кульминация? Так не пойдёт!

Не надо спешить, когда пишешь. Проза требует мыслей, очень много мыслей.

Подрался в садике. Пытаюсь поговорить. Ничего не хочет слушать, расстроен, нервничает. Ложимся спать.

— Mam, расскажи сказку.

Ага, попался! Я же занимаюсь на литературных курсах! Сейчас расскажу тебе сказочку.

— Однажды зайчик Тим пошёл в садик и не поделил с зайчиком Бимом машинку. Поругался с ним, даже подрался. Машинка никому не досталась. А зайчики весь день просидели в разных углах. Очень грустно и скучно прошёл их день.

— Вообще-то, — отзывается недоверчиво, — это не сказка, это какая-то реклама.

И кого я хотела перехитрить? Нравоучения не любят ни дети, ни взрослые. Всё должно читаться между строк.

Через три месяца меня стали узнавать проводники.

— А вы что, ночью с нами ехали? — спрашивает молоденькая девушка в серо-красной форме. — Скажите, а я правда слишком вагон натопила? А то мне даже “до свидания” никто не сказал, когда приехали. Только возмутились.

— По мне лучше жарко, чем холодно.

— А я весь день думала, неужели так жарко натопила, что и “до свидания” никто не сказал? Проходите, сейчас в вагоне хорошо.

Как много может значить для человека одно слово...

Бывали и холодные вагоны. После нового года пустили двухэтажный состав, блестящий, пахнущий новизной. И почему-то очень холодно в новых вагонах.

Рядом сидела женщина, куталась в палантин, отошла ненадолго, вернулась с пледом.

— Вы плед у проводника взяли? — спрашиваю.

— О нет, — смеётся, — хоть сервис и улучшили, но не настолько. Я в своём чемодане взяла. Хотите, закутывайтесь в мой плед, он большой.

В дороге люди отзывчивее.

Ещё пример. Женщина толкает к выходу огромный чемодан. В руках чистенький, пушистый, как игрушка на полке магазина, шпич.

— Давайте помогу вам, — обернулся мужчина в очках, — я ведь тоже собачник.

Через шесть месяцев то ли совпало, то ли меня действительно стали узнавать охранники на вокзале.

— Ключики, телефончики на стол, сумочку на ленту. Проходим. Вот и славно — ничего не пикает, не моргает. Поезд на Брянск на тринадцатом пути. Счастливо.

Сколько бодрости эти слова вселяют! Так непривычно уже видеть, как кто-то работает весело, с интересом. В основном угрюмые лица, вроде как солидности добавляют. А ведь свою работу нужно и важно любить.

Зашла на почту, отстояла очередь.

— Как я рад, что вы выбрали моё окошко! — приветствовал меня высокий худощавый парень с красными, уставшими от компьютера глазами.

— Ксерокопию, пожалуйста, — я протянула ему три скреплённых листа.

Он начал раскреплять.

— Да можно так сделать, — сказала я.

— Нет уж, — весело ответил он, — я красивый, вы красивая, ксерокопия должна быть красивой.

— Обрато скрепить? — спросил он потом.

— Скрепите.

— Скоба — пять рублей.

Я восприняла серьёзно.

— Шутка, сегодня эта услуга бесплатно.

Так он веселил и себя, и всю очередь. Превращал поиск потерянной посылки для какой-нибудь бабулечки в приключение. Он улыбался, и все улыбались.

Но сколько бы раз после этого я ни была на почте, его ни разу больше не видела. На его месте сидела серьёзная хмурая дама с высоко собранными волосами.

Еду в ночь. Сидячий.

— Люди добрые, помогите! Верните телефон, люди добрые! — по вагону забегала девушка.

Пять утра. Все проснулись.

— Я его на зарядке у туалета оставила, на пять минут всего. Верните телефон, пожалуйста!

Сразу нашлись очевидцы, которые спали и видели определённо подозрительного мужчину.

— Давай позвоним.

Звонят, ходят, слушают.

— Звук-то отключили уже...

— Да он из другого вагона был.

— Мне кажется, это вон тот мужчина!

— Не брал я ничего!

— Мужчина, верните телефон!

— Как вам не стыдно!

— Верните, пожалуйста, я в полицию писать не буду...

— Не брал я!

— Хорошо отпираться-то! По морде видно — брал!

— Девушка, не твой телефон моргает? Около твоего сиденья. Посмотри, твой?

— Ой, мой. Спасибо, есть Бог на свете. Сама уронила. Спасибо всем. Спасибо.

Села, замолчала. А перед подозрительным мужчиной так никто и не извинился.

Киевский вокзал. Зал ожидания. Рядом сидят четверо монахов. Трое пошли прогуляться на улицу, вернулись.

— Ну, что там? — спрашивает четвёртый.

— А молодёжь собирается, митинговать, что ли, будут. Стоят, ждут указа. Они же в жизни не видели ничего, живут в стекле, в бетоне. Что им скажут, то и делают. А знают они, что такое семья? Что такое земля? Яблочек с яблоньки собрать... Вот тогда-то своей головой и подумали бы...

Снова ночь. Плацкарт. Поезд проходящий. Захожу в вагон. Рядом две девушки, у каждой по ребёнку, и года нет малышам. Как они кричали всю ночь! И как сладко мне спалось! Я накрывалась с головой одеялом и радовалась, что не мне вставать к этим детям, не мне, не мне...

И вот коронавирус. Карантин. Самоизоляция. Все поезда отпавились. Все прибыли. О-ста-но-вка.

Вижу в интернете призыв о помощи: “Если наш магазинчик закроется на карантин, он закроется навсегда. Купите книжку вместо гречки”. Зову своих мужчин, пойдём спасать книжный магазин. Там я несусь к стеллажам с книжками-картинками, разглядываю, умиляюсь, играюсь. Битя с папой тянутся к книжкам “Как устроен автомобиль”, “Космос”, “Ледоколы”.

И почему мне, взрослой, нравятся книжки-картинки, а ему, маленькому, познавательные? Потому что мне хочется вернуться в детство, а ему повзрослеть.

Почему я так люблю книги? Я верю, что вся мудрость мира хранится в них. Тонких, толстых, новых, зачитанных, с картинками и без. Таится на сшивке, корешке, форзацах...

Сиюю дома. Что мне остаётся? А остаётся со мной не так уж мало. Остаётся со мной, хранится во мне то самое могучее Слово, что погубит или исцелит, обнадёжит или обманет, пожалеет, полюбит, поговорит по душам или оттолкнёт. И мне остаётся лишь подружиться со Словом, пустить его в свою жизнь, приручить его, обогреть и отпустить в большой мир.

КОНСТАНТИН ШАКАРЯН



И ПУТЕЙ ОТСТУПЛЕНИЯ НЕТ...

* * *

Нет ни времени Тебе,
Ни прошедшего-грядущего...
Разгляди меня в толпе,
Неуверенно бредущего.
Разгляди и подивись!
Стань на миг немым попутчиком.
Ежели мешает высь —
Опустись на землю лучиком,
Просвети меня насквозь!..
Буду рад нравоучению:
Что живу, мол, на авось,
И плыву-де, по течению,
Со стихией жизни врозь...

...Чтоб грядущее меня
Ввергло в волны настоящего,
И сегодняшнего дня
Я взалкал животворящего! —

ШАКАРЯН Константин родился в Москве в первый год третьего тысячелетия. Поэт, переводчик, эссеист. Стихи, эссе и переводы публиковались в периодических изданиях России, Армении и Белоруссии: "Наши современники", "Плавучий мост", "Новая Немига литературная" (Минск), "Литературная Армения" (Ереван), "День литературы", "Поэтоград", "Веси" (Екатеринбург), "Веретено" (Калининград) и др. Лауреат первого конкурса "Русская строфа" (Ереван, 2019). Живёт в Ереване.

Высыпь камешки и хлам,
Что запрятал я за пазуху,
Да суди по тем волнам
Побрести мне, аки посуху!

* * *

Что мне останется?
Ветер и снег...
В Божьи палаты посмертный побег.
Жизнь молодая промчит с ветерком —
С лёту обдаст меня первым снежком.
Снегом оденется дурь-голова,
Ветром развеются листья-слова.
Век одряхлеет, за ним — человек...
Тут и решу я пуститься в побег,
В путь — до заоблачных райских высот...

Ветер подхватит,
А снег — занесёт...

Ветер возьмёт небывалый разбег —
Свежими хлопьями ринется снег!
Ох, и заспорят промежду собой
Да над бескрылой моею судьбой!..
Разгорячатся ли — чую беду.
Стихнут ли оба — вконец упаду.
Век мой чумной, по окружности бег!..

Ветер и снег...
Ветер и снег...

* * *

В.

В ночи выходим на дорогу,
Рука в руке,
И слышим: гром забил тревогу
Невдалеке...

Зарница юркая сверкнула,
Взошла гроза...
Гляжу средь грохота и гула
В твои глаза.

В глазах твоих прочту отвагу
(Прочи — в моих!).
Дождь заливаётся: “Ни шагу!..”
И гром не стих...

А мы шагнём — не риска ради —
Сумеем вновь
Отвагу пронести во взгляде,
В душе — любовь.

...Благодарю тебя, зарница,
Тебя, гроза,

Что озарили наши лица,
Её глаза...

В который раз друг другу прямо
В глаза взглянуть —
Прочсть решимость и упрямо
Продолжить путь.

Продолжить путь, вступая в лето,
В руке рука,
Предошущая ток рассвета
Издалека...

* * *

Есть тона и оттенки у чувств —
Неподвластны словесной палитре.
Их высказывать молча учусь
При страдании и на молитве.

Вновь ухватит тоска за рукав,
Гневом разум затянется снова —
Душу выговорить, не сказав
Ни единого лишнего слова.

Всё поведать, что знаешь о ней,
Взгляда шёпотом, окриком жеста...
И не выразить жизни своей
Одобрения или протеста,

Но принять её с миром вокруг
В каждом трепете и колыханье
Благодарной молитвою рук
И прерывистой речью дыханья.

ДВЕ РОДИНЫ

Россия и Армения... Две дали,
Две матери,
 две жизни, две земли...
В Москве ли, в Ереване — я в печали:
На родине — от родины вдали.

В том чувствую судьбы первооснову,
Как двух народов равноправный сын,
Что русский я — по духу и по слову;
По крови, по рожденью — армянин.

В груди теснятся, к памяти зывая
И душу бередя скоплением ран,
Страда России многовековая
И боль тысячелетняя армян.

Две родины сплелись во мне корнями,
Пространства закружились вдалеке...
Я говорю с армянскими камнями
И реками на русском языке.

И посему навек во мне едины,
В один сойдясь магический простор, —
И тело нашей матери-равнины,
И головы седые наших гор...

* * *

Наконец-то дыханья хватило,
Наконец-то сложились слова.
Прихватило. И вот — отпустило.
Просветлела моя голова.

Цель достигнута. Сделано дело.
Просветленье... Мираж... Кабала...
Уж которая жизнь пролетела,
Свежим ветром тебя обдала!

Это мысль неподвластная фразам
Затекает с рассудком игру;
Это слово проходит сквозь разум
И, ретивое, рвётся к перу;

Это жизнь, закруглившись подковой,
Лезет в руки — решайся скорей:
Разогнёшь — закруглится по новой,
А забросишь — погонит коней.

Всё иначе — согласно поверью
(И оно, как известно, не врёт):
Коль прибита подкова над дверью,
То удача в те двери войдёт...

Это слово. Шальная подкова.
Разогнул — закругляется снова...
Это мысль. Это горечь и свет.
Нет выбора в жизни иного,
И путей отступления нет.

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

РАССКАЗ

Июньским утром на Красной площади стоял седой человек.

Площадь готовилась к открытию книжной ярмарки. Ветер от Москвы-реки хлопал фиолетовыми флагами и подолами длинных шатров, укрывавших торговые ряды. За час до начала ярмарки в дорожной сумке на колёсиках человек привёз последние номера своей литературной газеты, разгрузился у крошечного лотка и стоял теперь в проходе между рядами.

С осени 1993 года он ни разу не был здесь и вообще старался не ездить в центр, а теперь с ненавистью вглядывался в видневшийся слева шпиль Сенатской башни. Ему казалось, что там, в Кремле, оградившись крепостными стенами с бойницами, обитают волосатые чудовища из гнилой плоти, разорвавшие на части его страну, той проклятой осенью стрелявшие в его народ. Сейчас многое изменилось, но далеко не в той мере, как хотелось бы. Спасибо, что больше в народ не стреляют и перед Америкой не лебезят. В этом году, наверно, расщедрившись после Крыма, его Союзу писателей, четверть века выживавшему из последних сил, безвозмездно выделили лоток на всероссийской ярмарке. Решили подкормить, с ненавистью думал он, хотя бы, чтобы мы забыли ту осень. Или чувствуют, что кроме нас, патриотов, опереться им

ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич родился в 1985 году в городе Салавате республики Башкортостан. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. М. Горького (семинар М. П. Лобанова). Лауреат премии им. И. А. Гончарова в номинации “Ученики Гончарова” (2013), премии “В поисках правды и справедливости” (2015), премии им. А. П. Кузьмина журнала “Наш современник” (2016), премии им. Л. М. Леонова журнала “Наш современник” (2019). Преподаватель Московского государственного института культуры. Член правления Союза писателей России. Живёт в Подмосковье.

не на кого. Человек не верил власти, и в том, что он, бедный русский писатель, стоит здесь и стоит по праву, ему чувствовался вызов.

Неподалёку собирались люди, некоторых из них он узнавал — вот сгорбленный старичок, написавший повесть, которую раньше изучали в школе. Рядом с ним — женщина, ярко накрашенная, нервно сжимающая руки, — огромные залы собирались на её вечера в советское время. Пришедшие стихийно организовались, встали полукругом прямо в проходе перед лотком и принялись по очереди читать стихи. Человек примостился неподалёку и слушал, прикрывая глаза.

Справа внизу живота сильно и навязчиво болело. Жена с утра уговаривала выпить таблетку, но он отказался: в этот день нужно было сохранить сознание чистым. Ему хотелось верить, что опричники в чёрных бронежилетах сейчас отодвинут железные засовы, и на площадь хлынут люди, изголодавшиеся по настоящей литературе — а тут они, писатели, несломленные, вышедшие из забвения. И тогда не зря все эти годы терпели, издавали книги за собственные копейки, хранили правду. Может, этим и страну, дремлющую под глянцем, сохранили... Человек отходил к лотку, придирчиво осматривал, что выставлено в первый ряд, поправлял пачку своей газеты и опять возвращался к выступающим.

Опьянённые первым июньским солнцем, читали стихи с самозабвенным надрывом, хлопали сами себе. Продавцы соседних издательств с досадой косились на собравшихся, потому что те растянулись и заслоняли их витрины. А мимо шли посетители ярмарки, ускоряя шаг, и на всякий случай обходили шумное место, не понимая, что же празднуют эти люди.

Солнце поднималось над Москвой. Было душно. У резных деревянных домиков с едой и сладостями собиралась очередь. На большой сцене у Васильевского спуска началось представление для детей.

Один из знакомых писателей, холёный, с заячьей бородкой, подошёл к человеку и зашептал вкрадчиво так:

— Друг, убери ты из своей газеты статьи про Совок, ну, стыдно же...

И сразу душу смяли, как жестяную банку из-под газировки, чтобы занимала меньше места в мусорке. Раньше человек думал, что таким платят, но потом понял: нет, это просто однобокие, ограниченные люди. Они говорят: писатель должен быть вне политики. Но разве пушкинский Самсон Вырин — это не политика? Любовь к близким — разве не политика?

Человеку не хотелось отвечать, он обернулся, словно ища помощи. Но в толпе уже не осталось родных лиц. Незнакомая женщина что есть силы била рукой по дребезжащим струнам гитары. Рядом старик с грязными волосами в такт стучал клюкой. Человек хотел ворваться в толпу и кричать, что всё это страшная провокация, просто кому-то невыгодно, чтобы настоящие писатели имели выход к народу, и потому — хоть дали им лоток на ярмарке, но подослали сумасшедших дискредитировать русское движение. Но вместо этого заговорил с заячьей бородкой самым постыдным светским тоном:

— А я до последней весны курил сорок лет, представляете? Как Моисей водил несчастных евреев, то в одну сторону, то в другую, так и я, и даже усы у меня пропитались гарью, хоть сбивай, и в лёгких поселилась жаба. Но теперь всё, баста, теперь я другой...

И чувствовал, что произносит пошлость, но, как в кокон, закутывался в пошлость, чтобы не дать увидеть кровоточащее сердце. А потом пошёл вдоль лотков, продолжая бормотать что-то про себя.

Его тянуло в самую гущу, и он блуждал по книжным лабиринтам. Наткнулся на огромную растяжку со стилизованным Пушкиным и парой лощёных лиц растиражированных графоманов, плюнул на брусчатку. Шатнулся в другую сторону, а там — буржуйские кафе на первом этаже ГУМа: умирал бы с голоду, но ни за что бы не зашёл. Больше не поднимал глаза, не видел лиц, только руки. Эти волосатые руки тянулись к ярким картинкам с фэнтезийной или детективными. Им не нужна литература, в отчаянии думал человек, они не хотят работать душой, даже в книжном магазине ищут развлечения, чтобы занять остатки мозга, высосанного рекламой и политическими ток-шоу.

Четверть века они жили в заражённой стране, так что, наконец, и сами стали чудовищами...

Вырвался навстречу обжигающему ветру и устремился прочь, мимо лотов, шатров, мимо сцены, на которой выкрикивали глупости писклявыми голосами — даже в детей вливают теперь яд. На пути, как спасение, оказались Лобное место, Минин и Пожарский, а за ними — величественное тело собора Василия Блаженного. Вошёл под защиту его тени, прикоснулся рукой к тёплому камню колонны, и тот отозвался, как одушевлённый. Человек смотрел вверх на потёртые от древности ступени, ведущие в притвор, и думал: на этой паперти — настоящая жизнь, здесь ходил юродивый пушкинский Николка, здесь случилось гениальное — “народ безмолвствует”, тот красивый, могучий народ, а не эти с мобильниками.

Вошёл в арку, опустился прямо на бетонный пол. Ему казалось, что не орган в теле болит, а болит в нём вся жизнь. Почему я, как Пимен-летописец, не умер в конце великой эпохи, с горечью шептал он себе, где-нибудь в середине 80-х, здоровым человеком в расцвете сил, почему пришлось мне оплакивать русских людей, убитых прямо под открытым небом возле Белого дома, почему пришлось слышать о парнях, перемолотых в Чечне и на Донбассе, смотреть на кортежи с сытыми чиновниками, общее отупение и развал... Легко было говорить Пимену: “Описывай, не мудрствуя лукаво, всё то, чему свидетель в жизни будешь... войну и мир... государей... угодников святые чудеса”, — припоминал потёртые в памяти строки. А я не могу спокойно описывать, у меня душа разрывается. “Погасите лампаду, я останусь в подклети собора, мёртвый с моими святыми мертвецами...”

Внезапно начался сильный слепой дождь. Человек видел появляющиеся на брусчатке круглые тёмные плевки, но долго ещё не понимал, что происходит. Наконец, поднялся и стоял в арке, запертый стеной дождя. Вдруг заметил шагах в десяти молодую женщину в голубом платке. Та запрокинула голову, серьёзно и благодарно принимая ливень. Потом одним безотчётным движением стянула платок, так что длинные медные волосы растеклись по плечам и спине, и, кажется, рассмеялась. Ему был знаком этот смех, он томил и наполнял душу щемлящим предчувствием, будто звал его бежать куда-то на набережную и вдыхать сладкий запах ванили в волосах, перебирать пальцами медные пряди, целовать краешек стыдливо опущенного девичьего лица. Подчиняясь наваждению, человек шагнул вперёд и медленно пошёл, как в тумане, иногда вздрагивая согнутыми руками от ударов крупных капель.

Постепенно на душе прояснело, и перед ним опять распахнулось огромное пространство площади. Промокшие беззащитные мальчики, лет по двадцать, в полицейской форме стояли у опустевших рамок металлоискателей. Навстречу потянулись красивые мокрые люди и почему-то улыбались, человек вдыхал их лица, как свежий воздух, и каждому улыбался в ответ. И уже не знал, явь это или сон, и казалось, рядом голос из динамика поёт честную весёлую песню, а впереди вся его молодость и жизнь. Иногда пробуждался и понимал, что это всего лишь истерика, фальшивое надуманное ощущение. Но потом перебивал себя: пусть так, надо же хоть чему-то радоваться...

Жена не любила открывать окна даже летом, боясь сквозняков, к тому же стирала сегодня, и когда он вошёл в квартиру, горячий банный дух принял его в себя. Неуклюже поворачивался в тесной прихожей, задевая руками вешалки на стене, а потом, не раздевшись, присел на корточки и молча ждал, пока жена заметит, что он вернулся.

А когда она вышла из кухни, из последних сил подался к ней.

— Я сейчас видел... счастливых людей, представляешь? — и приятно было, что она, не зная его сегодняшних тревог, воспринимала это как единственный итог поездки на ярмарку.

— А как же тираж? Сумка?

— Всё разобрали... А сумку подарил, не важно...

Жена помогла ему снять промокшую куртку, затем пиджак.

— Я шёл и думал: ведь есть же что-то ещё, кроме нашего поражения, — торопливо рассказывал он, послушно поворачиваясь в её руках, —

есть же в мире гармония, а если есть гармония, то есть и Бог, а значит, ничего не потеряно...

Жена повела его на кухню, скомканным полотенцем протёрла жидкие седые волосы, налила имбирный чай с лимоном, чтобы не заболел. На обед была гречка с печёнкой. “Погоди”, — принялась она разогревать соус, без которого печёнка всегда суховата. Человек достал из серванта початую бутылку коньяка. Жена не любила, когда он пил, но сегодня можно. Опрокинул стопку, начал рассказывать о ярмарке, увлёкся, а жена принялась заниматься домашними делами: почистила сервиз, протёрла пыль с мебели. Он ходил за ней по квартире хвостиком, вспоминая что-то, размахивая руками.

А вечером жена ушла спать, и человек остался на чистой пустой кухне, мелкими глотками допивая коньяк. Перед ним лежал смятый блокнот, в который он записывал обрывки удачных образов. Он жалел, что сегодня слишком много говорил и внутри осталась такая же пустая бутылка, что стояла теперь на столе. Верные слова не находились. Впрочем, он уже не надеялся, как в беспечной молодости, точно схватить отблеск подлинного. Он знал, что так и пишется книги, с ощущением, что между двумя белыми клавишами рояля должна быть чёрная, но как раз в этом месте чёрной нет, и приходится брать одну из двух белых, в сущности любую, и в этом есть твоё смирение перед неуловимой музыкой жизни.

Постепенно вернулась боль в животе. Он старался не обращать внимания: есть же гармония в мире, пусть не я, но кто-то воплотит её, уговаривал он себя, но злился всё сильнее. Наконец, сорвался: да, гармония есть в мире, гармония, а не трагедия — последнее слово мира, но что мне до того, если я — частный случай, если я один, если мне конец. Начал спорить с болью, а та отвечала ему безобразными голосами. Он доказывал ей: вы виноваты, вы и мою жизнь сломали, я был рождён, чтобы смотреть на красивых людей, а вынужден был проклинать чудовищ.

Поднялся и медленно двинулся в спальню. Лёг на кровать рядом с женой и смотрел, как разжижается темнота, а из небытия уродливыми абрисами появляются любимые вещи. Было слышно, как жена дышит, но она уже не могла защитить его. “Может быть, в эволюции я тупиковая ветвь, есть столько религий, а я, допустим, верю не в того Бога, — произносил неподвижными губами. — Но я — всего лишь я, я жил и говорил правду... и тем был полезен кому-то... я ведь был полезен...” В постели пахло потом, становилось зябко. Он попытался отвлечься от боли и растревожить душу воспоминаниями, как днём, но в памяти ничего не осталось.

Постепенно мысль его угасала. Всё прошло, движение замерло. Наступала тихая тёплая ночь.

МАРИНА ВОЛКОВА



ДУША ЗАКОНУ ВЫСШЕМУ ВЕРНА...

ЛЕСНОГО ЖЕМЧУГА ГОРОШИНЫ...

Вишнёвым цветом запорошены
Тропинки в светлый летний бор.
Лесного жемчуга горошины
Рисуют сказочный узор.

Там, где всегда чисты источники, —
Прекрасна глушь в родном краю!
Поют лесные колокольчики,
Даря мелодию свою —

Такую тонкую, душевную,
Для нас с тобою и для всех.
Зелёных святок дни волшебные,
Речная зыбь, русалий смех,

И ветер, что качает ласково
На ветках ленты и венки, —
Всё дышит древней, дивной сказкою,
Шаги и тропы — так легки!

ВОЛКОВА Марина Георгиевна родилась в Санкт-Петербурге в 1981 году. По образованию юрист. Работала в МВД следователем. В настоящее время ведёт авторский проект "Виват, Петербург!" в творческой мастерской "Нордвест-СПб". Победитель конкурсов "Национальное возрождение Руси", "Золотая строфа", "Велесово слово", "Северная звезда". Автор книги "Веру храня в Рассвет". Живёт в Санкт-Петербурге.

Рассвет лучами безмятежными
Берёзки обнимает стан,
И вышит ландышами нежными
Земли зелёный сарафан.

* * *

Осенней царевны терем горит огнём.
Мы ей, как и прежде, верим, всё так же ждём.
Багрянцем одет рябинным изгиб реки,
И ночи уже так длинны, и так хрупки
Рассветы в туманной дымке. Вот-вот она
Волшебницей-невидимкой на грани сна
Придёт, позовёт с собою. Поймаешь взгляд
И сдашься совсем без боя, и будешь рад.

У Осени чудно платье, живой узор!
Манящи её объятья и нежен взор.
Играет с костром, танцуя босой в лесу.
Забрать бы себе такую! Её красу
Ласкают ветра крылами, пронзает свет.
Лишь только плясала с нами, но раз — и нет...
Звенит колокольчик в роще — хрустальный смех.
Казалось, чего бы проще, — одна на всех.
Но лишь улыбнётся сладко сквозь сон ветвей,
И вся она — сплошь загадка, и мысли к ней
Всё тянутся, замирая, и не уснуть.
По самому неба краю — за ней бы в путь.

Но снова дожди по крыше, и не успеть.
У Осени косы рыжи — янтарь и медь,
А щёки горят калиной, взглянуть — пропасть.
Не стыд, а огня лавина — пожар и страсть!
Кружись в золотом и алом, люби — до слёз!
Ведь времени слишком мало — спешит мороз.
Но радость невыразима — задорный пыл.
И тот не замёрзнет в зиму, кто с нею был.

ДУША ЗАКОНУ ВЫСШЕМУ ВЕРНА

Средь темноты, неправды и разбоя,
Когда ни лат, ни дружеской руки,
Тот не умрёт, кто может быть собою,
Всем временам суровым вопреки.

Не сгинет тот, кто в путь идёт без маски
И, веря в жизнь, всему живому рад,
Растит цветы и дарит миру сказки,
Хотя внутри порой бушует ад.

Ты спросишь вновь: нужны ль сейчас поэты?
Но, хороши они или плохи,
Во тьме бесценна даже капля света,
В войну нежней рождаются стихи.

Пусть волшебство упрямый ум разрушит,
Пусть лучший мир пока на грани сна,
Не запереть в темницу боли душу —
Душа закону высшему верна.

В ЛАДОНЯХ ЛАНДЫШЕЙ РОСА...

В ладонях ландышей роса — Весны моей цветущей слёзы.
Всю ночь стонали небеса, метали огненные грозы,
А утром гром затих вдали, и снова мир стал чист и светел.
Над сердцем Матери-Земли легко и вольно веет Ветер.
В нём радость жизни... И печаль, и затаённая кручина:
Он помнит, как гремела сталь, горели рвы, взрывались мины,
И как, вставая на дыбы, Земля детей своих вбирала...
Такой войны, такой судьбы едва ль страна другая знала...

О, Ветер!.. Слёзы на глазах... Тебя не зря зову я братом.
Ты, зная, можешь рассказать про подвиг русского солдата,
О стойкости среди страшных мук сложивших головы так рано,
О нежности девичьих рук, что перевязывали раны
И вражки мины на полях, посеянные вместо хлеба,
Искали... Мать Сыра Земля! От боли той укрыться где бы?..

Победа — это “после бед”. Все, опалённые войною,
Ещё сильнее ценят Свет. Без света жизнь была б иною.
А птицы снова славят май, гуляет лес на горькой тризне.
Стучит в висках: “Не предавай! Не забывай — во имя жизни!”

Мои отцы и деды тут, Весна зовёт их голосами.
Над ними ландыши цветут и плачут светлыми слезами.

ЮРИЙ ЛУНИН



ДНЕВНАЯ ЛУНА

РАССКАЗ

30 марта 07:09

Андрей:

Привет, Наташа.

Спасибо тебе за такое искреннее и доверительное письмо.

Извини, что долго не отвечал тебе. В последние дни пребывал в каком-то совершенно дурачком состоянии.

Позавчера был в Москве на вечеру памяти одного своего знакомого, который недавно умер. Знакомого звали Саша. Ему было всего 29 или 30. Пару лет назад он перестал отвечать кому-либо на сообщения в vk (которые, если верить интернету, всё же читал или, по крайней мере, открывал), и где-то за полгода до его смерти до меня дошла информация, что он пребывает в тяжелейшей депрессии. Это навело меня на мысль о его самоубийстве, но поскольку его отпевали, эта версия отпадает.

Хочу рассказать тебе про этот вечер памяти, хотя не знаю, будет ли это тебе интересно и зачем вообще это нужно рассказывать. Может быть, это и не нужно, а просто твоя искренность пробуждает во мне ответное желание поделиться чем-то сокровенным. Не знаю.

ЛУНИН Юрий Игоревич родился в 1984 году в г. Партизанске Приморского края. Окончил Литературный институт им. М. Горького (творческий семинар А. Е. Рекмчука, 2010). Работает выпускающим редактором в звуковом журнале для слепых. Прозу пишет с 17 лет. Публиковался в журналах "Наши современники", "Волга", интернет-журнале "Литература" и др., сборнике "Facultet" (2007), альманахах "Пятью пять" и "Радуга". Лауреат премии "Справедливой России", премии им. И. А. Гончарова, премии Л. М. Леонова, российско-итальянской премии "Радуга". Женат, отец троих детей. Живёт в подмосковной деревне Следово.

Я познакомился с Сашей через его сестру Леру. А Лера — это та самая девушка из института, ради которой я однажды хотел бросить семью. (Помнишь, я как-то упоминал об этой истории во время нашего спора про любовь и влюблённость, когда ты написала, что не понимаешь людей, которые разделяют эти два понятия. Кажется, мы с тобой тогда чуть не поссорились.)

Я сейчас, наверное, буду говорить какие-то ужасные для тебя вещи. Может быть, ты даже больше не захочешь со мной из-за них общаться. Ну что ж, — значит, так тому и быть, хоть я, конечно, очень дорожу нашим с тобой общением. А может, я и не скажу ничего особенного. Не знаю.

В свои 35 я ещё ни разу не переживал смерти кого-то из самых близких людей. У меня, слава Богу, живы родители, живы даже обе бабушки и дед по матери, а дед по отцу умер, когда меня ещё не было. Лет в 5-6 я присутствовал на похоронах прадеда по отцовской линии, но тогда я мало что понимал насчёт смерти. Помню только свой повышенный интерес к похоронному оркестру и то, что не смог поцеловать покойника — спрятался за кого-то.

Теперь я как будто понимаю больше. Во всяком случае, в продолжение последующих 30 лет я много размышлял о смерти и достаточно хорошо убедился в её реальности, неизбежности и постоянной близости к человеку. И всё же она ещё никогда не подходила ко мне вплотную, не дышала на меня так близко, как дышала на некоторых, — например, на тебя. И я, как ни крути, жду этого момента.

Интересное слово — “ждать”. Когда я слышу его, первой на ум всегда приходит мысль об ожидании чего-то хорошего, желанного: ждать урожая, ждать праздника. Девчонка ждёт парня из армии, солдат ждёт от девчонки писем. В принципе, такое восприятие вполне оправдано этимологией: слово-варь Фасмера (я заглянул туда только что) указывает на корневое родство слова “ждать” с неким литовским словом, означающим “жаждать, желать”. А ещё одним родственником слова “ждать” является, кстати, слово “жадный” (буквально — “очень сильно хотящий, желающий чего-либо”). Да это понятно и на слух.

Но почему тогда стало возможным такое, например, словосочетание, как “ждать беды”? Неужели это означает “желать беды”? Вроде бы этимология способна внести некоторую ясность и в этот вопрос: оказывается, слово “ждать” восходит к единой основе со словом “годить”, что означает “медлить”, ну, или вообще как-нибудь проводить время в преддверии чего-то там, а то и без всякого преддверия. Если помнишь, у Салтыкова-Щедрина в одном рассказе герои сознательно решили *годить*, то есть как-то незаметно убивать время своей жизни, не особо задумываясь о её цели и неизбежном финале.

С другой стороны, значение “медлить, временить” не было присуще слову “годить” изначально. Изначально “годить” означало “приспособлять, прилаживать”, а произошло это слово от первичного “год”, под которым тоже далеко не сразу стали понимать определённый временной промежутков, а понимали просто-напросто нечто “прилаженное, желанное”. Отсюда слова “пригодный”, “пригожий”. То есть, как видишь, опять мы имеем дело с чем-то желанным. Так что выходит, что в *ожидании* заложено *желание*.

Я бы не стал тебя утомлять описанием этой этимологической путаницы, если бы она не находила точнейшего отражения в человеческой... или ладно, не буду обобщать: в *моей* — психике. Дело в том, что при близком рассмотрении граница между ожиданием чего-то хорошего и ожиданием чего-то плохого оказывается вовсе не такой чёткой, как об этом привыкли думать, ведь и в том, и в другом случае человек испытывает некое подмывающее нетерпение в отношении некой точки будущего, и очень часто мне кажется, — вернее, я просто это чувствую, — что само это нетерпение не имеет при себе ни отрицательного, ни положительного знака. Вглядываясь в работу своего сознания, я отчётливо улавливаю в нём нечто такое, что непрерывно и безотчётно жаждет пища для больших переживаний, не придавая ни малейшего значения тому, чем они будут вызваны — радостью или трагедией. Это как нерв, который просто сокращался от каждого прикосновения, в чём и заключалась первая радость жизни, ещё не знающая ни добра, ни зла.

Знаешь, почти всякий раз, когда мне звонит на мобильник кто-то из родных или знакомых, в те несколько мгновений, пока моя рука подносит телефон к уху, я успеваю проиграть в голове целый букет фантазий на тему того, как я сейчас произнесу “алло” и мой собеседник сообщит мне о чём-то ужасном. И я должен тебе признаться, что в этих фантазиях содержится не один только страх. Я различаю в них мощную примесь чего-то другого, и, по сути, одна только боязнь признать себя конечным моральным чудовищем мешает мне назвать это другое бессознательной *волей к трагедии*. К трагедии — как самому чувствительному из всех прикосновений.

И к чему же я всё это вёл?

А всего-навсего к тому, что когда я узнал на фейсбуке о Сашиней смерти, это моё *ничто* зашевелилось во мне.

“Снова смерть приблизилась к моему миру. Снова её тайна где-то близко”, — приблизительно такими словами можно описать то, что я почувствовал при первом взгляде на фото уже неживого Саши.

Точно не помню, но, наверное, я всё же не сразу выстроил от этой новости логическую цепочку к тому, что теперь на моём горизонте забрезжил легитимный повод ещё раз увидеться с Лерой. Во всяком случае, пытаюсь сохранить в собственных глазах репутацию “хорошего человека” (к тому же христианина), я небезуспешно эту цепочку обрубал и прятал, обрубал и прятал, то и дело выставляя на её месте мысль о самом новопреставленном и его смерти.

“Восплачите о мне, братие и друзи”, — поётся на панихиде как бы от лица самого покойника. И я, как мог, пытался “восплакать”. Но получалось не очень. Не было ни сострадания, ни чувства личной потери — ничего такого, что вроде бы приличествует в подобных ситуациях. Было только шевеление этого *ничто*, да и то — стремительно ослабевающее, потому что Саша слишком отдалился от меня за последние годы.

“Вчерашний бо день беседовах с вами, и внезапно найде на мя страшный час смертный”, — поётся на той же панихиде, и это, конечно, не может не впечатлять; вчера беседовал — и вот уже в гробу. С Сашей же мы последний раз беседовали не вчера, а целых два с половиной года назад, и то — посредством переписки в дурацком интернете, и то — как-то очень поверхностно и принуждённо. Это значительно уменьшало глубину переживания. Силу прикосновения.

Я отправился на кухню, из которой приятно пахло жареным луком (жена готовила суп). Я с удовольствием сварил себе кофе и, сев за стол, рассказал жене про Сашу.

Жена тоже могла выстроить свою особую цепочку от него к Лере, потому что та институтская история была ей хорошо известна. Она узнала о ней, вскрыв тайком мою переписку в интернете (многих женщин подвигают к этому подозрения, вызванные необычными переменами в поведении мужа, и, к сожалению, подлость, которая всё же содержится в подобных разведоперациях, редко когда не бывает оправдана полученными сведениями). Собственно, благодаря этому поступку жены история с Лерой и смялась так быстро в комок. Я сделал выбор в пользу семьи, крепче прижался к церкви, покаялся, проплакался, очухался, бросил пить и так далее...

В общем, жена знала, чьим братом был Саша. Но, видимо, из уважения к святому таинству смерти она согласилась проделать со своей цепочкой то же, что я проделал со своей. И разговор пошёл непосредственно о Саше. А затем о смерти молодых вообще. Правда ли, что умирают лучшие и вообще какие-то особенные? Знают ли они больше нас, обычных людей, о том, как оно всё *там*, — или смерть застаёт их в том же состоянии растерянности и незнания, которое свойственно и нам?..

На Сашины похороны я не поехал. Потому что цепочка всё-таки сложилась: я окончательно понял, что если и отправлюсь туда, то больше ради встречи с Лерой, чем ради прощания с Сашей. Я решил, что если уж внутри меня царит такое свинство, то пускай хотя бы “я” прибегнет к своим контролирующим полномочиям и не даст этому свинству воплотиться в действии.

Я остался дома. И несколько ночей подряд мне снилась Лера.

Дурацкое, конечно, занятие — пересказывать сны. По крайней мере, кому-либо, кроме психотерапевта. Постараюсь быть максимально кратким.

Во сне наши встречи происходили в каких-то ветхих зданиях, похожих на заброшенные советские санатории или пионерские лагеря. Кажется, была осень. Благодаря обилию огромных окон, всё вокруг было наполнено ровным пасмурным светом. Это был какой-то немеркнущий вечер — застывшее время, в котором я мог сколько угодно терять и находить Леру, зная, что она при этом никогда не перестанет быть моей. Каждый раз, когда она неожиданно появлялась рядом, я точно знал, что ей надо торопиться, что сейчас она снова куда-то исчезнет. Мы нежно, как никогда и никто на земле, целовались, обменивались какими-то тихими малозначительными фразами, затем она пропадала, растворялась — и я продолжал ходить по светлым коридорам и комнатам, ни на секунду не наскучивая одиноким звуком своих шагов, а иногда останавливаясь напротив какого-нибудь окна и пристально наблюдая за медленным полётом светящихся пылинок...

Я просыпался в горьком ужасе оттого, что всё это было только сном.

Особенно тяжело было в субботу. Я проснулся удивительно поздно, часу, наверное, в третьем. Моё сновидение оборвалось на том, как я замечаю Леру в конце длинного коридора на втором или третьем этаже здания. Она стоит не в помещении, а на улице, на площадке наружной лестницы. На ней тот самый старомодный бежевый плащ, в котором она была в тот единственный институтский день, когда мы по-настоящему целовались; большего между нами не было. На улице дождь. Я понимаю, что тёплый. Иду к Лере, зная, что она не исчезнет, что она обязательно дождётся меня, что она очень добрая и никогда не появится вдалеке с глупой целью подразнить меня своим неуловимым призраком. Так делали многие до неё, но она не такая. Она любит меня по-настоящему. И тут я проснулся.

Я проснулся и вспомнил, что мне предстоит ехать в храм, на всенощную. Я ведь уже говорил тебе, что пою в хоре. Я представил всё, что ожидает меня сегодня в храме: полумрак, низкие своды, блики свечного огня на позолоте икон, утомительный плен церковнославянского языка, из которого мне снова предстоит по малой капле высачивать ту простую спасительную надежду, которая однажды прибила меня волной к стенам этого самого храма. И таким это всё показалось мне натужным, бедным и мрачным в сравнении с тем светом, который я видел во сне, что хотелось опять уснуть в этот свет и никогда никуда не ехать.

Но я поехал, потому что знал, что на меня рассчитывают; я бы сильно подвёл наш и без того немногочисленный коллектив.

По дороге, сидя за рулём, я курил одну сигарету за другой и жадно любовался небом с его предзакатными облаками, но особенно любовался луной. Дневная луна, размером чуть за половину, спокойно взирающая на солнце, — это то, что завораживает меня на небе больше всего остального: больше звёзд и облаков, больше самого солнца. Почему-то при взгляде на эту луну я всегда невольно произношу про себя слово “эпоха”. Мне кажется, оно очень подходит её тихому белёсому лику, словно бы сотканному из волшебного пуха.

И сколько мне сразу всего захотелось при взгляде на эту луну: купить выпивки, бросить машину, откупорить бутылку, развязаться — и отправиться пьяным бродить по каким-нибудь неизвестным холмам, ловя последние закатное золото и отчаянно сопротивляясь неизбежности, с которой будет надвигаться холодная ночь; повстречать на этих холмах настоящую Леру, целоваться с ней, лежать на душистом мартовском снегу, глядя в небо, и куда-то идти без цели, ради самого пути...

У меня даже заболело сердце.

“Неужели все эти мечты — тьма? — спрашивал я не то себя, не то Господа Бога. — Они так прекрасны. Они как будто исходят от этой луны”.

На всенощной я не мог понять ни слова из того, что пою. Мои связки, язык и губы машинально производили звуки молитвенных песнопений, в то время как сам я наблюдал за пятнами последнего вечернего света, которые проникали в храм через маленькие барабанные окна и медленно ползли по

сумрачным стенам. Вначале золотисто-оранжевые, эти пятна затем розовели, голубели, серели, пока, наконец, не растворились без следа во мраке.

После службы я подошёл к священнику и попросился на исповедь. Я рассказал ему о своих снах и о том, что не могу внутренне отречься от них, признать их плохими. Что я вижу в них красоту. Священник внимательно выслушал меня и спокойно сказал, что это обычное (как он сказал, “классическое”) искушение, ведь нельзя забывать, что идёт Великий пост, а во время Великого поста духовная брань всегда обостряется. Ещё он сказал, что, как бы это ни было сложно, христианин обязан сделать в своей жизни решительный выбор в пользу Христа и Его учения. Он предложил мне поразмыслить, есть ли в красоте этих сновидений отблеск света Христова и Царства Божия, и, испытующе посмотрев мне в глаза, велел готовиться на завтра к причастию.

Когда я вышел из храма, на улице бушевал ветер. Не снег, а ледяные иглы сыпали отовсюду, вшиваясь в лицо. Кроме них, ничего вокруг не было видно. Я кое-как добрался до машины, завёлся и поехал домой почти наугад, еле различая в этом ледяном хаосе дорожную разметку. Ехал и думал: “Какой алкоголь? какие холмы? какие поцелуи? Придёт ночь, метель, обрушится тоска — и всё это станет ненужным. И будешь мечтать только о том, чтобы снова спать в тепле с чистой совестью... Дневная луна обманывает. Да, были те, кто не сдавался, кто принимал ночь и метель, отвергая тепло и чистую совесть как удел слабых и нищих духом. Но во имя чего?”

В воскресенье я причастился. И испытал нечто такое, чего прежде не испытывал. Я шёл от причастия к записке, забыв опустить крестообразно сложенные руки, и смотрел на людей — старушек, подростков, молодых мам с младенцами на руках. Все без исключения лица были настолько прекрасны, что, казалось, излучали какое-то музыкальное сияние. Как будто через них на меня глядел сам Господь. Это очень трудно передать словами. Это было похоже на видение. Казалось невероятным, что когда-то я мог сравнивать людей по красоте, считая одних красивее или некрасивее других, — настолько все они казались совершенными.

После записки я долго стоял перед иконой Христа, не стесняясь того, что плачу, и очнулся лишь тогда, когда мой хор запел: “Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго...”

Это были удивительные минуты. Может быть, лучшие за много лет.

Когда я ехал со службы домой, я снова любовался мартовским небом. На этот раз на нём не было дневной луны, и я спрашивал себя, что бы я почувствовал, если бы увидел её теперь: захотел бы я, как вчера, напиться и отправиться с Лерой по холмам в неизвестную даль? Казалось, что нет.

Вечером, сидя в интернете, я снова заглянул на Сашину страницу в фейсбуке и увидел объявление о том, что завтра в Москве состоится вечер его памяти, приуроченный к девяти дням. И теперь уже решил поехать.

Когда я сообщил об этом жене, она довольно энергично поддержала меня: “Конечно, поезжай”, — а потом всё же не смогла воздержаться от неловкого вопроса:

— Ничего в тебе там не всколыхнётся?

Я сказал, что не всколыхнётся, и в понедельник после работы поехал на этот вечер.

Я не люблю Москву. В Москве у меня всегда портится настроение. Особенно в метро, несмотря даже на новые светлые вагоны. Заняв рассчитанный на одного пассажира стоячий закуток, снабжённый специальной спинкой под поясницу, но приятный, прежде всего, тем, что его не надо никому уступать, я гулял глазами по лицам людей, пытаюсь увидеть в них то же совершенство, которое открылось мне вчера после причастия. Но ощущение совершенства ушло. Старики с их мрачными истрадавшимися лицами вызвали скуку и досаду. Красивые девушки возбуждали обыкновенную похоть. Молодой кавказец, сидящий с похабно раздвинутыми коленями и тупо ёрзающий большим пальцем по экрану смартфона, просто раздражал. Кажется, я смотрел на него с настоящей ненавистью. Я вспомнил, что раньше такую позу называли “рогаткой”, а сегодня это уже “мэнспрединг”. Этот новояз

получил от меня порцию брюзгливого негодования в духе адмирала Шишкова. Потом я вспомнил, откуда знаю это дурацкое слово — “мэнспреддинг”. Из статьи про феминистку, которая целый день ходила по вагону метро, вооружившись баклажкой с какой-то несмываемой краской, выскивала мужиков, раздвинувших вот так ноги, и окатывала их этой краской в районе промежности. Как она потом сказала, это была акция против мэнспреддинга как одного из наиболее ярких выражений мужского доминирования в обществе. Я подумал, что если бы она сейчас расправилась таким же образом с кавказцем, распространившим свои колени на два с половиной сиденья, и тот начал бы её за это бить, то я бы, скорее всего, постарался за неё заступиться, хотя, если честно, в эту минуту поведение одного и второй раздражало меня почти в одинаковой мере. Это был тупик.

Помню, когда вагон остановился, я услышал музыку, которая доносилась у кавказца из наушников: какие-то национальные воинственные барабаны: “там-тидибиди-дам-тидибиди-дам-тидибиди-дам”. Их отдалённый стук на секунду напомнил мне тиканье часового механизма — и как раз в эту секунду кавказец поднял голову и со смеющимся вызовом посмотрел мне прямо в глаза. Его безусое лицо с прямыми узкими губами обрамляла угольно-чёрная, словно бы выплавленная в воск борода. Я почувствовал, как некий участок моего мозга, вероятно, доставшийся мне в неизменном виде ещё от каких-нибудь динозавров, за долю секунды обработал целый пакет специфических зрительных показаний (ширина плеч, толщина шеи, кривизна ног, волосистость рук или что там ещё, не знаю) и донёс до моего сведения, что в схватке один на один эта особь с наибольшей вероятностью легко и хладнокровно погасит во мне жизнь. Прозвучало название следующей станции; я кое-как успел сообразить, что должен выходить как раз на этой, и выбежал из вагона, едва не получив дверьми по бокам...

Вечер Сашиной памяти проходил в культурном центре одного из московских микрорайонов — как раз того, где Саша жил. Оказывается, он был до поры до времени частым посетителем этого заведения — входил в местное ЛитО с интересным, слегка декадентским названием “Сумерники”. Читал там свои стихи и маленькие рассказы, пел песни собственного сочинения.

Помещение, где проходил вечер, представляло собой подобие гостиной конца XIX века, с эркерной стеной, дорогой люстрой, роялем, фальш-камином и гипсовыми бюстами. Это были бюсты знаменитых отечественных писателей. Невдалеке от них, как бы удостоенная временного равноправия с ними, стояла на раскладном стенде большая цветная фотография Саши. Лера и женщина под 60 (как я потом понял, их с Сашей мать) стояли возле этой фотографии, совещаясь по поводу её местоположения: не лучше ли как-то развернуть, отдалить, приблизить? Лера заметила меня и сразу подошла ко мне. Взгляд у неё был совсем не убитый, и даже не растерянный, а только немного усталый, каким, впрочем, нередко бывал и раньше. Мы пожалы друг другу руки. Она была по-прежнему красива, по-прежнему рядом с ней было легко, и мне было странно, что она так никого за эти годы и не нашла.

Я понял, что следует сказать что-то нефальшивое. Я сказал единственное, что пришло в голову:

— Приятное место.

— Да, — сказала она. — Народу, скорее всего, будет раз-два и обчёлся, так что спасибо, что пришёл. Честно говоря, даже не надеялась, что ты появишься...

Последнюю фразу можно было понять как в том смысле, что она об этом тайно мечтала, так и в том, что она попросту забыла о моём существовании, хотя, скорее всего, оба эти понимания были ошибочны. Думаю, она хотела всего-навсего сказать, что не ожидала меня увидеть, просто выбрала не совсем подходящую формулировку. Несмотря на филологический профиль того института, который мы оба окончили, Лера явно не была филологом по призванию и, как я теперь понимаю, допускала подобные неточности довольно часто, не замечая, как сильно выбор слов влияет на смысл высказываний. Может, на этих неточностях, которые я ошибочно принимал за осознанные, так сказать, речевые решения, и выросла когда-то моя влюблённость в неё.

Пожалуй, так оно и есть. Пожалуй, первая же Лерина фраза, от которой у меня по-особому забилося сердце, содержала в себе пример неуместного словоупотребления.

Мы шли после пар к метро и обсуждали какое-то всемирно известное литературное произведение. Помню, она рассуждала о персонажах, как о реальных людях. “Не понимаю, зачем он согласился с ними пойти”. “Не понимаю, почему она не сказала ему, что она его любит”. Мне чем-то нравился такой буквальный подход к тексту, и я не стал высказывать мысль, что лёгкая непоследовательность, наблюдаемая нами в отдельных действиях литературных героев, более всего объясняется стремлением автора как можно скорее достроить своё композиционное здание. Я тоже говорил о героях, как о реальных людях, и получал от этого удовольствие. Потом мы перешли на какую-то нелитературную тему. Беседа оставалась приятной и лёгкой, мы не заметили, как оказались в центре зала метро, где наши пути должны были разойтись.

— Ладно, — сказала Лера. — Надо нам разлучаться...

Она сказала не “расходиться”, не “по домам”, а почему-то “разлучаться”. Передо мной стояла красивая девушка, которая говорила о нашей разлуке. А говорят ли в русском языке о разлуке совсем вне контекста любви?

Несколько дней спустя наше путешествие до метро повторилось. Мы снова очень хорошо и просто разговаривали. И тогда уже я сказал на прощанье:

— Так не хочется с тобой разлучаться.

Она не замечала ни своих, ни чужих неточностей. Но не замечала по-разному. Мои слова о разлуке Лера поняла именно так, как я хотел. И не сделала даже поправки на то, что я был пьян. Её глаза заблестели. Я протянул ей на прощанье правую руку — она дала мне левую, я протянул ей левую — она дала мне правую, и так мы стояли несколько секунд, покачивая руками, пока не подошёл её поезд.

Потом мы стали вместе сидеть на лекциях. Мы редко болтали на них, но нам и не обязательно было болтать. Часто, вместо того чтоб записывать, я рисовал. Закончив очередной рисунок, я передавал его Лере. Она внимательно рассматривала его, бросала на меня весёлый взгляд и с загадочной улыбкой убирала листок в один из своих блокнотов...

А теперь я скажу пару слов о Саше. Тем более что так я быстрее разделюсь со всей Саше-Лериной историей.

Саша не учился в нашем институте. Кажется, он просто не смог в него поступить. Но несколько раз в месяц старшая сестра проводила его на наши лекции. Это был очень красивый приземистый густобровый парень, который почему-то совсем не интересовал девушек.

Часто при нём была гитара. Бывало, что после лекций мы, студенты, небольшой компанией задерживались во дворе института на одной и той же уютной скамейке и там втихаря вышивали. Пару раз во время таких посиделок, когда они складывались особенно душевно и поэтому затягивались, Саша расчехлял гитару и исполнял свои песни. Не думаю, что у него был хороший слух. Но в его интонации было что-то поверх слуха, что-то такое, что позволило какому-нибудь Йену Кёртису или Майку Науменко стать теми, кто они есть, не будучи, как мне кажется, большими слухачами. У меня, например, этого в голосе нет, несмотря на приличный слух. Сашины песни были удивительно искренними, фальши в душевном смысле слова в них не было ни капли. Но почему-то эта искренность не вызывала в душе большого отклика. Может, отчасти сказывалась разница в возрасте. Саша пел о тех проблемах и вопросах, через которые все мы так или иначе уже перешагнули. Нет, не решили их, а просто оставили позади, чем-то заштриховали и где-то даже окрестили их пошловатыми. Мы были когда-то похожими на Сашу и, слушая его песни, думали, что и он когда-нибудь станет похожим на нас. Но этого как раз не произошло. Саша ничего не заштриховал. И когда я прочёл на его странице формулировку: “Его сердце не выдержало...” — я подумал ещё и об этом.

Однажды, это был апрель, мы засиделись у института до такого поздна, что нас уже выдворил за ворота охранник. Расходиться, тем не менее,

не хотелось, мы пошли на фонтанную площадь. Там часто бродили менты, но мы уже были достаточно пьяны, чтобы игнорировать эту опасность.

Через полчаса пошёл дождь, компания стала редеть. Наконец, остались только Лера, Саша и я. Мы сидели на спинках скамеек, поставив ноги на сиденья, и мокли. Лера сидела посередине, Саша сидел слева от неё. Мы с ней передавали друг другу бутылку креплёного вина. Саша не пил. Потом выяснилось, что у нас — последняя сигарета. Я выкурил чуть меньше половины, передал Лере, она сделала несколько затяжек и посмотрела на Сашу:

— Тебе оставлять?

— Да будете на меня переводить... — сказал Саша, однако взял сигарету и затянулся. Его брови задумчиво нахмурились: — Хм. Сейчас как будто нравится, — и он затянулся ещё раз. — Нет, — помотал он головой, — всё-таки не понимаю, — и вернул сигарету Лере.

Мы с ней улыбнулись друг другу.

— Саня, — сказал я, — какой ты хороший. Как мне хочется, чтобы у тебя всё было хорошо...

С минуту все молчали, слушая, как стучит по капюшонам дождь. Я незаметно любовался Лерой и тем, как “считывает” влагу её бежевый плащ. Он стал уже тёмно-тёмно-коричневым — только под рукавами остались круглые пятна сухой ткани, которые казались теперь почти белоснежными.

Потом Саша вдруг наклонился, чтобы видеть меня из-за сестры, и спросил:

— А тебе нравится быть отцом?

По ряду причин я думал над ответом ненормально долго и, кажется, наговорил в итоге какой-то невнятной ерунды — обо всём и ни о чём: да, в целом нравится; впрочем, я не всё ещё осознал, это ведь новый человек, целая вселенная; к тому же, это очень сильно меняет бытовую сторону жизни — и так далее...

— Странно, — сказал Саша, внимательно выслушав меня. — А мне всегда казалось, что это должно быть так круто...

Меня немного озадачили его слова: я ведь вроде бы не сказал, что это не круто.

Посидев ещё минуту, он закинул чехол с гитарой за оба плеча и протянул мне руку.

— Ты куда, мальчик мой? — спросила Лера, вычищая пальцем тушь из уголка глаза.

— В конечном итоге домой, — ответил Саша. — Вы, наверно, ещё хотите помокнуть. — Он выставил под дождь ладонь: — Хороший дождик.

Когда он ушёл, мне стало страшнее, и вместе с тем во мне начало вырастать некое тёплое блаженство близкого неизбежного поцелуя с Лерой. Наконец, я не выдержал этого блаженства, обнял её за плечо, быстро потянулся к ней, она ко мне — и мы целовались.

Потом мы до самой глубокой ночи ходили по Москве, не разбирая улиц и зданий, не замечая ничего вокруг. Я бы ни за что не смог восстановить наш тогдашний маршрут.

Я отключил телефон. Дождь не прекращался, и нам не нужно было, чтобы он прекращался. Иногда, чтобы немного отдохнуть от него, мы заходили в подземные переходы и там подолгу целовались у стен. В переходах, где дурно пахло, где ненужные газеты летали под сквозняками, эти поцелуи как будто избавлялись от греха: в них начинало сквозить простое желание двух людей согреть друг друга в холоде и бесприютности жизни.

Я вернулся домой на первой утренней электричке. Дальше рассказывать не имеет смысла. Это отдельная история, к которой мне не хочется возвращаться...

Мероприятие, действительно не очень богатое на гостей, началось вовремя. Роль условного ведущего взял на себя руководитель Сашиного ЛитО, бодрый дяденька за шестьдесят по фамилии Сумерников. Как ты понимаешь, название ЛитО пошло от его фамилии, о чём он не преминул сообщить с самого начала.

— Впрочем, — оговорился он, — дело, конечно же, не только и не столько в моей фамилии. Просто собирались мы, в основном, по вечерам,

а в русском языке есть такой замечательный глагол — “сумерничать”, — который, вообще говоря, означает “сидеть без огня в сумерках”. Мы, конечно, электричеством пользовались, но в каком-то глубинном, небуквальном смысле мы тоже сумерничали. В тихой обстановке мы пили чай, беседовали на самые важные темы, делились друг с другом творчеством и как-то особенно полно, исповедально раскрывались друг перед другом. И чувствовали себя, не побоюсь этого слова, одной семьёй...

Он рассказал, какую роль в этой семье играл Саша. Это, сказал он, была роль не совсем простого сына, за которого все как-то бессознательно беспокоились — и даже те, кто был младше него. По словам Сумерникова, Саша был уже недалёк от публикации стихов в каком-то не самом последнем поэтическом журнале, которая — кто его знает — вполне могла дать ему путёвку в “большую поэзию”, как вдруг, года два назад, он как-то ушёл в себя, стал появляться всё реже, а потом и вовсе перестал.

Сумерников прочёл свои стихи на смерть Саши. Лирический герой этих стихов смотрел на молодую птицу, внезапно рухнувшую перед ним на землю и забившуюся в предсмертной агонии. Я запомнил пару отрывков:

*Любовались все твоим полётом —
Гордой точкой в небе золотом.
Так скажи, скажи мне, отчего ты
Разметаешь пыль (каким-то там) крылом?*

И последние две строчки:

*Что ж ты, милый, кровью истекаешь?
Ведь никто не поднимал ружья...*

Потом к небольшой кафедре подходили по очереди разные люди — “сумерники” и не только. Кто-то читал Сашины стихи, кто-то читал его прозу. Каждый вспоминал свою последнюю встречу с ним, и все сходились на том, что Саша понимал о жизни что-то такое, чего не понимали остальные.

Слушая выступающих, я думал о том, что каждый человек (в особенности хороший), умирая, на некоторое время принимает в глазах знакомых и родных образ мессии и влечёт за собой шлейф религиозного поклонения. У Христа этого шлейфа хватило на 2000 лет и хватит, наверное, ещё надолго, а у людей обычных он относительно короток и является чем-то вроде ритуального подражания тому духовному перевороту, который человечество когда-то испытало в смерти Христа. Какое-то время все, кто знал усопшего, также видят в его словах благую весть и почти не сомневаются, что его смерть не была случайностью, а так или иначе носила характер священной жертвы во имя того, чтобы мир стал лучше. Это мероприятие было яркой иллюстрацией моих мыслей.

— Так и кажется, — вырвалось у Сумерникова где-то посреди вечера, — что он сейчас вот тут, посреди нас. Слушает, видит нас. И звучит в каждом из тех стихотворений и рассказов, что вы читаете.

Последней вышла Лера. Она прочла Сашино стихотворение, одно из последних, из которого мне запомнилось последнее четверостишие:

*Погрелся лучами мая,
Поел насущного хлеба.
Увы, не коснулся рая,
Но просто хочу на небо.*

Все встали и зааплодировали.

— А вот это стихотворение, — врывался в аплодисменты голос Сумерникова, — я обязательно предложу к публикации в следующем номере “Литературной газеты”. Я уверен, что его примут. Лера, пожалуйста, оставьте мне его или пришлите сегодня же по электронной почте.

Народ начал расходиться, а я остался стоять на месте. Я смотрел на фотопортрет Саши, на его густые брови, на его глаза и губы, улыбка которых явно стоила ему некоторого усилия, — и не мог думать ни о чём светлом, а только чувствовал страх — страх того, что никакого Саши среди нас нет, что никого из нас он не видит и не слышит, что мы сами себя только что утешили, устроили здесь маленькое сектантское собрание, а теперь пойдём себе дальше, будем потихоньку жить и потихоньку умирать, с растерянным взглядом уходя в неизвестность.

Не знаю, как так получилось, что мы снова шли до метро вдвоём. Не знаю, кто больше этого захотел и сумел незаметно подвести к этому сценарий вечера, — она или я. Но это не было случайным стечением обстоятельств.

Мы шли по сыроватой вечерней Москве, скорее, по окраине, чем по центру. Я чувствовал лёгкую благодарность к Саше за то, что его смерть накладывает табу на все наши возможные разговоры о той апрельской ночи и вообще о том, что между нами было. Конечно, мы и так не стали бы об этом говорить, просто трагический повод нашей встречи делал это умолчание вполне естественным.

Я был уверен, что на этот раз наш совместный путь к метро не подарит мне никаких трепетных воспоминаний. Огни и звуки, деревья, здания, сам воздух и само наше настроение — всё казалось каким-то антиволшебным, исключаяющим малейшую возможность какого-либо очарования жизнью. И всё же я был рад, что мы идём вдвоём, и мне было немного грустно, что метро уже близко.

— Как тебе вечер? — спросила Лера. — По-моему, получилось тепло. Я рада, что всё прошло именно так — тихо, немного даже одиноко. Саша таким и был. И действительно, — вспомнила она слова Сумерникова, — он как будто был в этом зале с нами. У тебя не было такого ощущения?

Я подумал и сказал:

— Знаешь, не хочу тебя расстраивать, но, пожалуй, нет.

— Почему? — спросила она.

— Потому что если человек и продолжает жить, то всё-таки не в стихах, не в песнях и даже не в добрых воспоминаниях о нём...

— А в чём? — спросила она.

Шум машин, дребезг трамваев, отдалённый подземный гул метрополитена, стук тонких веток над нами — вся Москва как будто вдруг умолкла, чтобы выслушать мой ответ. И сам я словно бы почувствовал, что от этого ответа многое зависит. И будущее разделилось передо мной на две дороги. На первой — я повернул к себе Леру, обнял её, как сестру, и сказал:

— В том, что все мы действительно воскреснем.

Произнося эти слова, я, кажется, не до конца в них верил, но их собственная сила вдруг залила меня и... и я не знаю, что было дальше. Может быть, другой мир, другая жизнь. Эллинам безумие, иудеям соблазн...

А на второй дороге, которую я в итоге избрал, — я внезапно ощутил дыхание тёплого ветра из метро, заметил, как он колышет светлые Лерины волосы, ниспадающие волнами из-под чёрного берета, почувствовал, что ещё много-много раз хочу испытать замирание сердца при виде дневной луны на ясном небе, и сказал:

— Я не знаю.

Мне показалось, что Москва тут же спокойно, будто облегчённо вздохнув, возобновила своё движение и шум. Как и тот, первый, я тоже обнял Леру, правда, только одной рукой, за плечо, не замедляя шага, и моя рука очень скоро заскользила по её спине и переместилась обратно в карман.

— Жалко, что ты не знаешь, — сказала Лера. — Наверное, мне бы это очень сейчас помогло.

Засветился подземным светом спуск в метро.

— Знаешь, — сказала она, — я, наверное, всё же вернусь в КЦ. Маме всё-таки надо помочь.

Я понял, что это было правильно.

— Хорошо. Пока, — сказал я. — Рад был тебя видеть.

— И я тебя.

Мы пожали друг другу руки и без лишних слов разошлись в противоположные стороны.

Я думал, что дорога домой покажется мне унылой и бесконечной. Но вышло не так. Все два часа пути меня грела беспричинная мысль о том, что произошло что-то хорошее. Что у меня ещё будет время пожить, подумать и поизвлекать из непослушной твердыни церковнославянского языка крупички подлинного Сашиного бессмертия.

Вот, собственно, и всё. Как ты понимаешь, Наташа, это письмо было написано не за один присест. Я писал его три вечера и три ночи. А сейчас уже раннее утро. Я не буду ничего перечитывать. Честно говоря, я не помню уже точно, ради чего начал, и не знаю, чем теперь закончить. Поэтому просто нажму сейчас на значок “отправить”.

Жму твою руку.

Пиши.

1 апреля 01:04

Наталья:

Привет, Андрей.

Не отпускает твоё письмо. Вчера вечером прочла и тут же перечитала его, а сегодня целый день шаталась по городу под дождём. Слушала почему-то только “Joy division”. Вот, прилагаю к письму фото насквозь промокших кедров.

Какие они все удивительные — и Саша, и Лера. И этот Сумерников. И, конечно, ты во всём этом тоже. И как это всё печально, Андрей! У меня просто нет слов...

Я, может, ещё напишу тебе что-то по этому поводу. Пока просто нет слов...

Пиши.

P. S. : Не хотела поднимать эту тему, но всё-таки подниму: как ты думаешь, Андрей, в нашей переписке нет ничего предосудительного в отношении твоей семьи? Прости...

ДАРЬЯ ИВАНОВА



ПИСЬМА БОГУ

ХРАНИТЕЛЬ ЯНТАРЯ

Я живу в темноте, словно жду, что взойдёт заря.
Я живу в тишине, словно вновь языку учусь.
Я усталый хранитель волшебного янтаря —
Лучезарного сгустка эмоций, надежд и чувств.

Я ночами не сплю, я ночами молчу с тобой.
Увожу тебя в мир, что был дорог и важен был.
Но, всему вопреки, причиняю тебе лишь боль,
И священный янтарь покрывает земная пыль.

Мне нельзя отыскать тебя в ворохе одеял,
Настежь окна открыть, распустить темноты конвой.
Но, представь же себе, как янтарь бы мой засиял,
Если б солнце когда-нибудь дом озарило твой.

Не беги от себя, не гони меня на чердак.
Эти страхи, сомнения, в сущности, так малы.
Посмотри на меня, я не враг тебе, я не враг.
Я храню твоё прошлое в каплях густой смолы.

ИВАНОВА Дарья Максимовна родилась в Чебоксарах. Окончила Литературный институт им. М. Горького (семинар Игоря Волгина) и Московский государственный институт культуры. Стихи публиковались в журналах "Юность" и "Студенческий меридиан". Живёт и работает в Москве. В журнале "Наши современники" публикуется впервые.

ПИСЬМА БОГУ

Семь миллиардов. От каждого — по письму.
В каждом письме — по десятку стандартных просьб.
Зрение село, а в толк никак не возьму:
Хоть у кого-то хоть что-нибудь да сбылось?

В каждой строке — искаленная судьба.
В каждой судьбе — два удара и перелом.
Я говорю себе: дело твоё — труба.
Я говорю себе: так тебе, поделом.

Мне бы уйти. Но, по сути, куда идти,
Коль изначально спасением пренебрёг?
Утро приносит мне письма в своей горсти.
Семь миллиардов. От тех, кого не сберёг.

ПОЛНОЧЬ

Не спугни тишину, если полночь прокралась в дом.
Дай часам отдохнуть, если время на них застыло.
Что травой порастить не смогло — засияет льдом.
Что в упор не убито — то сломлено будет с тыла.
На высоком костре дай вчерашнему дню сгореть —
От сгоревшего прошлого бьёт аромат сандала.
Просто жизнь переходит твоя во вторую треть,
Раз в душе с наступленьем апреля похолодало.

ИРИНА ИВАСЬКОВА



КУРИНАЯ СЛЕПОТА

РАССКАЗ

1

Выезжали спозаранку. Новая хозяйка квартиры глядела с любопытством — и на аккуратные чемоданы, и на рюмочку с корвалолом, и на заплаканное материно лицо. Мать пустилась было в беседу — объясняла, что раковина на кухне иногда капризничает, а полпакета стирального порошка — хорошего, дорогого — остались в ванной, но под Катиным взглядом осеклась и умолкла. Жаркие солнечные квадраты, вplyвающие в окна по утрам, отправились в свой ежедневный путь от подоконника до стены, отмеряя время от завтрака до полудня, чтобы исчезнуть в тихий обеденный час уже на чужих, равнодушных глазах. Хлопали двери на сквозняке, лился в комнаты привычный уличный шум, и таксист, вошедший без звонка и стука, подхватывал чемоданы с такой лёгкостью, словно были они совсем пустые.

Усевшись на детское одеяльце, зачем-то расстеленное водителем на заднем сиденье, мать закрыла глаза, чтобы не видеть, как движется рядом с автомобилем знакомый до кочки двор — с недоумением, прощаясь, прячась где-то за спиной, в полутёмном закоулке памяти, отведённом для ушедшего и потерянного. Потом стыдилась залитых слезами щёк, встряхивалась, шумно рылась в сумочке, доставала то расчёску, то зеркальце, то бутылочку с кипячёной водой. День выдался дивный — чистый, будничныи, простой,

ИВАСЬКОВА Ирина родилась в 1981 году в Красноярске. Окончила Красноярский государственный университет по специальности “юриспруденция”, работала юристом около десяти лет. Писать начала в 2007 году. В настоящее время занимается созданием статей для различных интернет-сайтов, а также кубанских газет и журналов. Публиковалась в журнале “Север”, газете “Кубанский писатель”. Живёт в Анапе.

такси летело легко, минуя светофоры без задержек, и быстро, очень быстро, вырос впереди острый, похожий на огромную зубочистку шпиль вокзала.

Двигаться на юг ранней весной хотелось немногим — и оттого ленивый, длинный поезд оказался полупустым и тихим. Ветер резво гонял сухую пыль от путепровода до перрона и казалось, что нет и не может быть никакой трагедии в отъезде, а только обыденность, только скука.

— Надо же, — сказала мать, войдя в купе, — не вернуться. Как же мы тут три дня?

Вагоны задрожали и дёрнулись, заплесало в окне узкое полотно занавески и заработало неведомое раньше ни Кате, ни матери железнодорожное волшебство: стенки купе будто раздвинулись, а потолок поднялся. Мать зашелестела, засуетилась, закрутив возле себя небольшой смерч из постельного белья, пакетов и пузырьков.

— Главное, добыть кипятку, — бормотала она, — и не пропадём. Веник бы... Хотя, погоди, я же щётку складывала. Ноги подними-ка.

Где-то гремели чем-то железным — будто миски падали в тазы, а за оконным стеклом мелькали неяркими пятнами невысокие зданьяца, построенные невесть для чего в каждой полосе отчуждения и всегда пустые.

— Ох, Хосподи... — сказала мать, завершив хозяйственную возню. — Едем, значит.

Хотела было всплакнуть, но, опередив её, в соседнем купе зарыдал ребёнок — отчаянно, во весь голос, и мать только вздохнула, мгновенно перейдя от жалости к себе к сочувствию неизвестному дитяте и его родителям. “Маленькому-то в такой тесноте...” — прошептала она и мысленно перебрала содержимое упрятанного под полку пакета с припасами.

— Ты, Катюш, прикорни тут. Не спала ночь, наверное. А я схожу, погляжу, не надо ли чего.

И ушла, прихватив шоколадку.

Прошедшей ночью Катя и вправду не спала — дремала, не погружаясь в сон, а словно спотыкаясь, падала в неглубокие сонные ямки и тут же просыпалась — в гулкой, лишённой мебели комнате, ворочалась, пытаясь угнестись, то мёрзла, то задыхалась от дурной, тревожной испарины. По-хорошему, при бессоннице положено было будить мать, и та, охая, прихрамывая, плелась на кухню, кипятила воду, кидала в чашку сухие щепотки — что там положено кидать, надо бы запомнить, наконец. Меленькие, колдовские движения, то ли шелест, то ли перезвон, шорохи и постукивания, а потом тишина и жёлтый, спокойный свет, падающий из кухни на тёмные дощечки паркета. В этом безмолвии распускалась в чашке сухая травка — вспомнила! чабрец! — и таяла, уходила от Кати злая, осой жужжащая тоска. Два глотка горечи — и сможешь спать.

Но прошедшей бессонной ночью — пустой, последней ночью на старом месте — будить мать Катя не стала: сражаться с бессонницей было бы нечем. Ситечко, серебряная солонка в виде уточки, чайники — большой, маленький и средний, кастрюли, ковшики и черпаки, переложённые газетными листами тарелки, чайные чашки, мраморная ступка, супница в золотых цветах, никогда не использующаяся для супа, но хранящая в своём фарфоровом нутре тоненькие книжицы с рецептами сладостей и солений, — все эти хрупкие обитатели кухонных шкафчиков уже позвякивали в темноте грузового вагона, пущенные в новую жизнь прежде своих владельцев.

Теперь и сама Катя неслась, покачиваясь, по рельсам, следом за домашними пожитками, вспоминая, какой обиженной, униженной и обнажённой выглядела вся эта комнатная утварь во время погрузки и упаковки. Глупые мысли, бессмысленная жалость — саму-то Катю некому жалеть. И разве уснёшь тут, пусть и утихомирилось ревушее за стенкой дитя...

Мать вернулась через полчаса, укоризненно покрутила головой и изрекла неожиданное.

— Везучие мы с тобой, Кать.

— С чего это?

— Да вон, ребята туда-сюда мотаются, да с дитём ещё. От войны бежали. С юга — на север, не прижились, теперь с севера — на юг. У нас

и паспорта, и полис — если что. А у них права птички — то ли беженцы, то ли непонятно кто. Я им про нас чуток рассказала, что сдали мы квартиру свою на годик и тоже вроде как бежим, но разве мы так бежим, Катя? Мы-то и квартиру снимем, и работать я буду. И ты учиться пойдёшь. А они-то как?

Слушать про беды незнакомцев Кате не хотелось, и она отвернулась, вслушиваясь в тяжёлый, с усилием, перестук, и улавливая лишь отрывки из материного бормотания: “Мальчику-то лет шесть, не больше... и ни дома, ничего не осталось... до сих пор стреляют... отец на руинах остался, в сарае живёт... в саду и яблони были, и вишня... сама-то опять беременная... и попивают, похоже... малыша жалко, не родился ещё, а уже несчастный...”. Собственная беда по сравнению с чужой казалась Кате и важнее, и горче — пусть и совестно было бы сказать об этом вслух, но себе самой-то можно и не врать. А мать — бесхитростно, просто — от страшной, но исключительно чужой безнадежности вдруг почувствовала себя счастливой, и стыдно ей от этого счастья не было, а только жаль, очень жаль, что так в жизни выходит. И она представляла себе, как могла бы бежать с Катей от стрельбы и взрывов — непременно ночью, ведь большая беда всегда приходит в темноте, и бежали бы непременно налегке, ничего бы взять не успели, а теперь бы ехали, пугаясь каждого стука и голоса, и каждый мог бы их обидеть и прогнать. “И ни помыться, ни поспать...” — думала мать, всё покачивала головой и бормотала: “Это ж надо же, как...”. И не отпускающее с самого утра отчаяние от разлуки с привычным и родным — немислимое, будто душу с корнями выворачивающее — немного утихало. “Ну, не навсегда же... Не навсегда... Поживём и вернёмся...” — в тысячный раз утешала себя мать, утирая слёзы.

Мать совсем не старая, но уже давно усвоила себе манеру старческую, пожилую — в беседе, в домашних хлопотах и в том, как осторожно, бережно носила своё тяжёлое тело. Так и проще, и хитрее; мать словно бы обманывала судьбу, жестокую к молодости и цветению, но равнодушно проходящую мимо отцветшего и поношенного — не закрашивала седину, говорила тихо, даже после недолгой прогулки спешила прилечь, платья выбирала широкие да потемнее, а на людях частенько прикладывала руку к груди и замирала, вслушиваясь и шевеля губами. В своей полноте мать чувствовала себя уютно, безопасно, будто тело окружало её — настоящую, невидную — надёжным, никому не интересным убежищем.

Ребёнок в соседнем купе опять заплакал, и завизжала следом за ним женщина. Упало на пол что-то тяжёлое, что-то завозилось и забилося. Шархнуло дверь, и визг стал невозможно высоким, прервался, и посыпались вместо него слова, но ничего понять в них было нельзя; они перемежались резкими, короткими ударами, словно колотил кто-то в стенку кулаком.

— Что ж это? — мать смотрела на Катю растерянно. — Поубивают сейчас друг друга. Малыша напугают. Может, полицию надо? Где проводники-то?

— Да сиди ты, не суйся! — раздражённо оборвала её Катя. — Тебе ещё достанется. Сами разберутся.

Разобрались и вправду быстро. Женщина умолкла, а ребёнок всё рыдал, и казалось, что плачет он не за стенкой, а совсем рядом. Мать осторожно отодвинула дверь и ойкнула — мальчик сидел на красном коврикe, подняв к ней мокрое лицо и растягивая губы скобкой — углами вниз.

— Ну-ка, давай-ка сюда, — скомандовала мать; он ловко, как змейка, скользнул мимо неё, и опрокинутая скобка тут же исчезла с его лица.

— Как тебя звать? Голодный? Ну, ничего, ничего, всякое бывает. И часто у вас так? Страшно тебе? — мать сыпала вопросами и суетилась — влажными салфетками вытерла мальчику лицо и руки, высыпала на столик кучу мелких свёртков — с бутербродами, печеньем, аккуратно нарезанными яблочными дольками, вафлями и конфетами.

Мальчик представился Петей и угощение принял охотно — держал всё предложенное двумя руками и грыз быстро, дёргая носом на величии манер. На остальные материны вопросы отвечал неохотно, пожимал плечами и хмурился. Вытянула мать из него лишь возраст — оказалось, что ему не

шесть, а целых восемь лет, и очень хотел он, чтобы появился у него брат, а не сестра, потому что девчонка никак ему не подойдёт, а брата можно всему научить и будет куда веселей.

Поезд тем временем въехал в сумерки, заспешил в сторону ночи, и мать сдвинула оконные шторы, закрыв тревожный профиль горизонта, выведенный на бесцветном небе чёрной тушью.

— Ложись, малыш, ложись. А вот я тебе простынку домашнюю постелю, нечего на этих казённых тряпках спать, — и мать взмахнула перед Петей ситцевой, в цветочек, тканью.

Катя, недовольная неуместной материной добротой, забралась на верхнюю полку и глядела оттуда укоризненно и сурово, но потом уснула — на удивление быстро и легко.

— И ты спи, — мать робко дотронулась до лохматой Петюниной макушки — погладить не решилась, — завтра пораньше разбуду тебя, твои небось уже утомонятся, да и пойдёшь к ним.

Соседнее купе молчало — словно и не было там никого. Поезд замедлил ход, а после остановился. Мать слушала, как хрустят под чьими-то шагами камешки, как переговаривается с кем-то кто-то неведомый — негромко и печально, и сама опечалилась оттого, как равнодушно лётея в окно яркий огонь фонарей. Но прошло лишь несколько минут, и снова дёрнулись вагоны, уплыл в темноту фонарный свет, а поезд разогнался, качая лежащую мать из стороны в сторону. “Как младенца качает, — улыбалась она про себя, хотела вспомнить, как укачивала маленькую Катю, но вместо этого подумала о Пете — надо ему с собой ещё шоколадок, да конфеты ещё где-то были...”

Проснулась она от тихого движения, несоразмерного ни вагонной качке, ни сну — где-то под ней, по самому полу, двигалось что-то маленькое, тёмное, и мягко ехала из-под её головы подушка — туда, под голову, мать уложила сумочку с документами и кошельком.

Скосив глаза в сторону, мать увидела пустую, устеленную ситцевыми цветами полку, и заговорила туда, вниз, к полу, внятно и неспешно:

— Петюнь, да там рублей пятьсот, не больше. Я забоялась деньги брать в поезд, ехать-то всего три дня, чего покупать-то? Лучше еды побольше взять, правда?

Маленькое и тёмное замерло, потом шмыгнуло носом и спросило:

— И карточки, что ли, нет?

— Нет, что ты, не люблю я их. Только сберкнижка, но по ней без меня никак не получишь. Ты с пола-то встань, простудишься. Может, поспишь ещё? Или конфет хочешь?

Темнота молчала, и мать сжалась, ощутив вдруг остро и болезненно собственную крупную тяжесть и подумав, что сейчас её надёжное телесное убежище защитить свою владелицу никак не сможет, ведь грозит ей не взгляд и не слово. “А если нож у него? Кричать? Катя испугается...”

— Я пойду, — сказала темнота, — а ты за мной закрой на замок. И не пускай больше никого, дура. — Ругательство вышло беззлобным и даже ласковым.

Дверь скользнула в сторону почти бесшумно — открылась и закрылась; мать, унимая дрожь, щёлкнула замком, улеглась, укуталась было одеялом, но тут же села и нашарила ногами тапки. Поезд снова умерял ход, серый утренний свет забрезжил меж занавесками, задвигались, а после остановились за окном острые, длинные тени. Мать встала, глянула на крепко спящую Катю, достала из-под подушки не добытую Петюней сумочку, накинула куртку и вышла в ледяные, весело пляшущие сквозняки коридора.

Соседнее купе оказалось открыто, сердитый проводник сдирал с полок бельё и одеяла.

— Где ж соседи-то наши? — спросила мать. — Погулять, что ли, собрались? А мы долго стоять будем?

— Техстоянка один час. А эти ночью ещё вышли, — ответил он и отвернулся.

— А мальчик как же? Они ж беженцы, куда ж они? — переполошилась мать.

— Да какие беженцы, врут для жалости, а вы слушаете. А пацан только что смылся, ещё и чай весь спёр, засранец.

— А если потеряется он? Может, в полицию?

— Женщина, знаете, что... — начал было проводник, но умолк, махнул рукой, и по лицу его читалось, как ненавидит он и это раннее утро, и мятые простыни, и мальчиков, и пожилых надоедливых толстух...

Выйти из вагона мать не решилась. Она стояла, крепко держась за поручень, и глядела на усыпанную светлым гравием дорогу и небольшой пруд, окружённый сухими, изломанными стрелами камышей. Зябли в воде деревянные мостки, где-то далеко лаяли собаки, а колкий утренний холод марта даже не обещал весну.

Мать подумала, что пруд и тёмные дачные домики, и прошлогодняя трава — всё это скучное, простое — она не увидит больше никогда; что через пару месяцев здесь будет зелено и шумно, а она никогда больше этого не увидит. И ей вдруг захотелось зашагать прямо в тапочках по дороге, чтобы камешки скользили под ногами, пройти по дощечкам мостка и опустить в холодную воду кончики пальцев, обернуться, посмотреть на медленно трогающийся, набирающий скорость поезд, а потом остаться совсем одной.

2

“Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь...” — напевала мать, глядя в сердитое личико дочери; ишь, головёнка с кулачок, а такая серьёзная.

Страшно матери не было. Смутить её, помешать ей никто не мог: Катюшин отец, допущенный в дом даже не по слабости женской, а случайно, никогда больше материных порогов не переступал; а родни никакой в живых у неё уже не осталось. Некрепкий был её род, непрочный — всё болели, пропадали где-то, выбирая дороги самые неудачные, и, что хуже всего — переносили выпадающие на долю несчастья смиренно, без борьбы. Одна мать вышла покрепче, и даже грузностью своей отличалась от остальных — тонкокостных и сухоньких. И теперь нахмуренный младенческий лобик радовал её до слёз — сердится, значит, жить будет хорошо, прочно. “Колдуй, баба, колдуй, дед... — пела мать, пряча в шкаф тёплые от уюта бельевые стопки, — колдуй, серенький медведь...” — шептала, оглядывая перед сном свой беличий, припасливый мирок. И, хоть ведуний или, упаси бог, знахарок среди покорных судьбе материных родичей не водилось, своим шёпотом и мелкой ежедневной суетой сплела она чудную, никому не видимую сеть — колдовскую, не иначе.

Сначала, конечно, было неловко — дочь выплыла в жизнь совсем невесомой человеческой пылинкой; мать часами сидела рядом со спящим ребёнком и думала, что даже хрупкое имечко Катюша кажется грубым и очень уж большим для этих пальчиков и ушек. Приходилось придумывать крохотные словечки — нетяжёлые, летучие; стеречься сквозняков — чтоб не унесли; опасаться даже лунного света — не по себе становилось матери, когда искривленное неведомой бедой лунное лицо рассматривало детскую кроватку сквозь оконное стекло.

Но мать колдовала и за бабу, и за деда, и даже за серого медведя — пальчики вырастали в пальцы, ушки становились ушами; кипело молоко, лилась вода, и колдовская сеть, бывшая поначалу не крепче марли, держала всё плотней. Продольные нити обычных дней переплетались с поперечными нитками выходных; вкруговую же мать укладывала свои, секретные, почти паутинные волокна: щепотку сухой ромашки в чай, букву К, вышитую на изнанке платья, кубик сахара под подушку — для сладкого, сверкающего чистотой сна.

Укрепляло колдовскую сеть и материню пристрастие к шторкам, полкам, шкафам и скатертям — да потемнее, потяжелее, — превратившим две комнаты, кухню и кладовку в мудрёный лабиринт с тайниками и убежищами. Доросшая наконец до своего имени Катюша укладывала в картонные коробочки мелкие монеты, бусинки, цветные стекляшки из калейдоскопа;

оборачивала сухо пахнущей шоколадом фольгой бруски пластилина — получались слитки золота и серебра; а потом рассовывала свои сокровища по углам. Чтоб не забыть, где упрятан клад, Катя рисовала карты — сначала простые схемы с пунктирами указателей и жирным косым крестом посерединке, а после, наловчившись, — сложные, собранные из нескольких листов, расчерченные хитро, кропотливо, с нарушением всех мыслимых законов пространства размещающие на сорока пяти квадратных метрах цепочки голубых озёр, горы в острых копаках ледников, погибший тысячу лет назад сизый лес, шумные, опасные разбойничьи города.

И пока где-то взлетали самолёты, разбегались поезда, тысячи, миллионы людей, навьючив на себя рюкзаки, стремились в неведомое, мать с Катей укоренились в своём доме и друг в друге бессловесной, слепой, нутряной любовью, врастающей в душу, тело и жилую площадь нервными окончаниями и кровеносными сосудами. Плакали вместе над утренней овсянкой и вместе же её съедали, щедро сдобрив вареньем; выбегали в стылую предрассветную темноту, терпели ежедневное наказание раздукой и отовсюду скорее-скорее бежали друг к другу, потому что мир на своём месте, только если все свои дома, и время тогда лётся так гладко, что незаметно ни старости, ни взросления...

Как же нравилось матери всё, что цело и плыло рядом! Даже мимо галдящих на скамейках подростков мать всегда проходила с улыбкой: веселели и рваные брюки, и разноцветные рожицы на футболках, и трогательные лодыжки, голые до самых холодов. Не смущал её неумелый, нарочитый матерок, а на выкрашенных девчачьих волосах она с удовольствием узнавала знакомую цветовую основу — ну, вот этот нежно-русалочий — это ж разбавленная зелёнка! — а розовый — ведь точь-в-точь слабый раствор марганцовки. Пёстрые стайки, взрывающиеся хохотом или сосредоточенно утыкающиеся в телефонные экраны, бьющие светом и прыгучей, лёгонькой музыкой; одиночки, укрывающие лица глубокими капюшонами толстовок; пухленькие изгои с газировкой и булочкой в обнимку; плохо одетые бедняжки; пышные, созревшие уже красотки и меленькие, не подошедшие ещё к цветению полудети; не справляющиеся с собственными руками и ногами мальчишки, похожие на невесть кем управляемые ниточные куклы — все они казались матери одинаковыми — милыми и чужими.

“Пусть, — говорила она, — пусть резвятся, пока молоденькие...” — и от собственной снисходительности чувствовала себя очень доброй, ни на секунду, правда, не допуская мысли, что зеленоволосой или голоногой может стать её Катюша.

Конечно, мать знала, что есть где-то несчастные, злые дети, живущие в нелюбви и оттого творящие страшное, но их беды казались ей чем-то вроде дурного фильма — не хочешь, так не смотри, а если кто-то включил такое кино рядом с тобой, прищурь глаза, прикрой уши и гляди только на хорошее. И сама бы себе мать никогда не призналась, что её улыбка и доброта к чужим людям были равнодушием, счастливым и намеренным неведением человека, живущего на вечно-солнечной стороне улицы.

* * *

Ранней осенью, когда город оправлялся после оглушительно жаркого лета — не было такого почти полвека — Кате исполнилось четырнадцать. Хороший возраст, пушистый — так думала мать, подбирая рецепты для праздника: что там, изобретать ничего особенного не будем, курочка, пара салатиков, колбаска-сыр.

К шести пришли подружки — Катюша сошлась с ними давненько, в раннем детстве, и держались они в доме запросто. Светка — в очках и тонковатых косах — мать помнила, как малышкой она всё просила водички и могла выдуть два стакана зараз; и Викуся — бедняжечка, очень уж прикус неправильный и оттого совсем мышинное личико.

Подперев щёку кулаком, мать глядела на сидящих за столом девчонок и радовалась — вот хорошо как, Господи, хорошо-то как, мирно.

— Кушайте, кушайте, мои хорошие, потом и тортик будет. Ну вот, Катюш, — сказала она дочери, привычно порадовавшись её ладному личику, — какая ты взрослая стала.

Вспомнив собственные четырнадцать, мать взгрустнула.

— Мы совсем не так жили, совсем не так. А вам всё открыто — хочешь туда, хочешь сюда! Вот ты, Света, — с жалостью спросила она, — кем хочешь стать?

Света пожала плечами, а Викуся захихикала — ходила меж подружками злая шутка, что тяжело, со страшным напряжением всех сил учившаяся Светка плюнет и станет, в конце концов, парикмахером.

— Вот и Катюша ещё не решила, — посетовала мать, — а ведь ей куда угодно можно! Вот я иногда сижу и думаю, пройдет лет десять, и останусь я совсем одна. Катюша в институт поступит, потом работать пойдёт, да глядишь, ещё и в столицы унесёт её. А что, девочка умная, с руками-ногами оторвут, а она ведь ещё и сама так ничего. — Мать покосилась на тонкие Светкины косы и вздохнула. — А там и замуж... А вдруг муж иностранец попадётся? И уплывёт моя Катюша за моря-океаны, там, говорят, добра побольше водится... А я тут буду... Я уж своё отплавала.

На самом деле мать даже представить себе не могла, что Катя может уехать учиться или выйти замуж — всё это далеко и невозможно. В материнских мыслях путались и никак не складывались две картинки: в одной — Катя, взрослая и решительная, покоряла мир, а в другой — никогда от мамы далеко не уходила. Ну, возможно, будет какая-то там работа, детки, чтобы рядышком все были, а лучше — в одной квартире... О внуках мать думала с охотой, но мужчина, который заберёт Катю, начнёт с Катей жить и даже спать, казался невысказанным и ненужным. Однако разговоры о непрременной разлуке и Катином будущем где-то вдали от себя мать с некоторыми пор считала обязательными и заводила частенько — так нужно было, по её представлению, воспитывать, и, к тому же, нравилось ей сладкое и тоскливое чувство, возникающее в груди при мысли о том, что нынешнее счастье когда-нибудь кончится, но ведь не скоро, не сейчас!

Девочки молчали и переглядывались. “Мешаю... — догадалась мать и встала. — Поболтать хотят. Может, Господи, прости, уже и мальчиков обсуждают...”

— Пойду я к себе, а вы тут уж празднуйте. Гулять-то потом пойдёте? Катюш, начнет темнеть — сразу домой...

Ночью шёл дождь, и оттого утро выдалось совсем прохладным. Нужно было доставать плащи и туфли — это простое дело всегда заставляло мать врасплох, и она сокрушалась, что никак не может угадать погоду хотя бы за несколько дней, чтоб всё сделать по уму: проветрить, погладить, встряхнуть. За суетой она не сразу сообразила, что Катя сегодня скучна и неразговорчива; обязательную овсянку одолела, но вот любимое печенье оставила на блюде.

— Ты как себя чувствуешь? — мать приложила ладонь к дочкиному лбу, — горячевата что-то... Ну-ка, горло покажи. Не видать ничего... Это Викуся твоя заразу притащила, я вчера так и подумала, она носом шмыгала тайком. Дома оставайся. Я тебе попить сделаю морса. Температуру измерь и мне позвони потом. Контрольных нет нынче?

Катя помотала головой и улеглась на диван, поджав ноги. Мать накрыла её пледом и быстро перебрала в памяти содержимое своего внушительного аптечного шкафчика: календула-ромашка есть, аспирин, витаминки, леденцы от горла, а вот брызгалку в нос надо купить. Ну, и отпроситься с работы после обеда, нырнуть в овощной, в аптеку — и домой. Катини болячки мать всегда бодрили — врачаю дочку, она чувствовала себя нужной, ловкой и немножко всесильной.

Спустившись по лестнице, открыв подъездную дверь и, как обычно, на секунду зажмурившись от утреннего солнца (она болезненно переносила резкие переходы от темноты к свету), мать продолжала соображать, как бы побыстрее справиться с недугом: компот сварить из вишни, если горло совсем разболится, то сухой горчицы в носки, а потом ещё можно мёду...

Катино лицо — чёткое, чёрно-белое и оттого словно бы постаревшее, хлестнуло мать по ещё слезящимся от солнечного света глазам так неожиданно, что она снова зажмурилась и остановилась. “Показалось-показалось-показалось...” — выколачивало сердце, и мать открыла глаза осторожно и медленно. Но сомнений не было — на белом бумажном листке, наклеенном прямо на морщинистый ствол тополя, чернели толстые буквы “ТЕБЕ КОНЕЦ”, а под ними, перечёркнутая двумя диагоналями липкой ленты, была дочка — её густая чёлка и тёмные, широкие, как мягкой кистью нарисованные брови. Эту фотографию они сделали всего неделю назад, а потом мать собственноручно, хоть и неуверенно ткнула на маленькое сердечко на Катиной интернет-страничке, отчего сердечко из бесцветного стало ярко-красным. Мать оглянулась — ещё один белый листок с Катюшиным лицом трепетал уголками на невысокой доске объявлений; дочкины глаза глядели с фонарного столба и спинки пустых скамеек — ТЕБЕ КОНЕЦ, ТЕБЕ КОНЕЦ, ТЕБЕ КОНЕЦ... Матери захотелось позвать на помощь, и она даже зашевелила губами, пытаясь кричать, но голова кружилась, и асфальт под ногами стал мягким, как песок. Двор был пуст, и только слышалось, как на дороге за домом разгоняются и тормозят злые, невыспавшиеся автомобили. И тогда мать кинулась к тополи, сгребла листок всей пятернёй, охнув от крошащейся и вонзившейся под ногти коры, метнулась к фонарю и скамейкам, не замечая ни грязи, налипшей на туфли, ни зябкой дождевой пыли, посыпавшейся с неба быстро и легко. Смяв листы в один комок, мать швырнула их в мусорную урну, но потом вдруг передумала и вынула обратно. Сунула потемневшую от дождя бумагу в сумку и, чуть пошатываясь, пошла на остановку.

3

“Ни минуты не посидит спокойно, вот ведь белка какая... — мать разглядывала школьную директрису с неодобрением. — Начепурилась вся, гляди-ка, нарядная, как в ресторан собралась...”

Директриса прыгала от беспрестанно звонящего телефона до набитого картонными папками шкафчика, и видно было, что этим утром не радуют её ни отлично покрашенные волосы, ни собственная должность, ни хорошее шёлковое платье, ни уж тем более ранний визит очередной, наверняка полусумасшедшей родительницы.

— Прокуратура звонила, прокуратура, я тебе говорю, просят штатное расписание им отправить, ищи, у тебя где-то было! — кричала она в телефонную трубку, а потом кидалась в полутёмный коридорчик у кабинета — там, в окружении сломанных стульев, хмурился суровый сейф.

“И не устаёт ведь на таких каблуках. Красиво, конечно, но как уж хлопотно...” — матери было чуть неловко от своей грузности и тяжёлых сапог, и очень хотелось пойти домой, а ещё лучше — вернуться на две недели назад, чтоб не знать ничего и не помнить, как ругалась на неё в полиции инспекторша, не пожелавшая даже в руки взять злосчастные листки с Катюшиной фотографией. “У меня тут два пацана на вокзале под поездом, один мёртвый, другой без ноги, а ещё изъятие сегодня у наркоманки — голодом младенца держит, а вы тут ходите! — От этих слов мать перестала плакать и понятила к двери. — Балуется кто-то, может, подружка ревнует! На улицу не пускайте вечером, про контрацепцию и ЗППП расскажите! — Тут уж мать замахала руками и убежала, слыша вслед: — После школы нюхайте, нет ли перегара, зрочки наблюдайте и зайдите, если что, через месяц!”

Не хотелось матери помнить и другое — как в отчаянии набрала она домашний номер Катиного отца, четырнадцать лет хранившийся в записной книжке, и, сгорая от стыда — чисто кипятка глотнула, ей-богу! — пыталась напомнить чужому голосу о давнем знакомстве. И он вспомнил, хмыкнул презрительно, а после велел не звонить и ни на что не рассчитывать.

Но хуже всего было другое: неведомое матери ощущение предательства и несправедливости — от целого мира, бывшего ещё недавно приветливым

и светлым. “Почему мы? Отчего?” — гадала мать и всё пыталась понять, кому так сильно могла не понравиться Катюша — это же уму непостижимо, надо ведь распечатать, да ещё и расклеить, не побояться. Матери настолько не верилось в происходящее, что, случись оно с кем-то другим, а не с ней, посоветовала бы скорее сходить к врачу и проверить зрение — вдруг померещилось? Никак не получалось у неё даже представить себе внешность злодея (или злодеев?) — не было в голове мало-мальски подходящего образа, и оттого всё рисовались ей какие-то киношные преступники в окладистых бородах, чёрных очках и перчатках...

Хлопотунья-директриса наконец утомилась, плюхнулась в скрипнувшее кожей кресло и, с подозрением поглядывая на умолкнувший телефон, спросила:

— Ну, что там у вас? Восьмой “Б”? Печёнкина?

Мать, всегда любившая забавное звучание своей фамилии, устыдилась и её. “Что ж это со мной, сама себе как не родная...” — мельком подумала она, вытащила из сумки потрёпанный на сгибе листок и развернула его перед директрисой.

— Вот что. Уже третий раз собираю. Первый раз во дворе расклеили, я чуть с инфарктом не свалилась, пока с дерева соскребала и с лавок. Потом прямо под дверью квартиры разбросали, а потом просто подъездом по газону, мне даже дворничиха наша приносила и любопытничала, что это такое творится и почему мы мусорим. А это ж разве мы? Как бы я мусорила собственной дочкой, а? Я вас спрашиваю! — Возмущённая дворничкиными нападками мать задрожала голосом и щеками. — Не реви уже, не реви, Господи, как вынести это всё, — бормотала она сама себе, не замечая, что говорит вслух.

Директриса отвела от матери глаза и вздохнула, уже сожалея, что никто не звонит.

— Катерина — девочка хорошая, учится ровно. Ни с кем не ссорится. Учителя её любят. В классе, насколько мне известно, у неё проблем нет. Я, честно говоря, не знаю, чем вам тут поможет школа. Если только полиция...

— Да была я, была! — зарыдала мать. — Эта... инспекторша... сидит... младенцы там у неё с голоду умирают! А нам-то что теперь, терпеть это всё? — Мать голосила, уже не сдерживаясь. — Перегар, говорит, понюхайте, зрочки ещё приплела! Да Катя даже шампанского не пробовала, а она про эту, прости господи, контрацепцию мне кричала да на весь коридор, позор какой!

Директриса хмыкнула, но промолчала.

— Я ведь не знаю, куда мне побежать! — Мать вытерла глаза и шлёпнула листком по директрисину столу. — Вы мне скажите, вы же здесь главная по детям, что мне делать? Пока я даже в школу отпустить её не могу, а ведь экзамены на носу!

— Хорошо, хорошо, вы только успокойтесь, не стоит нервничать. Давайте сделаем так. Я сама позвоню в полицию от имени школы и спрошу, что можно сделать. И вам потом перезвоню, договорились?

Телефон ожил, и обрадованная его воскрешением директриса состроила извиняющееся лицо, мол, сами видите, ни секунды покоя. — Я перезвоню, — прошептала она матери, схватив трубку и прикрыв ладонью нижний её раструб. — Прокуратура? Да, слушаю вас, слушаю!

Мать поднялась со стула тяжело и неохотно — в тёплом кабинете она пригрелась и размякла. Нужно было идти дальше, идти непонятно куда и что-то решать — ясно было, что эта тонконогая вертушка ничем помочь Катюше не сможет.

Директриса дождалась, когда за неприятной гостьей закроется дверь и скомкала бумажную Печёнкину в плотный шарик. Хорошая девочка, с экзаменами надо будет помочь. А бумажками, наверняка, мальчишка влюбился и балуется. Не надо никуда звонить, замучают потом проверками. А если вдруг спросят, почему не звонила, то можно сказать, что не дозвонилась — этому всегда верят, потому что дозвониться и вправду никак нельзя.

Солнечная сторона улицы обернулась тенью — не осталось сил ни на добродушие, ни на снисходительность. Мать стала раздражительной и пугливой. Дома, конечно, держалась — бодрилась и хорохорилась, но, выходя за порог, чувствовала себя шпионом в чужом мире. Ни обычаев, ни языка этого мира мать не знала, и трудно ей было справляться с обыденностью в такой тёмной, незнакомой оправе. Самое простое, доставлявшее раньше такую радость, вроде прогулок по шумному утреннему рынку, теперь казалось пыткой.

Раньше мать павою плыла меж разноцветных прилавков: тут — помидорные мячики, здесь — влажная зелень, а там, гляди-ка, — серебрятся тугие рыбы тельца, и кивает знакомый продавец — иди сюда, припас тебе лучшие на этой земле сёмгины головы. Теперь же лимонные солнца потускнели, картошка шла сплошь гнильё, а рыночные тётки огрызались, так и норовя обвесить. Мать толкали в очередях, хлопали перед её носом дверями, отдавливали в автобусах ноги, и жить ей стало словно бы тесно. Она и сама чувствовала, что даже глядит по-другому — виновато, с готовностью к обиде, со страхом, — а такого чужой мир, видимо, простить никак не мог.

Сменила тональность и музыка подростковых стоек. Не слышалось в ней ни весёлого щебета, ни лёгкости — сыпалось из детских телефонов что-то тяжко-ритмичное, то басовитое, то визгливое; идущие навстречу одиночки смотрели с вызовом; парочки не уступали узкой дорожки, и мать, ступив одной ногой на газон, и поставив на другую тяжёлый пакет с яблоками, терпеливо ждала, покуда минуют её — неторопливо, вразвалочку. А как-то вечером совсем юная девчушка со злым лицом и словно бы замороженными, выкрашенными алым губами прошла мимо, вдруг выругалась и швырнула матери в лицо что-то лёгкое, холодно-влажное, вроде мокрой салфетки. Мать от испуга и омерзения сделала вид, что ничего не произошло, и даже не оглянулась, шла, как идётся, неспешно и вроде как непринуждённо, а дома тёрла лоб и щёки с мылом до скрипа и красноты.

Дома было легче. Запрёшь двери, вытрешь пыльную обувь, сдвинешь плотнее шторы и можно жить. Дома можно попытаться собрать потерявшие натяжение нити колдовской сети, увязать их в прочное полотно — привычными делами и заботами, бульканьем кипятка, шкворчанием масла и особенной вечерней тишиной, наступающей после того, как выключены кухонная плита и телевизор. И если бы знать, что утро не наступит, а вот так и будет всегда — сумеречно, тепло, сытно, — если бы можно было остаться здесь не ведающим бед жуком в прочном янтаре...

Чуть проще было и оттого, что Катя всё знала: листки у квартирной двери она нашла сама, и после этого мать с облегчением запретила дочери выходить из дому, не признаваясь себе, что разделённая ноша её страха немного потеряла тяжесть. Катя, как ни странно, совсем не испугалась, а в ответ на материны вопросы только пожимала плечами — ни с кем ни ссорилась, никого не обижала, и что ты, мам, какие мальчишки! Листала учебники, уютно шебуршала плотно исписанными тетрадками, почти не включала компьютер и охотно хлопотала по дому, пока мать была на работе. И только после дворничихиных криков и слышанного всем подъездом безобразного скандала пришла ночью к матери и спросила, можно ли ей немножечко полежать рядом? Мать разрешила, и с тех пор Катя больше у себя не спала, и посапывала по ночам у матери под боком совершенно так же, как четырнадцать лет назад.

Приходили в гости Викуся со Светкой, глядевшие на Катю с восхищением — надо же, как в страшном кино снимается, и не боится совсем! Но потом Викуся разболтала про листки своей маме, и девочкам навещать подружку запретили — вроде и глупости творятся, но держаться лучше подальше, пусть пока там сами разберутся, что к чему.

О том, что может случиться дальше и что нужно сделать, чтобы всё это закончилось, мать с Катей не разговаривали. Меж ними вообще не было обычая жаловаться друг другу или просить поддержки; отчего-то любые серьёзные чувства — чужие или свои — вызывали у них неловкость, и обсуждали они только самое простое, вроде погоды, одежды или начинки для пирога.

И теперь Катя ничего не спрашивала у матери, частенько приходившей домой с заплаканными глазами, и мать Кате ничего не говорила, когда увидела, что детские её карты сокровищ сняты с антресольных высот и обрастают новыми морями и странами. Пусть отвлечётся ребёнок, что тут такого.

Но остаться запёртыми насовсем никак не получалось. Назойливый и такой недобрый теперь мир сочился сквозь закрытые двери и окна: новостями, случайно услышанными соседскими пересудами, счетами за квартиру, снегом, сменившим дожди, звонками из школы и вежливым недоумением чужих — ну, сейчас-то, мол, всё тихо, никто больше ничего не подкидывает? Чего ж взаперти-то сидеть второй месяц? Эх, думала мать, поглядела бы я на вас, что бы вы на моём месте запели, как бы заплясали и куда бы побежали...

4

Две стены маминой спальни выходят на улицу, осенью и зимой в ней всегда прохладней, чем в других комнатах, и, если надеть тёплые носки, можно играть в Арктику. Мамина кровать застелена белым лохматым покрывалом, и маленькая Катя укладывала под него подушки так, чтобы получились снежные холмы. Синий платок становился ледяным озером без рыб и водорослей — только айсберги, только густеющая на морозе вода. Между холмами прятались медведи и арктические лисы, фонарный свет за окном переливался северным сиянием, и хозяйничала в Арктике бесконечная, тихая полярная ночь.

В школе Катя часто думает про мамину комнату, и если становится невмоготу, то представляет себе, что она снова маленькая, лежит в Арктике на снегу и рисует карты полярных земель. На них звери, ледяные пещеры и горы, и нет ни одного человека, потому что обычный человек жить там не сможет. Маленькая Катя считала, что Арктика населена снеговиками, отправляющимися за Полярный круг после таяния-смерти, а теперь она точно знает, что нет там ничего необычного, а только пустыня изо льда и снега. Но вспоминать про полярное королевство Кате всё равно приятно, прохладно и отвлекательно, потому что глядеть на всех, кто суетится рядом, ей совсем не хочется.

Правда, жить с закрытыми глазами никак нельзя, а людей рядом с каждым годом становится всё больше и больше, они подходят всё ближе и сжимают Катю в кольцо неперемennого будущего. И почему-то выходит, что жить прямо сейчас никак нельзя, потому что всё время нужно делать что-то для следующего дня, недели, месяца, года. “Вы должны стать настоящими, успешными людьми! Я желаю вам счастья и только пятёрки!” — кричит на первосентябрьской линейке школьная директриса, а потом отходит в сторонку и нервно постукивает острым каблуком по полу. Все в школе знают, что у неё муж и любовник и что каждое лето она уезжает с любовником в Испанию, а муж остаётся дома с двумя детьми, пятилетними близнецами — тоненькими, светловолосыми, похожими на мать. Это и есть настоящее, успешное — на пятёрку? Или вот биологичка — замурзанная, пухленькая, терпеливая, в несменяемой водолазке цвета свёклы и тугих брючках. Водолазка обтягивает её спину и живот, а лифчик она носит слишком тесный и оттого становится похожа на гусеницу в ровных, странно симметричных складках. Ещё есть историк, единственный в школе учитель-мужчина — страшно высокий и худощавый. Как, должно быть, ему неловко в учительской, где одни женщины и всегда пахнет парикмахерской, потому что и кривоногая химичка, и старенькая русичка с просвечивающей сквозь кудряшки лысинкой, и грубая, крикливая англичанка на каждой перемене толкуются у зеркала и брызжут на себя лаком для волос.

Ладно, учитель — он вроде и не совсем человек, а что-то вроде напичканной цифрами и буквами машины. А остальные взрослые — соседи, прохожие — бегущие навстречу или прочь с таким странным выражением, будто лицо у них сводит к носу? Сами торопятся и всех кругом торопят, подгоняют, только и слышно: “Не толпитесь! Проходите поскорей! Нет времени!

Женщина, вы всех задерживаете!” Все они безнадежны и совсем дураки, потому что торопятся они к собственному концу — ну, а куда ж ещё?

Кате повезло. В школе она ни среди последних, ни среди первых, а где-то так, посерединке. Ноги ровные, волосы хорошие, прыщами не обсыпает, не толстеет. Одевалась бы чуть получше и была бы повеселей, приняли бы в красавицы. Но Катя в красавицы не шла, очень уж надо стараться, чтобы из них потом не выпасть, каждый день выдумывать, что надеть, как накрасить глаза, как причесаться. Вообще девчонкам очень страшно быть толстыми — не пожалеют. Или если очень некрасивой, или странной, или — это больше для мальчишек — маленького роста — всё, не выберешься, считай, на всю жизнь пропал. С отверженными даже общаться нельзя, всем известно, что это заразно: ты только посидишь с ними рядом, и сам сразу испортишься.

Кате не очень хочется играть в эти игры, но ей даже невозможно представить себя на месте школьных толстух или всеми презираемого мальчишка-альбиноса, или той девочки из параллельного, с крохотными глазками и совсем без ресниц — ужас!

Катя знает, что её ровесники обычных, копошащихся рядом взрослых за настоящих людей не считают, а просто ждут — совсем немного времени пройдёт, можно будет выйти из-под унижительной власти и жить уже нормально. Правда, никто не представляет, что такое — нормально, но уж точно не так, как здесь, не так, как сейчас, не так, как все. Дайте только вырасти, вырваться, и уж мы-то никогда не будем — как вы, мы-то покажем, как надо, а вы ничего, совершенно ничего не понимаете и только всё портите!

Но никто, никто из глупых Катиных одноклассников и не догадывается, что все дети, от зарёванных первоклашек до развязных выпускников, с самого рождения хранятся в документах — в школе, поликлинике, паспортном столе. Наверняка, если хорошенько порыться, то можно найти записанным не только детское прошлое — кори, ветрянки, оценки, — но и будущее, и уж точно нет в нём никакого избавления от нынешнего унижения и чужих правил. Где-то в этих бумажках есть Катя — и никак не изменить то, что для неё уже напридумывали. А ведь ей-то ничего этого не хочется. Ни любовников, ни мужей, ни детей, ни скучной, бессмысленной учёбы, ни складок на животе, ни ежедневного галопя по городским улицам, автобусам и магазинам. А хочется только лежать на лохматом покрывале и вести по бумаге тонкий пунктир от чистого ледяного озера до крутого снежного склона: под ним, в тайной пещере спрятан клад, собранный не людьми, а мёртвыми снеговиками.

* * *

Это, конечно, удивляет, но в гонке безнадежных взрослых не участвует только Катина мама. Раздражает в ней много чего: глупо сидящие мешковатые платья, какие-то дремучие рецепты лечения простуд (чего только стоит кипящий картофель, помогающий, видите ли, своим паром от насморка), медлительность, привычка болтать с каждым продавцом и печь блины на ночь глядя, а ещё эта манера выйти из подъезда, посмотреть на солнце и зажмуриться. Стоит, слёзы из глаз бегут, а она улыбается и объясняет: “Сейчас пройдёт. Это, доченька, куриная слепота. У бабушки твоей такая же была...”

Но вот странное дело — мир вокруг мамы успокаивается и замедляется. Она будто ловит его в свои сети, приручает, умиряет, отводит куда-то в сторону, подальше от Кати... Какое такое непременно будущее, если мы ещё чаю не пили? Пусть подождёт. А мы пока неспешно пройдём от тёплой постели до кухонного окна, на секунду впустим в дом свежий утренний ветер, радостно продрогнем, захлопнем окно и халат запахнём поплотнее. Некуда, незачем, не к кому нам торопиться, и нет ничего интереснее нас самих, нас — здесь и сейчас.

И оттого мамино предательство стало для Кати полной неожиданностью — неужели это она, мама, хлопчущая над каждой Катинкой вещичкой,

путающаяся каждого её насморка, готова поступить со своей дочерью так жестоко?

Катя даже день запомнила: случилось это в прошлом году, третьего октября. Мама тогда явилась с родительского собрания, выбралась из тесноватого, на выход, плаща и со слегка растерянной улыбкой сказала Кате, что, мол, вот, доченька, мне сегодня объяснили на собрании, что время пришло. Катя удивилась — что такое, для чего время-то? А мама ей — р-раз! — и выдала, что взрослеть пора, велели всем ученикам со своим будущим определяться. Ты, говорит, доченька, уже определилась? И потом заохала что-то совсем несуразное: вылетишь ты скоро, девочка моя, из маминого гнезда, полетишь учиться, работать начнёшь, а потом и замуж выйдешь, детки у тебя свои появятся, будешь их любить, а мамочку уж побоку... Мамочка уже и не нужна будет... Ну, а как ты хотела? Никто ещё под маминым крылом на всю жизнь не оставался, а уж ты тем более не удержишься, такая ты уж у меня умница, такая красавица... Захочешь, так хоть юристом станешь, хоть ювелиром. Или бухгалтер — вот до чего полезная профессия, твоя Викуся локти потом кусать будет, а ты всегда будешь при деле и при рубле! А захочешь, так и на иностранные языки можно пойти, вон, французский до чего ж красивый язык, а ты маленькая была, как раз картавила.

Кудахтала и улыбалась так, словно со слабоумной разговаривает. Какой бухгалтер? Какой ювелир? Какие Викусины локти? Катя тогда ничего маме не ответила, да и что тут скажешь-то? Не хочу? Не буду? Я лучше несуществующую Арктику порисую?

Сначала Катя думала, что это всё у мамы пройдёт, но оно стало только хуже. И каждый день мама придумывала что-нибудь противное, словно сама себя переплюнуть хотела. Что там бухгалтер... Дело даже до стоматолога дошло! А что? В белом халате, все уважают и даже немного побаиваются! И если вдруг муж попадётся не очень хороший, всегда и его, и деток прокормишь, и медицинской помощью обеспечишь, потому что врачи — они все заодно и друг другу помогают, обследования там, кодирования... И что самое обидное — при всём при этом вкус к собственному, спрятанному от дурацких гонок существованию мама не потеряла. По-прежнему варила по утрам кашу, уходила на работу, а потом возвращалась с туго набитыми пакетами, азартно натирала полы, обхаживала толстокожие фикусы, радовалась сметане (наисвежайшая!) или болгарскому перцу (сочный, аж брызжет!) и о Кате продолжала заботиться так же, как и всегда. Но как теперь было верить этой заботе...

Так и исчезло Катино убежище — даже в маме, даже дома не было больше защиты, и непереносимое будущее, дразнясь, выскакивало то тут, то там. Викуся со Светкой тоже на своих мам жаловались, что как с ума они посходили с этим поступлением и экзаменами, но Светку мама с детства била — по губам, если не то скажет, и по заднице, если не то сделает, и Светке самой хотелось из дому поскорей сбежать хоть куда, а у Викусы родной дядька в архитектурном где-то в Москве, ей там с самого рождения место было приготовлено, она и не возражала.

Катя промучилась почти год, страшно злилась на всех вокруг: и на подружек за то, что всё уже решили и не страдают; и на маму, без усталости выдумывающую замысловатое дочкино завтра; и на себя — за то, что никак не могла, как все, смириться и жить уже наконец-то в правильную сторону. Мучилась, мучилась, а потом взяла и распечатала целой стопкой свою фотографию — ту, где брови хорошо вышли. Слова “ТЕБЕ КОНЕЦ” под собственным лицом отчего-то странно бодрили, а в животе от них становилось так, будто едешь с высокой горки.

5

— Глянь, белые какие плетутся. Не местные, сразу видать. Мы в детстве так дразнились: “Бледня бледней!” Да вон, разуй глаза, вон, с вокзала вышли. А чемоданов-то! Ещё одни припёрлись, только их тут и не хватало. Сидят в своих северных задрищенках, а потом как ужалит их, к теплу

захочется. Ну, солнышко у нас яркое, да, тут не поспоришь, а больше чего ж особенного? Ехали бы куда-нить к морю, вон, помнишь, мы с тобой как поженились, ездили в Туапсе? Чего там не жить? Чего молчишь-то? Будто не помнишь. Да не мычи, а отвечай нормально, если спрашиваю. Ой, гляди-ка, ругаются! Мать с дочкой, лица как похожи, правда? Наглая девка-то. Распустили тебя, малая, я бы давно ремнём, если бы мои так выкобенивались. Чего там она орёт? Сама всё расклеила и раскидала? Потому что страшно было? Чего-чего она хотела? Ничего не пойму! Что ж такое, никак не разобрать отсюда. Давай поближе подойдём, вон на ту лавочку пересядем, послушаем, интересно же!

Смотри-ка, довела. Мать родная плачет стоит. Во семейка! Как не плачет? Смеётся? Ты чего, дурак? Слезы-то ручьём, я ж вижу! А, и правда, улыбается. Гляди-ка, хохочет! Слушай, а вдруг они психические какие или бомбу несут? Давай-ка подальше от них, опасное дело. Пошли, пошли, чего пялишься, кинутся ещё.

НАТАЛЬЯ ШУХНО



ПРОЙТИ
ПО УЛОЧКАМ ЗЕЛЁНЫМ...

* * *

Туман и шорох шагов,
Внезапная тишина,
Звнящая тишина
И резкий запах цветов.
Сквозь сонные сосны вдруг
Прорвётся иволги стон,
И смотрит в глаза мой друг,
И даже чуть-чуть влюблён.
Мой друг, сколько лет прошло?
Высокая там трава,
И звонкая тетива,
И те, кому повезло.

СТАРАЯ МОСКВА

Такая старая Москва:
Каштановые переулки,
Трамвайный звон, изгиб моста,
Алеи света и прогулки.

ШУХНО Наталья родилась в городе Могилёве. Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Журналист, поэт, автор и исполнитель песен. Автор и ведущая телевизионных программ о кино, театре и музыке, а также двух поэтических сборников: «Белые паруса», «Сборник стихотворений». Лауреат литературной премии им. Ю. П. Кузнецова.

Дворы, гитары перебор,
В ромашках ситцевое платье,
Твоё единственное счастье,
Не пережитое с тех пор.

Какой она была тогда,
С улыбкой и лучистым взглядом?
Любой хотел побыть с ней рядом,
Рискуя сердцем навсегда.

А я такую не была,
В Замоскворечье не гуляла
И папироски не стреляла,
И так свиданья не ждала.

Но если б в тот далёкий год
Смогла попасть и задержаться,
Хотя бы на день в нём остаться,
Чтоб над рекой встречать восход,

Вдохнуть цветущие сады,
Пройти по улочкам зелёным,
Где так легко бывать влюблённым,
Где мне бы повстречался ты...

* * *

Почему же ад похож на город,
Почему же рай похож на сад?
С холодом, пробравшимся за ворот,
Я ищу — забытый адресат.

У двери с потрескавшейся краской
И следами от прожитых лет
Вспомню, что пришла сюда за лаской
И теплом, которых больше нет.

Всё ушло отсюда, всё исчезло,
Как в тумане летняя заря...
Постою немного у подъезда
В жёлтом круге света фонаря.

А потом под арки городские
Вновь вернусь, как в бездну упаду,
И, пройдя все горести людские,
Может быть, увидимся в саду.

НОВГОРОДСКАЯ ДОРОГА

Чёрные избы плывут вдоль дороги,
Скорбны и ветхи провалы окон,
В них замирают земные тревоги,
Прячутся смуглые лики икон.

Жизнь, как река, проходящая мимо,
Больше не видит их жалобных глаз,
Вросшие в грунт и траву пилигримы
Через столетия смотрят на нас.

Стены косые, дырявые крыши,
Там коротают последние дни
Те, чьи печали горьки и не слышны
В мире огромном, одетом в огни.

Буйная зелень, озёра лесные,
Клин журавлиный, дымок из трубы:
Старой картины сюжеты родные,
Здравствуй, Отечество... Запах избы

Не изменился за долгие годы —
Хлебом и сеном, печным угольком
Воздух объят. На груди у природы,
Словно дитя, убаюканный дом.

Чёрные избы — в них прошлое наше
Теплится в жёлтом огарке свечи
Древней легендой, наполненной чашей,
Зимнею вьюгой, зовущей в ночь#и.

Сердцу и грустно, и радостно стало —
В нищем величии будут стоять
Чёрные избы. И нужно немало:
И улыбаться за них, и рыдать.

МАКСИМ ВАСЮНОВ



ФОТОГРАФИЯ

РАССКАЗ

Опер Голощёкин позвонил в полвосьмого утра, пригласил срочно приехать в районный угрозыск. К тому времени я больше года работал криминальным репортёром и знал, что на подобные приглашения отвечать отказом нельзя — можно лишиться эксклюзивной истории.

Когда я зашёл в кабинет, то застал Голощёкина за толстой иллюстрированной книгой о Царской семье. В остальном здесь было всё, как обычно, — на столе с широким монитором соседствовали железные банки с окурками, карандашами и кофе... Карты города и области — по стенам. Засилье бытовой техники — видеки, телевизоры, магнитофоны, музыкальные центры... Люди, которые заходили к Голощёкину в первый раз, обычно путали кабинет со складом и, извинившись, поспешно закрывали двери.

Мы поздоровались. Опер закурил в книгу.

— Мучает совесть за расстрел царя? — пошутил я тихо, чтоб не спугнуть интерес.

Голощёкин ответил громким: “Кофе будешь?” — так говорят люди, которые не спали всю ночь.

ВАСЮНОВ Максим Александрович родился в 1988 году в Нижнем Тагиле. Выпускник факультета журналистики Уральского государственного университета им. М. Горького. Телевизионный журналист, автор и режиссёр документальных фильмов (в том числе о писателях — “Чехов Интерстеллар”, “Доктор Пауст”, “Деревенский Данте”), публицист (“Православие. Ру”, “Российская газета”, “Год литературы”), главный редактор издания “Вера молодых”. Лауреат и призёр литературных конкурсов, участник Форума молодых писателей России, стран СНГ и Европы (Ульяновск, 2018). Публиковался в журналах “Урал” и “Крым”. В 2019 году вышел дебютный сборник его стихотворений “От стрекозы до луны”. Живёт и работает в Калужской области.

Прошло минуты две.

— Ша, злодея приведут, — наконец, вспомнил обо мне опер. Отодвинул книгу. И потянулся к банке с сахаром.

Мы пили кофе и болтали о погоде, которая этой осенью “не по понятиям” (Голощёкин так и сказал) пришла раньше срока и всех “обула на бабье лето” (тоже его цитата: по первому образованию он был филолог). Тут в кабинет ввели парня лет двадцати, небольшого роста, но крепкого. В лице его не было ничего особенного. Маленькие глаза, крючковатый нос, чёлка на все виски. Типичный гопник. Уже слегка покоцанный: вероятно, у Голощёкина он за ночь бывал не раз.

— Из-за таких вот ушлёпков всё херится в природе! — Опер махнул конвойному, чтобы “ушлёпка” усадили на стул у входа.

— Расскажи опять, — приказал он задержанному.

— А это кто? — осторожно спросил тот.

— Репортёр. Звезду из тебя будем делать. — Опер усмехнулся и потянулся к телевизионному пульту, на большом экране в углу кабинета забегали олени. Голощёкин встал из-за стола, потянулся и, захватив с собой кружку с кофе, пошёл к диванчику у телевизора. Я подвинул стул так, чтобы оказаться напротив задержанного.

— Чо говорить? — парень заметно смутился. И пока, похоже, искренне не понимал, чего же от него хотят.

— Тебя зовут как?

— Лёха!

— А сюда как попал, Лёха?

— Сам пришёл.

Последнее признание показалось мне неправдоподобным, я оглянулся на опера, тот кивнул, мол, всё так и есть.

— Про фотку ему тоже рассказывать?

— А то как же, это ж самое интересное. Кино! — подбодрил Лёху Голощёкин.

Со мной была небольшая камера, я понял — самое время её расчехлять. Лёха смиренно ждал вопросов. Я ждал привычной просьбы — а можно без съёмки? Но парень, когда перед ним засверкал объектив, лишь потрепал чёлку и тихим неуверенным голосом без всяких моих вопросов начал рассказывать.

— Я пошёл на квартиру. Ну, обчистить чтоб. Пацаны сказали, что тут никого нет, уехали в деревню. А вообще там хатка путёвая. Ну, я зашёл, чо. Смотрю — реально дворец, блин. Только что деньгами не обит, а так всё есть. “Это я удачно зашёл” — помнишь же?! — Тут Лёха прыснул гнусавым смехом. — Ну, я человек опытный, думаю, я же ручки с люстрами сдирать не стану. Хотя там всё упаковано, дай бог, говорю же. Всё было спрятано, как пить дать, хорошо, ага, я за пять минут насобирал, что не унести! Брюлики там, цепочки, часики, мани... — Тут Лёха замолчал, шмыгнул, глаза опустил.

— И? — не позволил я ему выдержать театральную паузу.

— Ну и вот, — встрепенулся Лёха, как от налетевшего сна, — я только собрался сваливать, я много-то не беру, меня батя научил, что надо брать только столько, сколько можешь унести, иначе ты не вор, а воруяга. Ну вот, и тут смотрю — фотка. Я и залип.

Эта сбивчивая малопонятная речь меня в тот момент раздражала. Если бы разговор был вечером, то моего терпения могло бы хватить. Но рано утром вникать в историю очередного воришки не было никакого желания.

— Бред какой-то несвязный, — честно признался я Лёхе. — Часики, батя, воруяга, фотка. Можно как-то подробнее, что ли?

— Чо он хочет? — снова спросил Лёха у опера, кивнув на меня.

— Ой, не зли меня, — ласково ответил опер.

— Короче, ты попал в воровской рай, а потом собрался уходить... — попытался я восстановить логику событий.

— Ну, иду, и тут фотография.

— Хорошо, — я понимал, что нужно как можно скорее проехать тему с фотографией и переходить к сути. Не ради того же, чтобы посмотреть на домушника, позвал меня Голощёкин. — А потом что было?

— Потом неделю болел и вот пришёл. Каюсь.

— Ты про фотку подробнее порасспроси, — перекрикивал опер не то наступающий сон, не то телек и, не дождавшись меня, спросил сам: — Чье фото-то было, говори!

— Фото царевича Алексея, его убили в Ёбурге, — отчеканил Лёха.

— Во! — сказал полицейский и уставился на меня так, будто только что подарил мне миллион.

— Ну и чо дальше-то? — Главный поворот истории до меня не доходил.

— Смотри, он увидел фотографию царевича, раскаялся и пришёл с повинной, — разложил Голощёкин.

— Да ладно?!

— Фотографию при нём нашли, терпилы подтвердили — у них стояла, — было видно, что бывалый опер понимает, как мне трудно в это поверить, но в то же время не понимает, почему я ещё не прыгаю до потолка. — Эксклюзив, братан?!

Глава из книги, которую читал сотрудник уголовного розыска Голощёкин:

“Когда началась стрельба, Никулин услышал мелодию. Он не поверил, свободной рукой потрепал ухо. Потом скажут, что он оглох от выстрелов.

Мелодия продолжалась. Играла дудочка, которую он, каменщик и киллер, пару дней назад вырезал для цесаревича. Алексей тут же сыграл на ней какие-то простые ноты, до того ласковая мелодия. Никулину захотелось самому повторить её. Он забрал дудочку. Минут двадцать выскабливал из неё хоть что-то похоже. Ничего не вышло. Отдал обратно.

Теперь те самые звуки, те самые ноты стреляют ему в уши. И куда-то под самую кожу. Под самый крест. Никулин снял его давно, но всегда носил в подошве, а тут на такое дело достал, повесил на толстую нитку.

Крики, стоны, визги, молитвы, истерики, выстрелы, выстрелы, выстрелы, беснования, рычание... Ничего. Абсолютно ничего из этого не слышал Никулин. Только музыку.

Вот падает император и тут же заливается кровью. Становится противно, до рвоты. Никулин держится. Смотрит на Юровского — людоед, он счастлив и спокоен. Рвота проходит. Ненадолго. Рядом стоящих латышей начинает выворачивать прямо на трупы.

Музыка продолжается.

Пули в своём коротком танце разрывают одежду и вязнут в человеческом мясе, другие вальсируют по комнате, рикошетят от пола и стен.

А в его ушах — только мелодия дудочки.

Кто-то из своих вскрикивает. Пуля станцевала в руку. Следующая пуля влетает в лицо Алексея. Кто стрелял — Никулин не замечает. Зато хорошо видно — будто под огромной лунной, — как пуля разрывает мальчику щеку. Мелодия останавливается.

Вокруг дым, всё визжит, шипит, лязгает, орёт, звенит. Звенит даже духота, схватывает горло.

Духота и запах живой крови сводят с ума, с очередным урывистым дыханием Никулин глотает вкус сырого мяса.

Музыка возвращается.

Медленно рассеивается дым. Проявляются силуэты, потом люди. Одни стоят — стирают ладонями с потных лиц дьявольские гримасы, другие лежат с поломанными вывернутыми руками, раскинутыми перебитыми ногами, разбитыми вдребезги головами...

Алексей лежит ближе всех к Никулину. Глаза открыты. В них ещё пробивается жизнь, они думают, смотрят в потолок.

В них ещё звучит музыка.

И тут Никулин шагает к мальчику...

Никто не смог потом вспомнить, зачем он к нему пошёл, — то ли глаза закрыть, то ли добить, — но только многие расскажут, что, когда стихла стрельба, и дым позволил хоть что-то разглядеть, Никулин, не дойдя до царевича, упал. Закрыв уши руками, он бился об пол в истерике, блевал под ноги Юровскому... Это будут настолько омерзительные воспоминания, что их предпочтут стереть из всех стенограмм.

Зато останется жирным кровавым шрифтом в расшифровках и в памяти Никулина, как Юровский, пришедший от блевоты в ярость, с глазами пьяного маньяка выхватил у латыша винтовку, прыгнул к царевичу, как чёрт, и проткнул его у самого сердца.

Музыка в этот момент остановилась. Она никогда уже не вернётся ни к Никулину, ни к кому-либо ещё”.

— Так, давай о фотографии подробнее, — гопник стал мне, наконец, интересен. История тянула на бомбу эфира. — Ты сразу понял, что перед тобой царевич?

— Нет, я не знал до этого, как он выглядит, мне как-то по боку всегда было, и в школу я редко заглядывал, чо там делать-то?

— А в церковь?

— Я тогда не был крещён ещё, ты чо? — усмехнулся парень, но тут же убрал с лица все намёки на ухмылку, — нет, ну, иногда я ходил раньше, как все, чо, но там не видел его на иконах. Я вообще не знал, что их святыми сделали, говорю же.

— И чем тогда тебя фотка эта зацепила?

— Да сам не знаю. Но вот как бабу классную увидел — залип.

— Про бабу так себе сравнение, — пошутил я, чтобы как-то убрать барьеры между пацаном и мной.

— Ну да, ты прав, — гопник перешёл на “ты”, значит, стал проникаться.

— Чем-то ведь тебя она поразила тогда, эта фотография?

— Сам не знаю — чем, я не могу объяснить. Но вот живой он, смотрел на меня глазами такими осуждающими. Так бабка моя на меня смотрела. Мол, Лёша, Лёша, и ты туда же. Бабка верующая была, но она мне про Семью тоже не говорила.

— И ты фотографию взял с собой, правильно? Зачем?

— Тоже не могу понять, это же просто картонка. Открытка типа. Но я даже не сразу осознал, что кинул её в сумку. Как-то машинально. Сначала он на меня посмотрел, потом я, видимо, её схватил и уже на квартире у Таньки заметил. Танька — это тёлка моя. Но она ни при чём тут!

Дальше чо? Ну, я поставил эту фотку на подоконник. Куда её, думаю. Выкинуть как-то рука не поднялась. — Лёха замолчал, о чём-то задумался. — Курить дай! — попросил он у опера, который по-прежнему не отрывал глаз от телевизора — там показывали китов.

— Да бери, жалко, что ли, говна для вас, — разрешил тот.

Лёха подался туловищем к столу, стянул с него пачку и зажигалку.

— Дальше-то что?

— Ну и вот, стоит она, значит, на подоконнике, день, два, я уж забыл про неё. А потом пошёл знакомым товар, ну, то, что украл, продавать, сумку уже застегиваю и чувствую — кто-то смотрит на меня. Вот бывает, отвечаю, так. Меня это никогда не подводило. Я вон так пару раз от мусоров уходил, — прихвастнул Лёха, чем вызвал хохот опера:

— Шпион, бляха! — и через тяжёлый вдох: — Где вас таких тупых строгают?

— Можно не отвлекаться? — Я сторал от нетерпения, и все эти штампованные позёрства ничего, кроме очередного раздражения, у меня не вызвали.

— Ну, короче, чо, я не сразу понял, что это он смотрит. Ну, Алексей этот. Потом уже догадался, сам не поверил, ей-богу, братан. Но только фотку эту положил лицом вниз, как сразу полегчало. Не было уже такого чувства, что пасут тебя. Но и не пас он меня, ладно, не как мент он смотрел, а как бабка, я же тебе говорю. Осуждающе, но с любовью что ли, хрен его

знает, как сказать, я не журналист. И вот что-то запало в меня это, не пошёл я в тот день никому ничего продавать, вообще на улицу не вышел. Только через балкон соседу постучал — дядя Коля, мужик умный, два раза ходил уже за проволоку, фотку ему показываю: “Знаешь, кто?” А он мне: “Кто ж не знает, это же сын царя, Алексей, царствие небесное!” Вот только когда узнал-то я, кто это на открытке.

Лёха в очередной раз затянулся, помню его ту затяжку, глаза его помню — детские, как у нашкодившего ребёнка, который не знает — правду ему говорить или так всё обойдётся.

— Ну, и всё, чо, залез в телефон, стал читать про него. Нашёл какой-то сначала рассказ про то, как их убивали, про дудочку какую-то, потом стал про жизнь читать. Ни хрена себе, думаю, это в нашей стране так вот разделяли своих коронованных? И почему об этом никто не говорит?! Или я не слышал просто.

— Ты не умничай, не дельфин, дальше давай, — снова прикрикнул на Лёху опер. По телевизору в это время показывали дельфинов.

— Я стал читать, думать, ну, как думать... Мне эта сцена убийства прямо под кожу зашла, я всю ночь не спал. А под утро, веришь, нет, даже порыдал — я как-то представил себя там, в той комнате.

— Ага, представил он! На месте убийцы, поди, там как раз такие орудовали, — опер всё никак не мог дать Лёхе разговориться.

— Да не знаю, на месте кого я себя представил. Просто представил. Может быть, на месте пацана и представил. Сами посудите, если царя там, может, и за дело порешили, то парня с девчонками за что? Беспредел какой-то же. Я просто представил реально, что вот на меня револьвер навели, и я знаю, что убьют сейчас, и знаю, что убьют не за дело, и даже не себя жалко, а мамку, сестричек. А я даже молитву не прочитаю, не успею. А потом выстрелы, и боль, и все кругом падают, на моих глазах все самые родные падают, и я понимаю, что это навсегда, никто не встанет. И чувствую при этом, как в меня влетает что-то горячее, в плечи, в живот, пару пуль проходит навывлет, но не больно, а обидно, что сделать ничего не могу, обидно, что вот просто так, обидно, что я же во всём виноват...

Тут Лёха сбился, поднял глаза на меня, снова затянулся под самый фильтр.

— Да, он думал, что он во всём виноват, — продолжал Лёха.

— Откуда знаешь, фотография сказала? — я спросил это вполне серьёзно, без сарказма: за свою репортёрскую жизнь я навидался много сумасшедших.

— Не, ты чо! Говорю же, я стал читать про них, ну, про Романовых, и прочитал где-то, что он, ну, Лёха, Алексей, цесаревич, себя винил во всём... Понимал всё. Что с болезни его типа все беды с Семьёй начались. И с Россией, получается, тоже. Но я не знаю точно. Я сам не понял, если честно, в чём он виноват. Наверное, что Распутина пришлось приглашать или что из-за его болезни сбежать им не удалось. Это не ко мне, короче.

— Дальше, — попросил я Лёху, ведь самого главного он ещё не рассказал.

— Но говорю же, вот это убийство меня цапануло. Это жесть ведь, если представить, что там тогда творилось! Это ж ни в каком кино не снимут. Кровищи, поди, одной по колено было. И знаешь, чо? Я сразу понял, почему их святыми сделали! Они ведь, когда шли, понимали, что их убьют. Это я так думаю. Не знаю уже точно, у кого-то прочитал это в интернете или фотография подсказала, но меня вот аж осенило, что они знали. Я даже на балкон опять пошёл, стучу дядь Коле, говорю, мол, они же по-любому понимали, что их убьют? А дядь Коля так спокойно мне, как пронюхал заранее, зачем я его опять позвал: “Зайцы среди волков долго не бегают”. Это как ещё одно потрясение для меня. Ну, и все, я дальше пошёл читать. Говорю же — до утра не спал. Потом уж не помню, как вырубился.

— Хорошо, Лёха, у меня тут кассета кончается.

В то время были кассеты мини-DV, их хватало минут на сорок. Для репортёрской съёмки как раз.

Лёха всё понял, сообразительный парень, перешёл наконец к сути. Голощёкин, помню, даже телик вырубил, уставился на воришку.

— Про Юровского знаете? Комендантом был в доме, где их расстреляли. Он с ума потом сошёл в дурке. Я его видел. Во сне. “Началось, — подумал я, — РЕН-ТВ представляет”. Дня через три видел. Я будто в библиотеке, никогда там не был, ты же понимаешь, но тут сижу, читаю книгу и вроде как тороплюсь, вроде как мне надо всю прочитать за раз, а времени нет, а девки какие-то подносят мне ещё книжки, одну за другой, уже психую, ору: “Не надо, хватит, я понял всё!” И тут вместо девки он подходит, смотрит на меня внимательно, как барыга, когда впервые видит кого из наших. Смотрит так и говорит: “Не ломай голову, на двадцать пятый квартал уедешь”. Наша психушка там находится, ну, ты в курсе. А я его узнал, говорю ему: “Вот ты сука, ты что, не сдох что ль?” А он мне что-то типа — такие не сдыхают. А я сижу и вмазать ему хочу, но двинуться не могу, околел, как парализовало, как бабку мою. Плунуть ему в харю хочу и тоже не могу. Весь вспотел, слёзы из глаз, сопли, злость такая, что вот-вот из себя выпрыгну и кончу падлу. Так и проснулся. До сих торкает от того сна.

Мне кажется, что я тогда смотрел на Лёху, как на ожившего Юровского, потому что гопник спросил вдруг:

— Ты думаешь, я гоню? Или “Царубийцу” насмотрелся?

То, что Лёха видел фильм Карена Шахназарова, меня удивило ещё больше. И это удивление Лёха снова считал.

— Я же говорю, я в эту тему втрескался по уши. Я всё перечитал и пересмотрел, что в инете нашёл. Я даже в церковь ходил. Но там поп какой-то странный, ничо толком не рассказал. Я сам ему стоял, рассказывал, а тот ахал, прикинь? Ну вот, я чо хочу сказать? Прикидывался поп. Потому что он мне говорит вдруг: тебе открылось не просто всё это, не просто. Но многого не поймёшь всё равно, пока не начнёшь жить по-ихнему. Праведной такой же, типа, жизнью. Я говорю: “Да вы чо, какой праведной, вор я, даже не крещён”. И вот тут он меня на слабо взял: “Креститься, — говорит, — дело нехитрое, нетяжело даже святым стать, да только черти тебя сильнее, не пустят тебя к чаю”. И так мне обидно стало, чо я, лох какой-то? Какие ещё черти меня не пустят куда, хочу и покрещусь, может, и не гонит поп, может, в натуре мне ещё чо про царевича откроется? Короче, развёл он меня, как цыган деревенского. Покрестился в тот же день, отвечаю!

— И что? Покаялся? — я понимал, что кассеты оставалось ещё на пару минут и поэтому подгонял.

— Понимаю, что ты хочешь от меня! Но нет, я не скажу, что покаялся и поэтому сюда пришёл. Я сам не знаю, на кой пришёл. Совесть, не совесть. Раскаяние, не раскаяние. Стыд, не стыд. Хотя стыдно, да. Всё это ещё внутри меня бродит, что ли, ещё сам ничего не понял, не сформулировал. Но не потому, что в религию ударился, сюда пришёл. А почему точно? Да тут и поговорить обо всём этом не с кем... Пришёл и пришёл, короче. Всё говно, что на той хате взял, отдал обратно. Царевича только не отдал.

— То есть как отдал? Просто принёс обратно в ту же квартиру? — Это тоже была странная и потому интересная деталь.

— Да, нате, говорю, Лёхе спасибо скажите.

— Вот видал, как бывает, — снова перебил гопника опер, — если в церкви ответа нет, то все к нам идут!

Голощёкин вернулся за свой стол и снова стал листать книгу.

— Я сам подсел на эту тему. Отобрал вон у злодея. Увлекательно, конечно. Он тебе ещё нужен? — Голощёкин кивнул на Лёху.

Об этом я жалею до сих пор, но в тот момент я сказал — нет, не нужен. Слишком уж была невероятной вся эта история, слишком резко она упала на меня, хотелось всё побыстрее переварить и выдать в эфир. К тому же закончилась кассета.

Задержанного увели, я ещё насобирав фактуры у опера, спросил адрес, куда Лёха вернул награбленное, поехал туда. В тот день дома никого не оказалось. Пришлось делать сюжет на интервью Лёхи и комментарии Голощёкина, по картинке был только адрес-план дома, где случилось ограбление,

и фотография цесаревича. Куце, но материал прогремел. До сих пор многие вспоминают.

Что случилось с Лёхой, я не знаю. Помню только — за ним числилось ещё несколько квартир. А вот на тот адрес, где он увидел фотографию Алексея, я вернулся. Люди оказались обычные, бизнесмены, не сильно верующие, сына они крестили в честь цесаревича, вот и купили фотографию, икону не нашли. Когда свои вещи у порога увидели, удивились, естественно, но какому Лёхе спасибо надо было сказать, так и не поняли.

Украденная воров фотография на самом деле — открытка из альбома “Романовы” (автор-издатель Лобанов С. Н.). Открытка идёт под номером восемь и называется “6-летний царевич Алексей, 1910 год”. Мы видим портрет мальчика в матроске.

В свою очередь снимок для открытки был сделан с оригинальной фотографии, на которой Алексей изображён в полный рост (общий план). Позировал цесаревич в ателье придворного фотографа и кинооператора царской семьи Александра Ягельского. Ателье носило имя его первого владельца “К. Е. фонъ Ганъ и Ко”.

Настоящая дата, когда был сделан снимок, — 26 мая 1912 года.

По легенде, фотограф нажал на затвор в тот момент, когда Николаю II, сопровождавшему сына, сообщили о готовящемся покушении на Григория Распутина. Это объясняет тревожный и задумчивый взгляд Алексея. Покушение должно было состояться через несколько дней в Москве, куда Царская семья отправлялась открывать памятник Александру III.

ЮЛИЯ БЕЛОУС



СТИХИ НА БИЛЕТЕ

ЭКСПРЕСС МОСКВА — РЯЗАНЬ

Привези мне весну в рюкзаке,
Солнце юга уложи в чемодан.
Лучше просто приезжай налегке.
Мне уже нет пути в Казахстан.
Скажешь ты: "Снег растаял давно.
И урюк вот-вот зацветёт.
Ты — моё золотое руно.
У обоих характер не мёд".
Я впервые поверю словам,
Потому что в них шум турбин.
Потому что ты понял сам:
Ты мне жизненно необходим.

МАРТ

(Из цикла "Петербургу")

Под крылом не город — макет.
Как игрушечный — Эрмитаж.
Выше — только слепящий свет:
Небо — фреска, солнце — витраж.

БЕЛОУС Юлия Михайловна родилась в г. Чимкенте. Окончила с отличием Южно-Казахстанский музыкальный колледж. Училась на фортепианном факультете Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Окончила Литературный институт имени М. Горького и аспирантуру факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Стихи и статьи публиковались в Казахстане и в России. Живёт в Москве.

Вместо камеры — лишь зрачок.
Память — вспышка. И так сойдёт...
Город — мартовский светлячок,
Но ещё не растаял лёд.
Этот лёд — белоночь плен.
Оттого вечера черны.
Доживает зима у стен,
Но над городом — гимн весны.
Был ли Питер? Невы простор,
Парадоксы мостов и встреч.
Строгий Невского коридор...
Я хочу этот сон сберечь.

ВАЛААМ

Смой с души тоску, Ладога,
Как смываешь след на песке.
По волнам молитвою — радуга.
А Никольский скит вдалеке
На гравюру Мастера просится:
Силуэт впечатан в закат.
Чайки беспокойные носятся...
Остров, где любой тебе брат.
На природе — отблеск монашества,
У лесов здесь нет личных драм.
К соснам обращение “Вашество”
Здесь уместно. Здесь — Валаам.
И унынье камешком — в Ладогу.
Забывается здесь материк.
И собор в закате, как в патоке...
Все дороги здесь — патерик.
Остров, словно пастырь, заботливый:
Небо слушает, лес говорит.
Перед Богом все мы уродливы?..
Но Он любит, жалеет, скорбит.
В мир выходишь, как на распятие,
Но уже не давит свой крест.
Дни и ночи молится братия...
Ладога... Над ней — блавест...

ПРОВОЖАЮЩЕМУ

*Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу...*

Пообещай мне что-нибудь всерьёз:
Полнеба, полземли и половину
Своей души, ведь жизни шаток мост:
Оглянешься — уже и середина.
Пообещай мне быть моим сейчас,
Мы из секунд выкладываем вечность.
Твоя любовь — Нерукотворный Спас.
Взаимость — вот в квадрате человечность.
Пообещай... А впрочем, пустяки.
Твой взгляд прощальный рассказал о многом.
Мы, как пылинки, немощны, легки.
Так будь что будет. Нам ли спорить с Богом?

ДМИТРИЙ КУТУЗОВ



СПАСЕНИЕ ВИНОВНОГО

РАССКАЗ

Утром, как обычно, за пять минут до звонка будильника Слава уже не спал и по привычке решил быстро прочитать новости в интернете.

“Сегодня в 4 часа утра сотрудниками дорожно-патрульной службы за рулём собственного автомобиля задержан профессор Михаил Романович Иванов. В багажнике автомобиля гражданина Иванова найдено тело женщины, предположительно любовницы. Профессор был задержан по дороге в сторону леса, где собирался закопать труп жертвы. Также в машине найдены лопата и перчатки. Сам Иванов находился в состоянии алкогольного опьянения, чем и вызвал подозрения у сотрудников ГИБДД. На месте преступления работает следственная группа. Следите за дальнейшими новостями”.

Шокированный Слава открыл несколько других сайтов, надеясь найти в одном из них столь желанное опровержение этой истории:

“...Следственная группа проводит мероприятия по установлению причин трагедии, связанной с профессором Ивановым. По информации источников, у него в багажнике обнаружено тело жены”.

— Болваны! — возмутился Слава. — У профессора никогда не было жены! Совсем заврались!

“...Ужасная новость поразила научное сообщество. Доцент Иванов убил сожительницу и захотел скрыть следы преступления в лесу”.

— Придурки! Михаил Романович семь лет как профессор, а не доцент.

“...Сегодня в 4 часа утра, доктор физических наук М. Р. Иванов был задержан полицией при попытке скрыть убийство своей любовницы...”

— Уроды! С каких пор великий биолог стал иметь отношение к физике?

КУТУЗОВ Дмитрий Владимирович родился в Москве в 1994 году. Закончил Московский педагогический государственный университет. Работает копирайтером. Живёт в Москве.

— Сколько ещё будешь сидеть за своим компьютером? Ты сегодня пойдёшь в университет?

— Нет! Сегодня мне не надо туда идти. Отстань! — раздражённо огрызнулся Слава на мать.

— Как ты со мной разговариваешь!? Я тебя кормлю, одеваю, ты же только хамишь в ответ!

— Это папа постоянно работает, пока ты дома сидишь и по магазинам ходишь. А сейчас я серьёзно занят, поэтому оставь меня в покое.

Мама недовольно хмыкнула и ушла из комнаты Славы, громко хлопнув дверью. Вновь оставшись один на один со своим компьютером, Ярослав погружился в мысли и страхи. Он писал дипломную работу, вдохновлённый трудами Михаила Романовича. Только избранный человек мог понять все трудности Иванова, а в дальнейшем сможет управлять природой и изменять саму реальность. Но теперь, если он придёт в универ, как на него глянут? Нужно всеми возможными способами избежать позора и унижений. Необходимо в кратчайшие сроки объединить всех поклонников профессора и начать распространять другую информацию о случившемся.

Два года назад фанаты профессора уже проделывали нечто подобное. Тогда Иванова обвинили в лженаучных изысканиях и покупке научной степени. В то время Слава и другие поклонники Иванова смогли нейтрализовать негативные эффекты от посягательств на достоверность, и работы Михаила Романовича не потеряли популярности.

Окончательно решив не идти сегодня в университет, Слава отправился в несколько сообществ в социальных сетях поклонников и противников Иванова для наблюдения за ситуацией. На первом сайте “Сообщество фанатов М.Р.Иванова”, самом большом форуме сторонников профессора, уже вовсю шла оживлённая дискуссия об утренней новости. Противники Иванова уже трубили, что великий профессор — настоящий маньяк. Но, просматривая комментарии пользователей, Слава заметил, что самые критические из них быстро удаляются, и другие пользователи не успевают их прочитать, а соответственно, и ответить. Отлично! Модераторы удаляют самые неудобные комментарии. Пора и ему влиться в дискуссию. Ярослав создал специальную тему и написал развернутое сообщение:

“Друзья, сегодня случилось великое несчастье. Нашего любимого профессора Иванова подло обвинили в преступлении, которого он не совершал. Просмотрев несколько новостных сайтов, я заметил явную фальсификацию данных в каждом из них. Для меня нет никаких сомнений в целенаправленной травле профессора со стороны гнусных лжецов из Академии наук. Поэтому я призываю всех поклонников и просто честных людей не спешить с выводами и позволить следствию провести расследование, где эта наглая клевета в скором времени будет развеяна. Ждём и надеемся на новый контент от профессора Иванова. Мы поддерживаем его!”

Почти мгновенно комментарий Ярослава стал набирать “лайки”, а нападки от лица скептиков по-прежнему удалялись администрацией сайта. Теперь предстояла самая сложная часть. Работать на территории врагов профессора. На очереди была самая враждебная к профессору группировка — “Антинаука в России XXI века”. Администрация группы не раз публиковала материалы с критикой работ Иванова, и тактика из сообщества фанатов здесь не работает. Ярослав и не собирался становиться членом данного сообщества, однако сейчас обстоятельства изменились. Он решил, что появление под своим обычным именем может не принести желаемого эффекта, поэтому лучше выдумать себе прозвище. За десять минут Ярослав создал новую страницу. Теперь он был пятидесятилетним работником социальной службы из города Чебоксары по имени Валерий Аркадьевич со стойким отвращением к курению и алкоголю, дабы его не могли обвинить во вредных привычках. Фотография дедушки Саши прекрасно подошла для профиля. Новый “человек” в интернете был готов.

На главной странице группы уже висела новость об Иванове со ссылкой на новостное агентство, а под ней уже вовсю шла ожесточённая дискуссия.

Самым ярким противником профессора выступал некто Клин Всесильный. Этот Клин написал развёрнутое сообщение:

“чего и следовало ожидать от этого проходимца? теперь я полностью убеждён, что каждый лжеучёный в России не более чем просто псих, готовый в собственной истерике убить близкого человека. надеюсь, теперь у стада его последователей-хомячков откроются глаза и уши, и они перестанут с открытым ртом слушать его лекции и покупать эти лженаучные книги. а что до этого якобы “профессора”, то надеюсь, мы не увидим его в ближайшие 20 лет”.

Слова Клина уже получили более сотни лайков, и число их постоянно росло. Никаких шансов надеяться на удаление сообщения со стороны администрации группы не было. Единственный выход — начать спор самому. Ответ долго сочинять не пришлось:

“Клин, если вы хотите донести до всех свою позицию, то надо относиться к читателю с уважением. Надо начинать предложения с заглавной буквы, как минимум. И вообще, ваше пожелание человеку просидеть в тюрьме до конца жизни и ругательства в адрес поклонников профессора не выставляют вас в лучшем свете. Наверное, у вас личная обида на Иванова. Я считаю, нужно дожидаться результатов следствия. А затем только делать определённые выводы. Более того, ни на одном сайте нет точной информации о случившемся”.

— Сейчас посмотрим, как ты ответишь, — сказал довольный Ярослав и нажал на кнопку “опубликовать сообщение”. Ответ Валерия Аркадьевича стал набирать лайки, все пошло, как по маслу. Клин так и не ответил. Осталось проделать то же самое в нейтральных к профессору интернет-сообществах.

На создание новых “людей” и публикацию грамотных ответов критикам Иванова Славе пришлось потратить весь день. Тем не менее, он ощущал удовольствие от своих действий. Ему удалось на время ослабить натиск противников Михаила Романовича и убедить всех не торопиться с выводами и дожидаться результатов следствия. Главное, все усомнились в виновности Иванова.

Однако удар прилетел, откуда его и ждали. Появились свежие новости: “Арестованный утром профессор Михаил Романович Иванов признался в убийстве сожительницы и попытке скрыть деяние”.

Это известие стало настоящим шоком для Ярослава. Уже не имело смысла отрицать очевидное, а значит, целый день прошёл впустую. Это ещё не конец, твёрдо решил Слава и начал обдумывать следующий шаг.

Почему он это сделал!? Зачем признался так рано!? Теперь ссылаться на недостоверность информации нельзя. Необходимо сменить стратегию. Ярослав вновь зашёл в группу поклонников Иванова и написал крупное сообщение:

“Дорогие друзья, наши худшие опасения подтвердились. Уважаемый Михаил Романович совершил тяжкое преступление. Однако я убеждён, что убийство совершено в состоянии аффекта. Такой светоч науки просто не мог в силу своего воспитания совершить нечто подобное по заранее подготовленному плану. Поэтому я предлагаю не осуждать профессора и не винить его во всех смертных грехах, а продолжить оказывать ему поддержку, в том числе и отправить небольшую сумму денег на адвоката”.

Теперь стояла тяжёлая задача: грамотно ответить критикам Иванова на их поле. В группе врагов царил радость. Заходить от имени Валерия Аркадьевича не имело смысла. Внимательные пользователи заметят раннюю поддержку и смогут дискредитировать новые сообщения. Теперь Ярослав писал сообщения от лица Маруси Сергеевны, молодой мамы двоих детей и домохозяйки из города Белоноченск. Подходящее изображение долго искать не пришлось: женщины любят выставлять на всеобщее обозрение фотографии с детьми. А для большего эффекта нужно ставить в конце предложений круглые скобки.

Следующим шагом стал поиск объекта для “атаки”. Суть стратегии проста: найти из общей массы критиков одного наиболее близкого по типуажу и затеять с ним спор. Так как Ярослав представлен домохозяйкой, то и искать надо соответствующего человека. Сообщение Анны Григорьевны идеально подходило под все критерии: “Бедная девочка. Не могу поверить, что

в наше время такие уважаемые люди всё ещё могут совершать подобные поступки!” Он решительно написал ответ: “Анна, эта девочка не такая уж и бедная. Она специально строила отношения с профессором ради собственной выгоды(((. А на самом деле изменяла ему с другими мужиками. Неудивительно, что Иванов начал пить. В итоге, она сама довела его до трагедии(((“.

Слава очень надеялся на ответную реакцию, но уже не от Анны, а от постороннего читателя. К счастью, долго ждать не пришлось. Вместо Анны сообщение написал некий Валентин:

“Маруся, этот человек убил женщину и хотел скрыть следы преступления. А вы защищаете его, так будто он украл несколько яблок из магазина. Вам надо подлечиться!”

Вперед, в атаку на Валентина! “Валентин, я лишь хотела обратить внимание на то, как один человек обвиняет другого в преступлении, не зная о его мотивах и предыстории. Более того, этот человек потратил всю свою жизнь на науку, а вы набросились на него как стая гиен(((. Теперь, когда я высказываю своё мнение, вы мне в ответ пишете оскорбления, показывая всем читающим свой уровень воспитанности и уважения к собеседнику. Поэтому сделайте всем одолжение и не пишите больше здесь))))”.

Валентин в ответ написал: “Маруся, кого ты лечишь тупая #####!? Тебе надо, ты и не пиши здесь! Поняла #####!?”

Болван! Через две минуты Валентина заблокировали администраторы группы, а его запись удалили. Первая победа одержана.

Однако дальше пришло сообщение от Клима Всесильного: “дорогие друзья не ведитесь на сообщения от маруси. у нее сегодняшняя дата регистрации. скорее всего, это даже не девушка, а простой провокатор. добавьте её в чёрный список, и она нас больше не побеспокоит”.

Бомбить Клима: “Клим, я понимаю, что вам тяжело принять чужую точку зрения, но не надо видеть повсюду заговор))). Это просто совпадение, которое никак не влияет на изложенные мною в предыдущих сообщениях факты))). И подучите грамматику))).”

Всесильный недолго составлял свою речь: “неужели? именно из-за желания всем объяснить факты домохозяйка из провинциального города пишет некую правду о профессоре иванове? И правда, великое совпадение! сразу после его признания! подумай сама, как глупо ты выглядишь, дура!”

В следующие три дня “дело Иванова” начало обрастать подробностями. По телевизору выпустили несколько ток-шоу, на которых родственники профессора, с одной стороны, и сочувствующие жертве — с другой по очереди обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Ярослава мало волновало чужое мнение, ему нужно было отстоять своё. Все мысли занимало противостояние с Климом: как правильно победить такого грозного соперника. Поездки в университет также не помогли избавиться от размышлений. Более того, глядя на лица своих одногруппников, Ярослав ощущал, как они за спиной смеются над ним. Но назад пути нет, позади — интернет!

В группе противников Иванова от лица Валерия Аркадьевича Слава опубликовал большое сообщение: “Дорогие друзья, сегодня мы можем лично узреть величайшую трагедию современной науки. Профессор Михаил Романович Иванов под стражей. Я знаю, многие здесь весьма критично высказывались об Иванове и его работах. Тем не менее, именно это и отличает науку от идеологии. Наличие альтернативной точки зрения позволяет по-разному взглянуть на одну и ту же вещь. Нет ничего плохого в выражении своих взглядов и тем более отстаивании их, несмотря на давление несогласного большинства. Главное не позволить одному негативному моменту затмить ситуацию в целом. Иванов может быть признан убийцей и сесть в тюрьму, но наша задача — оставаться выше всяких уголовных кодексов и моральных принципов. Мы обязаны, пускай и с неодобрением, продолжить критиковать или поддерживать профессора, не обращая внимания на совершённые им поступки. Для нас он должен оставаться великим учёным и никем другим. Поэтому я искренне надеюсь на вашу сознательность и ответственность перед наукой, окружающими и самими собой!”

В ответ кто-то написал весьма резкими словами о позиции Валерия Аркадьевича, кто-то избрал более сдержанную тональность, кто-то одобрительно оценил взгляды неизвестного работника социальных служб. Самое важное уже было сделано: началась оживлённая дискуссия, и администрация группы не имеет права просто взять и удалить её.

Славу не сильно волновали сообщения других, ему стало важно дождаться ответа всего одного человека. Ярослав ждал два часа перед появлением столь желанного сообщения: “о! защитник живодера иванова снова объявился? я думал, что тебя больше не увижу, но стоило твоего идола посадить за решётку, как его фанатики немедленно начнут писать целые оды в его защиту. Друзья! не ведитесь на такую манипуляцию от защитника убийцы! мы должны продолжать критиковать профессора и явить всему миру истинный лик отечественной лженауки!”

Попался! Теперь настала пора главной игры: “Дорогой Клин, вы уже неоднократно обвиняли несогласных с вашей точкой зрения в “работе на профессора”. Мне кажется, у вас мания преследования. Так же вы упорно продолжаете писать без знаков препинания и безграмотно. Поэтому, чтобы успокоить вас и исчерпать все инциденты, я предлагаю начать личную переписку. При условии, что вам не страшно, конечно. Более того, вы можете её впоследствии опубликовать, если вам не станет стыдно от её исхода. Как вам моё предложение?”

Теперь у него нет выбора. Ярослав впервые за несколько дней почувствовал настоящее счастье. Представлялись сцены, как он гордо затыкает рукой рты всем противникам Иванова. Осталось совершить последний шаг. Тут пришёл ответ Клина Всесильного: “ну, давай, что ты хочешь мне доказать?”

Слава ответил: “Клин, вы уже стали добавлять знаки препинания в свои сообщения. Уже прогресс. Мне просто интересно, как взрослый человек может идти против своего рассудка и радоваться на чужих костях?”

“а с чего вы взяли, что я радуюсь? хотите знать моё мнение? пожалуйста. я считаю иванова шарлатаном и преступником!”

“Это мне понятно. Вопрос в другом. Какая лично вам выгода от травли великого профессора?”

“в смысле? почему у меня должна быть выгода? я обычный человек, и мне не нужен скрытый мотив для объяснения другим, что убийца — это убийца, и он должен сидеть в тюрьме”.

“Всё не может быть так просто. Наверняка вы боитесь признаться даже самому себе, что банально завидуете Иванову. Если вы глубоко подумаете над своим поведением, то осознаете, что у вас нет никакой причины клеветать на профессора. А когда это случится, то вы поймёте всю бесполезность вашей деятельности. Поэтому, пожалуйста, прекратите писать сообщения с критикой Иванова и подумайте о себе”.

“мужик, ты что пытаешься мне доказать? причём тут зависть? иванов убил свою сожительницу и попытался скрыть следы преступления. как не крути, а это совсем не похоже на состояние аффекта. поэтому я продолжаю агитировать за полную ответственность профессора перед законом. и мне не нужны типы, подобные тебе, готовые всеми силами защищать его”.

“Клин, я понимаю вашу позицию. Для меня также важно, чтобы преступник понёс заслуженное наказание. Однако здесь не всё так просто. Это не обычное бытовое преступление. Тут замешана наука. Иванов внёс огромный вклад в современную биологию. Осудить его — значит перечеркнуть все его научные достижения. Разве это путь в будущее?”

“причём тут наука? я понимаю, что ты со мной не согласен, однако некоторые считают иванова лжеучёным. поэтому весьма спорно обсуждать вклад профессора в биологию. хотя даже это неважно. как вы не поймёте? ИВАНОВ — УБИЙЦА. Я не могу говорить о будущем, но нет такого народа, в чьих традициях прямо указано убийство других людей. Наверное, люди во все времена понимали, что ведёт к счастливому будущему, а что — нет”.

“Клин, давайте не будем приплетать сюда традиции народов. Нередко за якобы мудростью предков скрывается настоящая глупость. Подумайте лучше вот о чём. Иванов вёл противоречивую научную деятельность. Однако он

бесплатно делился ею с другими. Его видеоролики до сих пор находятся в свободном доступе. Замены со стороны им не предвидятся. А это означает, что неважно, каким будет результат суда. Обычные зрители пострадают. Так, может, не надо подливать масла в огонь и ещё сильнее расстраивать простых людей? Как вам моя идея?”

“теперь я понял, что к чему. ты пытаешься обвинить меня во всех бедах, но настоящая проблема кроется в вас. ты — потребитель и заинтересован лишь в удовлетворении своих желаний. именно поэтому ты пытаешься всеми способами заставить меня пересмотреть свои взгляды. ты боишься потерять свою потребность. Все, подобные тебе, которые защищают убийцу, просто жалки. мне неприятно общаться с людьми вашего типа. Не пиши мне больше!”

Следующие несколько часов Слава провёл в неприятных для себя размышлениях: как? Почему он назвал меня потребителем? Это бессмыслица. Я же не животное. Я веду осознанную жизнь и в состоянии объяснить свои цели и поступки. Полная чушь.

Слава ещё три раза внимательно перечитал свою беседу с Клином и сделал однозначный вывод:

— Понятно. Он просто не знал, чем ответить на мои аргументы, и начал голословно оскорблять меня. Мог и догадаться о таких действиях со стороны противника профессора.

Убедив себя в ничтожности обвинений Весельного, Ярослав почувствовал сильную усталость, выключил компьютер, лёг на кровать и стал задумчиво смотреть в потолок.

Потребитель? Что вообще значит это слово? Если и так, то разве все люди не потребители? Каждый человек нуждается в чём-то. Но некоторые приписали этому слову негативный оттенок и теперь клеймят каждого, чьи интересы не совпадают с их. Интересно, а себя они считают потребителями? Осознают ли, что обвинения человека в животных качествах реализует их потребность в собственном возвышении? Наверно, нет.

Поток мыслей Ярослава прервал шум из соседней комнаты. Обычно Слава работал за компьютером в наушниках и не слышал посторонних звуков. Мама, должно быть, смотрит очередной тупой сериал. Вот кого можно смело назвать потребителем. Готов поспорить, что она даже не понимает, как шум телевизора мешает окружающим людям.

Слава встал с кровати и пошёл в комнату матери.

— Можешь убавить звук?! Орёт на весь дом!

— А что такого? Надень наушники, как ты делаешь обычно.

— При чём здесь наушники? Ты мешаешь соседям по этажу.

— А они разве приходили и жаловались? Или ты стал старостой подъезда? И как ты разговариваешь с матерью? Я старше тебя, и мне виднее, как смотреть телевизор.

Ярослав ненадолго задумался. Ему прекрасно известно, что подобные споры с матерью почти всегда заканчиваются ссорой. Однако сейчас другая ситуация, и Слава решил не уходить просто так:

— А почему ты думаешь, что именно так надо относиться к окружающим? То есть, мне кажется, причина вовсе не в хорошей звукоизоляции квартиры. Так в чём проблема?

— Лично у меня нет никаких проблем. Я самостоятельная обеспеченная женщина, которая находится в своей квартире и смотрит свой телевизор с такой громкостью, с какой хочет.

— Ты обеспеченная? Ты ни дня не работала, а выгодно вышла замуж.

— Это неважно. Я мечтала жить в достатке и живу в нём. А тебе лучше подумать о своём будущем, твоя жизненная цель ещё не достигнута.

— Жизненная цель? И какой цели я должен достичь?

— Очевидно. Ты обязан много зарабатывать, чтобы обеспечить жену и будущих детей. Пока ты ничего этого не добился. Так что, будь добр, не мешай мне смотреть любимую передачу.

Ярослав не стал отвечать, а молча покинув комнату матери, вернулся в свою. Клин ошибся. Настоящий потребитель сидит в соседней комнате.

Слава снова сел за компьютер и зашёл в группу поклонников Иванова под своим настоящим именем. Скоро в сообществе появился новый призыв:

“Дорогие друзья, профессору Иванову крайне необходима наша финансовая и моральная поддержка. Организованный сбор средств поможет учёному лишь отчасти. Теперь нам нужно показать, что огромное число сообщений в защиту профессора — не простая фикция. Настала пора организовать встречу Михаила Романовича с его фанатами. Для этого я хочу навестить профессора в тюрьме в ближайшие дни. Искренне надеюсь на вашу солидарность”.

В течение всей следующей недели Слава несколько раз публиковал своё обращение по организации встречи с Ивановым. К первому сообщению пользователи сети отнеслись скептически, но потом некоторые стали одобрять. Он понял, что ему не имеет смысла надеяться на многотысячную поддержку, а лучше сконцентрироваться именно на создании маленькой, но сплочённой группы.

В конце концов, через три недели постоянных обращений к адвокатам профессора, издателям его книг и правозащитным деятелям, Славе и ещё нескольким отобранным людям позволили встретиться с Ивановым в следственном изоляторе. Помимо Ярослава и нескольких других поклонников, на встрече должны были присутствовать адвокат профессора, представители общественных организаций по соблюдению условий содержания заключённых и человек из книжного издательства.

Слава чувствовал гордость за свои действия. Ему удалось организовать это мероприятие, и теперь все увидят настоящую поддержку Иванова.

— Сегодня Михаил Романович узнает о своей популярности. Уверен, он будет на седьмом небе от счастья, — радостно объявил Ярослав своим спутникам.

Адвокат Иванова и члены правозащитных организаций смотрели на Славу, как на полного идиота. Зато фанаты Иванова воспринимали слова Ярослава с энтузиазмом. Однако их внешний вид вызывал у него отторжение: почти каждый в очках и с длинными невымытыми волосами. А от некоторых пахнет, будто они месяц не мылись. Как они посмели в таком виде пойти на встречу с профессором? Палец о палец не ударили, а теперь думают забрать благодарность Михаила Романовича себе? Никогда. Лучше продолжали бы сидеть дома и не выходили на улицу.

Досмотр в тюрьме прошёл быстро. Каждого обыскали и проинструктировали, как себя вести. Пообщаться с профессором разрешили один на один в течение пяти-семи минут. Первым пошёл адвокат Иванова. Остальные ждали в специальном помещении. Следующими пошли представители правозащитных организаций. У них уже готовились камеры и прочее оборудование, чтобы продемонстрировать пользователям сети свою деятельность. Затем настала очередь человека из редакции. Разговор с ним прошёл на удивление быстро — он оставался там не более трёх минут. Наконец, подошла очередь Ярослава как главного инициатора встречи.

Слава быстрым шагом отправился к профессору в сопровождении охранника. Михаил Романович сидел за деревянным столом, без наручников. Внешний вид его серьёзно отличался от фотографий и видеороликов: некогда полностью уверенный в будущем человек превратился в бледную тень самого себя.

— У вас пять минут, — сказал охранник и оставил Ярослава с Ивановым наедине.

Дождавшись, пока сотрудник тюрьмы закроет плотно дверь, Слава мигом сел напротив Иванова и обратился к нему:

— Профессор, как вы? Вонючие уголовники вас не обижают? До меня доходили слухи, что здесь заключённые и охранники — настоящие животные. Одно ваше слово, и я переверну эту помойку вверх дном.

— Простите, а кто вы? Мы не знакомы.

— Моя вина. Я не представился. Меня зовут Ярослав. Я ваш самый преданный фанат. Благодаря моим усилиям была организована эта встреча. Скоро вас вытащат из этой тюрьмы. Люди всей страны увидят нашу поддержку. И...

— Прекратите! — резко прервал Иванов.

— А что не так?

— Что не так? Вы не понимаете? Я преступник. Я готов принять наказание. А вы — провокатор. Убирайтесь! Охрана!

Слава молча покинул Иванова. Первые несколько минут он находился в состоянии шока, а затем пришёл в ярость:

— Я столько сил... Подонок! Ну, ладно, профессор, теперь вы потеряли самого верного сторонника.

— Простите? Это вы инициатор данного мероприятия? — обратился к нему человек из издательства.

— Да, но больше я в этом участвовать не буду.

— И не надо. У нас есть для вас предложение. Мы хотим опубликовать работу начинающего учёного — Андрея Дмитриевича Сидорова. Однако для успеха книги ему нужен мощный пиар, а учитывая вашу инициативность... Мы хотим предложить вам работу по продвижению публикаций Сидорова в интернете. Можете хорошо заработать. Вы заинтересованы?

— Я подумаю, — сухо ответил Ярослав.

Через три дня в группе поклонников Иванова появилась новая запись:

“Друзья, итоги встречи неутешительны. Михаил Романович полностью дискредитирован и не сможет радовать нас новыми работами. Однако наше стремление к знаниям не должно заканчиваться только на трудах профессора. Недавно мне попала книга А. Д. Сидорова. В данной работе излагается совершенно новый взгляд на науку. Настоятельно рекомендую всем познакомиться с профессором Сидоровым”.

СОФЬЯ ВАХНИНА



ЖИЗНЬ ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССВЕТАМИ

ВЕРБА

Притаилась в углу верба,
Горький запах щекочет горло.
Это, кажется, самый первый
Знак весны, прилетевший в город.

Карантин хорошо сработан,
Не гуляет никто по центру.
Я на Лазареву субботу
Наконец-то зашла в церковь.

День был солнечный, но прохладный,
Облака пролетали скоро.
Я взяла с собой запах ладана,
Свечи, вербу и шесть просфорок.

Серый пух молодых соцветий
Невесомо касался пальцев.
Нас преследовал резкий ветер,
Я просила: утихни, сжался!

ВАХНИНА Софья родилась в 1995 году в селе Молчаново Томской области. Учится в Государственном музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова. В 2015 году выпущен сборник стихов и рассказов "Путешествие в жизнь" в серии "Визитная карточка литератора". Принимала участие в семинаре молодых литераторов "Школа Андрея Платонова", Воронеж, 2019 год.

Сберегла, донесла до дома.
Стало в комнате так уютно.
И теперь аромат знакомый
Пробуждает каждое утро.

Сразу вскочишь, раскроешь шторы,
Там — хоть солнечно, хоть ненастно, —
Настроение — сдвину горы:
На Страстной уже... Скоро — Пасха!

* * *

Жизнь измеряется рассветами, а не закатами,
Взлётами, а не падениями,
Тёплым временем года:
мы говорим “двадцать лет”, а не “двадцать зим”.
Просто первые люди земли, оглядевшись, решили когда-то:
Мир, который им дали, божественно неотразим.

Так с тех пор повелось: обрастая моментами прошлого —
Неудачами, горем, радостью, смехом, восторгом, —
Всё стремится душа помнить только одно хорошее,
Верить людям всегда, как бы дорого это ни стоило.

Как бы ни было грустно, всё ищешь приятные мелочи —
Тишину по утрам, круассан с миндалём на работе.
И от этих моментов становится чуточку легче
Пережить перекосы судьбы на крутом повороте.

Как всплывает в воде лёгкий мячик, наполненный воздухом,
Так не тонет душа в океанах печали и лжи,
Только держит не воздух, а знание — рано ли, поздно ли
Наступают рассветы, которыми меряют жизнь.

* * *

Солнечно-розово. Плавает тёплое марево.
Дверь на балкон приоткрыта. Дрожат занавески.
О мелких приятностях нам хорошо разговаривать.
Чем меньше приятность, тем, кажется, более веский
Повод для радости. Наша просторная комната
На втором этаже гостевого уютного дома.
А вокруг всё такие же домики — низкие, расписные,
Далеко-далеко открывается вид с балкона,
Там цветут, зеленеют и пахнут полотна весны и
Ощутимо уже приближение лета. Запомни, как

Зенитное солнце, висящее прямо над нами,
Освещает один подоконник. А стол и кровать
Остаются в тени и прохладой настойчиво манят,
Даже шторы не хочется полностью раскрывать...

Так представились мне на мгновение наши майские
Под тягучую зыбкую музыку скрипок с роялем.
А когда всё случится — закружится в солнечном вальсе и
Будет лучше в сто раз, чем с тобой мы себе представляли.

* * *

Из Москвы, подхватившей, как насморк, дождливую зиму,
Я — в сибирскую глушь, где сугробы по самые окна.
Как стемнело — пройду в тишине нелюдимых проулков,
Освещённых одним фонарём из другого конца.
А за угол сверну — там совсем нет фонарного света.
Только месяц и звёзды узорят глубокое небо.
Но как ярко сияют, и снег этот свет умножает,
Что видны, словно днём, и деревья вокруг, и дома.

Вспоминается Гоголь, украденный месяц в Сочельник —
Вот, наверное, в точно такой же таинственный вечер!
Только тёплый оконный уют создавался лучиной,
А не яркими лампами, в сорок ли, в сотню ли ватт.
Остальное всё то же — дома с деревянным карнизом,
С ровным слоем объёмного снега на низеньких крышах,
С затяжным завыванием пса из двора по соседству
И смолкающим эхом от сочного скрипа шагов.

Эх, деревня! Как мило сюда из столицы приехать
И забыть на неделю, что в мире далёком творится.
И бесцельно гулять, наслаждаясь нетронутым снегом,
И проснуться в обед от пронзительно ярких лучей.
Хорошо ездить в отпуск на море, на жаркие пляжи.
Но родительский край навестить — это радость иная.
Словно в детстве опять — ни тревог, ни других обязательств.
Только бабушкин борщ и забота во взгляде родном.

КСЕНИЯ ДВОРЕЦКАЯ



ЮЖНЫЙ БЕРЕГ

РАССКАЗ

— Паук, Митя! Тарантул! — закричала Аня.

Она отчаянно таращила глаза, но вместо днища палатки всё ещё видела другое пространство: в нём двигал суставчатыми лапами большой чёрно-оранжевый паук. Постепенно яркий свет сна мерк, и в слабом свете луны, проникавшем сквозь сетку палатки, Аня увидела расстёгнутые спальники и рюкзаки. Митя проснулся и нашарил фонарик.

— Ничего здесь нет, — для подтверждения своих слов он медленно обвёл лучом фонаря всю палатку, — тебе просто приснилось.

Аня поняла, что испугалась зря, но страх и брезгливость ещё не прошли; не хотелось ложиться, пока сон не забудется окончательно. Она вылезла из палатки и, не обуваясь, подошла к воде.

Маленький песчаный пляж был с трёх сторон огорожен крутым берегом. Здесь море не казалось бескрайним: цепь огней моста шла по левую руку и смешивалась с огнями Тамани. Но Тамань была далеко. Море заглушало остальные звуки, и приходилось повышать голос на расстоянии нескольких шагов. Подошёл Митя.

— Холодновато.

Теперь луна была над головой, а когда ложились спать, она была возле горизонта. Аня попыталась понять, сколько прошло времени, но не смогла. Свет луны был таким напряжённым, что казалось, будто луна тоже издаёт звук: металлический, однообразный.

ДВОРЕЦКАЯ (НАУМКИНА) Ксения родилась в 1994 году в Саранске. Закончила институт электронной техники в Мордовском государственном университете. Работает преподавателем в школе дополнительного образования. В 2020 году окончила Высшие литературные курсы в Литературном институте им. М. Горького. Публиковалась в еженедельнике “Литературная Россия”, журнале “Москва”.

— Мы тут одни, — тихо сказала Аня.

Митя не услышал. Он задрал голову и поднял палец.

— Буква Р. Луна ещё будет расти.

— Хорошо... — Аня нашла Митину руку и пожала.

Митя привлёк жену к себе, но Аня уклонилась и отпустила его руку.

— Пошли спать. Ты хотел выехать рано.

— Успеем выспаться, — он настойчивее потянул жену к себе, но она почти с силой вырвалась, ушла в палатку. Он прислушивался, но разобрать, ворочается ли Аня или тут же заснула, было невозможно. Вдоль кромки воды он дошёл до края пляжа, где лежали большие камни, видимо, скатывавшиеся сверху. Вернувшись, он остановился возле палатки и негромко позвал: “Аня...”. Аня как будто не проснулась, когда он лёг рядом. Он поднялся на локте и долго смотрел на неё.

Очнулся он от духоты. Расстегнул палатку — раннее солнце ещё не успело нагреть землю. Передёг головой к выходу и снова заснул. Аня разогревала в котелке вчерашний ужин. Они договорились готовить раз в день — на стоянке перед сном, а с утра доедать; ночью прохладно и можно не бояться, что еда пропадёт.

— Митя, я просила: не оставляй палатку открытой.

Митя с трудом поднял голову, и Аня добавила мягче:

— Полежи на улице. Ещё не жарко.

Митя покрутил головой и выбрался наружу. Он закрыл палатку и встал, потягиваясь. Ему было двадцать четыре года, на два года больше, чем Ане. Он помахал руками, попеременно прижал колени к груди, пару раз нагнулся и снял трусы.

— Эй, ты чего!?! — Аня отвернулась.

Митя вышагнул из трусов и пошёл к морю.

— А что? Всё равно нет никого. Неохота плавки мочить, так искупаюсь. Он плашмя упал в воду и, проплыв немного, крикнул Ане:

— Вода классная, пошли тоже!

Он плыл саженками, почти не поднимая брызг. Аня выключила горелку и теперь ковырялась в котелке, пытаясь расщепить куски тушёнки. Митя вернулся, от стекавшей с него воды потемнел песок.

— Полотенце в моём рюкзаке, почти сверху.

— Я так обсохну, — он сел рядом с Аней на пенку.

— Митя!

— Жалко, что ли? Даже видеть меня голым неприятно?

Он поднял согнутые в коленях ноги, постучал ступнёй о ступню, чтоб обвалился прилипший песок, и натянул трусы.

— Так лучше?

— Лучше.

У него были загорелые колени и локти, но живот, плечи и бёдра — белые.

До Челябиново дошли пешком и почти сразу сели в машину до Керчи. Снова пешком пересекли центр и пошли вдоль дороги из города, вытягивая левую руку; шёл десятый час. Машин было много, но никто не останавливался.

— Не могу. Давай стоя голосовать, — Аня остановилась и сбросила рюкзак на землю. — Фу-у-у... без него полегче.

Митя тоже опустил рюкзак.

— Ты вообще веришь, что мы в Севастополе что-то решим?

— Давай не сейчас это обсуждать.

— Может, просто смысла нет доходить? Раз я тебе так противен! — Он толкнул рюкзак, и тот упал, громыхнув металлической посудой.

— Молодец! Вообще его на дорогу выброси. Я тоже сейчас психану — нафиг нам вещи-то! — последние слова Аня крикнула, но на Митю это, как уже бывало, действовало успокаивающе.

Он поднял рюкзак и выпрямился, придерживая его двумя руками.

— Мы свет не забыли? — примирительно спросил он, хотя точно помнил, что клал фонарь в рюкзак.

Наконец, остановилась “калина”, впереди сидела пожилая пара. Когда уже погрузили вещи и тронулись, водитель спросил, устроит ли триста рублей. Митя буркнул: “Устроит”, — не хотелось останавливать машину и вновь вылезать с рюкзаками на дорогу. Он почти сразу уснул, запрокинув голову и открыв рот. Время от времени он просыпался, закрывал рот, сглатывал, но через пару секунд челюсть снова отвисала. Водитель поглядывал на Митю в зеркало, и Аню это раздражало.

— Устали, что ль? — нежно спросил водитель.

— Угу, — ответила Аня, не открывая рта.

Всё тело было липким, голые ноги приклеивались к дерматиновому сидению. В окошко почти не заходил ветер — “калина” шла в густом потоке машин на скорости не больше двадцати километров в час.

— В Феодосии останетесь или дальше куда поедете?

— Дальше.

— А куда, если не секрет?

— В Севастополь.

— Город воинской славы, похвально. И всё так, на перекладных?

— Угу.

В разговор обиженно вступила женщина:

— Видишь, не хочет разговаривать с тобой девушка. Ты вези её, а спрашивать не смей! Устали они — с ухажёром-то!

— Это муж, — зачем-то исправила Аня, но стало ещё противнее: водитель двусмысленно подмигнул, а женщина ответила:

— Объелся груш! Зна-а-ем.

Ане захотелось выйти из машины, но было жалко будить Митю: он бы вышел на нетвёрдых ногах, с мутным взглядом. Она выкрутила ручку до упора, полностью открыв окно, но свежее не стало, только больше пыли потянулось с коричнево-серых выцветших полей.

Аня уехала с родителями из Севастополя в восемь лет и хорошо помнила его залитые солнцем горбатые улицы, а памятник затонувшим кораблям ей был дорожке всех “Аврор”, вместе взятых. Но вдруг её воспоминания не похожи на действительность?

В Феодосию въехали только в половине второго. Дошли до крепости, скинули рюкзаки и забрались на развалины, но никакой радости не испытали. Дул ветерок, он был жаркий и, казалось, шершавый.

— Где ночевать будем? — спросила Аня.

— А я откуда знаю? Давай прямо здесь палатку ставить!

— А чего ты психуешь? Я тебя силой, что ли, ехать заставила?

К ним вплотную подошёл ребёнок. Ему непременно хотелось идти по стене даже там, где сидели люди. Мама одной рукой держала ребёнка за шорты, а другой фотографировала. Митя с Аней встали и будто по инерции спустились вниз; набрали воды в автомате, взяли в супермаркете банку тушёнки и пачку макарон и уехали из Феодосии.

Пик жары прошёл, поток машин стал реже и густел только на перекрёстках; до Коктебеля доехали быстро. Их высадили на повороте перед въездом в город. Дорога влево была перегорожена, но раскатана с обеих сторон. Аня с Митей свернули с колеи, на которой не успевала садиться пыль, и поднялись в гору. С одной стороны был виден Коктебель, с другой — Тихая бухта. На её широком жёлтом пляже темнели бугорки палаток, стоящие почти вплотную.

— Во мегаполис там, — усмехнулся Митя.

“У него сейчас весь лоб в морщинках”, — подумала Аня и посмотрела на мужа.

— Всё верно. Видимо, хорошо там. Но мне в такую толпу лезть неохота.

Обвивая соседнюю гору, вниз спускалась тропинка и вела к узкому тёмному пляжу — под ними была бухта Мёртвая. Аня с Митей немного пропелись по тропинке, чтобы утром оказаться в тени первой горы, и поставили палатку под маленьким деревцем — так уютнее. Поднимался ветерок и чуть отклонял в сторону пламя горелки.

Солнца уже не видно, но ещё не стемнело. Гора справа — насыщенно коричневая, со светлыми тропинками, за ней — тёмно-синяя, а дальше всё,

и Карадаг, в голубой дымке. По левую руку горы ярко-жёлтые, как нарисованные, а над ними полосы фиолетовых облаков.

Вода закипела, и Митя ухнул в котелок весь пакет макарон, немного помешал их и открыл банку тушёнки.

— Вернёмся и будем тушёнку по привычке готовить.

Митя сказал это без задней мысли, но договорив, вспомнил, что они не знают, вернутся ли. А если вернутся, то Аня соберёт вещи и переедет к родителям, а Митина мать — к себе домой, к сыну. Сейчас она живёт у бабушки, но идти недалеко: обе квартиры на одной площадке. Мите нравился Питер, и нравилась квартира, в которой он провёл детство, и он убедил Аню жить там после свадьбы. “Они близко, но отдельно”, — думалось ему.

Вчера утром снова ссорились. Всего лишь забыли крем от ожогов, но не смогли удержаться и вернулись к прежним спорам. “Мало нам кучи проблем, ты ещё из-за “пантенола” пытаешься поругаться”, — упрекнул Митя, и Аня ответила медленно, почти по слогам, с какой-то злой радостью: “У нас бы не было этой кучи, если бы ты чаще слышал меня, и не было бы совсем, если бы твоя мать и твоя бабушка меньше в нашу жизнь лезли”. — “О-о-о! А я всё ждал, когда ты, наконец, вспомнишь! Невыносимо ведь, когда две пожилые женщины хотят, чтоб тебе получше жилось. Замучили тебя, бедную”. — “Я сто раз говорила: они не хотят, чтобы мне жилось получше, а чтобы жилось, как им кажется получше! Огромная разница! И раз уж твоя мать переехала, так пусть она вещи забирает свои, а то уже год ходит — всё вещи свои ищет”. — “А от меня ты чего ждёшь? Чтоб я своей матери запретил в свою квартиру приходить?!” — “Если бы ты слушал меня, ты бы знал. Не надо ей ничего объяснять, раз она сама не понимает. Надо просто снимать квартиру — подальше от них. А она пускай в своей живёт и делает ремонты, как ей нравится!” Они не сказали друг другу ничего, чего бы не говорили в прошлые месяцы, и было странно, что они на тёплом море, вдвоём, — перепалка расстроила их.

Аня догадалась о мыслях Мити; оба загрустили и ужинали молча. Девушка украдкой смотрела на мужа. Нижняя часть лица у него почти женственная: узкие скулы, рот, подбородок — всё изящное, нежное. На щеках проступает бородка — ему всегда лень побриться, — но волосы мягкие. Глаза у него очень большие, далеко посаженные, а над ними широкий и высокий лоб. Когда он пристально смотрит, то похож на инопланетянина, и это её всегда трогало. Грубый и земной на его лице только нос: Митя ломал его несколько раз, и нос срастался неправильно, теперь на нём две асимметричные горбинки. Впервые увидев Митю, Аня влюбилась в его внешность; потом ей перестал нравиться его нос, и всё лицо показалось неправильным, негармоничным; ещё позже Митя снова стал самым красивым. Сейчас она никак не могла посмотреть только на его лицо, воспринять внешность Мити отдельно от него самого.

Забравшись в палатку, Аня сразу заснула, но постепенно в сон стал вмешиваться гул и, наконец, разбудил её. Палатка трещала и хлопала на ветру, и по голове ощутимо плёпала одна из стенок. Стало жутковато и весело. Она поднялась на локте, наклонилась над лицом Мити и тихонько подула. Он замычал в ответ.

— Мить, а мы не улетим?

— Куда? — невнятно спросил он.

— В страну Оз, — громким шёпотом ответила Аня.

Чувствуя, что Митя не понимает её, добавила серьёзнее:

— Слышишь, ветер какой!

Митя прислушался.

— Ага. Надо было внизу вставать... Не улетим уж, спи.

Аня ещё раз, злее дунула Мите в лицо. Он поморщился:

— Перестань.

Аня отвернулась, пихнула Митю локтем и чуть отползла от края палатки. Она подставила руку так, чтобы стенка хлопала по ней, и попыталась поймать ритм ветра:

— Раз-два-три. Раз-раз. Раз-два, раз-два-три-четыре. — она вновь провалилась в сон.

Утром погода испортилась, вчерашние краски исчезли. Крутом всё было одинаково серым: и море, и небо, и горы. Сворачивали палатку вдвоём — она надувалась, как парус, и рвалась из рук. Дождь застал их внизу, возле заводского магазина вин. Они спрятались в беседке, и в пять минут беседка наполнилась отдыхающими. Дождь лупил громко, сердито; стало холодно. Они смотрели, как появляются лужи.

Дождь кончился через час, а через три они уже ехали в фургончике в Судак. Судак—Алушта—Ялта. А потом Севастополь. Хотелось продлить дорогу, но боясь признаться в этом друг другу, они не вышли в Судаке — подальше на уговоры водителя и поехали с ним в кемпинг за Морское.

После Судака горы стали круче и зеленее, пропали многочисленные съезды с дорог, и только одно шоссе вилось серпантинном. Песчаный пляж, куда привёз их фургончик, начинался в нескольких метрах от трассы и был весь заставлен палатками, шатрами и машинами. Ане казалось, что встать уже нигде, но фургончик лихо съехал вниз и пополз вдоль края воды.

Когда фургон остановился, Аня поймала Митин взгляд и чуть заметно помотала головой.

— Мы пойдём ещё место посмотрим, — сказал Митя, когда все вышли.

— Что смотреть, везде так будет. А где людей нет, там ничего нормального нет, — и водитель начал выгружать вещи, бросая их на песок. — Всё равно ничего лучше не найдёте, вернётесь.

Митя надел рюкзак и поднял Анин: она, присев, натянула ляжки на плечи.

— Вряд ли. Спасибо, что довели.

Они поднялись и пошли вдвоём вдоль шоссе.

Наконец, от дороги отделилась тропиночка, они пошли по высокому берегу. Море казалось сверху зелёным, а впереди, на вершине, Аня разглядела очертания крепостных развалин.

Тропинка привела к ручью. Спуск был крут: виднелись едва ощутимые ямки от ног, но ставя в них пятку, Аня проскальзывала и присаживалась. Митя сбегал вниз и вернулся, чтобы помочь Ане. Они прошли вверх вдоль русла ручья. Вода была прозрачная и ледяная — умываясь, они громко ухали.

— Ка-а-айф! — высоким голосом протянул Митя. — Давай тут жить.

Он не удержался и выпил воду из сложенных ковшиком рук.

В море здесь заходить было сложно: скрытые под водой большие валуны были очень скользкими, и каждую секунду можно было упасть или подвернуть ногу. Аня, сделав пару шагов, легла на воду и поплыла, задевая коленями камни. Они отплыли на достаточное расстояние от берега, но дно — мохнатые камни, водоросли, качавшиеся, как шумевший на ветру лесок, спяющие меж ними рыбки и маленькие ракушки, — казалось совсем рядом сквозь прозрачную воду. Едва касаясь дна пальцами ног, Аня стала сильными движениями взбивать воду вокруг себя. Митя лёг на спину и забил по воде ногами. Откуда-то к берегу выбежали две пушистые собаки. Они остановились и смотрели на шумевших людей, виляя хвостами. Один пёс радостно гавкнул — ребята посмотрели на них, но не подозвали, и собаки побежали дальше.

Митя с Аней выбрались из моря, когда солнце почти уже село. По обеим сторонам ручья была маленькая рощица, и, прочесав её, они собрали немало хвороста. Ветки уютно потрескивали на фоне шумного моря.

— Я хочу помыться, — сказала Аня, — я просолилась вся.

— Помочь тебе?

У Ани стукнуло сердце, и она рассердилась на себя.

— Полить если только.

Они притушили костёр, оставив угли, которые можно будет раздуть. Луна ещё не взошла, ответ костра стоял в глазах рыжим пятном, и ничего не было видно. Ощупью спустились к устью, и Аня разделась.

Митя опустил пустую бутылку в ручей, и она, булькая, постепенно наполнялась. Аня присела, поплескала на лицо и шею ладонями, потом достала

мыло из уже намоченного и отяжелевшего целлофанового пакета и стала натирать себя.

— Давай я, — мягко сказал Митя.

Он полил Ане на спину из бутылки и несколько раз провёл мылом вдоль позвоночника. Потом, покрутив мыло в ладони, отдал его Ане и покрыл пеной её плечи. “Шершавая”, — прошептала Аня. Митя молча улыбнулся, забрал у Ани мыло, натёр её ягодицы и ноги. Аня не двигалась. Митя намылел ей грудь и живот, положил мыло в пакет и начал смывать пену. Полотенце осталось в рюкзаке; Митя снял футболку, мешком надел на Аню, не продевая рук, и начал тереть девушку, впитывая воду тканью.

Аня заплакала тихо и жалостливо.

Митя прижал её к себе и замер. Слишком громко, хрипло сказал: “Спасибо”.

Выше кто-то стукнул баклажками, послышался звук наполнявшегося сосуда, но они не изменили поз, — возможно, Аня не слышала. Они стояли так, пока она не перестала плакать. Потом Митя снял с неё мокрую футболку, она оделась и, держась за руки, они поднялись к кострищу.

Они прожили там два дня.

Утром третьего вновь снялись с места. Машин было меньше, чем в степной части полуострова, но попутку ждали недолго. Аня закрыла глаза, чтобы меньше укачивало на поворотах.

В Алуште поймали машину до Ялты. Умиротворённость сменилась нервозностью. Аня ощущала это как огромный полный пузырь в своём теле, он давил на желудок и на сердце — сжатое, оно билось чаще, — и руки-ноги были вялые, не свои, точно пузырь перекрыл доступ крови к ним.

В Ялте они дошли до музея Чехова. После экскурсии бродили по саду и, разглядывая цветы на деревьях, чуть успокоились.

— Кажется странным, что Чехов никогда не видел свой сад таким...

— Люди тоже не видят своих детей стариками.

Из сада пошли на набережную. Купили с лотка пирожки, пошли по пляжу вдоль моря, потом повернули на пирс и на самом его краю опустили рюкзаки и сели. Дул ветер, мимо проходили катера — волны поднимались и плескали через бетонный край.

— Ты не мокнешь?

— А на меня дождь не капает, — ответила Аня. Митя посмотрел удивлённо, и она спросила:

— Не помнишь?

— О чём ты?

— Когда мы только познакомились, в мае, мы сидели ночью на лавочке возле моего дома... Начался дождь, а мы всё не уходили, и ты тогда тоже спросил, не мокну ли я. У меня капли по лбу текут, а я говорю, что на меня дождь не капает. Мне показалось, что ты в меня тогда и влюбился.

Митя усмехнулся.

— Вспомнил?

— Нет. Но представляю, что ты могла так сказать.

Они помолчали.

— Где ночевать будем? — спросил Митя.

— Поехали в Севастополь?

Попутки искать не стали, а дошли до вокзала и полтора часа просидели там, дожидаясь автобуса. В Севастополь приехали затемно и сразу пошли в гостиницу. Номер оказался просторным, с большой кроватью и душем. Аня разделась и зашла в ванную.

Она впервые видела себя со дня отъезда, и это было волнительно — несколько мгновений она не узнавала своё лицо. Чёрные углы бровей, до синевы чёрные миндалевидные глаза, большой рот над маленьким подбородком... всё было гармоничнее и притягательнее, чем она привыкла о себе думать. И лицо, и тело покрыты тёмным загаром; из-за выцветших белых волосков он казался золотым сиянием. Ане шёл загар, будто это был её настоящий цвет кожи, задуманный природой, и только по глупости она скрывала его белой пудрой. Минуту Аня стояла перед зеркалом, без стеснения любясь своим

отражением. “Он меня такой видит всегда...” Потом она встала под горячую струю и намочила волосы.

В Севастополе Митя был впервые и успел увидеть всего два квартала. Они добрались быстрее, чем думали: вместо десяти дней провели в дороге меньше недели. Но за это время отступили образы других людей, важных, но в этих отношениях — лишних; улеглось раздражение, и...

Аня вышла из ванной с непривычно длинными расчёсанными волосами, белое полотенце было на ней, как вечернее платье. Поймав Митин взгляд, она выключила свет и тихонько засмеялась.

Через два дня Аня полетела в Петербург за вещами, а Митя остался в Севастополе искать для них новый дом.

АНДРЕЙ КОЗЫРЕВ



РАБОТАТЬ, ВЕРИТЬ, ЖИТЬ...

* * *

Земля
полным-полна чудес.
Безмерна глубь любого мига.
Из листьев создаётся лес,
из листьев создаётся книга.
Листок к листку —
растёт дубок,
колышется, шумя ветвями,
и вот —
неровным гулом строк
шумит История
над нами.
Листок к листку,
строка к строке
ложатся в книге неустанно,
и вот —
в прекрасном далеке
со дна морей выходят страны:
дворцы и войско, и народ
в бумажном мечутся просторе...

КОЗЫРЕВ Андрей Вячеславович родился в г. Омске в 1988 году. Автор девяти книг. Стихи печатались в журналах "Сибирские огни" (Новосибирск), "День и ночь" (Красноярск), "Нива" (Астана), "Север" (Петрозаводск), "Кольцо А", "Пролог", "Литературный Омск" (Омск) и др. Главный редактор литературно-художественных альманахов "Точка зрения" и "Менестрель". Лауреат областной литературной премии имени Ф. М. Достоевского.

Бумажный лист —
как тонкий лёд,
скрывающий огромность моря.

.....
... Так нас прочтёт
когда-то Русь,
сквозь белый лист проступят лица,
и я — как в жизни — поднимусь
навстречу вам
со дна страницы.

* * *

Она не так приятна,
зрелость,
как кажется издалека.
Не всё сбылось,
чего хотелось,
но всё-таки сильна рука,
и голос гулко раздаётся,
привычна к тяжестям спина...
А в сердце громом отдаётся
тысячелетняя война —
та, что вели отцы и деды,
та, коей нам не завершить...
Не мне увидеть день победы,
но мне —
работать,
верить,
жить.
И выцедить
из сонной пыли
случайных дел, случайных слов
такое,
что пронзит навывлет
детей, мужей и стариков...
Смогу ли?
Сдюжу?
Нет ответа.
Земле — кружить,
вдове — тужить...
Не мне увидеть день победы,
но мне —
работать,
верить,
жить.

* * *

От гор
до солнца —
синь и тишь...
В миражной южной благостыни,
не торопясь,
течёт Иртыш
сквозь азиатские пустыни.
Монголия...
Китай...

Пески...
Века, походы и открытия,
народы, страны, языки
сшивает он блестящей нитью.
Себя от прочих обособь —
и нет тебя...
Об этом зная,
в тайге медлительная Обь
его в объятия принимает.
И снова — в путь...
Вперёд, вперёд...
Иртыш неслышно, неустанно,
не торопясь,
течёт, течёт
и вытекает к океану.
.....
Так жизнь моя,
за годом год
в слова переплавляя нервы,
меж берегов своих течёт,
чтоб впасть
не в океан,
а в небо.

* * *

Костлявый,
длинный, неуклюжий,
с кругами тёмными у глаз,
я в этой жизни тоже нужен —
я говорю не напоказ.
Мой шаг неровен,
речь угрюма,
сутула узкая спина,
но из очков
сквозь карий сумрак
глядит иная глубина.
Конечно,
нелегко, несладко
её сквозь жизнь в себе нести...
Её заветная повадка —
таиться,
прятаться,
расти.
Не только сквозь очки —
сквозь лица
я вижу смену лет и вех,
лечу — не плавно,
не как птица,
а как ракета — снизу вверх.
Не в силах сделать я дословно,
что учит школа и семья,
ведь нрав у них —
округлый, ровный,
как человеческое Я.
А я,
неровный, угловатый,
не вписанный в овал судьбы,
живу не в круге,

а в квадрате
простой рифмованной строфы.
Ты поэтическая келья —
как ты её ни назови —
пространство грусти
и веселья,
восторга, боли и любви.
Я в ней живу,
без слуг, без друга,
дышу, пишу, спешу, грешу,
решаю квадратуру круга
и даже,
может быть,
решу.

ВАЛЕРИЯ ШИМАКОВСКАЯ



БОЛЬНИЧНЫЕ РАССКАЗЫ

Сказ раз. Эстафета

Бывает, что первый осознанный визит в больницу совпадает — вот же чёрт! — с первой операцией. Всё уже за несколько часов перед этим начинает идти в абсолютно неподходящем направлении, прямо-таки наперекосяк. Под капельницей запрещают читать. Перед операцией говорят раздеться.

Или каталка. Везут тебя на ней, лежишь, думаешь, лампочки на потолке считаешь, но всякий раз сбиваешься, потому что кто-то понатыкал их бесчётное количество. Стихи вспоминаешь. Стихи приходят самые жалобные, вроде:

*О тебе, о тебе, о тебе,
Ничего, ничего обо мне...*

В этот момент — когда ты находишься в горизонтальном положении и думаешь о вечности, а медсестра вызывает лифт, — тебе и передают эстафету. Какая бы, казалось, голому стихотворцу эстафета? А во-он того мужчину в синих шортах слышишь?

— Утри нос! Через три дня плясать будешь!

Киваешь, смаргиваешь слёзы, достаёшь руки из-под одеяла, потому что, оказывается, ещё не всё — плясать, вон, говорят, будешь. И дальше — до самой до операционной — едешь спокойно, даже лампочки не считаешь: пусть их, Бог с ними.

ШИМАКОВСКАЯ Валерия Олеговна родилась в 2000 году. Участник литературной смены культурного форума "Таврида", по результатам которого её малая проза была опубликована в журнале "Юность". Участник Сопевания молодых литераторов Москвы и Подмосковья и литературных семинаров Союза писателей Москвы "Путь в литературу. Продолжение". Слушатель студии Игоря Волгина "Луч".

Как проснёшься, почувствуешь, что тяжело дышится. Но это ничего, вот и бабуля с соседней кровати крикнет:

— Оклёмывайся давай. Скоро на танцы пойдём!

На танцы, может, не так скоро, но через день, полусогнувшись, можно и доковылять до холла. Через минуту-другую готовься передать эстафету!

Глянь-ка влево: из блока везут мальчишку-узбека лет восемнадцати. Тоже глаза как будто намылил ему кто: так он устал считать чёртовы лампочки. Медсестра вызовет лифт и усядется в телефон, как будто ей всё равно, что человека везут оперировать, ей как будто всё совсем до лампочки — благо их тут предостаточно, на выбор.

Приподнимешься и скажешь, понятия не имея, что мальчишка ни слова не знает по-русски:

— Это не больно. Честно.

Он улыбнётся, кивнёт, и заводить в лифт его будут уже с вытасненными из-под одеяла руками. Через пару дней к мальчишке придут друзья и принесут... “Доширак”. Они выучат несколько русских словосочетаний, в числе которых окажется и “Это же только бульон”. Тут придётся помахать руками и объяснить, что:

— Это. Будет. Последний. “Только бульон”. В его жизни!

Спустя неделю вы с мальчишкой получите выписки, скажете — один на русском, другой на узбекском — свои имена, которые ни за что потом не вспомните, и пожмёте друг другу руки. Он произнесёт какое-то слово, которое для себя можно перевести как “спасибо”.

Кто-то подбодрил тебя, кого-то ты — и понеслась эстафетная палочка, и перестали вспоминаться грустные стихи, и прекратился подсчёт слезоточивых лампочек, и высунулась одна, а за ней и другая рука из-под краешка одеяла.

Если почувствуете, что мальчишка эстафету кому-то передал, на всякий случай готовьтесь снова её принять: иногда она идёт по второму кругу.

Сказ два. Парикмахерская “Аполлон”

После того как вырезали аппендицит, нужно много ходить, иначе в брюшной полости образуются спайки. Понятия не имею, что это такое, однако словосочетание “брюшная полость” уже многое обещает.

Когда выйдете прогуляться, то можете, как я, встретить незнакомого деда. Он, растрёпанный, будет сидеть в конце коридора и, увидев вас, попросит подойти.

Не бойтесь: дед направлялся в парикмахерскую, а на обратном пути спутал этажи и потерялся. Заболела прооперированная нога, и он рухнул на стоявшее рядом кресло-каталку.

Найдите медсестру и попросите доставить деда на нужный этаж.

Если всё сделаете верно, то спустя пару минут будете наблюдать сцену: крупненькая медсестричка подойдёт и повезёт к лифту дедово кресло. Берите свой аппендицит и скорее шагайте за этими двумя.

Медсестра:

— Мужчина! Где-то я вас видела... — И, прищурившись:

— Погоди-ите-погоди-и-ите. Неужто... в парикмахерской?!

Дед смущённо кивнёт. Медсестра продолжит:

— А знаете, как, говорят, она раньше называлась?

— Как? — спросит, уже меньше думая о разболевшейся ноге, дед.

— “А-пол-лон”!

Дед прижамурится. Сестра игриво спросит:

— Постригли хоть?

— Нет, — сокрушённо ответит дед.

Медсестра воскликнет:

— Безобразие!

Но не спешите уходить, потому что тут заметите вторую медсестру. До вас донесётся:

— А я вам говорила, что у вас и так причёска не хуже этого Аполлона. Вот теперь, когда медсёстры везут нашего Аполлона на его Парнас, оказавшийся по непонятным причинам этажом ниже, можно и возвращаться...

Сказ три. Мишкина каша

Помните бабулю, которая после реанимации на танцы звала? Это баба Аля.

С ней мы обсуждали в основном еду. В больницу она попала потому, что съела два куска свиного рулета. Чтобы баба Аля перестала винить свинину, мне пришлось процитировать:

*Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить...*

Ей полегчало. Тогда баба Аля стала рассказывать, как с двусторонней пневмонией уплетала мороженое:

— Дорогое, гад! Сто рублей, — жаловалась она и блаженно добавляла: — А вку-у-усное-е!

По ночам бабе Але снился пирожок с вишнями.

Каждое утро после обхода врачей мы отправлялись в холл. Целью нашей прогулки была разведка меню. Есть нам почти ничего было нельзя, но всё вокруг, как назло, напоминало про еду. Тут мужчина кофе ложечкой помешивает, там женщина кому-то телефонные наставления по поводу соления огурцов даёт. В такие моменты бедная баба Аля сплёвывала и демонстративно уходила:

— Ну и засаливайте свои огурцы!

Беседы наши проходили обыкновенно перед завтраком, вдвоём, потому что одна соседка находилась в реанимации, а другая плохо слышала.

— Одни у тебя в палате божьи одуванчики, — смеялась восьмидесятиоднолетняя баба Аля и хлопала меня по плечу. — Хотя я у тебя есть!

И вот, до того, как звучало заветное: “Девушки, кушать!” — и девушки, двум из которых восемьдесят три, а одной восемьдесят один, доставали домашние тарелки, мы с бабой Алей вели разговоры.

Бабе Але однажды меняли клапан. Сделали ниже ключиц разрез, достали двумя руками сердце, положили его, бьющееся и живое, на стерильную салфетку, поменяли клапан, вернули сердце на место.

Я взволновалась: сердце! вытащить! на салфетку! На что моя некормленная баба Аля преспокойно заключила:

— Аки курочку из духовки.

Как-то раз завтрак нам долго не везли, и я спросила у бабы Али про мужа, фотография которого стояла у неё на тумбочке. Двадцатилетняя баба Аля ехала в трамвае и не могла отбиться от двоих, прицепившихся на улице. На остановке вошёл здоровый парень, взял их и вышвырнул. Так и прожила баба Аля с рослым парнем Мишей полвека. Он, подполковник, называл жену не иначе, как Алёшкой и танкистом.

Баба Аля прислушалась и замолкла: в начале коридора зазвенела тележка с завтраком. Потом снова заговорила о том, как им с мужем было хорошо, но вдруг опять прервалась и даже привстала:

— Кашу везут!

Звон кастрюли слышался совсем рядом.

— А ведь он болел, — тихо сказала баба Аля, но в момент, когда, прогремев, остановилась возле палаты тележка, обо всём забыла и, захватив из выдвижного ящика больничной тумбочки чашку и глубокую тарелку, ушла за завтраком.

Мне оставалось сидеть и думать над склизкой гречей о том, какая она — эта жизнь и эта любовь. Как это — говорить о муже, его болезни — и всё время думать о каше?

Но для себя я решила, что он бы на неё за это не обиделся, потому что каша бабы Али стоит рядом с фотографией мужа Миши. Вот и получается, что каша-то — Мишкина.

Сказ четыре. Баба Вера

На операцию людей обыкновенно привозят. Забирают из дома, загружают в машину “скорой” и с мигалками и писком везут. Баба Вера на операцию пришла сама.

Восьмидесяти трёх лет от роду, дотопала до приёмного отделения, затем, когда сказали, что нужна операция, пошла в палату, надела собственноручно сшитый синий халат в цветок, повязала платочек на короткие седые волосы и начала раскладывать вещи. Всё это напоминало заезд на смену в пионерлагерь.

Мы с бабой Алей за бабу Веру, признаться, переживали: как её сорок килограммов перенесут операцию. Баба Аля взглядывала на бабу Веру и вздыхала:

— Ой, блин! Как ты завтра-то, аккуратистка наша?

После операции показалось, что баба Вера ослабла. Ей запретили спать — она лежала с открытыми глазами. На её животе топорщился лёд, слишком большой для маленькой бабы Веры.

Спустя час после операции выяснились две вещи. Нам с бабой Алей надо было спуститься вниз, и мы попросили бабу Веру предупредить медсестёр, если те нас потеряют. Баба Вера не расслышала, мы повторили громче. Тогда она, не поднимая головы с подушки, крикнула вслед:

— Хорошо-хорошо! Пиво, скажу, пить пошли.

Так мы выяснили, что баба Вера плохо слышит... И ещё — что это абсолютно не мешает ей хорошо шутить.

Баба Аля и баба Вера казались разными. Баба Вера всему и всегда была рада. В то время, как баба Аля плакала, смотря на меню щадящей диеты, баба Вера чашку бульона называла “кормёжкой от макушки до пяток”. Бабу Алю баба Вера по причине глухоты не слышала.

Ночью баба Вера храпела. Баба Аля долго ворочалась, зажимая уши подушкой, которую, как она определила, ей кто-то переложил, потому что это была “худшая подушка”.

— А храпит-то как, — сокрушалась она и добавляла о бабе Vere, старшей её на год: — Старая-я!

Спустя два дня баба Вера уже ходила. Ела апельсиновое варенье, которое ей было нельзя, а в ответ на наши увещевания облизывала ложку и приговаривала:

— Всё можно!

Потом она куда-то надолго вышла. Оказалось, просила у медсестёр позвонить: телефон в больницу не взяла. Только спустя несколько дней после операции она сказала дочке и сыну, что лежит в больнице...

— А то что они заранее переживали б? — объяснила она, села на кровать, счистила ножичком кожуру со взятого из дома яблока и стала грызть, качая ногами.

В тот вечер баба Вера легла рано, потому что её большие светло-синие глаза уже не видели, и делать было особенно нечего. Окна в нашей палате были огромные, и во время рассветов и закатов солнце просачивалось через незадёрнутые жалюзи, выставляло себе койку и становилось нашим пятым соседом по палате. Солнце собралось уходить, а баба Вера лежала, раскрыв глаза. И вот что она рассказала нам с солнцем.

Молодая баба Вера приехала из Сибири в Петербург, нянчила детей богатых знакомых, снимала угол у тётки Нели.

Раз в неделю к тётке Неле приходил стирать бельё парень. Однажды он увидел бабу Веру и заметил её хозяйственность. Это она так сказала. Я же думаю, что он увидел её светло-синие большие глаза. Они стали встречаться.

Жили у него, в “отеле” — комнатухе на Большом проспекте Петроградской стороны. Потом поженились. Баба Вера устроилась крановщицей в цех. Её там все звали Верочкой.

— Тебя ж тоже — Верочкой? — отвлекаясь, спросила она меня.

И я, понимая, что объяснять обратное было бы долго, кивнула. Наши больничные кровати стояли напротив, так что всем так было бы удобнее. Ещё мы с солнцем на пару узнали, что у бабы Веры сын инвалид, а дочка уехала во Флоренцию.

Бабе Вере принесли капельницу. Медсестра долго искала венку, несколько раз пробуя в разных местах, на что баба Вера только чуть дёргалась и говорила:

— Ничего-ничего. Зарубцуется.

Медсестра ушла, солнцу тоже пора было бежать. Баба Аля спросила бабу Веру о разрезанном на операции животе:

— Сильно болит-то?

Баба Вера долго не отвечала. Мы подумали, что она не расслышала или заснула, и лежали молча. Но в тот момент, когда баба Аля в который раз взбила свою худшую из всех подушку, послышался бабы Верин голос:

— Несильно. Живые, и ладно.

Сказ пять. Уравнение

Бабушки, как известно, хотят увидеть внуков. Поэтому мои соседки заботливо принялись искать того, от кого они могли бы появиться. Особенно усиленно вопросом моего брачевания занималась баба Аля. Ей казалось, что я как представительница набора хромосом икс-икс безотлагательно должна была найти свой больничный икс-игрек.

Выбранный для меня бабой Алей икс-игрек оказался связан с математикой самым непосредственным образом. Он, высокий и хорошо сложенный, что вполне удовлетворяло требованиям бабы Али, ежеутренне и ежевечерне выгуливал свой аппендицит. Как и я.

Мы с ним не называли имён... Нам было достаточно свешивающихся из-под футболок одинаковых дренажей и катетеров на венах для новых капельниц.

Первый вечер мы, как настоящая молодёжь, проговорили о том, как болит, где уже не болит и где ещё заболит. Поругали продукты-возбудители аппендицитного спокойствия и решили, что они исчезнут из наших холодильников. О себе не говорили: он только упомянул, что учился прикладной математике и работал программистом.

Тут медсестра крикнула нам:

— Welcome to койки, господа!

И мы разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи.

Когда я вошла в палату, баба Аля подпрыгнула и, обрадованная, начала расспрос. Почти сразу она всё для себя решила:

— Знаешь, за кого выходить надо?

— Нет.

— За богатого, — пауза. — Сказать тебе, кто богатый?

— Может, не надо?

Но баба Аля уже победоносно произносила:

— Про-грам-мист!

Вечером в холле, приспособленном для выгула вырезанного аппендицита, икс-икс и икс-игрек снова встретились. Он недоучился, бросил, но сейчас снова получал высшее.

— На программиста? — спросила я.

— Вроде того, — улыбнулся он. — На океанографа. — После того, как я засмеялась, обосновал: — Высшее — раз. Бесплатное — два. Чего хочешь? Я практикуюсь уже.

— Где это?

— В больнице. Привезли к нам в палату мужика. Десять дней вливал

в себя спиртосодержащие жидкости. Вот я и изучаю состояние оказавшегося в безводной среде.

Скоро нас должны были выписать, что избавляло меня от организованных бабой Алей смотрин. В тот же вечер я в надежде упомянула, что Он — не совсем программист и учится на океанографа. Баба Аля неожиданно нажала на кнопку прикроватного света, выпрямилась и, прокашлявшись, сказала:

— Я в хор хожу.

После этих слов я приготовилась слушать мелодию из ряда вон патетическую, бессознательно ассоциируя имя существительное “хор” с именем прилагательным “церковный”. Но тут баба Аля запела:

— Всё для тебя, моря и океаны...

Стали ложиться. Думалось всё о том, как хорошо, что с аппендицитом больше недели не держат, потому что я бы не смогла бесконечно решать задаваемое мне бабой Алей уравнение с одним неизвестным.

В ту ночь во сне она несколько раз бормотала:

— Для тебя...

Сказ шесть. Ласковые слова

Кто-то громко стучал при ходьбе палкой. Переговаривались женские голоса. Слышался треск каталки.

Следом за медсёстрами, вкатившими бледную пожилую женщину, вошла другая, с палкой. Лежащую осмотрел врач и спросил, что ела. За больную с одышкой нервно ответила женщина с палкой:

— Сестра наелась бананов и запила молоком.

— Возраст? — спросил, записывая, врач.

— Восемьдесят один.

Барий — измельчённый мел, белая жижа — неприятен даже тем, кто смотрит, как его пьют. Нашей соседке прописали две бутылки. Потом принесли метровую трубку, продели её через нос, велели проглотить, тянули до самого желудка и стежками пришили к носу. Затем сестры минут десять ругались, насколько это возможно делать рядом с капельницей.

Пока больная спала, мы вполголоса разговаривали с женщиной с палкой. Она оказалась старшей, восьмидесятичетырёхлетней сестрой. Детей у обеих не было, жили вдвоём.

Вечером младшую сестру, Зою Осиповну, прооперировали. Всё это время старшая, Варвара Осиповна, ходила по коридору, громко отстукивая палкой. К вечеру сестру так и не привезли, оставили в реанимации. Варвара Осиповна долго ждала. Затем, стуча палкой, побрела домой.

В семь утра она была в палате. В реанимации сказали, что состояние тяжёлое. Мы начали уверять её, что за сестрой там ухаживают, на что Варвара Осиповна коротко ответила:

— Ей плохо, потому что меня рядом нет.

Зою Осиповну привезли спустя двое суток. Из-под простыни тянулись четыре дренажа. Слабо поздоровавшись, она начала оглядываться. Когда увидела сестру, у неё перехватило дыхание:

— Солнышко ты моё!

Варвара Осиповна, просидевшая у пустой койки и одиннадцать раз позвонившая в реанимацию, провела пальцами свободной от палки руки по глазам, улыбнулась и тихо ответила:

— А ты — моё.

И чуть позже:

— Горе банановое.

Пока Зоя Осиповна отдыхала, сестра выясняла, можно ли на ночь нанять сиделку, потому что больная запросто могла повывёрнуть дренажи и вырвать трубку в придачу: подобное уже случалось. Никто не согласился.

В девять часов вечера Варвара Осиповна дошла до стоящего посреди комнаты стула, поставила рядом палку и села, подперев щёку рукой. Мы

предложили книги — она кивнула в сторону младшей сестры: неуспешное наблюдение. Затем отвернулась к окну, по которому барабанил дождь, и сказала, что будет слушать “музыку”. Свет в коридоре мы выключать не стали и дверь не заперли. Пусть смотрит.

Под утро, часов около четырёх, я проснулась: кто-то бранился, по-прежнему лил дождь. Младшая сестра, судя по всему, предприняла попытку избавиться от дренажа, а старшая её упрекала. Не помню, за что. Помню, что спросонья услышала негромкий, но задиристый голос младшей:

— А ты мне, Варя, всё ласковые слова говори. Ласковые.

Варвара Осиповна ушла только после обхода, высидев целую ночь. Ещё долго слышался стук её палки.

Последнее

Я забрала выписку и ушла. Баба Аля через два часа оставила мне сообщение, в котором звала, как поправится, в гости.

Вот, собственно, и все больничные рассказы. И мне так счастливо, что все сёстры, бабы Али с бабами Верами и даже океанографы есть и пребывают (а кому-то ещё только предстоит) в добром здравии.

А за неточности в медицинских терминах, будьте добры, простите. В качестве извинения могу предложить вместе пойти к бабе Але.

ОЛЕГ РОМЕНКО

АДАМ И ЕВА

Замкнута вечность в сплошной суете.
Время из крана течёт.
Сдобные пышки на новой плите
Старая Ева печёт.

Дом забубённый стоит на ушах.
Только посуду не бьют.
Племя младое растёт на дрожжах.
Сладкие пышки жуют.

Ветхий Адам помнит рай в шалаше.
Дикий, дурманящий мёд.
Скучно и больно уму и душе.
Только и это пройдёт.

СВОБОДА

Слугою народа последний генсек
Назвался, надевши ливрею.
И верилось всем, что трагический век
Закончил свою одиссею.

Так вышла свобода из моря огней,
Из сердца великой равнины.
Воздушные замки восторженных дней
Она обратила в руины.

Свобода, тонувшая в красных волнах
Такого же красного века,
Идёт днём с огнём в безрассудных глазах,
Косою ища человека.

Народы, как травы, ложатся под ней.
И почва от крови темнеет.
И тот, у кого был язык без костей,
Узнал, как язык костенеет.

ПЕРЕСТРОЙКА

Как будто ужас воплощённый,
Не зная отдыха и сна,
Смущая разум возмущённый,
Кипит холодная война.

Резвитесь, братские народы,
Пока в России день за днём
В три смены ухают заводы
И золотится чернозём.

Пока неистово из бездны,
Хватая усики антенн,
Ревёт сквозь занавес железный
Голодный ветер перемен.

г. Белгород

ИГОРЬ ГОЛУБЬ

* * *

За окном — ноябрь ранний
Перелистывает дни,
Никаких переживаний,
Суеты и беготни.

Пахнет сыростью дорога,
Мир таким, как есть, прими,
Никакого диалога
Между небом и людьми.

Опустели огороды,
Никого в округе нет.
Из привычной несвободы
Выползаю я на свет,

Облака плывут курсивом
По высокому листу,
Но сегодня мне по силам
Видеть простоту в красивом
И в обычном — красоту.

г. Калининград

КОНСТАНТИН АТЮРЬЕВСКИЙ

АВГУСТ

Ещё не осень, но уже не лето...
Из песни (вразрядку надо)

Уже не лето, ещё не осень,
Сибирский август совсем не прост:
С утра туманы, обильны росы,
И в поле травы почти в мой рост...

Уже не жарко! Дожди и ветры...
Но тёплый воздух ещё царит!
И всё возможно ещё на свете,
И так прекрасен разгул зари!

Ещё стрекохут, жужжат, летают...
Земля прогрета! Цветы, плоды!
Родные птицы не покидают
Родной земли и родной воды.

Ещё не осень, уже не лето —
Сибирский август созрел вполне.
И каждый миг впереди неведом,
Но тем и дорог тебе и мне...

*г. Тара
Омская область*

КИРА МАРЧЕНКОВА

* * *

То шаги, то случайные всплески
Замирают в густой тишине,
И понуро висят занавески
На слепом, запотевшем окне.

В приоткрытую форточку рвётся
Самый первый, пронзительный снег.
Как живётся тебе, как поётся,
Причиняющий боль человек?

Засыпает под крышей синица.
Свет фонарный скользит по плечам.
Что тебе этой осенью снится,
Человек, приносящий печаль?

Ни души, ни ответа, ни звука
В непроглядной ноябрьской ночи.
Лишь сквозит ледяная разлука
И молчит, и о чём-то молчит...

*г. Сельцо
Брянская область*

ДАНИЛА КРЫЛОВ

* * *

Я вышел в поле. Летний зной.
Под солнцем белым и палящим
Мир был таинственно живой
И населён ненастоящим.

На догнивающие пни,
Цветя, ползла трава и висла,
И, обручённые, они
Являли мне начало смысла.

...И эта ель, и этот тис —
Зерцало стройное природы.
С такой любовью Нарцисс
Глядел в сочувственные воды.

ИУДЕЙ

Жизнь в ожидании конца
Скудна без счастья и страданий,
Из золота воспоминаний
Себе отлившая тельца.

Пусть для плодов долины райской
Мне прежних чаяний не жаль,
Пока огонь с горы Синайской
Выводит первую скрижаль.

Пусть море, горы впереди;
Преграды, голод и лишения
Моей измученной груди
Не тронут вздохом сожаленья.

Когда придёт конец борьбе,
Ужель тогда, мой друг желанный,
Иссякнет память о тебе
В Его земле обетованной?

г. Липецк

ЕВГЕНИЯ ЭЛИС

* * *

Детства любимой игрушкой
был у меня бараний
белый пушистый хвостик.
“Барби”, возможно, лучше,
но в девяносто-раннем —
хвостик бараний и кости.
Синий — глубокое небо.
Красный — лепешек горящих
(запах кизячьих угольев).
Жёлтый, как борчики — хлебы.
Горечь полыни слаще —
Зелень — сластей раздолья.
Краски на том кончались
и начинались битвы —
способ игры старинный:
альчики тихо стучали...

Целой когда-то кибитки
выпала мне половина.

*г. Элиста
республика Калмыкия*

КСЕНИЯ ВАЩЕНКО

ЧЕРНОЗЁМ

Смотри, говорят, вот дерево, вот земля,
Вот давняя правда, забытая меж корней,
Молчание зёрен, ласковых слов змея.
А что ты покажешь Богу в финале дней?

Что принесёшь в ладонях: вода, люголь,
Кровь или ртуть (но руки потом помой).
Что ты покажешь Богу? Свою любовь?
Слёзной мольбы своей соляной помол?

Смотри, говорят, вот дерево, вот трава,
Век не смыкай и листьев прохладу тронь.
А я забываю и музыку, и слова
И маленькой лодочкой складываю ладонь.

И вдруг замолкаю. Ведь всё, что мы здесь спасём
И вынесем сквозь апрели и январь, —
Это молчащий теплеющий чернозём
И вздохи зерна, прорастающего внутри.

* * *

Всё будет хорошо с тобой и мной.
И шар земной кружится по орбите,
Идёт весна. Как хорошо весной
Не куртку надевать, а тёплый свитер,
Не сапоги, а туфли, а тебе
Бежать туда, где бьётся даль живая,
Навстречу боли, радости, судьбе...
А мне смотреть, на шаг не успевая.

г. Волгоград

МАРИНА ШАМСУТДИНОВА



КОСМИЧЕСКИЙ ПРИЧАЛ

МЫС КАЗАНТИП

Касаясь трёх великих океанов...
Константин Симонов

Зелёный океан, Лазурный, Бирюзовый...
В трёх шёлковых водах накупан и умыт
мой дачный островок, где океан сосновый
со степью пополам ночами говорит.

Лазурный океан, бездонный, безвоздушный,
Где ангелов глаза звездами по ночам
Мне указуют путь, когда, поэт тщедушный,
Швартуя утлый чёлн в космический причал.

Азовская волна прозрачно-бирюзова,
Сшивает горизонт в единую строку.
Здесь дышится легко, здесь всё первооснова,
Вода, земля, эфир, дай, Солнце, огоньку!

ШАМСУТДИНОВА Марина Сагитовна родилась в 1975 году в Иркутске. В 2003 году окончила Литературный институт им. М Горького (мастерскую Станислава Куняева). Автор шести книг стихотворений: "Солнце веры" (2003), "Нарисованный голос" (2007), "Дань за 12 лет" (2010), "Стихи" (2011), "Русская сказка" (2015), "Правда" (2016). Печаталась в журналах "Наш современник", "Сибирь", "Созвездие дружбы", "Первоцвет", "Огни Кузбасса", "Московский вестник", "Викинг", "Крым", "Литературная Вена" и др. Лауреат поэтической премии им. Юрия Кузнецова за 2010 год (журнал "Наш современник"). Член Союза писателей России, Союза писателей Крыма, Академии поэзии.

Здесь солнцу над водой легко поднять свой парус,
он Алый каждый день, его здесь Грин встречал.
Я тоже здесь живу, купаюсь и не парюсь,
Швартуя утлый чёлн в космический причал.

* * *

Лицемерно, с заученным выражением,
Читает стихи про Ленина и кумач.
От черты осёдлости начавший движение
Расчётливый ГУЛаговский палач.
Русское крестьянство, русское дворянство,
Духовенство русское и учителя.
Не снесла Заступница это окаянство,
Отрыгнула кровью их русская земля.
Отголоски этих палачей-садистов
Воют демократию из каждого утюга...
“Лучшие политики, дантисты и артисты”,
Ждут вас заповедные Бежины луга...

* * *

Единственное равенство в стране —
Тарифы коммунальные на хату.
За них отдашь в далёкой стороне
На пенсию похожую зарплату.
Шесть тысяч — хоть в Москве, хоть в Воркуте,
С зарплатой двадцать, редко девяносто...
А эти, что довольные вполне,
Её скруглят и станет сорок просто...
Удавятся за кружку молока,
Троих детей повяжут ипотекой,
Жди пенсии, как нищий пятака,
И выми, не дождавшись, под аптекой...

* * *

Люди в намордниках,
Собаки на поводках.
Только у дворников
Работа ещё в руках.
Куда уже хуже!..
Кесарь, верни всё назад:
Котлеты на ужин,
Привычный кредитный ад,
Средневековые —
Чумной и голодный бунт.
С экранов, с любовью,
Стращают, что скоро распнут.
На карантине
В Церквях всемогущий Бог.
Молитва о Сыне,
Что третьим среди выпивох...
Уже не осталось
Мест, где дают взаймы.
Ахматова заикалась:
“Думали, нищие мы...”

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

“ЛЕЖУ БУХОЙ И ЭПОХАЛЬНЫЙ...”

В 1960 году после трёхлетней работы в тайшетской газете “Сталинский путь”, переименованной в эпоху “оттепели” в “Заветы Ленина”, я вернулся в Москву. Переименование газет, колхозов, улиц в те времена было делом обычным. Начатое на XX съезде КПСС “вышибание Сталина Лениным” произошло на всех уровнях политической, партийной и культурной жизни, о чём с гордостью писал Евтушенко в своих воспоминаниях: “Я принадлежу к тем “шестидесятникам”, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина”. Об одном лишь забыл наш лукавый царедворец: о том, что он сам своими первыми стихами из книги “Разведчики грядущего” создавал вскоре ставший ему ненавистным “призрак Сталина”.

Вернувшись в Москву я был принят в Союз писателей и стал зарабатывать на жизнь, выступая в разного рода аудиториях, за что Бюро пропаганды художественной литературы платило мне после каждого выступления по 16 рублей. Именно на этом поприще судьба свела меня с Андреем Вознесенским – мы познакомились в знаменитом музее Маяковского в Гендриковом переулке, в особняке, где ещё до революции жили Владимир Маяковский и Лиля Брик со своим официальным мужем Осипом, о котором Сергей Есенин сочинил убийственную эпиграмму:

*Вы думаете, Ося Брик
Исследователь языка?
Нет, он на самом деле шпик
И следователь ЧК.*

Мы с Вознесенским, только что издавшие свои первые книги: я – сборник “Землепроходцы” в родной Калуге, а он – “Мозаику” в родном ему Владимире, – сорвали положенные нам аплодисменты в небольшом зале музея, пожали друг другу руки и пошли каждый своим путём, каждый веря в свою звезду. Я тогда читал стихи о своей жизни и работе в Сибири, о строительстве калужскими комсомольцами железной дороги Тайшет–Абакан, а он декламировал поэму “Мастера”, в которой клялся строить советские города и гидроэлектростанции будущего:

*Я,
Вознесенский,
воздвигну их...
Я со скамьи студенческой
мечтаю, чтобы зданья
ракеты
столупенчатой
взвивались
в мирозданье.
И завтра ночью тряской
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!*

Но “завтра” он поехал не на Братскую ГЭС, а в Америку, где срочно сочинил “Монолог битника”, “Монолог Мерлин Монро”, “Ночной аэропорт в Нью-Йорке” и где почувствовал себя, как дома. О чём потом вспоминал: “Когда я попал в Америку в 60-е годы, я увидел, что битники ходили так же, как и мы в Москве”. Первыми, кого он разыскал в Гринвич-виллидже — богемном пригороде Нью-Йорка, — были хиппи, или битники, от имени которых он вскоре заговорил в стихах:

“Лежу бухой и эпохальный. Постигаю Мичиган...”

“...плевало время на меня, плюю на время...”

*Мы — битники. Среди хулы
мы — как зверёныши, волчата.
Скандалы, точно кандалы,
за нами с лязгом волочатся...*

Перерождение советского студента-архитектора, мечтающего построить Братскую ГЭС, в мичиганского обкуренного “волчонка” произошло мгновенно, как будто новые друзья окунули молодого социалистического реалиста в мичиганскую купель с нечистотами, и наш поэт завопил в один голос с ними:

*Вы думали — я шут?
Я — суд!
Я страшный суд!
Молись, эпоха!*
(1961)

Именно там, на берегах Мичигана, произошло знакомство Вознесенского с вождём американских хиппи Аленом Гинзбергом, сыгравшим роковую роль в жизни советского поэта. После возвращения из Америки Вознесенский буквально воспел своего нового кумира:

Обожаю Гринвич-виллидж
в саркастических значках.
Это кто мохнатый вылез,
как мошна в ночных очках**?
Это Аллен, Аллен, Аллен!
Над смертельным карнавалом
Аллен выскочил в исподнем!
Бог — иронии сегодня,
как библейский афоризм
гениальное: “Вались!”*

* Гринвич-виллидж — район, пристанище нью-йоркской богемы, сексуальных меньшинств и наркоманов Нью-Йорка.

** Скорее всего, под словами “мошна в ночных очках” поэт подразумевает нижнюю часть мужского организма, называемую “мошонкой”.

Как мне помнится, этого стихотворения нет в книгах Вознесенского. Его процитировал уехавший в советские годы в США въедливый биограф всех наших «шестидесятников», связанный с американской богемой, Владимир Соловьёв в книге «Не только Евтушенко» (М.: Рипол-классик, 2015) в главе с длинным, но важным названием: «В гостях у Аллена Гинзберга, или Андрей Вознесенский и Питер Орловски: первый и последний битники одной эпохи». С торжественной печалью там же В. Соловьёв вещает: «Они умерли один за другим, в 2010 году, 31 мая и 1 июня: Питер Орловски (Peter Orlovsky), затерявшийся в тени своего легендарного («бессмертные и легендарные», как писал Евтушенко о «шестидесятниках». – Ст. К.) любовника Аллена Гинзберга, но почётно упоминаемый рядом с именами Берроуза, Ферлингетти, Керуака, Ашбери, Корсо, и Андрей Вознесенский. Видимо, есть в этом некая символика: один из первых поэтов поколения битников в СССР Андрей Вознесенский умирает на следующий день после смерти одного из последних именных американских битников, «шестидесятника» Питера Орловски. Орловски был охоч как до мужчин, так и до женщин. Гинзберг мужской любви не изменял. Оба имели многочисленные связи на стороне, но трогательно провели жизнь в неверном супружестве и обожании друг друга».

Вот в какой атмосфере начала 60-х произошло окончательное превращение советского поэта, мечтавшего строить Братскую ГЭС, в американского битника, друга Питера Орловского и Аллена Гинзберга. Недаром мать А. Вознесенского отговаривала сына от поездки в Америку: «Тебя там убьют», – говорила ему она. И была права. В Америку в 1961 году уехал русский советский поэт, а обратно на Родину вернулся побратим из свиты Аллена Гинзберга.

Из книги В. Соловьёва «Не только Евтушенко»: **«Евтушенко называл Гинзберга своим другом. Вознесенский воспевал битническую вольтицу всю свою молодость: «Как хорошо побродить по Риму // нищим ограбленным побратимом». Из смурной России казалось, что битники и есть тот самый глоток свободы, которого советский человек был лишён не только в шестидесятые».**

В. Соловьёв в этой же книге так истолковал и раскрыл сущность слова «битник» и образ жизни членов этой своеобразной касты:

«То, что для Гинзберга значение не меньше, чем поэзия, имел гомосексуализм классика (речь идёт об Уолте Уитмене. – Ст. К.), мне знать тогда было не дано. Но никакой не секрет, что битников объединяли не только бит-ритм, размер, удар, стук, но и нетрадиционная ориентация.

Bit как ежедневный винт, то есть стук и трах, сходились по гендерному признаку. По подобию.

Так Керуак ближе познакомился с Гинзбергом, оказавшись в кровати у последнего... Теперь, почти шестьдесят лет спустя, когда всё больше штатов признают однополые браки, и даже русская фраза «тютелька в тютельку» приобрела новое значение, история битничества прочитывается во всей её похотливой подлинности.

Они все переспали друг с другом. И на здоровье. В каждом практически тексте битников густо, открыто, с подробностями об этом написано. Молитвенным шёпотом, переходящим в психоделический вопль, ставший поэмой «Howe» ещё в 1956: «Хочу, чтобы меня любили! Дайте любви, побольше дайте! Дайте, я вам отвечу безумной страстью!» «Власть любви, уже равная по силе Власти в литературе, в испепеляющем желании прославиться и стать классиком второй половины XX века, пройдясь при этом по всем мыслимым и немыслимым мужским попам, вела вперёд, тащила потоком Гинзберга и его ближайшее окружение сквозь годы, стихи, романы, постели, ревность и поцелуи».

Ален Гинзберг, когда к нему в гости приехал Соловьёв с «партнёром» В. Друком, **«поинтересовался, знакомы ли мы с Евтушенко. Заметно оживился, когда оказалось, что мы знакомы не только с Евтушенко, но и с Вознесенским. Я, в свою очередь, поинтересовался, знаком ли битник с Бродским, который тогда жил неподалёку на Morton Street. Гинзберг ушёл от ответа. Памятуя, что не со всеми русскими поэтами у Гинзберга тёплые отношения (Лимонов его, к примеру, на дух не выносил), я решил на ответе не настаивать...»**

«Мы крепко обнялись. Посмотрели друг на друга с искренней симпатией, как достойные представители двух великих литератур». Кстати,

в романе Лимонова “Это я, Эдичка” гомосексуальная жизнь описана со знанием дела.

Далее Владимир Соловьёв приводит строчку из якобы знаменитого поэта Орловского – любовника Аллена Гинзберга: “*A rainbow comes pouring into my window, I am electrified*”, – сравнивает её со строчкой из Андрея Вознесенского “*Тишины хочу, тишины... Нервы, что ли, обожжены?*” – и заключает: “*Они писали, естественно, по-разному, но об одном и том же, эти “шестидесятники” <...> Скорее всего, там, в той жизни они уже давно встретились. В который раз*”.

Прочитал я все эти откровения и подумал: а не сужаю ли я понятие “шестидесятники” до детей “оттепели”, до “детей XX съезда КПСС”? А может быть, наше “шестидесятничество” было лишь частью “мирового шестидесятничества”, куда входили со своими противоестественными страстями и американские битники с лесбиянками, и французские студенты, совершавшие в 60-е годы антидеголлерскую и сексуальную революцию одновременно?

Но забавно то, что, если с нашей, стороны послем этой революции и главным “шестидесятником” был не образцовый мужчина Евтушенко, не brutальный Василий Аксёнов и не сентиментальный Булат Окуджава, а “обращённый” после первого же посещения Америки в религию битников неофит Андрей Вознесенский. После преклонения перед образом жизни американской битнической общины он разыскал в Европе не менее фанатичную ауру, поклонявшуюся фигуре сценариста и режиссёра Пьера Паоло Пазолини, и послал ему для налаживания метафизической связи стихотворный пароль, понятный лишь для посвящённых: “*Пазолини вёл на лежбище по Евангелию и Лесбосу!*” Не зря же Пьер Паоло Пазолини, задумав съёмку фильма “Евангелие от Матфея”, хотел сначала на роль Иисуса Христа пригласить Евгения Евтушенко, но потом предложил её какому-то молодому испанцу, непрофессиональному актёру, наделив, однако, образ Спасителя некоторыми своими чувственными пристрастиями! Фильм имел колоссальный успех в Италии, получив две премии Венецианского фестиваля, премию национального совета кинокритиков США и множество других наград, что свидетельствовало лишь об одном: Европа начинает обменивать свои вечные ценности на сексуальные побрякушки, свою средневековую аскезу на изощрённое, самоубийственное суперрастление XX века. Не случайно же не так давно датский парламент запретил совоплощения людей с животными лишь потому, что оно совершается без согласия животных, поскольку последние не могут говорить, а лишь мычат, лают и т. д.

В 1964 году Вознесенский не без протекции со стороны Аллена Гинзберга был приглашён на шабаш международной нечистой силы, прилетевшей в Лондон на элитарный вечер памяти Элиота в лондонском Альберт-холле. Под пером Вознесенского этот поэтический шабаш, на котором, видимо, был Воланд со товарищи, выглядел на зависть нашим “шестидесятникам” как собиение мирового значения: “**Обожали, переполняли, ломились, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, молились, раздевались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, надирались, отдавались, затихали, благоухали. Смердели, лорнировали, блевали, шокировались, не секли, не фурыкали, не волокли, не контакчили, не врубались, трубили, кускусничали, акулевали, клялись, грозили, оборжали, вышвыривали, не дышали, стонали, революционизировались, скандировали: “Ом, ом, оом, ооммм...”; “Овации расшатывали Альберт-холл”; “...съехались вожди демократической вольницы поэзии. Прилетел Аллен Гинзберг со своей вольницей. С нечёсаной чёрной гривой и бородой по битническому стилю тех лет <...> уличный лексикон был эпатажем буржуа <это была волна против войны во Вьетнаме>. Он боготворил Маяковского <...>**”

Эти сочные глаголы “кололись”, “надирались”, “отдавались” свидетельствовали о единой природе советских, американских, европейских и прочих “шестидесятников”. Неумолимый Аллен Гинзберг, дитя еврея и негритянки, приехал в Лондон без сопровождения Питера Орловски, но не унывал: рядом оказался Вознесенский, с которым они сдружились ещё в 1963-м и продолжали встречаться во всех уголках земного шара. Евтушенко, ревниво следивший за успехами и всякого рода подвигами Вознесенского, в книге “Талант есть чудо не случайное” (М.: Советский писатель, 1980) с одобрением заметил,

что **“в Австралии было совершено нападение на Андрея Вознесенского, которого по-братски защитили американские поэты Ферлингетти и Гинзберг”**.

Оказывается, Андрея Вознесенского эта парочка сопровождала в его рискованных поездках по всему миру и оберегала “по-братски”.

И. Вирабов в книге “Андрей Вознесенский” (М.: Молодая гвардия, серия ЖЗЛ, 2015) пишет: **“Ходили в друзьях у Аллена и русские поэты – и Евтушенко, и Соснора. В завещании Гинзберг специально выделил Вознесенского. Адвокат после смерти главного битника передал Андрею Андреевичу очки Аллена с розовыми стёклышками”** (с. 194). **“В воспоминаниях Андрея Андреевича изрядное число страниц отводится Аллену – и неспроста”** (там же. С. 195).

“Вместе с Вознесенским Гинзберг выступал по всему миру. Помимо американских городов, в Мельбурне, Париже, Берлине, Сиднее, Риме, Амстердаме; А. В. называл А. Гинзберга “брат мой певчий” (И. Вирабов. С. 197). **“Когда меня уж очень дома прижали, – пишет А. В., – он пошёл пикетировать советскую миссию ООН в Нью-Йорке с плакатом: “Дайте выездную визу Вознесенскому”**.

А вот чрезвычайно важное свидетельство об отношениях двух поэтов: **“Однажды Гинзберг рассказал в “Пари ревю” о том, как в первые дни знакомства накормил Вознесенского неким аналогом ЛСД. Тот не подозревал, чем дело обернётся: “молодой был, всё хотел познать. Вдруг откроется нечто?” Открылось, что без помощи врачей не обойтись... Вознесенский, как вспомни про это, так вздрогнет: “Двое суток я находился в состоянии “хай”, но воспроизвести видения оказалось невозможным. Вывел меня из этого состояния лишь поэтический вечер”** (там же. С. 198).

Конечно, все шабаши такого рода не могли не подействовать на впечатлительную душу нашего плейбоя и не могли не отразиться на его творчестве, попавшем под влияние таких “титанов”, как Аллен Гинзберг и Паоло Пазолини. А тут ещё в атмосферу “оттепели” ворвались порывы ветерка из Серебряного века, и Вознесенский разоткровенничался:

*Не Анна, Дон Жуан, твоя богиня,
на Командоре поженись!
Влеченье через женщину к мужчине —
Дон Жуанизм.*

*Любил ли Белый Любу Менделееву —
он Блока в её образе любил.*

Можно только представить себе радость поэтов “нетрадиционной ориентации” – Михаила Кузмина и героя ахматовской “Поэмы без героя” Всеволода Князева, если бы они дожили до появления в мире поэзии Вознесенского, воспевшего их традиции! Да и Марина Цветаева, конечно, поприветствовала бы понимание Вознесенским глубины современного феминизма:

*Я тебя, сестричка, полюбила в хмеле,
мы с тобой прозрели в ледяной купели.
Давай жить нарядно, поступим в институт.
Фабричные фискалки от зависти полмрут.*

Побывав в 1961 году в США и став своим человеком в “республике битников”, увидев, какой бешеный культ создаётся вокруг имён Аллена Гинзберга, Питера Орловски, Ферлингетти и других идолов американской молодёжи, Вознесенский, возвратясь на родину, нащупал связи “шестидесятничества” с плеядой обезбоженного Серебряного века: **“Тайные мои Цветаевы”, “невыплаканные Ахматовы”, “Кузмин Михаил – чародей Петербурга”, “Люб мне Маяковский – командор, гневная Цветаева-медуза, мускусный Кузмин и молодой Заболоцкий – гинеколог музыки”**. При этом Вознесенский, конечно, не мог не знать о том, что Ахматова исповедовала истину – **“поэтам – вообще не пристали грехи”**, что Цветаева была наложницей у поэтессы Софьи Парнок и воспела эту страсть в стихах о “подруге”, что о Михаиле Кузмине

(“**чародеи Петербурга**”, по Вознесенскому) “прощавшая поэтам” грехи Анна Ахматова в “Поэме без героя” вспоминала с ужасом и смущением: “**Перед ним самый смрадный грешник — воплощённая благодать**”. В 1918 году М. Кузмин издал книгу своих стихотворений “Занавешенные картинки” с иллюстрациями некоего Милашевского. И стихи, и картинки этой книги были образцами вульгарной порнографии, которая в послевоенное время появлялась на заборах моей Калуги.

Но этого мало. Восторженно-косноязычные похвалы кумирам Серебряного века у Вознесенского подкреплялись развязными поношениями христианских символов: “**Чайка — плавки Бога**”, “**И Христос небес касался лёгкий, как дуга троллейбуса**”, “**Крест на решётке — на жизни крест**” (о монашеской судьбе), “**Человека создал соблазн**”, “**Я святою водою залил радиатор**”, “**Нам, как аппендицит, поудалили стыд**”, “**Реабилитирую понятие греха**”. . . Я уж не говорю о хулиганских плевках поэта в адрес выдающихся творцов русской культуры: “**Слушая Чайковского мотивы, натягивайте на уши презервативы**” и т. д.

А в поэме “Андрей Палисадов” духовное “дитя Маяковского” дошло до предела в изысканных кощунствах над святынями Православия:

*Это было в марте, в вербном шевелении.
“Милый, окрести меня, совершеннолетнюю!
Я разделась в церкви — на пари последнее.
Окрести язычницу совершеннолетнюю.
Я была раскольницей, пьянью, балериной.
Узнаёшь ли школьницу, что тебя любила?
Глаза — благовещенские, жёлтые, янтарные.
Первая из женщин я вошла в алтарную”.*

По сравнению с этой изошрённой словесностью бесноватые пляски “Пусси райт” кажутся детским лепетом, или, по крайней мере, мелким хулиганством, за которое наши плясуньи получили, как мне помнится, какие-то сроки лагерной жизни, в то время как Вознесенский получил за своё эффектное посрамление церковной жизни Государственную премию.

“**Душа — совмещённый санузел**” — вот чем восхищался поэт, известный всему западному миру, получавший в десятках академий Европы и Америки дипломы о почётном членстве. А в это же время мало кому известный, полунидий, бездомный Николай Рубцов трогательно и застенчиво разговаривал со своей душой, как с даром, полученным свыше:

*До конца,
До тихого креста
Пусть душа останется чиста.*

*Перед этой жёлтой захолустной
Стороной берёзовой моей,
Перед жнивой пасмурной и грустной
В дни осенних горестных дождей,
Перед этим строгим сельсоветом,
Перед этим стадом у моста,
Перед всем старинным белым светом
Я клянусь: душа моя чиста.*

*Пусть она останется чиста
До конца,
До смертного креста.*

* * *

Евгений Евтушенко в книге “Талант есть чудо неслучайное” подробно рассказал о своём участии в эпохальных поэтических сборниках. Есть в этой книге глава “Диктатура пляжа”, описывающая, как проходил в семидесятых годах

прошлого века всемирный фестиваль поэзии на диком итальянском пляже недалеко от местечка, где был зверски убит Пазолини. Евтушенко, вспоминая последний фильм Пазолини “Соло, или 120 дней Содома”, красочно изображает международную толпу поэтов, накаченных алкоголем, марихуаной, кокаином и **“вступающих в разнополюе и однополюе отношения”**. Правда, не легко понять, то ли он ужасается, то ли радуется тому, что советские поэты, сломав “железный занавес” (одна из глав так и называется – “Осколки железного занавеса”), наконец-то попали в объятия свободных от всех предрассудков интеллектуалов Западного мира:

– Ты когда-нибудь видел что-либо подобное? – спросил я своего старого сан-францисского друга Лоуренса Ферлингетти.

– Нет! – мы оба ушли со сцены. На десять часов назначили военный совет”.

А что они могли сделать против этой стихии? Чудовище, которое все они сообща вскармливали, вырвалось на волю, и никакой “железный занавес” не мог остановить его.

Даже Аллен Гинзберг, естественно, бывший там, *“предложил не сдаваться хаосу”*. Но его заглушили *“Энн Чолман и Питер Орловски, которые читали стихи не только голосом, но переходили на пение, из магнитофонов лился собачий лай и рёв паровозов”*.

Читая эти страницы евтушенковских воспоминаний, я понял, что он был унижен и оскорблён не картинами этого “фестиваля”, а лишь тем, что вся эта содомитская пьяная толпа орала и не слушала никого – ни Гинзберга и Ферлингетти, ни – и это самое главное – его, поэта с мировым именем, и ему пришлось смириться с этой стихией и кое-как оправдать её: *“Стихи были криком против милитаризма, криком против загрязнения окружающей среды, как технического, так и духовного”*. Но мистическая сущность фестиваля заключалась в том, что вся эта “содомская каша” заваривалась рядом с местом, где, по словам самого Евтушенко, **“убили Пазолини, убитого ещё до этого самим собой”**. Да, Пазолини, в конце концов, пришёл “по лезвию” не на какое-то евангелическое “лежбище”, а в грязный вонючий гараж, где его ждали не Сафо и нимфетки с Лесбоса, и не прекрасные юноши – дети Гермеса и Афродиты, а уличные римские волчата, продавцы дешёвых сексуальных утех, ударившие его ножом, якобы потому, что он недоплатил им за указанные услуги, а потом переехавшие всеми четырьмя колёсами своего авто умирающее тело “шестидесятника”, создателя кинофильмов “Декамерон”, “Кентерберийские рассказы”, “Царь Эдип”, “Евангелие от Матфея” и великого грешника, всю свою жизнь метавшегося между атеизмом, католицизмом, коммунизмом и гомосексуализмом.

* * *

Но помимо давления на чувства Вознесенского тлетворного воздуха, каким дышали Паоло Пазолини, Аллен Гинзберг и иже с ними, немалую роль в жизни поэта играла домашняя “шестидесятническая” атмосфера, которая обволакивала его в Лужниках, в Политехническом, в Переделькино, в сталинской высотке на Котельнической набережной...

“Нас мало, нас, может быть, четверо... И всё-таки нас большинство”, – похвалялся не без оснований Андрей, имея в виду себя, Аксёнова, Ахмадулину и Окуджаву. Но он поскромничал. На самом деле их было – если вспомнить только литераторов, во время “холодной войны” и в 90-е годы уехавших в Америку, во Францию, в Англию, в Германию, в Израиль, – несколько сотен. О том, как они жили в Советском Союзе, как боролись со “сталинизмом”, с “тоталитаризмом”, с “цензурой”, с “кровавой гебнёй”, подробно и откровенно рассказала в нескольких телепередачах, посвящённых 85-летию А. Вознесенского, в мае 2018 года его вдова. Деловито, ничуть не смущаясь, Оза рассказала о вечеринках её молодости в элитных московских квартирах, где после хмельных застолий “золотая молодёжь” удалялась в спальни, располагалась парами, *“ложились звёздочками”*, уточняла Оза. Ну, разве после такого “свального греха” можно было удивить Андрея Вознесенского альбертхолльской оргией, где *“раздевались, надирались, отдавались”*,

или мичиганскими знойными ночами после приёма наркотика ЛСД в компании с Алленом Гинзбергом и Питером Орловски? “Верующих среди нас не было, — вспоминала Оза. — Жутко быстро менялись жёны и любовницы, как в Серебряном веке”.

Особенно восторгалась она Аксёновым: “У Васи были притязания быть первым писателем. У него была столь крупная харизма, что он всегда чем-то руководил. Он был приверженцем рок-эн-ролла. <...> Ему было тесно среди советских людей”, “Он хорошо одевался”, “Его языком разговаривало поколение”, “Он был русским западником и в то же время евреем, он был гражданином мира”, “Пройдёт сто лет, но в русской литературе останутся “Ожог” и “Апельсины из Марокко”... “Проза для гимназистов”, — Как говорил Валентин Распутин об Аксёнове с его “Апельсинами”. —

Во время телепередачи рядом с Озою сидел стихотворец, носящий изысканный псевдоним “Вишневыский” и восторженно поддакивал Озе, когда речь заходила о Вознесенском: “Его великие стихи стали песнями, стали достоинством республики”. Рядом с ней сидела дочка Роберта Рождественского и, наверное, поэтому Оза вспомнила о самом что ни на есть советском (“по национальности — я советский”) поэте-”шестидесятнике”: “Роберт — это скала. Он был неотразимым мужиком, — и на всякий случай добавила: —И Аллу (свою жену. — **Ст. К.**) боготворил”.

Весьма важными были воспоминания Богуславской об Окуджаве, о его смерти в Париже: “Конечно, он был атеистом. А в Париже я оказалась как представительница Пен-клуба от России, и поставила всех представителей Пен-клуба на ноги, и объявила минуту молчания: умер Булат”. За все свои деяния и книги, ныне забытые, Богуславская стала заслуженным работником культуры, академиком российской Академии художеств, заведующей отделом литературы в Комитете по Ленинским и Государственным премиям, автором проекта премии “Триумф” и фонда “Триумф”, созданных на деньги Березовского, и т. д. Благодаря ей в США вышла книга Вознесенского с предисловием Артура Миллера и в то же время в Советском Союзе вышла книга Артура Миллера с предисловием Вознесенского.

Вспоминая о том, какой международной поддержкой пользовалось советское “шестидесятничество”, Богуславская откровенничает: “Андрея, который встречался с Кеннеди, был в Париже, подверг позору Хрущёв, который выгонял его из Советского Союза. Но у меня уже был ордер на квартиру в высотном доме на Котельнической. Пошли её смотреть, батареи обгрызаны крысами. Но рядом живут Уланова, Паустовский”. Это успокоило нашу шестидесятницу.

Услышав это, я вспомнил стихи Слуцкого из “сталинского цикла”: “Я шёл всё дальше, дальше и предо мной предстали его дворцы, заводы — всё, что построил Сталин, высотных зданий башни, квадраты площадей. Социализм был выстроен, поселим в нём людей”.

Бедный Слуцкий! Он не знал, что “высотные здания”, построенные Сталиным, в 60-е годы уже были заселены антисталинистами — Евтушенко, Вознесенским, Паустовским и прочими “шестидесятниками”. И никаких других “людей” в этих номенклатурных квартирах с батареями, якобы “обгрызанными крысами”, и быть не могло. Ни Василия Шукшина, ни Юрия Кузнецова, ни Вадима Кожинова в эти суперапартаменты ни за что бы не поселили. Вот Евгения Евтушенко — другое дело! Приблизительно в то же время он получил подобную же суперквартиру в высотке, где располагалась гостиница “Украина”. Наши “шестидесятники” быстро научились торговать своей оппозиционностью и дорого продавать её высшей власти. В этом смысле они, действительно, были “легендарными”...

Поскольку Вознесенский во всём пытался подражать Маяковскому, то нравы бриковского салона и культ Лили Брик для него и для Богуславской были обязательным ритуалом. У Озы и Лили на определённых этапах жизни даже фамилии совпадали: Лили Брик в девичестве, а Богуславская после одного из своих замужеств носила одну и ту же комиссарскую фамилию персонажа из поэмы Эдуарда Багрицкого “Дума про Опанаса”. Ну, как тут не вспомнить пророческие слова Георгия Свиридова о власти “мировой антрепризы” над судьбами людей русского искусства, о передаче этой власти после самоубийства Лили Брик в руки Майи Плисецкой. Не потому ли после того, как импульсивный Хрущёв криком кричал на Вознесенского в Кремлёвском дворце

во время встречи с творческой интеллигенцией, в квартиру Вознесенского и Озы, в сталинскую высотку заявили гости – сенатор Эдвард Кеннеди с супругой в сопровождении посла Соединённых Штатов Америки. С каким восторгом об этом рассказывала Оза с телеэкрана, как будто это были самые счастливые дни в жизни её и Андрея! А когда гости ушли и выяснилось, что мадам Кеннеди забыла сумочку с документами и валютой, радости Озы и Андрея не было предела: они могут позвонить американским гостям, услужить им и ещё раз увидеть их, чтобы продолжить общение с такими людьми! С каким восторгом и упоением вещала об этом случае Богуславская, радуясь тому, что в это время кагэбешники, висящие, по словам Озы, “на пожарных лестницах”, в бессильной ярости кусали губы, осознавая свою беспомощность перед кланом Кеннеди. Вспоминая об этом случае, Оза негодовала: **“Как мог Хрущёв кричать на Вознесенского после того, как последнюю принимала семья Кеннеди, президент Франции Миттеран, после того, как великий писатель Артур Миллер написал предисловие к книге Андрея Вознесенского, вышедшей в Америке, и вообще – кто такой Хрущёв по сравнению с Вознесенским, поэтом с мировой славой!”**

Тем не менее, Вознесенский умудрялся одновременно с прославлением Аллена Гинзберга и Паоло Пазолини, с восхищением образом жизни битников и хиппи создавать культ Ленина, понимая, что жить и работать ему всё-таки придётся в другой стране и в другой идеологии.

Поэма “Лонжюмо”, написанная в 1963 году, открыла Андрею двери во все идеологические кабинеты, во все советские издательства и во все зарубежные страны, может быть, ещё и потому, что речь в ней шла не только о Ленине:

*В драндулете, как чёртик в колбе,
изолированный, недобрый
среди великодержавных харь,
среди ряс и охотнорядцев
под разученные овацции
проезжал глава эмиграции —
царь!*

По Вознесенскому, Ленин во французском Лонжюмо чувствует себя, как на родине, а царь, находясь в России, – как эмигрант. И это написано с хамским вдохновением не только о российском великомученике, но и обо всей его семье, зверское убийство которой уже давно признаётся одним из самых гнуснейших преступлений XX века. Такие стихи мог бы написать Яков Юровский, первым в упор выстреливший в императора, либо Исай Голощёкин, принимавший как член Екатеринбургского облсовета решение об убийстве царской семьи, либо Пинхус Лазаревич Войков, растворивший при помощи серной кислоты останки несчастных жертв, либо Яков Свердлов – режиссёр всей этой трагедии.

Однако эти стихи написаны не цареубийцей, а поэтом, считавшим себя и русским, и знаменитым, и либеральным. В своём хулиганском исступлении он вдоволь поглумился и над Николаем Романовым, и над его верной супругой, и над больным сыном, и над девочками-царевнами... Все они для него – “великодержавные хари”. Заодно поэт плюнул в лицо всем “охотнорядцам”, расстрелянным в годы революции и гражданской войны “без суда и следствия”, как того требовал декрет “О борьбе с антисемитизмом”, сочинённый Яковом Свердловым и подписанный Лениным, а также в лицо всем великомученикам и подвижникам русской церкви, поставленным к “стенке” “комиссарами в пыльных шлемах”. Он нашёл для этих жертв одно уничижительное слово – “рясы”.

Перечитываю эти несколько стихотворных строк и ужасаюсь, как будто вернулись к нам 30-е годы, когда среди расстрельной команды, вдохновляемой Юровским, вспыхивали жаркие споры – кто первый всадил пулю в отца Семейства, кто – в Александру Фёдоровну, кто – в наследника... Но ведь “Лонжюмо” была написана после XX “шестидесятнического” съезда КПСС и после XXII, демонстративно “антисталинского”. Вроде бы нравы должны были смягчиться! Ан нет... Какое кроваво-грязное клеймо поставила на всём “шестидесятничестве” эта, с позволения сказать, поэма... Особенно злободневны такого рода мысли в наши дни, когда ежегодно 17 июля многочисленные

людские толпы проходят пешком со свечами в руках крестный путь от “Церкви-на-Крови”, возведённой на месте Ипатьевского дома, до “Ганиной Ямы”.

Однако “ничто на земле не проходит бесследно”. Поскольку ленинские “заклинания” и “камлания” были священными для Вознесенского (кроме “Лонжюмо”, он изваял “Секвойю Ленина” и “Уберите Ленина с денег, он для сердца и для знамён. . .”), этот почти религиозный культ стал для него столь родным, что в последние годы жизни поэт, которого Оза вывозила на TV-шоу в кресле-каталке, стал походить на своего кумира (особенно выражением лица), сидящего после инсульта на известной фотографии, сделанной в Горках в 1923 году рядом с Крупской, с полуоткрытым ртом и бессмысленным взглядом.

Согласно русским православно-народным обычаям, недостойно глумиться над усопшими. Какими бы они ни были при жизни. “Мне отмщение, и аз воздам” – вот по какому нравственному закону жили наши предки. Вознесенский же поглумился не только над несчастным семейством Романовых. Он успел поглумиться и над Сталиным после того, как в марте 1953-го побывал в Колонном зале Дома Союзов, где народ прощался с вождём. Но наш поэт пришёл туда не на прощанье, а для того, чтобы оставить в своих воспоминаниях слова о том, что покойный вождь, “топорща усы, лежал на спинке, подобный жуку, скрестившему лапки на груди. Есть такая порода жуков “притворяшка-вор”, который притворяется умершим, а потом как прыгнет”.

Впрочем, А. В. был не оригинален – карикатурные изображения Сталина, творящего из Мавзолея свои злые дела, оставили и другие “шестидесятники” – Е. Евтушенко, П. Вегин, А. Галич.

А ко всему сказанному надо добавить ещё то, что отец Вознесенского, один из крупнейших руководителей по строительству сталинских гидростанций, был кавалером двух орденов Ленина, двух – Красного Знамени, ордена “Знак Почёта” и т. д. Так что А. В. стал подлинным “шестидесятником” ещё и в том смысле, что, как все они, испытывал “к предательству таинственную страсть”, предавая дело отца, работавшего на Сталинскую эпоху.

* * *

Память моя сохранила многие разговоры композитора Георгия Васильевича Свиридова о жизни людей искусства в 30-е годы, о “шестидесятниках” “оттепели”, обо всём том, что впоследствии вошло в его удивительную книгу “Музыка как судьба”. . . И о “шестидесятниках” он рассуждал с холодным сарказмом и точностью историка.

“Прочитал стихи поэта Вознесенского, целую книгу. Двигательный мотив поэзии один – непомерное, гипертрофированное честолюбие. Непонятно, откуда в людях берётся такое чувство собственного превосходства над всеми окружающими. Его собеседники – только великие (из прошлого) или, по крайней мере, знаменитые (прославившиеся) из современников, неважно – кто, важно, что “известные”.

Слюнявая, грязная поэзия, грязная не от страстей (что ещё можно объяснить, извинить, понять), а умозрительно, сознательно грязная. Мысли – бедные, жалкие, тривиальные, при всём обязательном желании быть оригинальным. . .

Претензии говорить от “высшего” общества. Малокультурность, нахватанность, поверхностность. “Пустые” слова: Россия, Мессия, Микеланджело, искусство, циклотрон (джентльменский набор), “хиппи”, имена “популярных” людей, которые будут забыты через 20–30 лет.

Пустозвон, пономарь, болтливый, глупый парень, бездушный, рассудочный, развращённый. . .

Жалкие мысли, холодный, развращённый умишко, обязательное разложение, обязательное религиозное кощунство. Но хозяина своего хорошо знает и работает на него исправно. Им говорят: “Смело идите вперёд, не бойтесь ударов в спину. Мы вас защищаем!” И защищают их хорошо, хвалят, превозносят, не дают в обиду” (Г. Свиридов. “Музыка как судьба”).

Увы! Свиридов, к сожалению, был прав. Читая воспоминания Вознесенского, то и дело поражаешься тому, как он гордился знакомствами с известными

кумирами своего времени: Роберт Кеннеди, Артур Миллер, Генри Мур, Мэрилин Монро, Аллен Гинзберг, Марк Шагал, Миттеран, Луи Арагон, Рональд Рейган, Эдвард Кеннеди... Всех "прорабов духа" не перечислить, и подобострастия его перед ними – не измерить! "Думал ли я, – пишет Вознесенский, – что через несколько лет буду читать свои стихи Пикассо? Под лампой на тумбочке – альбом его грациозно-эротической графики". А с каким упоением рассказывает поэт о том, как некая молодая журналистка двадцати семи лет вышла замуж за своего чуть ли не восьмидесятилетнего кумира Пабло и, какое-то время поспав в его кровати, выстрелила себе в рот из пистолета настолько удачно, что раздробила свою молодую голову. С какой гордостью он вспоминает, что ему тоже посчастливилось спать "в кровати Пикассо"! Как хотелось всем нашим плейбоям-"шестидесятникам" сыскать признания своих собратьев по "шестидесятничеству" из Западного мира! С каким придыханием тот же Евтушенко рассказывает в поэме "Фуку" о том, что его удостоил своим вниманием художник Сальвадор Дали! С каким подобострастием рассказывает он же в книге "Волчий паспорт" о том, что его принимал президент Никсон, что Роберт Кеннеди пригласил его в свой дом, чтобы выпить шампанского и сообщить, что под псевдонимами "Абрам Терц" и "Николай Аржак" скрываются Даниэль и Синявский, издававшие антисоветские книги на Западе. Конечно же, от Евтушенко об их авторстве узнало ведомство Семичастного, начался судебный процесс над ними, в ответ западная пресса подняла страшный хай, который заглушил мировой протест против преступлений американской военщины во Вьетнаме... Что и нужно было американцам.

Из книги Г. Свиридова "Музыка как судьба":

"Нельзя не обратить внимания на появившуюся в последнее время тенденцию умалить, унизить человеческую культуру, опозлить, огадить великие произведения человеческого духа. Многочисленным переделкам и приспособлениям подвергаются многие выдающиеся произведения.

Миф о Христе, одно из величайших проявлений человеческого духа, человеческого гения, подвергается систематическому опозлению, осмеянию, не впервые".

Эти мысли Свиридов записал в свой дневник после того, как прочитал строчки из Вознесенского: "Христос, а ты доволен ли судьбою? – Христос: Вполне! Только с гвоздями перебой".

Казалось бы, непревзойдённые образцы кощунства оставил после себя Аллен Гинзберг, изобразивший в стихах своё лицо как детородный орган матери, породившей его на свет Божий, как "бородатую вагину". Но ведь он покощунствовал и поглумился всего лишь над матерью... Андрей Вознесенский переплюнул своего американского "собрата"-соперника – он глумливо замахнулся на самого Спасителя и на великую голгофскую трагедию.

* * *

В отличие от Е. Е., который, как обученный на распознавание наркотиков фокстерьер, вынюхивал всю жизнь, где таится и где высовывает голову русский антисемитизм, А. А. взял на себя другую часть русофобии – насаждение циничной и развязной обезбоженности, глумливое осмеяние православного мира, издевательство над монашеским призванием молодых русских людей. Евтушенко хоть успел обвенчаться с последней четвёртой женой и над церковью и верой не глумился. Просто не замечал этой великой основы русской истории и русской жизни. А Вознесенский?.. Что, в Америке не было у кого поучиться уму-разуму? Но ведь в те годы, когда его воспитание завершал Аллен Гинзберг, на востоке страны жил легендарный человек Серафим Роуз. Ровесник Вознесенского. В юности битник, он прошёл все соблазны хипповской жизни, но потом, заморожённый мудростью буддизма, был его верным адептом до той поры, пока его не поразило своей глубиной, душевностью и красотой наше русское Православие. Но Вознесенский вместо того, чтобы прийти в келью к Серафиму Роузу, постучался в Содомские ворота к Аллену Гинзбергу.

Однако не все "шестидесятники" (я рассматриваю "шестидесятничество" как явление не хронологическое, а мировоззренческое) были облагодетельствованы заботами "мировой антрепризы". Многие из них, как это и бывает

в “обезбоженные” времена, стали жертвами не просто болезней, но эпидемии самоубийств. Многих детей “оттепели” и перестройки поразила эта смертоносная инфекция Серебряного века. Вспомним судьбу Геннадия Шпаликова, Ильи Габая, Вадима Делоне, Юрия Карабчиевского, Анатолия Якобсона, Леона Тоома, Нины Бенуа, Бориса Примерова, Вячеслава Кондратьева, Юлии Друниной, Бориса Рыжего, Ники Турбиной, Александра Башлачёва и многих, многих других. Да и Высоцкий, по существу, почти довёл себя до самоубийства.

А что касается “мировой антрепризы”, то Георгий Свиридов был прозорлив. Вот какие письма, оберегающие Вознесенского, слал будущий “архитектор перестройки” А. Н. Яковлев из Канады руководству Союза писателей СССР:

“ПОСОЛЬСТВО СССР В КАНАДЕ

01 ноября 1982 г.

Г. Оттава Исх. X 900

СЕКРЕТАРЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Тов. ФЕДОРЕНКО Н. Т.

Уважаемый Николай Трофимович.

Выступление поэта Андрея Вознесенского на международном фестивале Харборфронт в Торонто было успешным и полезным. Положительные для нас репортажи о выступлении передавались по телевидению, радио и в прессе. В фестивале не участвовали эмигрантские писатели, которые в предыдущие годы выступали в чтениях с антисоветских позиций. По существу, направление А. Вознесенского в этом году на фестиваль закрыло его для антисоветских эмигрантских писателей.

А. Вознесенский выступил также с чтением своих произведений в Макгильском университете (Монреаль) и на встрече с группой поэтов в г. Оттаве.

В беседах с советскими представителями организатор фестиваля Грег Гэтенби высказал заинтересованность в приезде советского поэта на очередной фестиваль 1983 года.

Учитывая успех нашего участия в фестивале 1982 г., считал бы целесообразным предусмотреть в планах Союза Советских Писателей СССР направление советского поэта на фестиваль 1983 г. Кроме того, представляется полезным передать Г. Гэтенби приглашение посетить Советский Союз желательно для участия в одном из литературных мероприятий, проводимых СССР. Конкретные соображения на этот счёт имеются у поэта А. Вознесенского.

Посол СССР в Канаде А. Яковлев”.

“Архитектор перестройки” знал, кого приглашать в Канаду, поэтому такого рода документы чрезвычайно интересны... Они, в первую очередь, свидетельствуют о том, кто во времена “цензуры”, “тоталитаризма” и “диктата КПСС” постоянно ездил за границу и почему. Конечно, никакой Николай Рубцов или Анатолий Передреев и мечтать не могли о том, чтобы посмотреть мир. Настоящими “невъездными” (в том смысле, что их никогда не включали ни в какие зарубежные делегации) были Дмитрий Балашов, Владимир Личутин, Николай Тряпкин, Виктор Лихоносов, Фёдор Сухов, Юрий Селезнёв, Татьяна Глушкова, Александр Вампилов, Глеб Горбовский, Виктор Коротаяев, Сергей Семанов, да и многие другие талантливые русские поэты, прозаики, критики. Но валюты на них не хватало. Её тратил Роберт Рождественский, всегда выезжавший при содействии “мировой антрепризы” в “загранку” с женой Аллой Киреевой.

* * *

Объехав полмира и разузнав, что на Западе ореол “секс-символа” значительно повышает статус поэта, артиста, киногероя, что это звание с гордостью носят Юл Бриннер и Мэрилин Монро, Элвис Пресли и Фрэнк Синатра, Андрей Вознесенский решил позаставать это звание у американцев и внедрить его в жизнь советских “шестидесятников”, хотя у нас никакими секс-символами до

пресловутых 90-х не считались ни Любовь Орлова, ни Зоя Фёдорова, ни Клавдия Шульженко, ни Олег Стриженов, ни Евгений Урбанский, ни Вячеслав Тихонов... Более того, я помню, как в 60-е годы, когда в нашем кругу один из известных литераторов, взалёб любивший рассказывать о своих сексуальных победах, получил у нас прозвище не “секс-символ”, а “попс”, что означало “половой психопат”. Понятно, что ничего в этом ярлыке “возвышающего” не было...

Правда, с нашим поэтом-плейбоем всё случилось иначе. На сексуальные подвиги он был подвигнут героиней своих книг, которая носила таинственное имя “Оза”. “Сказала: будь смел! — не вылезай из спален”, — простодушно признавался поэт, выполнявший желание Озы, чтобы он стал секс-символом. Может быть, это было связано с репутацией семьи на Западе, или, как бы сказали сегодня, с “семейным бизнесом”? Как бы то ни было, но однажды случилось так, что его лирический герой оказался вместо очередной спальни в женском туалете, где встретил вдрабадан пьяную прекрасную незнакомку и попытался объяснить ей в своих чувствах. Драматизм этой сцены потрясающий: “И стало ей плохо на все его брюки”, “. . . О, освободись! Я стою на коленях, целую плечо твоё в мокром батисте, отдай мне своё естество откровенно! Освободись же! Освободись же!” Справедливо, что эту сексуально-уникальную трагедию с призывом “освобождения” от всех лицемерных условностей критик-“шестидесятник” Ю. Болдырев в одной из статей прокомментировал так: “Интерес к людям с безымянным мужеством совести и безнаградно совершающим подвиг помощи и взаимовыручки”.

Как бы то ни было, но вполне возможно, что все “подвиги Геракла”, которые совершил наш секс-символ — в “спальне”, в “туалете” и даже в “алтаре” — были следствием усердного усвоения нравов во время его “хиппования” на берегах Мичигана.

* * *

После разрушительной и очистительной революционной бури семнадцатого года казалось, что все питерские “Бродячие собаки” и “Башни”, все “Привалы комедиантов” и московские “Кафе поэтов” превратятся в руины. Но, пережив ужасы гражданской войны и голодные годы военного коммунизма, они вдруг зашевелились — богемно-салонный быт начал возрождаться, и одним из самых модных стал салон Бриков, ставший знаменитым благодаря тому, что именно в нём мучился творческими и любовными муками Владимир Маяковский... Кумир Вознесенского, сын Серебряного века, провозгласивший ещё в 1912 году в “Пощёчине общественному вкусу” новое футуристическое “кredo жизни”: “**Долой ваш строй, долой вашу мораль, долой ваше искусство, долой вашу религию!**”, “Архангел-тяжелоступ”, как называла его Марина Цветаева, отвергал все традиционные устои жизни. Но жизнь платила Маяковскому той же монетой: не хочешь естественной человеческой любви — живи в “тройственном союзе” с Осей и Лилей; не хочешь жить среди русского простонародья, как жил в те годы Есенин, — живи в окружении чекистских комиссаров, постоянно пирующих в бриковском особняке; будешь проклинать родную православную веру (“мешают писателю чортовы купола”, “проклятый Страстной”) — прославляй “небоскрёбы” и “Бруклинский мост”.

А в стихотворении “Император” выдающийся поэт революции Владимир Маяковский писал о Николае Втором так, словно бы благословлял на хулиганское кощунство будущего автора “Лонжюмо” и своего эпигона:

*И вижу — катится ландо,
и в этой вот “ланде”
сидит военный молодой
в холёной бороде.
Перед ним, как чурки,
четыре дочурки...*

Маяковского ещё можно как-то понять — постоянными гостями у Бриков были видные чекисты той эпохи: Агранов, Волович, Горожанин, которые, как мухи на мёд, слетались на вечерние застолья, где царила их общая “Клеопатра” —

хозяйка салона, где её несчастный поэт-воздыхатель писал поэмы, посвящённые ей и рифмованные славословия чекистам, её окружавшим. Он, издававшийся над безвинно убиенными Романовыми, “третий лишний” в семье Бриков, в конце концов, наложил на себя руки. Может быть, это был перст судьбы, расплата за кощунственное издевательство над униженными, оскорблёнными и побеждёнными. . .

О стиле жизни хозяйки этого салона юрист Аркадий Ваксберг писал с подлинным знанием в ЖЗЛовской книге “Лиля Брик”:

“Поклонники сменяли друг друга, она не успевала их всех толком запомнить, и годы спустя, восстанавливая в дневниковых записях этапы своих амурных побед, путала очерёдность, с которой эти поклонники возникали и исчезали, путала даты и даже имена”; “неуёмная потребность в коллекционировании незаурядных людей своего времени, боязнь кого-нибудь упустить. Гарантию же прочности уз в её представлении могла дать только постель”.

Слова А. Ахматовой из “Записок об Анне Ахматовой” Л. К. Чуковской:

“Мне о Лиле Юрьевне рассказывал Пунин: он её любил и думал, что она его любила <...> Лиля всегда любила “самого главного”; Пунина — пока он был самым главным”.

Действительно, Л. Ю. Б. “коллекционировала” самых успешных, самых честолюбивых, самых близких к власти или обладавших ею: Маяковского — главного поэта эпохи; бывшего премьер-министра Дальневосточной республики, председателя промбанка А. Краснощёкова (настоящее имя Фроим-Юдка Мовшев Краснощёк); второго человека в ОГПУ Якова Агранова (Сорензона); героя гражданской войны Виталия Марковича Примакова. . . В промежутках на короткое время рядом с ней возникали режиссёр Всеволод Пудовкин, писатель Юрий Тынянов, солист Большого театра Асаф Мессерер. . . Все эти имена взяты из книги А. Ваксберга.

В сущности, “шестидесятники” в какой-то степени были поражены тем же вирусом “коллекционирования знаменитостей”, и это своеобразное душевное заболевание можно назвать “комплексом Л. Ю. Б.”. Об этом убедительно пишет автор книги “Андрей Вознесенский” И. Виравов (ЖЗЛ):

“Они носились по миру, будто наперегонки, получали мандаты одних академий и университетов, знакомились, дружили с одними и теми же знаменитостями, будто соревнуясь”. Да и отношения А. В. с Л. Ю. Б., по мнению того же Вирабова, были неслучайными: “Вознесенского она приблизила к себе во времена, когда ему особенно нужна была поддержка: позвонила после выхода футуристической “Треугольной груши”, после хрущёвского окрика в Кремле”. Бриковский комплекс “коллекционирования знаменитостей” у Вознесенского развивался, как и у всех остальных “шестидесятников”, поскольку они все чувствовали себя принятыми в “мировую антрепризу”:

Родион Щедрин: *“С Андреем мы встретились в квартире Лили Юрьевны Брик. Вообще в моей судьбе её салон сыграл большую роль”.*

Майя Плисецкая: *“У Бриков всегда было захватывающе интересно <...> К концу пятидесятых, думаю, это был единственный салон в Москве”.*

А. Вознесенский: *“Познакомила нас Лиля Юрьевна Брик. Оказалось, что русский композитор в то время замыслил “Поэторию” по моим стихам”.*

З. Богуславская: *“Атмосфера в “салоне Брик” окутывала и очаровывала: у неё был уникальный талант вкуса, она была камертоном нескольких поколений поэтов. Ты шёл в её салон не галстук показать, а читать своё, новое, волнующее — примет или не примет?”*

Болгарский поэт Л. Левчев: *“Она подарила мне несколько фотографий с её автографом. На одной из них, где она сидит вместе с чекистом Бриком и футуристом Маяковским, Лиля Юрьевна начертала: “На память о нашей дружной семье”. . .” Эта “дружная семья” для А. В. и Озы была одновременно и “мировой антрепризой”, о чём они взахлёб сообщали urbi et orbi:*

“Кумиром моей юности был Пикассо “Уже второй день Гюнтер Грасс пишет с меня портрет”. “Сэр И. Берлин — один из самых образованных и блестящих умов Европы”; “Жаклин, уже не Кеннеди, а Онассис, была для меня одной из самых дорогих и необходимых мне фигур западной культуры. Она бывала на моих вечерах, когда находилась в Нью-Йорке”; “Пьер Карден, вдохновлённый Вознесенским, позвонит напрямую Юрию Андропову”; “Вознесенского на полчаса примет Папа Римский в Ватикане”; “С Рональдом Рейганом, бывшим артистом, доигравшимся до роли президента США, Вознесенский

беседовал в Белом доме”; “Когда наша власть не выпускала меня из страны, Роберт Кеннеди послал приглашительную телеграмму. Мне сразу дали выездную визу”. И так далее. И тому подобное. Как он начал “американизироваться” в начале 60-х, познакомившись с Алленом Гинзбергом и его битниками, так и продолжал до конца жизни жить Америкой, тосковать по Америке, хвастаться своими связями с именитыми людьми этого монстра. Маяковский – тот хоть писал: “Я в восторге от Нью-Йорка города, // но кепчонку не сдеру с виска, // у советских собственная гордость – // на буржуев смотрим свысока”...

Вспоминая нравы бриковского салона, теоретик литературы и литературовед Лидия Гинзбург приводит слова Маяковского о том, в каких обстоятельствах ему приходилось жить в Гендриковом переулке: “По сравнению с тем, что там делалось, публичный дом – прямо церковь. Туда хоть днём не ходят; а к нам целый день и всё бесплатно”.

Во “Флейте-позвоночник” (1915) юный Маяковский, ещё до конца не сдавшийся этой семейке, ужаснулся, увидев впервые всю её гибельную сущность:

*Если вдруг подкрасться к двери спальной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленой
и серой издымится мясо дьявола.*

Когда же он покорился этой бесовщине, то чем-то стал похож на юношу-поэта Всеволода Князева из “Поэмы без героя”, застрелившегося из ревности на пороге дома своей неверной возлюбленной:

*Мальчик шёл, в закат глаза уставя,
был закат непоправимо жёлт.
Даже снег желтел в Тверской заставе,
ничего не видя, мальчик шёл...
“...Прощайте, кончаю... Прошу не винить”...
До чего ж на меня похож.*

А через несколько лет Маяковский выплечется в поэме “Про это”:

*А вороны гости?
Дверье крыло
раз по сто бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орло
ко мне доплеталось пьяное допьяна.
.....
И сыплют стеклянные искры из щёк они...
...стен раскалённые степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе...*

Он всё-таки потерпит ещё несколько лет и всё-таки поставит “точку пули в своём конце” – точку, которая была запрограммирована в сознании юноши ещё в 1913 году. А через сорок с лишним лет после выстрела в маленькой комнатухе на Лубянке произошло то, что рано или поздно должно было случиться. Героиня многих его стихотворений и поэм Л. Ю. Б. выберет тот же безблагодатный и безбожный уход из жизни, который был срежиссирован и отрепетирован в почти забытом Серебряном веке и обрамлён содомитскими карнавальными действиями нэповских двадцатых годов. Из воспоминаний Л. Ю. Брик: “Это было году в 17-м. Звали её Тоней – крепкая, тяжеловесная, некрасивая, особенная и простая <...> Тоня была художницей, кажется мне – талантливой, и на всех её небольших картинах был изображён Маяковский, его знакомые и она сама.

Запомнилась “Тайная вечеря”, где место Христа занимал Маяковский: на другой – Маяковский стоит у окна, ноги у него с копытцами, за ним – убогая комната. Кровать, на кровати сидит сама художница в рубашке; смутно помню, что Тоня так же и писала, не знаю, прозу или стихи <...>

Тоня выбросилась из окна, не знаю, в каком году. Володя ни разу за всю жизнь не упомянул при мне её имени”.

Всяческие кощунства бриковского салона, конечно, были грубее и вульгарней антихристианского брожения, царившего в умах и душах питерской тусовки 1910-х годов, но в основных оценках бытия они были близки друг другу. И те, и другие не верили в бессмертие души; и те, и другие сознательно изгоняли из своей жизни понятие греха, а вместе с ним чувства стыда и совести. Разница была лишь в концентрации кощунства или богохульства. Если Цветаева говорила о душе — **“христианская немочь бледная”**, то молодой Маяковский, по воспоминаниям его киевской поклонницы Н. Рябовой, **“снял чётки у меня с шеи и, оборвав крест, надел опять”**... Ну, сцена прямо-таки из поэмы Багрицкого “Смерть пионерки”, в которой умирающая девочка Валя с болезненной жестокостью отстраняет материнскую руку, которая пытается надеть ей на шею золочёный крестильный крестик.

Богоборческий пафос Маяковского всегда восхитал Цветаеву. Недаром она изображала его в стихах как великана-разрушителя (большевика с красным флагом) с картины революционного художника Бориса Кустодиева:

*Превыше крестов и труб,
Крещённый в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ,
Здорово в веках — Владимир!*

“Превыше крестов” — сказано не случайно...

В 1930 году после самоубийства Маяковского Марина Цветаева создала реквием из семи стихотворений, который не печатался ни в эмигрантской прессе (по православным соображениям), ни в советских изданиях (по соображениям атеистическим).

В этом цикле она попыталась сказать о его самоубийстве всё: **“советско-российский Вертер”**, **“дворянско-российский жест”**, **“Враг ты мой родной”**, но из всех семи стихотворений меня поразило последнее, состоящее всего лишь из четырёх строчек:

*Много храмов разрушил,
А этот — ценней всего.
Упокой, Господи, душу
Усопшего врага твоего.*

Осмелившись написать такое, Цветаева предсказала и свою судьбу.

Одно время Вознесенского, измерявшего жизнь по Маяковскому, не раз посещал, по его собственному признанию, соблазн самоубийства. Слава Богу, этого не произошло, но в своих стихах А. В. после возвращения из Америки много раз впадал в какое-то садомазохистское словоблудие, изображая родственные отношения между людьми извращёнными до предела.

*Продаёт папаша дочку,
дочка продаёт папашу,
и друзья, упившись в доску,
тащат друга на продажу.*

Подобного рода стихи Вознесенского напоминают мне сюжеты нынешних телешоу, которые узаконены на сегодняшнем экране Малаховым, Борисовым, Шепелевым, Гордоном и прочими, по словам Анатолия Передреева, “браконьерами душ”.

* * *

В конце жизни А. Вознесенского, видимо, стали преследовать видения из 60-х годов, из тех дней и ночей, когда он под воздействием сильнейшего химпрепарата ЛСД проводил время в семье Аллена Гинзберга и Питера Орловски. Призраки этих противоестественных призрачных видений прошлого

вдруг ожили и заполнили его сны в повести “Мостик”, про которую автор ЖЗЛовской книги о поэте Игорь Вирабов пишет так: “Главное, чего не стоит делать с “Мостиком”, — стараться вычислить, читая повесть, кто есть кто, и попытаться сочинить за Вознесенского пикантные страницы его биографии”. А зачем разгадывать Вознесенского, если он сам откровенно рассказывает обо всём? “Как у каждого, наверное, в твоей жизни были амур труа (любовь втроём. — Ст. К.). <...> И командор, а не Анна был предметом любви Дон Жуана. Мой приятель, заведший роман с женой друга, не понимая сам, любил его, ощущая через неё как бы близость с ним самим”.

Главный герой “пикантной” повести “Мостик” носит фамилию Бизнесенский. Случайно? Увы! За много лет до появления этой повести я в стихотворении, написанном аж в 1987 году, употребил почти такой же псевдоним, в котором выразил своё отношение к нашему “битнику”:

*Не лучшие в мире у нас пироги,
не лучшие туфли, не лучшие жнейки,
но лучшие в мире у нас телогрейки,
а также резиновые сапоги.*

*Мы честно несли ордена и заплаты,
мы нищими были, мы стали богаты,
поэт Бизнесменский, к примеру, у нас
богаче Есенина в тысячу раз.*

*Ах, Фёдор Михалыч, ты слышишь, как бесы
уже оседлали свои “мерседесы”,
чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой
рвануться за славою и за валютой...*

*Мы пропили горы, проели леса,
но чудом каким-то спасли небеса,
мы тысячи речек смогли отравить,
но душу никак не умеем пропить.*

*Уходит в историю наша эпоха.
Мы прожили век хорошо или плохо —
не знаю. Оплачены наши счета,
а больше я вам не скажу ни черта!*

Но отношения героев повести “Мостик”, написанной, когда её автор, видимо, вспоминал патологические соблазны, посещавшие его, выглядят так:

“Я люблю тебя. Но я хочу тебя видеть вместе с Андреем”; “Ты перевернулась и стала гимнастическим мостиком между нами. Мы прорывались сквозь тебя, как озверевшие проходчики, с двух сторон прорывающие тоннель. Два убийцы, мы кромсали тебя”; “Боже мой, мальчики, ой, мальчики, что вы творите! Свершилось! Это свершилось”; “Твой нахмуренный лобик светлел от счастья и ужаса. Прощай, дружба! Прощай, ненависть”.

Вспоминая любовный треугольник Александра Блока, Андрея Белого и Любви Менделеевой, Вознесенский признаётся в “Мостике”: “Мой приятель, заведший роман с женой друга, не понимая сам, любил его, ощущая через неё как бы близость с ним”; “Не возжелай жены ближнего твоего”, — а если жена ближнего и он сам возжелают тебя?” Когда в начале двухтысячных журналист из “Комсомольской правды” спросил Вознесенского, что такое “Мостик”, поэт ответил ему: “**Это такой секс-символ**”...

Обильный материал для психологов и сексологов могут дать эти фрейдистские сновидения автора. Возможно, что их истоки тянутся из погружения в мир хиппи и битников, которое случилось с Вознесенским на берегах Мичигана в далёкие шестидесятые. Можно ли верить этим сновидениям?

Но если вспомнить его мольбу в туалете, или сцену грехопадения в алтаре из поэмы “Андрей Палисадов”, или набор брутальных глаголов в лондонском Альберт-холле — “кололись, отдавались, надирались” — и всё, что изложено в “Мостике”, тогда надо поверить признанию З. Богуславской о том, как

Вознесенский добивался её: “Он бегал тогда за мной, как зарезанный. У меня хранятся сотни его сексуальных телеграмм, которые я никому не показываю” (Игорь Вирабов. “Андрей Вознесенский”, М.: Молодая гвардия, серия ЖЗЛ, 2015. С. 250).

Ведьмы Серебряного века не меньше, чем Аллен Гинзберг, влияли на нежную душу поэта, недаром в статье о них А. В. он приводит воспоминание итальянской журналистки, как её встретила Надежда Яковлевна Мандельштам: “Мне понравились”, — урчит и принимается снимать с моих пальцев бриллиантовые кольца. Я робею, не знаю, как себя вести, но кольца не отдаю. Тогда Н. Я. обращается к сидящему бледному молодому поэту и кричит: “Она красивая? Так давай вы... её здесь же, быстро, ну, е... е...!” Очень восхитила своим натурализмом эта сцена нашего поэта, который в журнале “Огонёк” (№ 10, 1992) опубликовал эссе “Музы и ведьмы века”, где восхитился откровенностью Лили Брик: “Я любила заниматься любовью с Осей (тут Л. Ю. Б., как то бывает с дамами, смакуя, употребил запрдельный глагол). Мы тогда запирали Володю на кухню. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь, плакал”... Я давно заметил, что наша “шестидесятническая” интеллигенция, русофобствуя и глядя сверху вниз на простонародье, тем не менее с особым смаком (но чаще всего не к месту) пользуется крепкими русскими словечками. А. Вознесенский даже похвалялся тем, что однажды в Политехническом, читая стихи, в строчке “купец галантный — куль голландский” вместо слова “куль” выкрикнул другое слово из трёх букв, что якобы привело в восторг аудиторию: “рёв, стон восхищённого зала не давали мне читать минут пять. Потом я продолжал чтение и триумфально сел на место”.

Так что нечего удивляться тому, что сквернословие, вылетевшее из уст дочерей Серебряного века Надежды Мандельштам и Лили Брик-Коган, восхитило Андрея Андреевича.

Вознесенский оригинален ещё и тем, что одновременно с прославлением Ленина всю жизнь отбивал поклоны “сивиллам”, “командорам”, “ведьмам” и прочим кумирам Серебряного века. И, конечно же, его обезбоженность проистекает из этого века. Ведь бунтовщица против христианства Марина Цветаева не испытывала никакого смирения перед заповедями Нового Завета, когда отчеканила своё “кredo” в “Поэме конца”:

*Гетто избранничеств — вал и ров.
Пощады не жди,
В сем христианнейшем из миров
Поэты — жидаы.*

Это было восстанием “избранных” против божественных табу, которыми Господь оградил человеческую природу от всякого рода соблазнов, первый из которых закончился изгнанием Адама и Евы из рая. Зная это, правнук священника Палисадова не испугался признаться, что “человека создал соблазн”.

Друг А. В., Аллен Гинзберг, был дитятею двух мировых гетто — еврейско-го и негритянского, поскольку его отец был американским евреем, а мать — негритянкой, страдавшей психическими расстройствами. Андрей Вознесенский, восхищённый мировой известностью Гинзберга, быстро вошёл в роль пророка и восславил в своих стихах чернокожее мировое гетто:

*Мы — негры, мы — поэты,
в нас плещутся планеты...
.....
Когда нас бьют ногами —
пинают небосвод,
у вас под сапогами
вселенная орёт.*

Но сегодня “под сапогами” чёрных революционеров орут дети “белой расы”, а Марина Ивановна, зная о вечном противостоянии двух гетто — еврейского и негритянского — романо-германскому и англо-саксонскому натиску, не ограничилась односторонней формулой “в сем христианнейшем из миров поэты — жидаы”. Нет, она проложила дорогу Вознесенскому, когда в своей

статье “Мой Пушкин” разоткровенничалась: “Пушкин был негр”, “в каждом негре я люблю Пушкина”, “под памятником Пушкину россияне не будут предпочитать белой расы, памятник Пушкину – памятник против расизма”... Не будем придирааться к этому экзальтированному стилю хотя бы потому, что в те годы карта Европы приобретала расистский коричневый цвет.

И всё-таки некоторые фантазии А. В. в третьем тысячелетии в какой-то степени материализовались. Однополая любовь становится узаконенной во многих демократических странах, “чёрный расизм” гуляет по Северной Америке, понятие “секс-символ” внедряется в нашу речь: “Сказала: “Будь смел”, – не вылез из спален” – эта “мужественная клятва”, данная Озе, сегодня могла бы привести к банальному исходу, наподобие судебного процесса над голливудским продюсером Вайнштейном, получившим срок за то, что он лет сорок тому назад переспал чуть ли не со всеми женскими символами Голливуда. Что делать! Уродливый феминизм становится реальной силой в общественной жизни многих государств мира, и, может быть, популярность А. В. в нашей поэзии обусловлено тем, что история человечества всё ярственней и всё быстрее скатывается из эпохи общества потребления в содомитскую эпоху, и тогда бессмысленно судить его с точки зрения традиционной нравственности. Кому она нужна, если имя Вознесенского постепенно вписывается в ряд апостолов Содома – Аллена Гинзберга, Паоло Пазолини, Пабло Пикассо и прочих “прорабов тела” мировой культуры, а его повесть “Мостик” скоро станет учебником для ЛГБТ.

Листаешь книги Вознесенского и убеждаешься, что невод его поэзии загребаёт из моря жизни всё самое патологическое и античеловечное. Вот, например, отрывки из “Уездной хроники”:

*“Ты помнишь Анечку-официантку?
Её убил из-за валюты сын,
одна коса от Анечки осталась”...
Он бил её в постели молотком,
вьюнчек, малолетний сутенёр...
Её ассенизаторы нашли,
её нога отсасывать мешала.
Был труп утоплен в яме выгребной...*

Но этого мало. После выяснения отношений сына с матерью Вознесенский с садистским вдохновением описывал ссору матери и дочери из-за общего для них мужчины:

*“Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю ночь,
дочь”.
“В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать”.
“Я — его первая женщина, вернулся до ласки охоч,
дочь”.
“Он — мой первый мужчина, вчера я боялась сказать,
мать”.
“Доченька... Сволочь! Мне больше не дочь,
Прочь!”*

А с каким художественным восторгом изобразил наш “прораб духа” избивание женщины, свидетелем которого он был:

*Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора.*

*И взвизгивали тормоза,
к ней подбегали, тормоша,
и волочили, и лупили
лицом по снегу и крапиве. (? – Ст. К.)*

*Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд Гарольд, битюг!
Вонзился в дышащие рёбра
ботинок узкий, как каблук (!)*

“Деревянное сердце. Деревянное ухо”, — сказал о Вознесенском Солженицын и, видимо, был прав.

* * *

Много чего написано об Андрее Вознесенском при жизни и после его смерти. Закономерно, что в 2015 году о нём вышла книга в серии “Жизнь замечательных людей”. Мировая антреприза своих не забывает, да и как факт литературной жизни он достоин подобной книги, как по-своему незаурядное явление. В своих литературных трудах и воспоминаниях его версификационному таланту и его творческой судьбе воздавали многие “шестидесятники” — В. Аксёнов, П. Вегин, Ф. Медведев, М. Плисецкая, В. Золотухин, А. Демидова, Р. Щедрин, Ю. Любимов, М. Захаров... Всех не перечислишь. Но одно из размышлений о его творчестве запомнилось мне особенно подробно. Я говорю о статье поэта “кожиновского круга” Анатолия Передреева, написанной аж в 1968 году и озаглавленной “Чего не умел Гёте...”

Перечитывая книги Вознесенского, Анатолий Передреев пронизательно и спокойно писал об одном из его “монологов”:

“Я не скажу, что в этом монологе нет правды вообще. Правда есть, но только не художественного, а, если можно так выразиться, клинического характера. В нём выявлены некоторые возможности для психического расстройств, которые предоставляет жизнь современного города. Художественной правды, то есть той правды, которая занимается исследованием мироощущения нормального человека, здесь нет”.

Приводя несколько примеров из стихотворений и поэм Вознесенского, Анатолий Передреев продолжает: “Допустим, что мир таков. Так, во всяком случае, его увидел в своём сновидении А. Вознесенский. Как же он относится к этому “открытию мира”? Как это “трансформировалось” в его душе? Что он может сказать по поводу всего этого?”

*...Фразы бессильны.
Слова слиплись в одну фразу.
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
“Оауу аоиы оааоиаые!..” —
Это уже кричу я...*

Анатолий Передреев не знал, что Вознесенский с его хрупкой нервной системой, начиная с 1961 года, прошёл через все соблазны, связанные с погружением в стихию жизни американских битников, в стихию, родную для Аллена Гинзберга и Лоуренса Ферлингетти, что он знаком с галлюцинациями (глюками), вызываемыми ЛСД, и потому закончил свои размышления о “правде Вознесенского” с эффектной, но по-русски грубой прямоотой:

“В детстве на улицах, на базарах, в вагонах военных и послевоенных трамваев я видел нищих. Они просили, кто как умел. Кто пел под гармошку и без гармошки, кто просто твердил: “Поддай, браток...”, кто молча протягивал шапку. Но один нищий действовал почти без промаха. Войдя в вагон трамвая, он дико и нечленораздельно начинал что-то говорить — почти выть — с неподвижно перекошенным ртом и остановившимися на очередном пассажире глазами. Ему подавали почти все, спеша передать его соседу. В нашем городке ходили слухи, что он баснословно богат, содержит молодую любовницу, наедине с которой изъясняется вполне нормально.

Да простит меня А. Вознесенский, но когда я читаю “оауу аоиы оааоиаые”, я вспоминаю этого нищего: был ли он шарлатаном или у него, действительно, “слова слиплись в одну фразу”?”

А. Передреев решил, что А. Вознесенский всего лишь талантливый мошенник, не поняв, что он по-своему органичен в своём патологическом виденье

мира. Но, “не понимая” Вознесенского как поэт и как читатель, не принимая его мира, в котором мать и дочь готовы выцарапать друг другу глаза из-за мужчины, мира, в котором сын убивает мать из-за денег и топит её труп в дощатом общественном сортире, ужасаясь тому, что “подонок” бьёт острым ботинком женщину, находящуюся в автомашине, ноги которой упираются, “как два белых луча”, в потолок автомобиля, крестьянский сын из саратовского села Сокур, русский красавец Анатолий Передреев живёт душою в другом мире. В мире другой любви и других воспоминаний.

*Не догорев, заря зарёй сменялась.
Плыла большая круглая луна,
И, запрокинув голову, смеялась,
До слёз смеялась девушка одна.*

*Она была весёлой и беспечной,
Она была наивной и простой,
Была довольна службою диспетчерской,
Где премии лишали за простой.*

*Мы вежливо, мы сдержанно расстались,
О том, что было, не узнал никто...
А годы шли, а женщины смеялись,
Но так смеяться не умел никто...*

*Мне кажется, что посреди веселий
В любых организованных огнях
Я, как дурак, кружусь на каруселях,
Кружусь, кружусь на неживых конях!*

*А где-то ночь всё догорать не хочет,
Плывёт большая круглая луна,
И, запрокинув голову, хохочет,
До слёз хохочет девушка одна...*

1961

Это чудесное стихотворение написано с тем же чувством, с каким Пушкин писал: “Я помню чудное мгновенье. . .” Никаких “выгребных ям”, никакого садомазохистского “избиения женщины” в автомобиле, ничего низкого, тёмного, болезненно-похотливого в этом шедевре нет. Стихи подобной великой простоты есть и у Николая Рубцова:

*Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.*

Такими стихами-воспоминаниями можно врачевать свою душу.

(Продолжение следует)

ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ

ТАНЯ САВИЧЕВА. ДЕВЯТЬ СТРАНИЦ*

Этот очерк – самый короткий и самый страшный. Потому что отчётливее всего безнадёжность и ужас войны проявляется тогда, когда гибнут ни в чём неповинные дети. Потому что не хватит сердца принять тот выбор, который в конце ноября встал перед правительством Ленинграда: снизить смертность от голода среди бойцов или спасти будущее города – детей. Выбор был сделан в пользу солдат РККА. Он понятен: не будет солдат – не будет и города, не будет и никакого будущего. Логика войны и власти диктовала безжалостные условия.

“Во избежание перебоев в обеспечении хлебом войск фронта и населения Ленинграда установить с 20 ноября 1941 г. следующие нормы отпуска хлеба:

- рабочим и ИТР 250 г;
- служащим, иждивенцам и детям 125 г;
- частям первой линии и боевым кораблям 500 г;
- лётно-техническому составу ВВС 500 г;
- всем остальным воинским частям 300 г” (Постановление Военного совета Ленинградского фронта № 00409).

Выбор этот можно понять, но нельзя принять.

Дневник Тани Савичевой, девять страниц, написанных размашистым детским почерком в маленькой записной книжке, оставшейся от сестры, стал символом Блокады, её бесконечной болью, незаживающей раной. Эта рана к нашим сытым и спокойным дням зарубцевалась, но она никогда не зарастёт на сердце. Такой убийственной силой обладают эти девять страниц. Он стал известен потому, что отразил в своих скупых строчках участь тысяч блокадных семей. Маленькая девочка, не умея верно, литературно оформить свои переживания, не имея места в маленьком, обтянутом шёлком блокноте, закричала на весь мир своими простыми словами. И мир содрогнулся от этого крика.

“Этот небольшой блокнотик, подаренный братом Леонидом (Лёкой) сестре Нине, служил рабочим справочником чертёжника-конструктора. Половину его страниц Нина заполнила данными котловой арматуры: задвижек, клапанов, вентилях, а другая половина этого самодельного справочника, с алфавитом, оставалась чистой. Этой незаполненной алфавитной части записной книжки и суждено было стать скорбным дневником, в котором синим карандашом сестры Таня делала ставшие бессмертными записи”¹.

* Очерк Д. Филиппова включён в книгу “Битва за Ленинград”, которая выходит в издательстве “Молодая гвардия” в серии ЖЗЛ.

Появившийся в конкретном месте в определённое время, будучи связан крепче канатных узлов с трагедией миллионов советских людей, дневник Тани Савичевой стал легендой, знаменем, практически мифом. За ним простому обывателю уже сложно увидеть обычного ребёнка, который умел смеяться, любил музыку, радовался успехам в школе, не всегда слушался маму, обожал своих старших братьев и сестёр, – словом, жил обычной жизнью маленького человека одиннадцати лет от роду. Наверняка, ей уже нравились мальчишки тем первым робким детским чувством, в котором ещё нет ничего пошлого, а только чистая симпатия и учащённое сердцебиение при мыслях о предмете воздыхания. Возможно, она нравилась мальчишкам той же самой детской симпатией. Об этом мы уже никогда не узнаем.

Таня была восьмым, самым младшим и любимым ребёнком в семье Николая Родионовича Савичева и Марии Игнатьевны Фёдоровой. У Тани было две сестры – старшие Евгения и Нина, а также два старших брата – Леонид (“Лёка”) и Михаил. Ещё трое детей Савичевых умерли в младенческом возрасте от скарлатины до рождения Тани.

Семья была большой и дружной, было в ней что-то от дореволюционной традиции купеческих семей: совместные чаепития, музицирование, поездки летом на дачу.

Николай Родионович по современным понятиям был мелким предпринимателем. В 1910 году он вместе с братьями открыл “Трудовую артель братьев Савичевых”. При артели также были открыты пекарня и булочная-кондитерская, располагавшиеся на 2-й линии Васильевского острова в доме № 13/6. На предприятии трудился сам Николай Родионович с женой Марией и трое братьев: Дмитрий, Василий и Николай.

В этом же доме Савичевы и жили. В одной квартире – семья Николая Родионовича и Марии Игнатьевны, этажом выше – брат Дмитрий с женой Марией Михайловной и два брата-холостяка – Василий и Алексей. Удивительно, как в послереволюционное время семью не расселили, но всё же каток репрессий коснулся и Савичевых.

В 1935 году артель братьев Савичевых как пережиток нэпа была ликвидирована. “Дядя Вася – человек разносторонне образованный – стал директором магазина “Букинист” на Петроградской стороне, а дядя Лёша до пенсии работал заводским снабженцем. Только отец Тани Николай Родионович до конца своей жизни оставался непревзойденным мастером хлебопечения. За свою коммерческую деятельность... попал в ту пору в категорию “лишенцев” и был выслан с семьёй из города (за 101-й километр под Лугу. – Д. Ф.). Правда, вскоре решение о высылке семьи было пересмотрено, и они смогли вернуться в Ленинград, в свою квартиру, но без отца. В 1936 году Николай Родионович приехал сюда на лечение уже безнадежно больным, будто предчувствовал свой печальный конец. 5 марта его не стало, он умер от рака”².

Тане было 5 лет, это была первая смерть близкого ей человека.

Дата рождения самой Тани обросла мифическими предположениями. Мария Игнатьевна, мать Тани, на последнем месяце беременности отправилась к своей сестре Капитолине, которая жила в деревне Дворищи Новгородской области. Марии был уже 41 год, и она опасалась осложнений при родах, а муж её сестры был врачом, и на его помощь она очень надеялась. В Ленинград она вернулась, когда Тане уже было несколько месяцев.

Первая возможная дата рождения – 25 января 1930 года. Она встречается во многих источниках и удивительным образом совпадает с Татьяниным днём, больше известным сегодня, как День российского студенчества. Другая возможная дата рождения – 23 февраля 1930 года, вероятно, подгонялась исследователями ко Дню основания РККА. И, наконец, 23 января 1930 года. Лилия Маркова в своём исследовании отсылает нас именно к этой дате.

Воспоминания Лилии Марковой, лично знавшей Танину сестру Нину, являются одними из самых достоверных исследований биографии Тани Савичевой. Будем придерживаться этой даты, хотя для мифа куда больше подходит Татьянин день.

Итак, родилась Таня Савичева 23 января 1930 года в большой семье. Квартира в доме № 13 по 2-й линии Васильевского острова – самая обычная для предвоенных времён. Никаких излишеств. “Кровать с никелированными шарами на высоких спинках отгорожена гигантским буфетом и трёхстворчатой ширмой. Сам буфет с резными дверцами и бесчисленными ящичками

разделяет комнату на две части: спальню и гостиную. Ширма красного дерева с узорчатыми стеклами – сбоку”³. Раздвижной стол, на котором обычно лежали музыкальные инструменты: “гитары, банджо, балалайка, мандолина. Мандолина итальянская, с инкрустацией, на ней Лёка играет”⁴. Ещё “в доме было множество статуэток из фарфора, керамики, стекла, деревянных и металлических. Пастушки с ягнятами, мальчики со свирелями, собачки, птицы, котята в корзинках, девичьи фигурки в кринолинах и даже большой, полуметровой высоты рыцарь... Все Савичевы, конечно, знали про бабушкину слабость”⁵.

Когда началась война, Савичевы, как и все остальные, не понимали, к каким последствиям она приведёт. Все были готовы “бить врага на его территории”. Тем не менее, и Лёка, и дядья отправились записываться добровольцами. Лёку не взяли из-за зрения, дядьев – по возрасту, хотя у Василия Родионова был боевой опыт участия в Первой мировой, даже награды имелись.

Жизнь семьи, как и жизни миллионов советских граждан, круто переломилась.

Женя, старшая сестра, работала в архиве Невского машиностроительного завода, но, помимо работы, регулярно сдавала кровь для раненых. Она жила не со всеми, а в квартире на Моховой, оставшейся от первого мужа Юрия. Жизнь с ним не сложилась, развелись. Мама как лучшая швея была отправлена на производство военного обмундирования. Сама Таня помогала очищать чердаки от мусора, собирала стеклянную тару для изготовления зажигательных смесей.

Ещё одна сестра – Нина – работала на том же заводе, где и Женя, только в конструкторском бюро. А после начала войны была мобилизована на оборонные работы. Помогала рыть окопы в районе Рыбацкого. А дядья – Василий и Алексей – работали в службе противовоздушной обороны. Брат Леонид работал строгальщиком на Адмиралтейском судостроительном заводе, средний брат Михаил – слесарем-сборщиком.

Отпуск в июне 1941 года семья Савичевых собиралась провести в селе Дворищи, там, где Таня и родилась 11 лет назад. 21 июня первым уехал Михаил. Никто тогда не знал, что они видят друг друга в последний раз. Возможно, это обстоятельство спасло ему жизнь. Или погубило жизнь всей семьи. Блокадные судьбы переплетались порой причудливо, выпукло и выводили в жизнь или в смерть с совершенно неожиданных сторон.

Если взглянуть в толщу времён, то можно увидеть молодого парня, который одной рукой держит лёгкий фанерный чемодан, а другой обнимает мать, младшую сестрёнку. Нина и Женя на работе, с ними он попрощался с вечера. Лёка поедет провожать его на вокзал. Через две недели после дня рождения бабушки семья планирует воссоединиться. Они машут ему рукой, желают лёгкой дороги, Таня просит, чтобы он взял её на рыбалку, на Вельское озеро. Почему на рыбалку? Откуда взялась такая ассоциация? Девочки должны играть в куклы, в дочки-матери... Сохранилось фото, сделанное за несколько дней до начала войны. Одиннадцатилетняя Таня Савичева с младшей племянницей Машей Путиловской стоят на берегу реки, закрываются трюпичными зонтиками от палящего солнца. На Тане платье в горошек, а взгляд... усталый какой-то, вымученный. Вот потому что река, солнце, лето – поэтому обязательно должна быть рыбалка. И Миша конечно же обещает сестре:

– Об-б-бязательно порыбачим. – Михаил с детства заикается.

Поезд на Кингисепп отправлялся вечером. Вышли проводить Михаила. Полный чемодан продуктов, узелки, котомки: мука, макароны, хлеб... С продуктами в Дворищах небогато. Очень скоро такая поклажа в Ленинграде станет на вес золота.

На вокзал Мишу провожал только Лёка. Таня с Василием Родионовичем дошли до трамвайной остановки у моста Лейтенанта Шмидта.

Трамвай шестого маршрута “Кондратьевский проспект – Балтийский вокзал” подошёл почти сразу же. Михаил взбирается на подножку, укладывает багаж. Двери уже закрываются, но он успевает махнуть рукой на прощание. Вот этот взмах и есть та точка, определившая жизнь одного и смерть других.

Трамвай уезжает, увозя брата навсегда, а в воздухе тает лишняя хлебная карточка рабочего.

250 граммов хлеба с ноября по декабрь 1941 года.

Михаил ехал в деревню Дворищи, раскинувшуюся у Вельского озера вблизи древнего города Гдова. Путь недолгий, но сложный. Сначала на поезде до Кингисеппа, потом десять километров полями и лесами: где пешком, где на подводе. Когда-то там жили бабушка с дедушкой, остался их рубленый дом-пятистенник, а неподалёку – построенный отцом в конце 20-х годов новый дом, семейный, основательный. В этом новом доме и родилась Таня. «В Дворищах живут дяди: дядя Гриша (Григорий Родионович) и дядя Гаврюша (Гавриил Родионович) – братья отца, и тётя Капа (Капитолина Игнатьевна) – мамина сестра»⁶. Семейное гнездо, не дворянское, но со своей историей и традициями. Дед Тани Савичевой Игнат Фёдоров когда-то был направлен из Петербурга в Дворищи, был рабочим-металлистом, участником революционного подполья. Их семья Арсеньевых-Фёдоровых также была большая, порода – русая, сероглазая. Отец Тани в Дворищах и повстречал Марию Игнатьевну, там и пожениться, и жили какое-то время, туда и приезжали на лето.

«Дворищи очень быстро оказались на оккупированной гитлеровцами территории. Михаил ушёл к партизанам в лес. В январе 1944 года в одном из боёв был тяжело ранен и отправлен на лечение в Ленинград, освобождённый уже от гитлеровской блокады. А через полгода он вышел из госпиталя инвалидом, на костылях»⁷. Семьи уже не было. Все умерли. Дом стал чужим, в квартире жили другие люди. Михаил «уехал в Дворищи к тёте Капе, но в сентябре 1944 года навсегда перебрался в шахтёрский город Сланцы Кингисеппского района, работал там на почте. Михаил Николаевич Савичев умер в 1988 году. Похоронен в городе Сланцы»⁸.

В 12:15 22 июня 1941 года по радио объявили о начале войны.

Лёку, как уже говорилось выше, в армию не взяли из-за зрения – сильная близорукость с самого детства. Из-за этого – крест на любимом футболе, на профессии и карьере радиста-полярника, о которой молодой парень страстно мечтал. Белый билет. Негоден. Было ему 24 года. Он остался работать на родном судостроительном заводе, в срочном порядке переведённом на военные рельсы.

В конце июля и в августе, вплоть до 8 сентября, началась эвакуация жителей. Достоверно ответить на вопрос, почему семья Тани не эвакуировалась из Ленинграда, когда была такая возможность, наверное, нельзя, но с большой долей вероятности можно предположить следующее. Большей частью эвакуировались те семьи, в которых один из родителей работал на предприятии, подлежавшем эвакуации: в экстренном порядке перевозили за Урал заводы, фабрики, лаборатории, НИИ, музейные экспонаты. Соответственно, предприятия эвакуировались вместе с работниками и членами их семей. При этом не было запрета на эвакуацию остальных жителей. Каждая семья решала этот вопрос самостоятельно.

Во многих современных исследованиях истории блокады повторяется мысль, что фактически население было предоставлено само себе. Оно должно было для себя решать, эвакуироваться ему или нет. Это утверждение не соответствует истине. И поскольку во многих источниках эта мысль повторяется из раза в раз, необходимо остановиться подробнее на этом вопросе, чтобы раз и навсегда поставить точку в манипуляциях недобросовестных исследователей.

Первые решения об эвакуации детей были приняты уже 22 июня. В первую очередь стоял вопрос вывоза детей из летних лагерей и дач, которые попали в зону боевых действий: «Эвакуация началась вечером 22 июня 1941 г. По всем районам за исключением пригородов (Кронштадт, Колпино, Петергоф и Пушкин) были выделены уполномоченные, которые вечером 22/VI и выехали на автомашинах за детьми. В течение 3-4 дней дети были вывезены из опасной зоны»⁹.

По решению бюро горкома и обкома ВКП(б) 27 июня была создана Ленинградская городская эвакуационная комиссия, председателем которой стал Б. М. Мотылёв. «Первоначально предполагалось, что комиссия займётся всем комплексом вопросов, связанных с вывозом населения, учреждений, оборудования предприятий, военных грузов и других ценностей. Но огромный объём работы сразу внёс существенные коррективы. В тот же день, 27 июня Ленгорисполком создал комиссию (председатель Е. Т. Фёдорова) по размещению и эвакуации граждан, прибывающих в Ленинград из районов, оказавшихся под угрозой оккупации (Карелии, Прибалтики, позднее – Ленинградской

области). А 28 июня Военный совет Северного фронта назначил своим уполномоченным по эвакуации председателя Ленгорисполкома П. С. Попкова, в июле он возглавил Правительственную комиссию по эвакуации, занимавшуюся, главным образом, вопросами вывоза промышленных предприятий¹⁰. Все трое будут репрессированы по Ленинградскому делу в 1949 году. Попкова расстреляют.

Эвакуация жителей Ленинграда проходила в несколько этапов. В первую очередь вывозили детей. 29 июня 1941 года согласно постановлению Ленгорисполкома "О вывозе детей из Ленинграда в Ленинградскую и Ярославскую области" началась эвакуация детских образовательных учреждений. По плану предполагалось вывезти 390 тысяч детей и сопровождающих. Также были приняты постановления "О мероприятиях по медицинско-санитарному обслуживанию населения в пути" (14 августа) и "Об уполномоченных по эвакуации женщин и детей в области и автономные республики" (17 августа). Возможно, из-за неудач при планировании эвакуации эти распоряжения не были опубликованы. 29 июня из города отправились десять эшелонов, в которых находились 15 192 ребенка. Предполагалось размещать детей в летних городских лагерях и базах отдыха на юге Ленинградской области, куда и смещалась от западных границ линия фронта. Из-за стремительного продвижения немецких войск 170 тысяч детей были привезены обратно в Ленинград. "В Отчёте Ленгорно в Плановый отдел Ленисполкома указывается, что общее число вывезенных таким образом на 6 июля 1941 г. из Ленинграда детей составило 234 833 человека. Из них гороно вывезено 211 766 детей. [...]"

Эвакуация такого большого числа детей с небольшим количеством сопровождающих не могла не вызвать серьёзные организационные трудности. Исправлению недостатков в организации эвакуации был посвящён приказ наркома просвещения РСФСР "О наведении порядка по обслуживанию школьников (Мосгороно, Ленгороно в эвакуации. — Л. Г.)" (Пр. № 547 от 17 июля 1941 года), а затем Инструкция № 01-1-5/55 от 20. VIII. 1941 г. "Об эвакуации детей и матерей" Наркомата здравоохранения СССР. В то же время важнейшим вопросом стало финансирование нахождения детей в эвакуации. 19 июля 1941 г. было опубликовано постановление Ленгорисполкома "О порядке взимания платы с родителей за детей, вывезенных из Ленинграда", Пр. № 48, п. 7, к которому прилагалась Инструкция для управляющих домами (комендантов), согласно которой средства за содержание в интернатах, в размере от 25 до 210 рублей в зависимости от дохода на одного члена семьи, собирались с родителей через специальные инкассаторские пункты и сдавались в городскую контору Комбанка на текущий счёт общегородского бюджета № 2740 в течение пяти дней со дня выхода Постановления¹¹.

Наверное, и это решение о финансировании было не самым удачным. Не каждый родитель, во-первых, отпустит своего ребёнка одного с чужими людьми неизвестно куда. Во-вторых, взимание платы наверняка отпугнуло многих небогатых родителей, решивших, что проще прокормить детей самостоятельно. Среднемесячная зарплата штатного работника дошкольного детского дома, к примеру, составляла 192 рубля в месяц¹². В-третьих, никто до конца не верил, что город Ленина вот так вот, за несколько месяцев будет отрезан от Большой земли, что Гитлер примет решение блокировать Ленинград, уморить голодом жителей и защитников. В такой ход событий здравомыслящий советский человек поверить просто не мог. Хотя слухи о зверствах оккупантов доходили и до Ленинграда от тысяч беженцев, спасавшихся в городе от войны.

После 6 июля была разрешена эвакуация детей с матерями, но к этому времени уже возникли непреодолимые трудности транспортного характера. С 9 июля было закрыто движение поездов до Пскова, с 19 июля — до станции Дно, 14 августа была закрыта станция Луга, а с 27 августа, после захвата немцами Мги, эвакуация по Октябрьской железной дороге прекратилась. Всё происходило стремительно, в считанные дни и недели, поэтому понять, какое количество детей было всё-таки эвакуировано из Ленинграда, можно только сравнив финансовые документы гороно за 1941 год. Средства на эвакуацию детских учреждений проходили именно по его линии. По "Заключительному балансу по бюджетным и внебюджетным средствам Ленинградского гороно на 1 января 1942 года" 768 700 рублей были закрыты как расход на эвакуацию, что соответствует расходу примерно на 76 870 детей¹³. Однако

в балансе отражена дебиторская задолженность 226 300 рублей (дебиторы по эвакуации детских учреждений), возникшая в результате отсутствия отчёта по расходам на эвакуацию около 22 600 детей. Это может говорить либо о хищении в особо крупном размере, либо о том, что 22 тысячи детей... пропали без вести.

Трагедия первой волны эвакуации детей Ленинграда становится понятной из воспоминаний Ады Евгеньевны Милеант, работавшей в 1941 году старшим инспектором отдела образования Приморского района: «События на фронте развернулись так быстро, что поезда с детьми попадали под жестокую бомбёжку фашистского зверья, горели целые составы поездов, гибли взрослые, сопровождавшие детей. При первой эвакуации Приморского района погибли заведующие детскими интернатами Мария Васильевна Опарина и её дочь, Рыжкова Наталья Михайловна, Хомякова Елена Владимировна. Заведующая интернатом Полина Захаровна Бляхер сумела вынести из горящего вагона всех детей, но не вынесла только свою трехлётнюю внучку, которую считала вправе спасти лишь в самую последнюю очередь...»¹⁴

«По официальным данным Городской эвакуационной комиссии (ГЭК), за 1941 г. было вывезено из города в 1941 г. всего детей: 219 691, вместе с сопровождающими взрослыми. По данным Ленгороно, из вывезенных летом 1941 г. с детучреждениями 234 833 чел. (с коррекцией 235 123) было реэвакуировано в город 130 000 человек»¹⁵.

Решение об эвакуации трудоспособного населения было принято гораздо позже, а именно 7 июля 1941 года. ЦК ВКП(б) запланировал вывоз из Ленинграда совместно с предприятиями 500 тысяч членов семей рабочих и служащих. Но события развивались столь стремительно, что уже 10 августа перед Ленгорисполкомом была поставлена задача о вывозе 400 тысяч человек, а 13-14 августа — еще 700 тысяч. Все эти планы были осуществлены в минимальном объёме, а по сути, остались на бумаге: 27 августа железнодорожное сообщение Ленинграда со страной было прервано.

«По данным Городской эвакуационной комиссии до начала сухопутной блокады из города выехали 488 703 ленинградца и 147 500 жителей Прибалтики и Ленинградской области»¹⁶.

Наверное, необходимо было предусмотреть для эвакуации более отдалённые регионы страны. Наверное, необходимо было начать эвакуацию раньше. Наверное. Знал бы где падать, соломку бы подстелил. Нерешённые вопросы по эвакуации населения Ленинграда ещё ждут своего исследователя. Но говорить, что Ленгорисполком не занимался организованным вывозом населения из города, — это просто демонстрировать собственную некомпетентность.

Атмосфера в городе очень быстро менялась. От залихватского «бить врага на его территории» не осталось и следа.

«Белые ночи кончились, но фонари не зажигались. С заходом солнца город погружался в настороженную темноту. Все окна были перечёркнуты бумажными крестами, плотно зашторены, ни один лучик не пробивается.

Автомобильные фары закрыли щитками с узкими щелями, в трамваях и троллейбусах тлеи подслеповатые синие лампочки...»

Магазинные полки опустели, исчезли даже банки с камчатскими крабами, которых до войны и за еду не считали. С мясом и маслом трудности, но овощей у зеленщиков и на рынках полным-полно и очереди в булочную не очень длинные»¹⁷.

Голода ещё нет, но его предчувствие бродит по Городу, свистит гулким ветром на Неве. Нина продолжает работать на рытье окопов в Рыбацком. Враг уже рядом с Колпино, его артиллерия бьёт по окраинам Ленинграда, появляются первые убитые, раненые.

«В Румянцевском саду военный бивак: машины, повозки, фургоны; стреноженные кони; солдаты вокруг жарких костров; дымят полевые кухни, котлы на колёсах.

В бывшем Кадетском корпусе теперь госпиталь. У главного входа всегда толпится народ, ищут своих, показывая фотокарточки, называя фамилии сыновей, братьев, отцов ходячим раненым: «Не встречали?»

Какой-то нерадивый обозник-фуражир, проезжая по набережной, рассыпал овёс. Дикие голуби и воробьи подбирали зерна, сыто гулькали, чирикали весело. Всё — как всегда, но и сам Город построжел, переделался в полевою форму.

Золочёные шпильки и шлемы замазаны маскировочной краской, Адмиралтейская игла зачехлена мешковиной, купол и ротонда Исаакиевского собора сделались похожими на каску с шишаком.

Медный всадник ограждён деревянным саркофагом, обложен снизу мешками с песком. Защищены многие статуи, а клодтовские кони покинули Аничков мост, зарылись в землю. Только сфинксы из древних Фив по-прежнему открыты на своих местах¹⁸.

Первый массированный налёт немецкой авиации состоялся 6 сентября. Сотни самолётов заполнили небо. Город бомбили жестоко, планомерно, бездушно. Через сутки налёт повторился. Таня вместе с семьёй привыкала спускаться в бомбоубежище. Под рукой всегда сумка с документами, продовольственными карточками, запасом продуктов. Очень скоро этих запасов не станет.

Телефонную связь в квартире Савичевых отключили 16 сентября.

Тем не менее, в конце октября возобновились занятия в школе. Ленгори-сполком принял решение открыть 103 школы. Таня Савичева ходила в школу № 35 по Кадетской линии: до неё от дома всего 5–10 минут. Она перешла в 4-й класс, училась прилежно. Класс её был на третьем этаже, сейчас там музей её памяти.

Норма выдачи хлеба детям была снижена до 200 граммов. Голод крадётся неспешно. Он ещё не сводит с ума, но ощущение вечной несытости становится привычным. А в школу... В школу ходят ещё и потому, что там дают тарелку супа.

Обучение в блокадном Ленинграде — это отдельная тема для исследования. Достаточно сказать, что редкий урок не прерывался сиреной, оповещающей о налёте немецкой авиации или артобстреле. К этому быстро привыкли. Без паники и суеты школьники вместе с учителями спускались в бомбоубежище, и урок продолжался под гул вражеских самолётов и разрыв снарядов. Учителя писали два плана урока: для нормальной работы и на случай бомбёжки.

В декабре 1941 года в большинстве школ занятия прекратили совсем, но 39 ленинградских школ продолжали обучение. Урок длился не более 25 минут, записей голодные дети не вели, да и при желании не смогли бы этого сделать: классы не отапливались, поэтому чернила просто застывали в чернильницах-непроливайках.

В ноябре разбомбили здание общежития Академии художеств. Дом был как раз напротив дома Тани Савичевой. Случайность уберегла в тот раз. Зачем? Пусть это прозвучит жестоко, но лучше умереть сразу под завалами со всей семьёй, чем видеть, как уходят твои близкие, чем понимать, что ты осталась совсем одна. Но Город уже отметил эту девочку своей тяжёлой десницей и вёл по своим улицам, охраняя от людоедов, отводил бомбы. Ради девяти страниц маленькой записной книжки, которым суждено было войти в историю.

Тринадцатого ноября в очередной раз снизили норму хлеба: 300 граммов рабочим, 150 — детям и иждивенцам.

Шестнадцатого ноября в доме Савичевых отключили центральное отопление и водопровод.

У Савичевых пропал кот Барсик. В городе тут и там встречаются объявления: “Куплю собаку”.

Город в условиях блокады старался изыскать внутренние резервы.

“С пивоваренных заводов увезли солод и дрожжи, у интендантов отняли лошадиный корм — овёс, на кожевенных фабриках изъяли опойки, шкурки молодых телят. В торговом порту обнаружили тысячи тонн жмыха подсолнечника, в мирное время его сжигали в паровозных топках. Соскребли многолетнюю производственную пыль со стен и потолков в мельничных цехах, вытряхнули, выбили каждый мешок из-под муки и круп.

Ячменные и ржаные отруби, хлопковый жмых и шроты — выжимки сои, кукурузные ростки и проросшее зерно, поднятое водолазами со дна Невы из затонувших барж, — всё, что годилось или могло сгодиться в пищу, взяли на строгий учёт и под охрану¹⁹.

И всё же массового голода ещё не было. Люди гибли от обстрелов артиллерии и авианалётов. А потом...

Двадцатого ноября вновь снижена норма выдачи хлеба: 250 граммов рабочим и 125 — детям и иждивенцам. Эта норма продержится целый месяц до 25 декабря.

И вот тогда пришёл Голод.

Самое безопасное и тёплое место в квартире – кухня. Окна выходят во внутренний двор-колодец, нет нужды закрывать их фанерой. Вероятность попадания бомбы в колодец двора практически нулевая. Дядя откуда-то раздобыли буржуйку. Савичевы решили жить вместе, питаться вместе – одной большой семьёй. Им казалось, что так легче обмануть смерть.

Водой приходилось запасаться впрок. Хорошо только дворнику: у него в дворницкой жилконтора поставила бак-кипяtilьник. Теперь там всегда тепло и есть горячая вода. Кипяток продаётся с часу до трёх дня по одному литру на человека: 3 копейки за литр. Если выпить много горячей воды разом, то на какое-то время можно обмануть голод. Но такое злоупотребление приводит к водянке: начинают распухать руки и ноги, лицо становится отёчным, как с похмелья.

По официальным данным, в ноябре от голода и бомбёжек в Ленинграде умерли 11 085 человек, из них 2012 детей в возрасте до 1 года. В декабре – 52 881 человек, детей до года – 5959...

Савичевы живут вместе... кроме Жени. Та по-прежнему ходит на работу из своей квартиры на Моховой. Её норма служащей такая же, как у Тани, – 125 граммов. Объяснение здесь только одно: она не хотела обременять семью своим присутствием, своим лишним ртом, как бы грубо это ни звучало!

На улице –30, отопление не работает, стоят трамваи, заметённые снегом. Люди бредут медленно, как тени из загробного мира, и это не фигура речи. Присаживаются в сугроб, чтобы отдохнуть несколько минут, и больше не встают никогда. Трупы свозят на пустырь возле Пискаревки. Там ещё в 1939 году появилось кладбище – хоронили солдат, погибших на финской войне. Земля мёрзлая, рвы взрывают динамитом. И штабеля трупов вокруг.

Жене всё хуже.

Первую запись в блокноте Таня сделала 28 декабря. Умерла сестра Женя. Умерла в своей квартире на Моховой. За несколько дней до смерти её навещала мать, Мария Игнатьевна. Женя уже не выходит на работу. Просто лежит на кровати, закутавшись в ворох одеял и пальто. Сил нет, чтобы затопить буржуйку. Сил нет, чтобы отovarить карточки. Взгляд её безумен. Мать топит печурку обломками стульев, греет чай. Женя привстаёт, пьёт горячую жидкость, взгляд её не теплеет. Три дня назад увеличили норму выдачи хлеба на 50 граммов, но её это уже не может спасти. Когда через несколько дней Нина вновь приходит навестить сестру, та угасает у неё на руках. Часы. Настенные. С боем. Время – 12:30.

Когда маленькой одиннадцатилетней девочке приходит мысль вести отчёт смертям в блокноте? Когда и почему? Это не дневник в полном смысле этого слова. В нём больше нет никаких других записей. Только фиксация смерти.

Таня достаёт из шкафа тоненький блокнот, берёт синий карандаш и пишет: **“Женя умерла 28 дек. в 12.30 час утра 1941 г”**. Немного думает и подчёркивает имя сестры: **“Женя”**. Это будет первое и единственное подчёркивание в её дневнике. Буквы неровные, но ещё такие, как учили в школе по прописям: вензель над буквой “т”, в букве “р” орфографический крючок. Потом письмо станет небрежнее, жёстче, и “т” превратится в “т”, “р” станет кружочком с чёрточкой.

Одиннадцатилетняя девочка вдруг решает писать некролог собственной семьи. Эту мысль нам надо вместиť в наше светлое и спокойное настоящее и понять простую вещь: сам Город пишет свою короткую и страшную летопись Таниной рукой. Потому что на девяти страницах блокнота – вся летопись ленинградской блокады!

Карточки умерших полагалось сдавать вместе с другими документами, иначе не выдавали свидетельства о смерти. Смерть Жени скрывали два дня, получая за неё хлеб. Так делали многие ленинградцы в то время. Мёртвые с того света помогали живым. Женю похоронили на Смоленском кладбище, там же, где лежали отец Николай Родионович и умершие от скарлатины брат и две сестрёнки.

В первых числах января Таня получила пригласительный билет на Новогоднюю ёлку. Ленгорисполком на заседании от 23 декабря 1941 года протоколом № 57 п. 33 утвердил проведение в Ленинграде Новогодних ёлок для детей. Были привлечены средства профсоюзов в размере 60 тысяч рублей. Обеды обеспечивал Ленглавресторан, подарки для детей – отдел торговли

Ленгорсовета. Стоимость ёлки для детей составляла 5 рублей, при этом были предусмотрены бесплатные билеты для семей военнослужащих, пенсионеров и остро нуждающихся²⁰. Обед – горячая чечевичная похлёбка, макароны с котлетой, хлеб и желе. Подарки – несколько шоколадных конфет и мандарин. История о том, как мандарины попали в блокадный Ленинград, обросла многими домыслами, подробностями. Но на самом деле всё было просто и буднично, как на войне. Полуторку с мандаринами доставил по льду Ладожского озера водитель Максим Твердохлеб.

Двадцать четвёртого января 1942 года прибавили ещё 50 граммов к суточной норме хлеба. Это был праздник для всех Савичевых. Но длился он недолго. На следующий день умерла бабушка Тани, Евдокия Григорьевна, но в свидетельстве о смерти стоит дата 1 февраля. Почти неделю Савичевы пользовались её хлебной карточкой. И жили в одной квартире с покойницей. Таня вновь открыла записную книжку, нашла букву “Б” и записала: **“Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.”**. Это вторая запись в её блокноте. Боялась ли Таня на него глядеть? Брала ли в руки в другие дни и часы? Или прятала в ящик комода и старалась забыть о нём, не думать, вычеркнуть из памяти, из настоящего? Я пытаюсь поставить себя на её место. Этот блокнот должен жечь руки. Это не дневник. Это могильная плита. Книга мёртвых. Но Таня находит в себе силы делать в нём записи.

Очередная прибавка блокадной нормы хлеба 11 февраля довела её до всеобщей: рабочим – 500, служащим – 400, иждивенцам и детям – 300. Но дистрофия у тысяч людей уже была необратимой.

Со смертью бабушки дом обезлюдел. Дядья жили у себя в квартире этажом выше, Савичевы продолжали ходить друг к другу в гости, но пустоту уже было не спрятать.

В феврале 1942-го пропала Нина. Ушла на завод и не вернулась. Таня так и не узнала, что завод, на котором она работала, вместе с сотрудниками в срочном порядке эвакуировали. У неё не было времени и возможности сообщить об этом семье. Получается, пропала без вести. Как это бывало в Ленинграде сплошь и рядом. Умирили в сугробах, на производстве, просто пропадали без следа... Но Таня не знала об этом доподлинно, она не видела её тела, ей никто не сообщил о смерти. И она не сделала в своём блокноте никакой записи по поводу Нины. Это может показаться странным, но если сам Город писал рукою девочки, то Город же и давал надежду. Сделать запись – это как вынести приговор. И Таня не трогает свой страшный блокнот.

“Чудо готовилось долго. В феврале начали расчищать трамвайные пути и срывать оборванные провода. Но всё равно трудно было поверить, что замёрзшие на проспектах и улицах вагоны придут в движение. И вот 5 марта от Технологического института проехал по Загородному грузовой трамвай, а после воскресников и субботников пошли пассажирские поезда”²¹. Город боролся. И люди боролись, не сдавались.

О смерти Лёки сообщила его подруга Валя. Он умер на Судомеханическом заводе во время работы. Лёка стал первым, кого Савичевы не смогли похоронить. Его отвезла на Пискарёвское кладбище похоронная команда, собиравшая трупы на улицах, в квартирах и на предприятиях.

Таня открывает блокнот на букве “Л”: **“Лёка умер 17 марта в 5 часутр в 1942 г.”** Это слитное “часутр” выбивается из общего ритма. Так пишут в лубомборочном состоянии, забывая пробелы, путая склонения и падежи.

В марте только одним трестом “Похоронное дело” похоронено 89 968 человек. Это последствия дистрофии и жуткой блокадной зимы. Первой зимы, самой страшной и самой холодной на свете.

Весну ждали с тревогой: растает лёд – прервётся Дорога жизни.
Весну ждали с надеждой: разрешат огороды, начнёт расти трава.

13 апреля умирает дядя Вася. Василий Родионович Савичев.

Город выводит Таниной рукой: **“Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г.”**

Блокнот пухнет от боли.

“4 мая в Ленинграде открылось 137 школ. К учёбе вернулись почти 64 тысячи ребят. Медицинский осмотр показал: из каждых ста лишь четверо не страдают цингой и дистрофией”²².

Дистрофия продолжала уносить жизни тысяч ленинградцев. В каждом районе Ленинграда открывались столовые усиленного питания. Попасть туда

можно было лишь по направлению врача. К началу мая к ним прикрепили 100 тысяч больных.

В мае на Васильевском острове съели всю акацию. В блокноте появилась ещё одна запись: **“Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.”** Листок с буквой “Л” занят записью о Лёхе, поэтому Таня пишет на развороте. Слово “умер” она пропускает. Не из страха, не из суеверия. В этом слове больше нет необходимости. Блокнот настолько напугался смертью, что всё понятно без слов. К чему тратить лишние силы?

Уже лежит и не встаёт мама. Желудок её сохся от голода. Дистрофия достигла необратимых последствий. Это когда человек ещё жив, но его уже ничем не спасти, и счёт идёт на дни, а то и на часы.

Тринадцатого мая появляется самая мучительная запись в блокноте Тани Савичевой на странице с буквой “М”: **“Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942 г”**. Всё.

Голодные дети сами не встают в 7:30 утра. Поэтому точное время Таня могла знать лишь в одном случае: она заснула рядом с мамой, обнимая её, стараясь согреть, а проснулась оттого, что самый родной на свете человек вдруг стал холодным.

Трудно представить, какой личный ад ей пришлось пережить в эти минуты. Пустая квартира. За окном из громкоговорителя раздаётся привычный звук метронома, но жизни уже нет. Вот мама. Ещё вчера она пыталась говорить, улыбалась через силу, а сейчас она лежит, пустая и холодная. И не хватает дров во всём блокадном Ленинграде, чтобы её согреть.

Маму увезли на Пискаревку в тот же день. Помогла соседка Ираида Ивановна. До утра следующего дня Таня остаётся одна в своей квартире. О чём она думала? Что вспоминала? Маленькая одиннадцатилетняя девочка, оставшаяся одна на всём белом свете...

На столе лежит блокнот. Лист с буквой “Т” пока чист, не запятнан. И, наверное, в этот момент к ней приходит Город. Пахнувший Невой и промасленными канатами, болотом и порохом. Он молча указывает ей на блокнот: ещё не всё написано, не всё, надо подвести черту и поставить точку в этом некрологе.

Где смерть твоя, Город? Смерть моя в блокноте. Блокнот в ларце, ларец в девочке, девочка уже мертва, но не знает об этом. Будет смерть моя лежать за семью печатями, за семью замками, за стальными дверями в железном ящике, в хранилище. Сторожить её будут злобные собаки с Египетских берегов. И быть по сему во веки вечные до скончания мира. Пиши, девочка! Так и запиши!

Таня вновь открывает свой блокнот. Находит страницу с буквой “С” и старательно выводит слабой рукой: **“Савичевы умерли”**.

Перелистывает, находит букву “У”: **“Умерли все”**.

И последняя запись на букве “О”: **“Осталась одна Таня”**.

“Молодец, девочка, молодец, милая, — шепчет Город. — Мы с тобой крещены голодом, а значит, неразлучны теперь во веки вечные. Вспомнят меня — и тебя помянут...” Образ худого старика начинает таять в сгустившихся утренних сумерках. А был ли старик? А была ли девочка?.. Дай нам, Господи, сил не сойти с ума!

На следующий день Таня “отправилась к бабушкиной племяннице — тёте Дусе... Евдокия Петровна Арсеньева жила в коммунальной квартире на Лафонской улице (дом № 1а, комната 3), которая называлась так по фамилии одной из начальниц Смольного института. В 1924 году она была переименована в улицу Пролетарской диктатуры, но горожане по-прежнему продолжали называть её Лафонской”²³. Расстояние для голодного ребёнка близкое. Но уже что-то менялось в сопротивляющемся Городе.

“Ленинградская правда” напечатала 12 апреля постановление “О возобновлении пассажирского трамвайного движения”. Началась нормальная эксплуатация пяти маршрутов. С Васильевского острова к Лафонской улице можно было доехать на трамвае двенадцатого маршрута”²⁴.

Евдокия Петровна была коренной ленинградкой. После смерти родителей в 1918 году их разлучили с сестрой Ольгой. Евдокия отправилась нянкой в деревенскую семью, а Ольгу поместили в детский дом в Царском Селе. Ещё до войны сёстры нашли друг друга и приняли совместное решение вернуться в Ленинград. Евдокия Петровна устроилась работать на слюдяную фабрику.

Вынужденная разлука сделала её характер нелюдимым, замкнутым, и дороги сестёр во взрослой жизни вновь разошлись.

Вещей с собой Таня не взяла. Исключение составила небольшая лакированная шкатулка с красивой палехской росписью, в которой хранились мамина свадебная фата, венчальные свечи, свидетельства о смерти Савичевых и... блокнот.

“С Васильевского острова тётя Дуся перевезла в свою комнату на хранение многие вещи Савичевых и взяла опекунство над Таней. Уходя на работу, отправляла её на воздух, на солнце, а комнату запирала на ключ. Нередко случалось, по возвращении заставляла Таню, спящую прямо на лестнице.

Дистрофия прогрессировала, необходимо было срочно помещать Таню в стационар. И в начале июля 1942 года тётя Дуся, сложив с себя опекунство, определила её в детский дом № 48 Смольнинского района, который готовился тогда к эвакуации в Горьковскую область”²⁵.

Об отношении тётки к Тане Савичевой мы можем почерпнуть скудную информацию из письма Василия Крылова Нине Савичевой, находившейся в эвакуации вместе с заводом.

“Дорогая Ниночка!

Какое счастье, что ты нашлась. Меня ведь, как и тебя, внезапно, прямо из цеха отправили. — Оказывается, мы совсем рядом трудились. — Потом нашу бригаду откомандировали в... В общем, вернулся нескоро, мои уже не надеялись, что живой.

Получив твоё письмо, сразу пошёл к вам и узнал от соседей, что все Савичевы умерли, а Таню забрала к себе со всеми вещами Арсеньева Евдокия Петровна. Наведя справки, пошёл на Лафонскую. Квартира в бельэтаже. Танюша спала прямо на лестнице. Тётка, уходя на работу, запирает комнату, боится за барахло.

Танюша здорово вытянулась, но очень худая и неухоженная, больная. Очень обрадовалась, что ты жива-здоровая и хорошо устроилась в колхозе. Рассказала, как вся ваша семья... один за другим. Я, как назло, забыл дома твой адрес, договорились, что принесу в другой раз, но выбраться скоро не... и хотелось поднакопить хлеба, продуктов каких-нибудь. У нас с этим... Нина! Прости, но больше я Танюшу не видел. Десятого или одиннадцатого июля тётка сдала её в детдом, сложив с себя опекунство. Очень что-то недолго оно продолжалось... Детдом срочно был... на Большую землю. Куда точно, узнать не удалось. Арсеньева Е. П. и на порог не пустила. Разговаривала так, будто я её грабить пришёл.

Ниночка, не переживай особенно! Это хорошо, что Танюшу вывезли. Сейчас идёт... Кроме того... Но мы всё равно выстоим! Думал обрадовать тебя, а вышло наоборот. Прости.

Жду в Ленинграде!

12. VI / .42 г. Твой верный... ”²⁶

Точками обозначены слова и фразы, зачёркнутые, скорее всего, военной цензурой.

Это письмо говорит нам об одной простой вещи: Таня узнала, что её сестра жива. То есть обрела хоть какой-то смысл жизни, понимая, что не одна осталась на этом свете, что есть небольшой, но шанс встретиться, воссоединиться. Что сестра узнает, не бросит и найдёт...

Во второй половине июля детский дом № 48 был эвакуирован из Ленинграда. 140 детей вырвались из блокадного кольца. Вместе с ними была и Таня. “Эшелон, в котором находились ленинградские дети, неоднократно попал под бомбёжки и только в августе 1942 года прибыл, наконец, в село Красный Бор, расположенное в 25 километрах от Понетаевки”²⁷. Детей разместили в одном из зданий средней школы, где они должны были пройти двухнедельный карантин. 140 истощённых, больных и раненых, измученных тяжёлой дорогой ребятишек выхаживало всё село”²⁸.

Таня была самым тяжёлым ребёнком из всей партии, и слово “тяжёлый” здесь не о весе. Она также была единственным ребёнком, который был болен туберкулёзом, из-за чего её не допускали к другим детям, и единственным человеком, который с ней общался, была приставленная к ней медсестра Нина Михайловна Серёдкина. Эта сердобольная женщина делала всё, чтобы облегчить Танины страдания, и через какое-то время Таня самостоятельно могла ходить на костылях, а позже передвигалась, держась руками за стенку.

Но здоровье ухудшалось. В конечном итоге, её перевезли в дом инвалидов в селе Понетаевка. Это случилось в марте 1944 года, когда уже был освобождён от блокады Город, надиктовавший ей смерть.

Дальше Тане становится только хуже. У неё обостряется туберкулёз, и девочку помещают в инфекционное отделение Шатковской больницы. Последним человеком, который ухаживал за Таней, была санитарка Анна Михайловна Журкина.

В начале 1944 года после тяжёлого ранения брата Тани Михаила Савичева переправили в госпиталь в Ленинград, уже освобождённый от фашистской блокады. Он долго и тяжело восстанавливался после ранения. Ещё находясь в госпитале, он попытался разузнать о судьбе Тани, сделал запрос во все районные центры Горьковской области. Одна добрая душа откликнулась.

“Ленинград, 9 П/Я 445, палата 20, Савичеву Михаилу

Уважаемый товарищ Савичев. Получив Ваше письмо, я спешу ответить о Вашей семье. Тани у нас нет. Она в соседнем детском инвалидном доме. Я её бывшая воспитательница и опишу о ней. Она приехала дистрофиком. Затем постепенно поправилась. 9 месяцев не вставала. Но затем у неё получилось нервное потрясение всего организма. И эта болезнь у неё прогрессировала. У неё потеряно зрение, она уже не могла почти читать, тряслись руки и ноги. А потому ей нужно было лечение, но в наших условиях это невозможно.

Ваше письмо и телеграмму я посылаю ей. Её адрес: Горьковская область, Шатковский р-н, Понетаевский д/инв. С приветом!

А. Карпова.

Открытка Карповой пришла весной. От Тани не получили ни строки. Ни весной, ни летом – никогда”²⁹.

Последствия блокады, цинга, нервное потрясение и туберкулёз окончательно подорвали её здоровье.

Таня Савичева умерла 1 июля 1944 года от туберкулёза кишечника. Ей было 14 лет. Она стала единственной умершей из всех прибывших тогда детей детского дома № 48. Перед смертью у неё невыносимо болела голова.

Похоронили её в тот же день на местном кладбище, а Анна Михайловна Журкина по велению сердца стала ухаживать за Таниной могилой. Сердобольная натура русского человека: придёт своих ушедших навестить, заодно у могилки безродной девочки посидит, сорняки вырвет, оградку подправит.

В 2000-х годах рассматривался вопрос о перезахоронении Тани: символ блокады должен лежать на Пискаревском кладбище. Но запретила перенос сестра Нина, которая до конца своих дней продолжала жить в Петербурге. В этом решении есть внутренняя правда русского человека: негоже тревожить мёртвых. Пусть всё останется так, как есть.

Нина Савичева умерла 6 февраля 2013 года в возрасте 94 лет.

На этом историю можно было бы закончить, если бы не блокнот. Его Нина нашла в той самой палехской шкатулке, которая вместе с остальными вещами Савичевых хранилась у Е. П. Арсеньевой в её квартире на Лафонской улице. “У тёти Дуси оставаться не хотелось, и Нина разыскала Беллу Велину – вторую жену Юрия (бывшего мужа сестры Жени), которая, со слов И. Л. Миксона, “работала переводчицей в штабе и жила, как многие другие военные и вольнонаёмные, на Литейном проспекте, в Доме Красной армии”. Она-то и познакомила Нину с майором Л. Л. Раковым”³⁰.

Лев Львович Раков был личностью в высшей степени незаурядной. Он с 1931 года работал в Эрмитаже, его не обошёл маховик репрессий (целый год – с 1938 по 1939-й – он провёл в одиночной камере по подозрению в участии в “контрреволюционной меньшевистской организации”). После снятия обвинений был восстановлен в должности учёного секретаря Эрмитажа, позже возглавил там отделение оружия и военного дела. В июле 1941-го добровольцем пошёл на фронт, воевал под Синявино, прорывал блокаду Ленинграда. Войну закончил в звании полковника.

В 1947 году Л. Л. Раков был назначен директором публичной библиотеки, но проработал в должности всего три года. В 1950 году во время кампании по борьбе с космополитами его повторно арестовали, приговорили к высшей мере наказания – расстрелу, который был заменён 25 годами тюрьмы с полной конфискацией имущества. Отбывал заключение Л. Л. Раков во Владимирской тюрьме. Его сокамерником был писатель и философ Даниил Андреев.

В этом должен быть промысел судьбы или воля Города, чтобы блокнот Тани Савичевой попался на глаза именно такому человеку, мгновенно оценившему его уникальность и ценность для истории. И «он предложил Нине поместить блокадный дневник в экспозиции выставки «Героическая оборона Ленинграда», в формировании которой он с конца 1943 года по поручению Политуправления Ленинградского фронта принимает активнейшее участие. <...> В декабре 1943 года Военным советом Ленинградского фронта было принято Постановление № 1823 о размещении этих выставок в Соляном городке в помещениях бывшего сельскохозяйственного музея, но уже с новым названием – «Героическая оборона Ленинграда»³¹. Это был первый шаг к созданию Музея обороны Ленинграда, который появится через два года, 27 января 1946 года.

Новый «музей занимал весь комплекс зданий так называемого Соляного городка в квартале, ограниченном Соляным переулком, улицей Гангутской, набережной реки Фонтанки, улицей Пестеля. Отмечая масштабность музея и интерес к нему широкой публики, необходимо отметить, что, прежде всего, это был военный музей. И несмотря на то, что именно здесь впервые были представлены блокадные дневники и символ самого тяжёлого блокадного времени – зимы 1941/1942 – 125-граммовый кусок хлеба, главными героями экспозиции музея были не жители и защитники города, а коммунистическая партия и руководство страны»³².

Судьба музея сложилась трагично. Как учреждение культуры его ликвидировали в 1953 году. Его экспозиция была признана идеологически ошибочной, «извратившей ход исторических событий», и в 1949 году музей был закрыт.

Окончательно его уничтожили после распоряжения Совета министров РСФСР от 21 января 1953 года № 239-р. Исполкому Ленгорсовета было дано указание ликвидировать Музей обороны Ленинграда, фонды передать Государственному музею истории города Ленинграда.

А что же блокнот Тани Савичевой? С тех пор он и находится в музее истории Города. И в этом тоже есть определённая воля судьбы, предопределённость, – называйте, как хотите. Бесчисленные копии дневника разошлись по всему миру.

Бытует легенда, по которой блокнот Тани Савичевой явился одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе. К сожалению, это всего лишь легенда, которая кочует из статьи в статью, включается в стихотворения, но оснований под собой не имеет. В 1961 году вышло семитомное издание «Нюрнбергский процесс», и Таниных записей в перечне обвинительных документов нет.

А Город не обманул. С тех самых пор, говоря о блокаде Ленинграда, мы вспоминаем маленькую девочку, похоронившую свою семью и умершую от дистрофии и болезней.

«19 мая 1972 года в Шатках на могиле Тани была поставлена небольшая памятная плита, а рядом по предложению местных школьников сооружён памятник, запечатлевший в металле страницы блокадного дневника на красной кирпичной стене, символически изображающей разрушенное бомбами здание. Этот проект предложил ученик девятого класса Дима Курташкин. И только через девять лет (31 мая 1981 года) на самой могиле был сооружён гранитный памятник с бронзовым барельефом – портретом Тани (скульптор Т. Г. Холуева, архитекторы Б. Ф. Холуев, Гаврилов). Позже рядом с кладбищем оформили площадь, на которой поставили памятник Матери-Родине, ставший композиционным центром мемориального комплекса. А неподалёку одну из улиц назвали именем Тани Савичевой»³³.

Чуть позже, после установки памятной плиты её именем назвали одну из малых планет Солнечной системы – астероид № 2127, открытый советским астрономом Людмилой Ивановной Черных 29 мая 1971 года. Международный планетарный центр утвердил названия новых планет, открытых советскими астрономами в 1980 году.

Так появилась планета **Таня**.

В этом есть элемент мифотворчества: одна во всей Вселенной, в бескрайнем чёрном космосе, как тогда, 13 мая 1942 года в своей квартире на Васильевском острове.

Будем честны: если бы Таня осталась жива, не получилось бы мифа; трагедия бьёт нас наотмашь только тогда, когда она полна и безысходна. И вновь

приходится вспоминать Фёдора Достоевского и его “слезинку одного ребёнка”, которого необходимо замучить для всеобщего счастья. Да будь проклято такое счастье!

За время блокады в Ленинграде умерли от голода и бомбёжек 632 тысячи человек. Такая цифра фигурировала на Нюрнбергском процессе. Но в неё не входят неопознанные блокадники, погибшие в черте города и умершие во время и после эвакуации.

Таня Савичева в эту статистику не вошла.
Она вошла в вечность.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Маркова Л. Н. Блокадная хроника Тани Савичевой // Петербургская семья [электронный ресурс]. URL: http://old.spb-family.ru/history/history_15.html; обращение 1.02.2020.

² Там же.

³ Миксон И. Л. Жила-была... Историческое повествование. Л., 1991. URL: http://militera.lib.ru/bio/mikson_il_savicheva/index.html; обращение 1.02.2020.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Маркова Л. Н. Указ. соч.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Отчёт отдела народного образования. // ЦГА СПб. Ф. 2076. Оп. 4. Д. 54. Л. 170об.

¹⁰ Блокада Ленинграда. Эвакуация [электронный ресурс]. URL: <https://evacuation.spbarchives.ru/history>; обращение 1.02.2020.

¹¹ Газиева Л. Л. Организация эвакуации ленинградских детей в 1941 г. (по материалам государственных архивов) // Клио. 2013. № 8(80). С. 63–66.

¹² ЦГА СПб. Ф. 5039. Оп. 3. Д. 546. (1941–1941. Годовые финансовые отчёты Выборгского РОНО на содержание детских садов и детских домов за 1941 год). Л. боб.

¹³ Сводный финансовый отчёт Ленгорно. Об исполнении сметы по внебюджетным централизованным учреждениям за 1941 // ЦГА СПб. Ф. 5039. Оп. 3. Д. 545. (1941–1941). Л. 5. Отчёт подписан инспектором 30 июня 1942 г.

¹⁴ Эта память – наша совесть... СПб, 2007. С. 343.

¹⁵ Газиева Л. Л. Указ. соч.

¹⁶ Блокада Ленинграда. Эвакуация...

¹⁷ Миксон И. Л. Указ. соч.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

²⁰ Новый год в блокадном Ленинграде в период Великой Отечественной войны // Архивы Санкт-Петербурга [электронный ресурс]. URL: https://spbarchives.ru/newyear_4; обращение 1.02.2020.

²¹ Миксон И. Л. Указ. соч.

²² Там же.

²³ Маркова Л. Н. Указ. соч.

²⁴ Миксон И. Л. Указ. соч.

²⁵ Маркова Л. Н. Указ. соч.

²⁶ Миксон И. Л. Указ. соч.

²⁷ Это Шатковский район Горьковской (Нижегородской) области.

²⁸ Маркова Л. Н. Указ. соч.

²⁹ Миксон И. Л. Указ. соч.

³⁰ Маркова Л. Н. Указ. соч.

³¹ Там же.

³² Музей обороны Ленинграда // Краеведь [электронный ресурс]. URL: <https://fotosergs.livejournal.com/103389.html>; обращение 1.02.2020.

³³ Маркова Л. Н. Указ. соч.

АНДРЕЙ КАЛАШНИКОВ

СОЛДАТЫ СВОБОДНОГО ОТЕЧЕСТВА

51 день до Победы

Моя бабушка по маминой линии Морозова Клавдия Ивановна (в девичестве Белова) родом из деревни Карабаново Пызенского сельсовета Сычёвского района Смоленской области. Родилась она в 1928 году. У неё было два брата. В 30-х годах родители бабушки, Белов Иван и Белова Аксинья Васильевна, работали в колхозе “Доброволец”. Оба похоронены ныне на гражданском кладбище деревни Караваево Сычёвского района.

Бабушка в своих рассказах о немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны (она была малолетней узницей фашистских концлагерей) редко упоминала о своём старшем брате Григории 1925 года рождения. Говорила, что помнит, как проводили его сразу после ухода немцев из Сычёвки в Красную армию. Была от него пара писем и фотография одна... Говорила бабушка, что погиб и похоронен он где-то в Венгрии. Более никакой информации.

Фотография Григория Ивановича завалилась в старом потёртом фотоальбоме за другие, и я тщетно пытался в архивах раздобыть хоть какую-то фотокарточку деда. И вот летом 2017 года мне попал в руки снимок мужчины в форме, а на обратной стороне написано, что красноармеец Белов Григорий шлёт эту фотографию вместе с приветом своим родителям, сестре Клаве и брату. Надпись датирована 1943 годом.

В 2015 году, когда, к сожалению, моя бабушка уже умерла, я нашёл весточку о деду — Извещение родных о его гибели (похоронку). В ней говорилось: “Ваш сын, красноармеец 296 стрелкового полка Белов Григорий Иванович, уроженец города Сычёвка, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был ранен и умер от ран 18 марта 1945 года, похоронен в Венгрии, область Файер, село Пазманд, могила № 1, 1-й справа от здания больницы”. Похоронка отправлена из Полевого Подвижного госпиталя № 735. В связи с трагической гибелью Белова Г. И. семье назначалась пенсия, что в период послевоенного голода было хорошим подспорьем для семьи.

По фамилии и названию места проживания перед призывом в армию (дер. Пызино) найти ещё сведений о нём не получалось. Тогда я перелистал

КАЛАШНИКОВ Андрей — депутат Совета депутатов сельского поселения Медведево Ржевского района Тверской области. Публиковал очерки в журнале “МолОжо”, в областной и районной прессе. Возраст — 32 года.

практически все донесения об умерших в госпитале № 735 и, к счастью, нашёл запись о моём дед. Причина, по которой я не мог найти эти сведения по первичным данным, оказалась проста – в названии сельсовета, равно как и деревни, была допущена ошибка: вместо “ПыЗинский сельсовет” указано “ПыСинский...”. Из донесения стало известно, что тяжёлое ранение, которое в итоге стало смертельным, мой дед получил 18 марта 1945 года, за 51 день до Победы.

Мне не составило труда выяснить, что 296-й Гвардейский ордена Кутузова 3-й степени стрелковый полк входил в состав 98-й Гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии, которая летом 1944 года участвовала в прорыве фашистской блокады Ленинграда и входила в Карельский фронт. Весной 1945 года дивизия уже была прикреплена к 3-му Украинскому фронту и вела бои по освобождению Украины и Венгрии.

Удалось найти два наградных листа на имя Белова Григория Ивановича. Благодаря содержащейся там информации, а также сведениям из журналов боевых действий 98-й дивизии, я узнал подробную информацию о подвигах Григория Ивановича.

Мой дед участвовал в героическом форсировании реки Свирь возле города Лодейное Поле Ленинградской области. Служил он в 296-м стрелковом полку, в миномётной батарее подносчиком мин. 21 июня в 11:45 красноармеец Белов Г. И. в первом ударном эшелоне одним из первых форсировал реку Свирь и занял плацдарм на другом его берегу. Благодаря слаженной работе миномётной батареи, удалось подавить огневые точки фашистов, что позволило наступающим советским частям переправиться за 2 часа и развить дальнейшее наступление вглубь обороны врага. 23 июня 1944 года Белов Григорий Иванович был награждён медалью “За боевые заслуги” (№ 1/н). С этого момента дед стал кандидатом ВКП(б). После такого успеха на Карельском фронте 98-й гвардейской стрелковой дивизии присвоили название Свирской.

В марте 1945 года 98-я стрелковая дивизия вела наступательные бои в Венгрии в 50 км западнее Будапешта. 16 марта 296-й стрелковый полк, в котором служил дед, находился в первом эшелоне наступающих советских частей в районе сёл Замолье и Вертешача.

С утра 16 марта 1945 года полк после мощной артиллерийской подготовки пошёл в атаку. 1-я миномётная рота точно поражала уцелевшие после артоналёта огневые позиции фашистов. Увлекаемые вперёд, бойцы захватили опорные пункты на передней линии обороны врага, уничтожив до батальона венгров, взяв в плен до 200 человек и подбив 7 танков противника. С фланга враг предпринял контратаку в расположение 1-й миномётной роты. Бойцам этого подразделения, в том числе и Белову Г. И., пришлось со стрелковым оружием в руках отбивать натиск наступающих фашистов. В этом бою пример мужества и героизма показал гвардии рядовой, красноармеец Белов Григорий Иванович, уничтоживший, как минимум, троих вражеских солдат.

Бой длился двое суток и закончился утром 19 марта 1945 года успешным продвижением вперёд советских войск. Днём ранее взрывом вражеской мины был тяжело ранен Белов Григорий Иванович, которого отвезли в госпиталь в селе Пазманд, где он и умер. Всего 98-я гвардейская стрелковая дивизия в том бою потеряла 228 человек убитыми и 618 ранеными.

3 мая 1945 года за мужество и самопожертвование, проявленные в бою 16–18 марта 1945 года, Белов Григорий Иванович был награждён медалью “За отвагу” (№ 21/н) посмертно.

Ныне в центре села Пазманд существует та самая братская могила, в которой покоится мой дед. Всего там захоронено 274 советских военнослужащих, в данный момент озвучены имена только 51 человека, родственников остальных ищут. Мемориал пришёл в запустение, долгие годы за ним было мало ухода. Утеряны большинство табличек с именами погребённых солдат, поэтому сейчас вновь пытаются установить их имена.

В мае 2015 года в селе Пазманд состоялась встреча местных венгерских властей с представителями правления Дома российско-венгерской дружбы, российского консульства в Венгрии и родственниками похороненных солдат. Было принято решение о реконструкции захоронения!

Я как благодарный потомок своего героического деда обязан по мере возможности участвовать в работе по реконструкции его могилы. Сейчас я направил имеющиеся у меня документы и этот рассказ в Правление Дома россий-

ско-венгерской дружбы и Посольство России в Венгрии. В ближайшее время намереваюсь побывать в местах гибели деда и посетить мемориал, где он захоронен.

От берегов Осуги до Германии

Мой прадед по дедовой линии Пётр Ильич Морозов прошёл всю войну и вернулся домой живым, правда, здоровье его было подорвано. Прадед родился в 1903 году в деревне Петраково Артёмовской волости Зубцовского уезда, на правом берегу реки Осуги (ныне деревни не существует, она располагалась через реку от деревни Рогачёво). Сейчас это самая северная часть Сычёвского района, граница Тверской и Смоленской областей.

Пётр Ильич женился в 1924 году. У его жены Аграфены в 1925 году родились двойняшки-сыновья – Евгений и мой дед Анатолий.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Уже 28 июня Пётр Ильич Морозов прибыл на призывной пункт в городе Сычёвка и был отправлен на фронт. Прадед был зачислен в ряды отступающей 42-й стрелковой дивизии в 455-й стрелковый полк. Именно эта дивизия держала оборону Брестской крепости.

В августе 1941 года дивизия дислоцировалась на Брянском фронте. К 1 сентября 1941 года соединения 42-й стрелковой дивизии развернулись на линии Оболонье–Рейментаровка–Жадово–Семёновка фронтом на восток и начали наступление против частей 2-й немецкой танковой группы. Мой прадед служил в артиллерийском подразделении. Уже 2 сентября дивизия попала под фланговый удар немецкой мотодивизии “Райх” и 1-й кавалерийской дивизии вермахта и начала отходить на исходные позиции.

К 20-м числам сентября крупная группировка советских войск, включая 42-ю дивизию, оказалась запертой в киевском “котле”. Только ценой больших потерь дивизии удалось избежать полного уничтожения, а её остаткам – вырваться из окружения. Среди вышедших из окружения оказался и мой тяжело раненный прадед Пётр Ильич Морозов. Ранение он получил 2 сентября 1941 года.

Петра Ильича направили в госпиталь, а дивизию расформировали 27 декабря 1941 года. Номер дивизии был присвоен новому воинскому соединению, формировавшемуся в это время в Саратовской области. Прадеду повезло в начале 1942 года снова попасть в состав своего 455-го стрелкового полка. Его подразделение было брошено на Воронежский фронт, где Пётр Ильич получил второе тяжёлое ранение. После этого он долго лечился, но здоровью был нанесён непоправимый вред.

Петра Ильича могли списать в запас, но он упрямился, чтобы его оставили на фронте, и продолжал бить фашистов, ведь в это время вся его семья находилась в оккупации. Петраково, как и все деревни по реке Осуге, до 6 марта 1943 года было оккупировано немецкими войсками. Прадеда вновь зачислили в 455-й полк 42-й стрелковой дивизии на должность командира отряда снабжения батальона 76-ти мм пушек в звании старшины.

В августе 1943 года подразделение Петра Ильича Морозова вело активные боевые действия под Смоленском. 16 августа он был награждён медалью “За боевые заслуги” за то, что организовал бесперебойное снабжение бойцов своего батальона боеприпасами и продовольствием, а также маскировку и сбережение конского состава, вследствие чего потери лошадей были сведены к минимуму. Благодаря чёткому снабжению стрелковые части упорно ломали оборону противника, и 25 сентября 1943 года 42-я дивизия освободила Смоленск.

В конце 1943 года дивизия перебрасывается в Белоруссию под Витебск, где ведёт упорные бои до весны 1944 года. По итогу этого наступления Пётр Иванович Морозов был второй раз награждён медалью “За боевые заслуги”. В наступательных боях с 26 декабря 1943 года по 15 января 1944 года он обеспечивал подразделения своего стрелкового полка боеприпасами, своевременно доставлял горячую пищу, хорошо поставил и вёл учёт личного состава артиллерийского подразделения, а также организовал сбор вооружения с поля боя, благодаря чему его боевое соединение не имело потерь в вооружении.

К сентябрю 1944 года прадед в рядах 42-й стрелковой дивизии активно теснил фашистские войска в направлении города Гродно. Овладев населён-

ными пунктами Замбрувом, Ломжей, Остроленкой, советские части заняли оборону на южном берегу Нарева. По итогам этих боёв 13 сентября 1944 года Пётр Ильич был награждён медалью “За отвагу” за то, что 9 сентября в ходе прорыва вражеской обороны в районе деревни Теодорово под сильным артиллерийско-миномётным огнём, рискуя жизнью, на себе по-пластунски доставлял боеприпасы к 76-ти мм орудиям, которые прямой наводкой били по контратакующему противнику.

42-я стрелковая дивизия моего прадеда участвовала в Восточно-Прусской операции в наступлении на города Быгдош и Данциг. В наступательных боях с 10 по 25 марта 1945 года за деревню Гросс-Тухом и город Олива Морозов Пётр Ильич огнём своей пушки, находясь в боевых порядках пехоты, прямой наводкой успешно поддерживал наступающие советские подразделения. Во время боя огнём пушки прадед подавил огонь двух немецких пушек, одной миномётной батареи и уничтожил пять пулемётных точек. В другие дни Пётр Ильич из своей пушки прямым попаданием ликвидировал вражеский мотоцикл с мотоциклистом, а также уничтожил около 100 немецких солдат. Своими отважными действиями мой прадед способствовал успешному наступлению полка. За этот подвиг Пётр Ильич Морозов 8 апреля 1945 года был награждён орденом Красной Звезды.

Мой прадед участвовал в форсировании реки Одер и закончил войну 4 мая 1945 года, когда 42-я стрелковая дивизия встретилась с союзниками-англичанами в районе г. Пархим на юго-западе Германии.

Пётр Ильич получил инвалидность из-за тяжёлых ранений. В родной Осугский край он вернулся летом 1945 года. Вся семья успешно пережила невзгоды и трудности немецкой оккупации. Жаль, что ранения и подорванное здоровье не позволили прадеду пожить подольше. В 1948 году в возрасте 45 лет он умер.

Долгие годы место его захоронения было мне не известно. В конце 2017 года я узнал точное место его погребения – самый центр гражданского кладбища в деревне Рогачёво, на высоком левом берегу реки Осуги (напротив его родной деревни). На месте могилы стояла поблёкшая ограда и безымянный крест, всё заросло кустами. Мне удалось очистить место захоронения моего славного прадеда от кустов и облагородить территорию вокруг. На могиле мной установлен добротный крест с двумя табличками, на которых я постарался уместить всю важную информацию. Жаль, что фотографии прадеда найти пока не удалось.

Я горжусь, что мой прадед Пётр Ильич Морозов дошёл от берегов Осуги до Германии, гоня восояси злобного неприятеля! Таким славным предком обязательно будут гордиться и мои дети, ведь история его жизни и подвига теперь является главной семейной ценностью!

Потом и кровью

Третьей статьёй о моих предках – участниках Великой Отечественной войны – станет рассказ о моём славном деде-герое – об Андрее Алексеевиче Калашникове. Да-да, именно в честь него назван я Андреем. Я горд, что ношу имя замечательного отважного человека!

Мой дедушка по отцовской линии, Андрей Алексеевич Калашников, родился в 1912 году в деревне Медвежьи Озёра Щёлковского района Московской области. Проходил службу в рядах Красной армии в 1934–1936 годах, был членом ВКП(б). Ещё до войны он женился на Александре Петровне, и у них родилась дочь Римма, но она умерла, не дожив до года. В июне 1941 года родилась вторая дочь Зоя.

Сразу после рождения дочки 23 июня 1941 года Андрея Алексеевича Калашникова мобилизовали в Красную армию в связи с началом Великой Отечественной войны. Он был зачислен в 352-ю роту связи 179-й стрелковой дивизии. Первые бои с немецко-фашистскими войсками дед принял в августе 1941 года на реке Западная Двина, во время отступления его дивизии из Литвы.

С 7 октября 1941 года Андрей Алексеевич Калашников вместе со 179-й стрелковой дивизией отходит маршем на 80–90 километров, в верховья Волги. Дивизия заняла рубеж на восточном берегу Волги, к югу от села Ельцы в Селижаровском районе Калининской области (ныне Тверской). С конца

октября 1941 года дивизия отошла за реку Большая Коша, вела тяжёлые бои в первой половине ноября 1941 года, затем в расположении дивизии наступило относительное затишье.

Мой дед, будучи родом из восточных районов Московской области, принял непосредственное участие в Ржевской битве, практически в тех местах, которые стали его внуку малой родиной!

Андрей Алексеевич Калашников за примерную службу получил звание младшего лейтенанта и принял командование 352-й ротой связи 215-го стрелкового полка. Его 179-я стрелковая дивизия с 15 января 1942 года перешла в наступление на самом крайнем правом фланге 22-й армии, наступая на Селижарово, и в этот же день его заняла. 16 января 1942 года дивизия вышла на правый берег Волги, наступала на город Нелидово, затем на Белый, к которому вышла в первых числах февраля 1942 года.

Андрей Алексеевич участвовал в тяжелейших боях, где под шквалом пуль и мин врага успешно руководил своей 352-й ротой связи. 179-я дивизия безуспешно штурмовала город Белый, до июля 1942 года она оборонялась в окружении на окраине города, понесла большие потери, такие, что полки уже стали именоваться сборными группами и отрядами, имеющими приказ прорываться к основным частям. Мой дед, уничтожая фашистов, прорывается через кольцо неприятеля с остатками дивизии и к августу 1942 года выходит в Бельский район. В декабре 1942 года вышедшие из окружения бойцы 179-й стрелковой дивизии находились в Духовщинском районе Смоленской области.

Далее Андрей Алексеевич Калашников получает пополнение в свою роту связи и уже в 1943 году участвует в наступательных операциях советских войск в Смоленской области и в Белоруссии. Зимой и весной 1944 года рота дислоцируется в Витебской области.

С 23 июня 1944 года 179-я дивизия наступает в ходе Белорусской операции и прорывает оборону противника у деревни Шумилино Витебской области. 24 июня 1944 года вместе с 306-й стрелковой дивизией форсирует Западную Двину, затем, наступая, перерезает дорогу Витебск – Бешенковичи и начинает наступление на Витебск, уничтожая окружённую там фашистскую группировку. После разгрома немецких войск с 27 июня 1944 года дед ведёт тяжёлые бои у города Глубокое, затем медленно продвигается в общем направлении на Ригу через Биржай и Бауску, к которым дивизия вышла в конце июля 1944 года.

29 июля 1944 года 179-я стрелковая дивизия прорвалась к реке Мемеле и захватила там плацдарм. В начале августа 1944 года вела тяжёлые бои за удержание и расширение плацдарма, отразила контрудар немецких войск с севера. До середины сентября 1944 года держала оборону на рубеже реки Мемеле.

С 23 июня 1944 года за время наступательных боёв по прорыву сильно укреплённой обороны противника в районе деревни Шумилово мой дед Андрей Алексеевич Калашников своей самоотверженной работой способствовал успешному выполнению поставленной дивизии задачи. Неоднократно под сильным огнём противника он давал телефонную связь наступающим стрелковым подразделениям и восстанавливал линию связи, ликвидируя по 20–30 порывов в день под огнём противника. За самоотверженность и отвагу Андрей Алексеевич Калашников 13 сентября 1944 года награждён орденом Красной Звезды и ему присвоено звание капитана.

28 января 1945 года мой дед в составе 179-й стрелковой дивизии освободил город Мемель. С февраля 1945 года и до конца войны дивизия сражалась на 2-м Прибалтийском фронте в составе 4-й Ударной армии и вела бои с запертой на Курляндском полуострове в Восточной Пруссии вражеской группировкой.

Мой дедушка Андрей Алексеевич Калашников, начав войну с фашистами с первых дней их вторжения, вместе с 215-м стрелковым полком 179-й стрелковой дивизии прошёл славный боевой путь от реки Волги севернее Ржева до границ Восточной Пруссии. Неоднократно под огнём противника наводил связь. В боях за города Витебск, Бауска и Клайпеда своей самоотверженной работой обеспечил бесперебойную связь подразделения полка. Как активный участник Великой Отечественной войны 23 июля 1945 года Андрей Алексеевич Калашников удостоен Ордена Отечественной войны II степени.

К концу 1945 года дедушка вернулся победителем к своей жене и дочке в родной Щёлковский район. Устроился на работу – трудился сварщиком. После в их семье родились два сына, Сергей (мой отец) и Вячеслав, и дочь Лидия.

6 апреля 1985 года в честь 40-летия Великой Победы Андрей Алексеевич Калашников удостоен “юбилейного” Ордена Отечественной войны II степени. Помимо этих наград дед имел медали за освобождение многих городов.

3 февраля 1993 года мой отважный героический дедушка умер в возрасте 81 года. Похоронен на кладбище города Щёлково Московской области.

У меня есть фотография, где я в двухлетнем возрасте в окружении родителей сижу на коленях своего дедушки. Рядом моя бабушка по маминной линии Клавдия. Дед в форме, медали и ордена на кителе заработаны потом и кровью... Он улыбается, смотрит на меня... А сколько ужаса и смертей видели эти глаза за четыре года непрерывных боёв, страшно представить...

Наша задача – помнить о бессмертном подвиге наших дедов, которые подарили свободу Родине, и сохранять своё свободное Отечество для наших детей!

АРТЁМ ПОПОВ

ПЧЁЛЫ И ПАРАЗИТЫ

“Деревенская проза” нового поколения

Сразу от двух молодых столичных критиков услышал упрёк о “паразитировании” на деревенской теме, в частности, на сюжетах и мотивах Василия Белова, Фёдора Абрамова, Валентина Распутина. Высказано это было настолько безапелляционно... Но особенно больно укололо слово “паразитирование”. Стало обидно за тех немногих молодых прозаиков, которые пишут сегодня о деревне. Хотел бросить что-нибудь в сердцах, стгоряча, но понял, что тут всё гораздо серьёзнее — такая легла между нами пропасть, и решил свой ответ на время отложить.

Поэтому для начала две истории.

Украина Вологодской области. Лето. Пылим на машине с другом по грунтовке к полузаброшенной деревне. Денис родился и вырос в селе, работает электриком. Посадил меня в служебную машину в нарушение инструкции, и это далось ему с трудом: парень он правильный. Вдруг впереди увидели старичка, который топает чуть ли не по середине дороги. Хотя вроде и не пьяный.

— Надо остановиться... — говорит Денис и сразу же тормозит. — Мало ли что с ним...

— До Деревеньки подбросите? — заглядывает в кабину старик.

Это название такое — Деревенька. Друг, не раздумывая, соглашается: это почти по пути. В разговоре выяснилось, что дед полуслепой! Вместо нашего “ГАЗа” видел лишь какое-то тёмное пятно. С детства по этой дороге столько им хожено-перехожено. А возвращался он сейчас из магазина за три километра, где покупал курево. И как не сбили местные ухаи за рулём? Довезли мы его и денег, разумеется, не взяли, друг даже обиделся, когда старик вздумал расплатиться...

Тот же год. Москва, аэропорт “Шереметьево”. Заказал такси до Химок. Таксист перезванивает: “Выйдите на трассу. Мне за парковку отдельно платить надо”. Ладно, иду на трассу, хоть я заплатил за всю дорогу. На шоссе

ПОПОВ Артём Васильевич родился в 1980 году в г. Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работал журналистом в городской газете. В настоящее время — пресс-секретарь Совета депутатов Северодвинска. Печатался в “Нашем современнике”, “Молодой гвардии”, “Литературной России”, “Севере”, “Доне”, “Двине” и других изданиях. В 2020 году принят в Союз писателей России. Участник Ежегодных Всероссийских совещаний молодых литераторов СПР в Химках в 2019 и 2020 годах (семинары “Нашего современника”).

авто несутся со скоростью сто километров в час, того гляди — снесут. Сел в машину, молодой таксист сразу же обложил матом, мол, долго шёл. Потом содрал столько, за сколько деревенским надо неделю работать.

К чему эти истории? К тому, чтобы ещё раз напомнить, казалось бы, очевидное: в одной стране люди уже давно живут в параллельных мирах. Скажете, и раньше так было?.. Да, было, но не так контрастно выпукло, не с такой постыдной откровенностью.

Это как одна известная либеральная тётка съязвила, увидев в каком-то современном фильме на стене квартиры ковры а-ля СССР: “Да их с начала 2000-х уже ни у кого нет!” Понятно, как она давно она не выезжала за МКАД, в глубокую провинцию.

Скажу прямо: деревенские жители мне симпатичнее многих городских, особенно “столичных штучек”. Пусть и среди деревенских хватает хитрованов, и живут там далеко не все праведно. Но нет в них этого жлобства, сытой наглости, тупой самоуверенности в своей правоте.

Или вот ещё один упрёк от очередного гуру литературной критики: “Герои твои все какие-то неправдоподобно одухотворённые и говорят-то как правильно, без матюгов!” Да, действительно, многие из прототипов моих рассказов в институтах не учились, но никогда не будут материть незнакомого человека, как тот таксист из “Шереметьево”. Скромность и совестливость, деликатность и внутренняя интеллигентность были и остаются в крови у деревенских жителей, а значит, и у моих героев. Ещё пример: в селе подростки по-прежнему первыми здороваются со взрослыми, знакомыми или нет, — неважно.

Но, увы, мир этот уходит. Неужели не надо запечатлеть его хотя бы на бумаге? Да обязательно нужно писать об этом! Не о митингах во всём и всегда правых либералов и не о “крымнашистах” — порой тех ещё оголтелых патриотах, а о работагах, пренебрежительно именуемых “так называемые простые люди”. Но эти простые всегда останутся, даже если инструкция не велит, потому что по-другому не могут.

В одном из рассказов Василия Белова “За тремя волоками” главный герой, возвращаясь после многих лет к своему дому, видит от него лишь остатки печи — опечек. В моём рассказе “Медвежий дом” (простите уж за нескромное сопоставление) главная героиня тоже мечтала увидеть спустя годы родную деревню, но не смогла даже её найти — вся дорога заросла лесом, а в полу-сгнившем срубе отчего дома поселилась медведица с медвежонком... Разве искусственно повторял я этот сюжет? Разве не вечен этот мотив пути-дороги к Дому? Не восходит ли он к библейским сюжетам и мотивам: свободы, страданий, казни, прощения, милосердия?..

Влияние прозы Фёдора Абрамова, Василия Белова, Валентина Распутина в подростковом возрасте для меня было определяющим. Возможно, не решился бы писать, не прочитав их запоем в своё время. Но чтобы подражать им напрямую, “косить”, как сейчас говорят, под них... Да всё это просто въелось в кровь навсегда, помимо моей воли: “обождать” (пождать), “зарод” (стог), “баской” (красивый), “шибко” (очень), “куть” (кухня), “поветь” (сеновал)... Все эти слова и сегодня можно услышать в деревнях Русского Севера.

Думал ли я, что осмелюсь писать о деревне после “Пряслиных” и “Привычного дела”? Помните, как в “Печальном детективе” у Виктора Астафьева главный герой Сошнин замирал перед чистым листом? Да никогда бы не решился, если б не понял однажды, что у каждого своя деревня, в свой временной отрезок. А пишем, в общем-то, об одном: медленном умирании сельской жизни, о конвульсии последних деревушек. Вместе с ними уходят и колоритные топонимы: Истопная, Загарье, Шея, Осница... Тут не подходит чеховский совет: не могу не писать о том, от чего сердце сжимается. “Если и писать о деревне, то только честно”, — завещал Фёдор Абрамов, столетний юбилей которого мы отметили в этом году.

“Деревенская” проза продолжается, скорее, вопреки всему, стоит поперёк литературного процесса. Существует, преодолевая снобизм модных критиков. Да и само это направление современной литературы тоже неоднородно. Взять, к примеру, сибирского автора Андрея Антипина, уже признанного прозаика, обласканного престижными премиями. Язык его произведений, на мой — и не только на мой — взгляд, кажется несколько вычурным, даже излишне “филологичным”. Нет, конечно, литература должна возвышать читателя, но стремиться нужно к простоте.

Как раз к такой народной простоте движется вологодский прозаик Наталья Мелёхина. Правда, одни это ставят в упрёк, другие называют «Беловым в юбке». Но нельзя отрицать, что сегодня Наталья Мелёхина — один из ярких представителей «деревенской прозы».

Прекрасно знает деревенскую натуру, характеры, детали быта писательница Ирина Мамаева из Петрозаводска: «Ленкина свадьба», «Земля Гай» и другие работы. Своеобразная манера повествования, глубокий психологизм отличает Ольгу Гришаеву из Омской области. Вспомню «Невесту» и другие её рассказы. Нельзя не сказать и о прозе Натальи Ключарёвой (она родом из Перми). Достаточно назвать одну из самых известных её вещей — «Деревню дураков». Все они пишут о том, что сами хорошо знают, о деревне периода упадка, «нулевых» годах. У них нет слепого подражания классикам «деревенской прозы», а есть продолжение традиций, следование им.

Прозу этих авторов условно можно назвать прозой сорокалетних. К ним подтягиваются и тридцатилетние. Например, ещё один интересный вологодский, точнее, великоустюгский автор, — Антонида Смолина. Её рассказы напечатал ряд толстых литературных журналов, и на Ежегодном Всероссийском совещании молодых литераторов в Химках в 2020 году её рекомендовали в Союз писателей России. Не потому ли много талантливых авторов на Вологодчине, что это вторая область в России по числу умерших деревень? Вот и пишут вологжане сквозь слёзы.

Но будет ли «деревенская проза» у двадцатилетних? А вот это большой вопрос. Старшее молодое поколение ещё успело пообщаться с бабушками-дедушками, которые пережили Великую Отечественную, помнят голод в колхозах, а в памяти сохранили и рассказы своих родителей. Это и есть живая история, переданная из уст в уста. А что увидят двадцатилетние в деревне? Кого спросят у пустующих домов с выбитыми окнами-глазницами? В лучшем случае сохранятся названия деревень, ставших дачными посёлками.

Можно назвать ещё несколько молодых и не очень молодых авторов, подхвативших деревенскую тему, в том числе «чернушников», не гнушающихся и матерными словечками. Но не о них сейчас речь.

«Ну, напишете вы обо всех своих бабках и дядьках, и что дальше?» — сказал мне как-то на форуме оппонент-эстет. (К слову, тут явный отсыл к сильной повести «Дядька» Андрея Антипина.) Ответил тогда: в другой деревне живёт пусть не бабка и не дядька, но не менее интересная тётка. Живёт одна во всей деревне, а когда-то работала в театре в Ленинграде... Чем не сюжет? И вот ищу трактор до этой-то как не было, так и нет, весь асфальт в Москве), чтобы добраться до этой деревенской актрисы. Чем-то напоминает труд пчёлки, перелетающей с одного цветка на другой... Ну, никак не сравнить с паразитами-трутнями!

Отношение у столичных критиков к «деревенской прозе» ещё с советских времён было в лучшем случае снисходительным. Таким остаётся и сейчас. Слава богу, не везде. В той же Вологодской области учреждены два Всероссийских литературных конкурса памяти Василия Ивановича Белова. Большое видится на расстоянии...

Одобрят творчество молодых «деревенщиков» старшее поколение литературных критиков, которое ещё застало Белова и Распутина. На Ежегодном Всероссийском совещании молодых литераторов СПР опытный мастер, как могут, поддерживают пишущих о деревне. Назову здесь лишь первого заместителя главного редактора журнала «Наш современник» Александра Казинцева или председателя Краснодарского регионального отделения СПР Светлану Макарову-Гриценко. Светлана Николаевна однажды хорошо сказала: если потеряем деревню, потеряем нравственность.

Как раз в Краснодарском крае с сельским хозяйством, в отличие от других регионов России, дела обстоят получше. Но все эти гигантские агрохолдинги, где коров не пасут на лугах, а обслуживают роботы, ничего общего не имеют с той патриархальной деревней, обычаями и устоями, о которых сожалели Белов и Абрамов. Вспомню ещё раз Фёдора Александровича: «Русская деревня — это та нива, на которой всколосилась вся наша национальная культура, наша этика, нравственность, наша философия, если хотите, наш чудо-язык».

Каково сегодня отношение государства к деревне, можно судить по СМИ. Видели ли на федеральных каналах сюжеты о посадке овощей или

уборке хлеба? Нет, конечно, вот “посадка” чиновника – это да, это интересно. А труд крестьянина разве интересен?

“Ну, наивный ты человек, – скажут опять мне. – Умрёт всё равно твоя деревня под гнётом урбанизации, оптимизации и прочей -ции”. Но тем ценнее наши старания запечатлеть *последних из могикан* русской деревни. Пройдёт ещё совсем немного времени, и писать, возможно, станет просто не о ком и не о чем – исчезнет деревня с её рублеными домами, многовековым укладом, не будет гостеприимных жителей с душой нараспашку: “Без пирогов не отпущу!”

В общем, не хотел, но всё-таки устроил “плач” по деревне! Но ведь и Слово многое значит. Пусть будет больше очерков, рассказов, повестей, романов. Лишь бы были написаны искренне, через боль, а значит, живые и настоящие.

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА

ВЕСНА. КАРАНТИН

Вот уже второй месяц каждое утро, когда я открываю глаза, надо мной склоняются стены чужого дома. Бордовые занавески, не по-домашнему скроенная спальня, без фотографий на стенах и любимых вещей, отельного типа гостиная с современной чёрной мебелью, кухня, как будто бы не по-русски сиротливая – без духовки, где бы могли печься домашние пироги, заполняя уютным ароматом все щели. За окном не слышно любимого лязга московских трамваев, а только сонная тишина провинциального города. Это хороший город, великий город, у него даже имя в честь самой гордой птицы – Орёл.

Орёл – город древний и пострадавший, а сейчас дышащий и растущий. Здесь много цветов и скверов, прекрасный лес с вертлявыми любопытными белками, а прямо у подъезда дома расстилается набережная реки Орлик – широкая, мощёная. Так по-европейски здесь смотрятся редкие бегуны и собачники. Выйдешь ночью – с другого берега из парка доносятся пение птиц и кваканье лягушек. Приглядишься – а рядом с тобой копошится в траве семейство ежей, абсолютно тебя игнорируя. Это очень красивый город. И он дал мне в эти два месяца много свободы, много воздуха, много впечатлений. Но это чужой город.

Мой родной город грустит без меня. Впрочем, наверное, на грусть у него нет времени. Он весь съёжился, насторожился, и замереть совсем, застыть в напряжённом ожидании не может. Оттого он продолжает суетиться, что-то делать, но как будто всё пустое, всё не то. Так ждущие в тревоге возвращения близких хватаются за всё подряд в доме, не доделывая ни одного дела до конца, просто так, чтобы хоть как-то отвлечься. И мой город не знает, за что браться. Карантин прошёлся по нему неравномерно. Извержение вулкана слизывает город целиком, заливая раскалённой лавой и жалкие лачуги, и особняки; пожар языками пламени окрашивает без разбору целые улицы, грабители и мародёры вытаскивают всё, что найдут, не жалея ни дома, ни музеи.

А сейчас у нас какая-то другая диковинная напасть – её не увидеть, не пощупать. Она зашла в мой город и странно подтачивает его лишь в определённых местах, как моль разрушает старинное платье под недоглядом неопытной костюмерши театра. Жизнь города ушла с улиц в интернет и в телевидение. И через призму этого зеркального пространства разыгрывается какой-то

Елена ТУЛУШЕВА — один из самых заметных молодых прозаиков. Дебютировала в 2014 году в журнале "Наш современник". С тех пор выпустила три книги прозы. Стала лауреатом V, VII и IX Международных форумов славянских литератур "Золотой Витязь" (2014, 2016, 2018), премий "Югра" (2017), "Прохоровское поле" (2017), "Северная звезда" (2015), российско-итальянской премии "Радуга" (2017), премии им. Н.С. Лескова "Очарованный странник" (2018). Произведения переведены на французский, немецкий, итальянский, китайский, арабский, венгерский и др. языки. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

безумный средневековый маскарад, где в смеси гебефренического смеха и предсмертных рыданий не разобрать ни целей, ни смыслов. И с каждым днём карантин те, кому было и так тяжело, пригибаются всё ниже, а те, кто оказался на гребне волны, смеются всё громче и жутче.

Мой город смотрит на мир пыльными витринами магазинов, погасшими вывесками кафе, замурованными входами музеев. Мой город продолжает красить лавки в скверах и менять бордюры, набивая кошелёк тем, у кого он никогда не бывает пуст.

Карантин запер в Москве за бетонными стенами детский смех, выпустил на улицы бесконечные вереницы курьеров, развозящих муляжи радости, угрозами засадил стариков в их одинокие жилища. Я и с закрытыми глазами могу представить всё то, что сейчас происходит дома, но открывать глаза в такой город мне не хочется. И потому я второй месяц здесь, где люди продолжают смеяться на скамейках у дома, где каждое утро на речном пляже уже знакомый мне старичок ходит по колену в воде, чтобы укреплять сосуды, не смущая ленивых, греющихся на солнце уток.

Я стараюсь не читать новостей, но мои клиенты каждый день говорят мне по видеосвязи о том, что происходит в моём городе. Моя работа – слушать о чужих проблемах. Обычно к психологам не приходят с чем-то хорошим, но мы вместе ищем выход, клиенты двигаются вперёд, со временем делятся своими успехами, и тогда я ощущаю ценность своей работы. Но за эти два месяца мне кажется, что я слышу только о тоске, грусти, одиночестве. Моя работа – поддерживать тех, кому плохо. Увы, сейчас я и сказать-то им не могу, что скоро всё наладится, потому что не знаю, когда для каждого из них наступит это “скоро”. Я могу лишь вместе с ними искать точки опоры, искать ресурсы в себе и вовне. Возвращать им ценность того, что есть, вспоминать то, как много они уже прошли.

Мои клиенты не потеряли работу, не потеряли свой дом. Полагаю, что они потеряли радость. Все эти лавиной обрушившиеся предложения интернет-развлечений никак не могут заменить им того, что грело. Видео самых прекрасных спектаклей никогда не заменят той энергии, которую чувствуешь от актёров со сцены. Онлайн-концерты не сравнятся с живым звуком бесплатного концерта самой неизвестной группы в соседнем баре. А социальные сети и групповые марафоны не дадут и десятой части того тепла, которое даст пара часов прогулок с друзьями. И это страшно, что мы можем потерять радость так легко и быстро. Но страшнее то, что и потом, когда всё закончится, мы быстро забудем обо всех своих обещаниях, данных в период карантина из серии: чаще навещать родителей, вывезти детей на море, не пропускать дни рождения друзей, выбираться раз в месяц на природу...

Мы, конечно же, прорвёмся и будем дальше жить, и мир, увы, будет прежним во всём своём антигуманизме. Закроются сотни кафе и семейных булочных, но откроются сотни новых, просто с другими владельцами. Тысячи людей снова будут голодать, а тысячи других так же будут заливать ванны шампанским. Повеселившись и обнявшись со всеми своими близкими, мы скоро вновь потонем в пространстве социальных сетей, фальшивых селфи и глуповатых видеороликов.

Однако всегда есть тот, кто своим маленьким поступком меняет баланс этого мира. И мне хочется верить, что все, кто неожиданно заботливо проявил себя в это нелёгкое время, запомнят это чувство наполненности от того, что сделал что-то для близкого или совсем чужого. Я не верю в большие масштабные реформы и призывы, но я верю в силу одного человека. Изменения происходят только из суммы крохотных движений, которые совершаются не благодаря закону или призыву, спущенному сверху, но лишь благодаря работе души.

Пусть процент тех, кто делал что-то бескорыстно, очень мал, но ведь многие из них начали делать это впервые. Всё, что я могла за эти пару месяцев, – оплатить закупку корма для собачьего приюта, перевести деньги хоспису, отправить посылку книг в сельскую библиотеку, а ещё – чаще звонить родным да честно работать, чтобы пусть всего нескольким людям, но стало легче в эти два месяца.

И надеюсь, что когда-нибудь после всей этой бесконечной потерянности я открою глаза утром, увижу родные стены и с улыбкой подумаю: как много изменилось в мире, как же прекрасно! В конце концов, можно же и пометать на карантине.

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

СТОНЫ СТРАНЫ

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

Поток отчаяния

Я не сгущаю краски, я просто читаю обращения и отвечаю на них тем, чем могу.

Оглаской и депутатскими запросами.

Северодвинск закрывают из-за кошмара эпидемии. Но сколько до этого нужно было взывать к государству...

Рассказывает северодвинка Ирина Суханова, молодая мать годовалых тройняшек, получившая инсульт, поскольку её до последнего не брали в больницу с ковидом: “Мы заколочены, закрыты с другой стороны, только через окно могу орать, просить о помощи. Мне измерили температуру 39,2, начались судороги, а врач говорит – кроме парацетамола, ничего вам дать не могу. Нет ничего у них тут. Вы знаете, в чём здесь ходят медсёстры на ногах? У них брезентовые клеёнки коричневые – их подстилают больным, которые писаются. Они примотаны бинтами к ногам. Терапевты в приёмном покое просто падают в обмороки, врачей практически нет, три медсестры в одном отделении. Врачи орут, ругаются – говорят, кричите, стучите, куда только можно, рассказывайте, что здесь творится!”

А вот вести с Алтая.

Там под шумок сокращают отделение ортопедии и травматологии краевого клинического центра охраны детства и материнства.

Сокращение лихое – со 106 прежних койко-мест для детей до 50.

А всем врачам – травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделением, доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову – были предложены новые вакансии: санитаров, уборщиков и дворников.

Это, по всей видимости, лучшее применение врачам, делающим уникальные ортопедические операции детям со всего края. В отделении оперировали детей с тяжёлыми пороками развития грудной клетки и другими патологиями с 1984 года.

А вот очень типичное письмо из Тульской области, по поводу которого тоже направил запрос в Прокуратуру.

“Пишет вам Ирина Анохина. В нашем Богородицке из-за COVID умерла моя мама Ковшова Александра Алексеевна. Тесты никому не делали, хотя болели все проживающие с ней: две дочери и внук. (Диагноз был именно такой, не только по симптоматике, но и по тесту на антитела, который сделала одна из моих сестёр по выздоровлении).

Официальный диагноз – ОРВИ. Причина смерти в свидетельстве – хроническая почечная недостаточность. “Скорая помощь” маму не забрала: “Мы её не довезём”. Сейчас заболел ещё один родственник. Температура 39,5. Приехавший фельдшер (теперь врачи не приезжают) поставил бронхит и назначил флюорографию и приём антибиотика. Опять ни намёка на тестирование и КТ. А человеку за 60. И он в контакте с женой, детьми и внуками. А им что делать?”

А вот обращение сотрудников курского областного детского санатория. Не получают ни копейки уже два месяца. Должны получать 12 тысяч, надеются хоть на 6 тысяч, но денег не видят никаких. “У нас у всех есть дети... Есть больные родители. Ни в отпуск нельзя уйти, ни зарплату получить. Кто попал в больницу, больничный не оплачивают. Как нам быть? Голодать?”

Понимаю, что чиновники злятся на меня за огласку и запросы.

Но меня совсем не волнуют моральные страдания чиновников.

Есть поток отчаянных писем обычных людей, которых нужно спасать от гибели.

И я обязан быть спасателем – настолько, насколько получается.

Без книг мир будет дик

Без книг померкнет России лик.

Хорошая новость буквально по следам того, о чём я писал, в том числе и премьеру на депутатском бланке.

В последний момент постановлением правительства книжная отрасль отнесена к сфере деятельности, наиболее пострадавшей от эпидемии.

Включение в этот список подразумевает доступ к льготному кредитованию, отсрочки по налогам и взносам и другие меры поддержки для книжных магазинов.

Ведь 80 процентов продаж книг идут именно через эти магазины. Причём падение доходов издателей уже составило 48 млрд рублей, а дистрибьюторов печатных СМИ – 30 млрд.

Да, то постановление, которого удалось добиться, – это уже достижение.

Впрочем, над издательствами – и небольшими, и крупными тоже – по-прежнему нависает тень разорения. Речь не только о книгах, но и об учебниках. А значит, об образовании в стране как таковом.

Наверняка прямо сейчас на карантине пишутся книги, которые потом будут читаться с наслаждением. Вопрос – кем.

Крик книг лично я слышу отчётливо.

Книга может так подорожать, что станет недостижима для большинства и читателей, и библиотек. И поверьте, электронная книга точно так же окажется труднодоступна. Платформы начнут значительно меньше платить издателям и при этом накручивать цену.

Проблема в последствиях атаки вируса. Вернее, в том, будет ли на него контратака государства. Сможет ли оно защитить малый и средний бизнес, село, производство, науку, культуру и образование. Или распишется в беспомощности. Или, что ещё страшнее, последуют фарисейские обещания, которые не станут выполнять.

“Даже в пекле надежда заводится”

Название этого текста – первая строка колымского стихотворения Юрия Домбровского “Амнистия” – про Богородицу, которая “ходит по кругу проклятому” и “каждому пятому ручку маленькую подаёт”.

Пекло – сильное слово. Но если в неволю придёт ещё пандемия, оно будет самым верным.

*А под сводами чёрными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.*

*И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:*

— Прочитайте Вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!

Читаю жалобы от заключённых. В их письмах и сообщениях — большая тревога из-за опасности заражения.

Я внёс в Госдуму предложение об амнистии к 75-летию Победы. Проект, обдуманый вместе с квалифицированными юристами и серьёзными правозащитниками. Секретарю незачем трястись. Речь о несовершеннолетних первоходках, об инвалидах, о беременных женщинах, осуждённых за незначительные деяния.

И о попавших после “московских протестов” тоже речь.

Провести амнистию к юбилею Победы мне кажется логичным. Так уже делали раньше. А что мешает проявить элементарную человечность теперь?

По-моему, та или иная форма амнистии особенно актуальна сейчас, когда эпидемия представляет угрозу всем, но тем, кто в заключении, особенно.

Зная, что в тюрьмах и на зонах должным образом не соблюдаются санитарные нормы, да и вообще с медициной плохо, надо отдавать себе отчёт: попадание вируса в места лишения свободы может привести к страшным последствиям.

Кстати, в Индии и Иране, в США и Франции уже пошли по пути освобождения части узников в разных вариантах, в том числе по амнистии.

Понятно, всегда при таких решениях есть риски и сложности.

Всё надо обсуждать, но честно и человечно.

Честно, человечно и незамедлительно.

Я кричу:

— Ты права, Богородица!

Да прославится имя Твоё! —

воскликнул лагерник Домбровский.

Да, у тех, кто предлагает никого не выпускать, найдутся аргументы.

Как находились и у тех, кто не хотел приравнивать день в СИЗО к двум в колонии-поселении и полутора в колонии общего режима.

Как есть и те, кто оправдывают пытки и истязания и провалил мой закон о доступе сотрудников уполномоченного по правам человека в тюрьмы и лагеря.

Или суеверно считают любого зека исчадием ада, полагая, что суд, где меньше 1% оправданий, их уж никогда не приговорит.

Сейчас разговор не просто о милосердии, а о защите тысяч и тысяч жизней.

Разбой в степи

И вновь борьба с оптимизацией. Занят очередным спасением школы. Можно абстрактно обличать негодников-разрушителей, никому не помогая и ничего не делая, ведь отдельные истории якобы не поменяют общего положения дел. А можно и, по-моему, нужно спасти всех, кто прямо сейчас нуждается в спасении, — живых, реальных, с именами, судьбами, болью, — и через отдельные истории несчастья, борьбы и защиты показывать беду масштабную.

В Алтайском крае, в Кулундинской степи, в Волчихинском районе стоит село Пятков Лог. И хотя живёт в нём всего 350 человек, жители сумели сохранить до сегодняшнего дня среднюю общеобразовательную школу, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, детский сад, отделение “Почты России” и даже библиотеку.

Теперь в селе хотят ликвидировать школу.

Конечно, следом закроются и ДК, и библиотека.

Более 100 жителей поставили свои подписи под обращением с просьбой школу сохранить. Не будет школы — не будет села. Это не просто теория. Против закрытия школы резко выступает, например, глава местного совхоза, который всерьёз опасается массового оттока работников. Уже в эти дни 15 семей собираются сменить место жительства, чтобы успеть пристроить детей в другие школы к началу учебного года.

Чиновники предложили возить детей из Пяткова Лога в село Коминтерн на автобусе. Расстояние между селами – 12 км.

А знаете, какова она зимой, сельская дорога в Кулундинской степи? Там неделями не может пройти никакой транспорт, кроме спецтехники. А если остаться в степи на ночь? В этом году Алтай засыпало снегом, федеральные трассы были закрыты из-за снежных перепадов, и выросли стены высотой 5–7 метров.

В общем, искренне надеюсь, что после моих запросов школа будет спасена.

“А теперь меня вырвут с корнями”

Я упоминал уже эту историю в своей телепрограмме “Двенадцать”. Хочется написать подробнее.

В Казани удалось вернуть домой девочку из приюта.

Отбирать детей, разрушать семьи, разлучать родных – это всегда крайнее решение. Я в этом убеждён. Но это часто невдомёк чиновникам.

Жительница Казани Екатерина Сафина была лишена родительских прав, и у неё отобрали двух маленьких дочерей Машу и Мелиссу.

Одна из причин – женщина “официально нигде не работает”. Оказываясь, аргументами в пользу изъятия детей стали долги по ЖКХ и попытки добиться материальной поддержки от органов опеки.

Я постоянно на связи с Екатериной. По-моему, достойная, искренняя женщина, столкнувшаяся сначала с разбоем, а потом и хамской ложью чиновников. Кстати, с 2007 года она трудится в храме.

Но у девочек есть и горячо любящая их бабушка Ирина Алексеевна Гаврилова, желающая их воспитывать и с ними жить. Казалось бы, к ней должна была прислушаться опека и по закону, и по-человечески.

Но вот реальность: рыдающие мама, бабушка и девочки – и хладнокровные твердокаменные чиновники.

Детей почему-то спешно отправили в приют. Машу успели уже отдать другим людям, а пребывание Мелиссы в детдоме затянулось. Там, по её рассказу, подтверждённому другими воспитанницами, она подверглась издевательствам и домогательствам, из-за чего возбуждено дело.

Девочка присылала из своего заточения душераздирающие аудиосообщения. “Забирают нас просто так. Из-за того, что мы просто не можем погасить долги. И всё... Я не понимаю: это за что? За то, что мы дети? Это получается моральное издевательство над детьми. Раньше я была счастливой девочкой, а теперь меня вырвут с корнями”.

И вот решение суда – Мелисса освобождена из детдома и воссоединилась с родней. Её бабушка наконец-то признана судом опекуницей.

Девочка очень-очень счастлива. Говорит, что мечтала об этом – обнять близких.

Екатерина пишет в “Инстаграме”: “МЫ ВМЕСТЕ! Всех люблю, благодарю от всего своего материнского сердца! Московский депутат Шаргунов Сергей откликнулся на мою беду официальным письмом в прокуратуру. А когда позвонили из прокуратуры, мне вообще не верилось... Сколько мы пережили, не передать словами, ничем не передать! Доченька, больше никто не посмеет тебя забрать, и сестрёнку твою вернём”.

Выясню судьбу второй девочки, Маши. Что с ней? Почему вскоре после попадания непонятно к кому она загремела в больницу?

Как бы хотелось, чтобы у этих людей всё было хорошо, а органы опеки думали о том, как помочь тем семьям, где не всё благополучно, а не ломали по живому.

“Оставьте нас в покое!”

Похоже, на карте страны скоро появится ещё одно пустое место. Деревня Леоновка Большесолдатского района Курской области. Все те несколько сотен жителей, которые в ней есть, умоляют о пощаде. Со слезами.

От колхоза остались руины, медпункт и почта закрыты, а теперь хотят уничтожить школу, и значит, умрёт Леоновка.

Это при том, что коллектив полностью укомплектован яркими и заботливыми педагогами. Чистая и светлая двухэтажная школа в небольшой деревне могла бы быть национальной гордостью.

Ровесница века, она возникла ещё в 1900 году. В 1969 году её расширил и перестроил председатель колхоза “Светлый путь”.

Её подновляют и берегут общими усилиями деревенских, местный фермер помогает. В школе – большая библиотека, музей, спортзал с тренажёрами и теннисным столиком, брусья, лыжи, компьютеры, столовая. И домашняя атмосфера.

Передо мной протокол собрания жителей деревни Леоновка.

Начальство, взявшее “территорию”, доходчиво объявляет “населению”, что его ждёт.

И ответный голос народа, униженных русских людей... Читается как документальная пьеса.

Слушали замглавы администрации района Нескородеву О. М., которая объявила, что Леоновская основная общеобразовательная школа “подлежит ликвидации”.

Никаких претензий к работе коллектива школы и её техническому состоянию нет. Но надо закрыть из экономии. “Это событие неизбежно. Губернатор при посещении района говорил, что маленькие школы будут закрываться. Что решило население, никакого значения не имеет”. Цитата из протокола!

“На вопрос директора школы, как будут трудоустроиваться работники, было сказано, что всё, что можно предложить, – это 0,25 ставки сопровождающего детей в автобусе и, если разрешат открыть ставку посудомойки, то 1 работник столовой будет устроен”.

Учителя и родители возроптали

Учитель начальных классов Кононова Н. Е.: “Как же так получилось, что мы никому не нужны? Недопустимо возить детей в другое место. Дети маленькие, им надо рано вставать, идти до автобуса, потом ехать, дороги не чистят, тракторов нет. Домой начальные классы попадут гораздо позже, ожидая, пока закончатся уроки у старшеклассников. А уставшие дети – это неуспевающие ученики”.

Плотникова А. С. сказала, что недавно стала многодетной мамой, родила третьего ребёнка и надеялась, что будет работать в школе и дети будут в ней учиться. Теперь всё кончено.

Голодова Татьяна: “Мы многодетная семья, в этом году третий ребёнок идёт в 1 класс. Получается, дети накладны государству... Вы закрываете то, что строилось нашими людьми”.

Бабушка Белоусова Елена: “Моему внуку надо ещё пешком 2 километра до остановки. Каким он приедет на занятия? Вы вынуждаете меня отдать ребёнка учиться в интернет”.

Нефёдова Анастасия, многодетная мама: “С этими перевозками дети вообще учёбу запустят. У нас прекрасные учителя. Оставьте нас в покое!”

Бабурина Ирина: “Я многодетная мать, у меня пятеро детей, двое своих и трое приёмных. Один ребёнок – инвалид I группы. Он не выдержит переездов...”

Белоусов В. В.: “Такое отношение к народу – большой грех. У нас одна школа для людей только и осталась. “Скорую помощь” оказываем друг другу, кто как может. Каждое утро проходя мимо своей брошенной школы, дети вырастут с уверенностью, что нужно уезжать из родного села. Уедут все, а старики помрут, вы не оставляете деревне Леоновка ни одного шанса на выживание”.

Директор школы Кононов А. И. рассказал, как сами ученики и жители строили школу своими руками. После её ликвидации здание сразу же подвергнется разграблению, зарастёт бурьяном, как почта и медпункт. “Это очень больно. Лучше бы вернули медпункт и почту, а не отнимали у жителей последнее...”

Сделаю всё, чтобы спасти школу в Леоновке и чтобы деревня эта жила.

Приговор должен быть отменён.

Это вопрос не про одну только Леоновку: сохранить или потерять?

9 рублей и 5 копеек

Любые деньги для родителей с детьми, – конечно, благо.

Но тем временем ко мне поступает немало обращений несчастных женщин, которым отказывают в выплате ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет, положенного по Указу президента от 20 марта этого года. Почему-то у многих, кто ранее был признан малоимущими, по неким новым критериям находят лишние копейки доходов, и на этом основании отказывают в помощи.

Елена Кулькова, мама 6-летнего ребёнка с инвалидностью. В справке управления соцзащиты населения Воскресенского района Нижегородской области зафиксирован её среднедушевой доход 8 498 руб. 34 коп. В социальной поддержке женщине отказано – ей приписали дополнительные рубли и копейки, перекрывающие прожиточный минимум.

Величина детского пособия зависит от региона, но в среднем – 5 тысяч с небольшим. Оно выплачивается согласно Указу в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума.

А на практике органы социальной защиты бесчеловечно-формально подходят к решению о назначении этих выплат.

Вот, например, Анастасия Оголихина, одинокая мама из Башкирии. “Семья состоит из 3-х человек. Сын – 5 лет, дочь – 7 лет. В разводе. Получаю пенсию по уходу за ребёнком-инвалидом. Официально не работаю. Алименты не получаю”.

Чиновники посчитали доход её семьи, составивший 9813,05 рублей, а величина прожиточного минимума в регионе – 9804,00 рубля. На основании того, что доход превысил прожиточный минимум аж на 9 рублей и 5 копеек, Анастасии отказали в выплате пособия!

При этом оно в Башкирии менее 5000.

То есть на сумму меньше 10 000 предлагается выживать и тянуть двоих детей, один из которых инвалид.

Направил запрос в Правительство Республики Башкортостан.

Другой женщине из Барнаула отказали в выплате из-за того, что её нищета аж на 500 рублей приподнимается над самым низким уровнем.

Проблема масштабная. О какой поддержке семей и деторождения можно говорить при таком отношении?

Чиновный формализм – дикий, жестокий и бесстыжий. Буду заниматься каждой такой историей.

Большая уголовка

Трагические вести приходят из Подольской городской клинической больницы. И не только оттуда.

Если врачи заражаются и умирают, и у них не было средств защиты – это уголовка, это преступление.

Я уже рассказывал о тяжёлой ситуации в Щиграх, городе в Курской области. Сначала пришло письмо медиков оттуда. О нехватке простейших средств защиты. И о страхе заболеть. “Что сами пошили, тем и пользуемся. Больных ковидом возим без средств спецзащиты. У всех у нас семьи, и дети, и старики. Что нам делать? Почему нас ставят перед выбором: бросить больных или заражать свои семьи?”

Такие же письма приходили из многих других регионов, в том числе из разных населённых пунктов Курской области.

А потом пришли новости, что врачи заболели: “У двенадцати медиков высокая температура, у пяти уже обнаружили вирусную пневмонию, ещё у одной уже подтверждён Covid-19. Кроме того, восьмого мая пришли положительные анализы всех работников регистратуры”.

Немедленно чиновники засуетились. Стали всё внушительно опровергать, устроили балаган с внезапной проверкой больницы и будто бы обнаружением завалов всего необходимого. . .

А я, как и обещал, направил официальные запросы в Прокуратуру.

И вот – ответ:

“По результатам проверки выявлены нарушения законодательства, выявленные в нерегулярной выдаче средств индивидуальной защиты медицин-

ским работникам... Аналогичные нарушения прав медицинских работников выявлены прокуратурами Большесолдатского и Обоянского района, Сеймского административного округа Курска... Установлены факты непроведения еженедельного лабораторного обследования медицинских работников на COVID-19”.

Проще говоря, врачи болели, многие продолжая работать, а их даже не проверяли на болезнь.

После моих запросов Прокуратурой “внесено представление” губернской власти. Это уже что-то. И надеюсь, начало.

По всей стране должны быть наказаны те, кто наплевательски отнёсся к жизням врачей и пациентов.

И не надо расслабляться. Каждый день я на связи с Минздравом, пробивая тесты и госпитализацию для новых и новых заболевших. Об этом печально не говорить, просто поверьте – это так.

“Чуть его не потеряли”

Писатель, как известно, не врач, но боль. Впрочем, и депутатские возможности не позволяют заменить собою врача.

И всё же буквально каждый день занимаюсь теми, кто нуждается в срочной медицинской помощи. Она по-прежнему требуется многим и многим.

Печально, когда сообщают о необходимости средств индивидуальной защиты врачи и даже присылают фотографии тяжёлых условий работы, но подписаться под обращениями боятся. И как тогда помочь?

Или вот – ужасное и будничное.

В Подмоскowie врач погиб от коронавируса, но чиновники этого не признают.

“Факт инфицирования сотрудника Covid-19 при выполнении трудовых обязанностей не установлен”.

Это анестезиолог-реаниматолог С. П. Корнусов. Фонд социального страхования отказал в компенсационной выплате его родственникам.

Передо мной рапорт заведующего отделением больницы. Он пытается доказать, что коллега заразился именно на работе: “Многие больные находились на лечении пневмонии COVID-19 с дыхательной недостаточностью либо заболели уже в больнице... При этом в операционной средства индивидуальной защиты не были предусмотрены...”

Сейчас выбиваю выплаты семье погибшего врача.

А вот обращение из Барнаула родных и друзей заболевшего человека: “В больнице (!) практически при смерти без должного лечения и внимания медиков лежит молодой сорокалетний мужчина, отец четверых детей, один из лучших ветеринаров города, не получающий практически никакого лечения, имея несколько очагов воспаления в лёгких, гной, жидкость... Началось кровохаркание”.

“Барнаульский Минздрав, – пишет отчаявшаяся жена, – озабочен сейчас войнами с медиками. То с диагностическим центром из-за выплат, то с детской травматологией, которую дооптимизировали уже до того, что детей некуда складывать, а врачам халат переодеть негде... Но и, может быть, всё-таки кто-то начнёт лечить моего Олега и не даст осиротить четверых детишек? Что вы творите-то?”

Я связался с федеральным руководством Минздрава, и в ту же ночь человека перевели в палату интенсивной терапии краевой клинической больницы и начали лечить.

Последние новости: стало значительно лучше, идёт на поправку.

“Чуть его не потеряли”, – говорят родные.

Что тут скажешь...

Если речь идёт о вашей или вашего ближнего жизни, обращайтесь, не откладывая. Постараюсь быть “скорой помощью”.

Будем пробивать.

Итак, я написал про ужасное и будничное.

В Подмоскowie врач погиб на передовой от коронавируса, но чиновники этого не признают.

И стал выбивать выплаты семье погибшего врача.

Удалось.

Со мной связалось руководство ФСС, выразив готовность решить все вопросы.

И вот – родным Корнусова сделаны выплаты. Одновременно стали выплачивать деньги заболевшим медработникам, хотя до этого им отказывали. Дочери погибшего врача и заведующий отделением благодарят.

На самом деле, благодарность тем, кто спасал жизни, жертвуя собой. И в очередной раз понятно, что заслоны преодолимы, и важно не молчать.

Поэтому, если вам или вашим близким не поступают положенные выплаты, пишите: shargunov@list.ru.

Будем выбивать.

Будем пробивать стены.

АЛЕКСЕЙ КАПИТОНЕНКОВ

ПРАВДА ПРОТИВ СТЕРЕОТИПОВ

Личность и реформаторская деятельность П. А. Столыпина не обделены вниманием исследователей. Ещё при жизни реформатора они стали предметом острых научных и политических дискуссий. В итоге за прошедшие десятилетия вокруг столыпинских аграрных преобразований сложился ряд стереотипных представлений, которые прочно укоренились в массовом сознании, проникли в научную литературу, школьные и вузовские учебники.

За последние 20–25 лет немало сделано для преодоления стереотипов и мифов, связанных со столыпинской реформой. В работах Э. М. Шапина, В. Г. Тюкавкина, И. И. Климина, М. А. Давыдова и др. представлен новый, свободный от прежних идеологических установок анализ целей и результатов аграрных преобразований начала XX века. Однако по-прежнему в ряде исследований сохраняются стереотипные оценки.

Стереотип первый: П. А. Столыпин в ходе реформирования российской деревни главной целью ставил полное разрушение общины.

В советской историографии безусловное господство получил тезис о “крахе” столыпинской аграрной реформы. В качестве неоспоримого доказательства “краха” приводились данные, наиболее легко воспринимавшиеся общественным сознанием, согласно которым из общины, несмотря на все старания правительства, вышла только четвёртая часть крестьян. Аналогичные оценки весьма широко распространены и в работах современных исследователей. Так, известный историк-аграрник А. М. Анфимов несколько не сомневался в “крахе реформы, направленной на буржуазную перестройку российской деревни”¹. С. В. Максимов полагает, что “хотя реформа и была воспринята частью крестьянства, большинство сельского населения за 10 лет её проведения не сочло для себя нужным, а главное, возможным выйти из общины. Не помогли здесь ни пропаганда, ни административное воздействие на общину”². А. В. Ефременко, выдвинувший концепцию “Земской альтернативы” столыпинской реформе, считает, что “с точки зрения аграрного развития того времени, реформа была всего лишь случайностью...”, она “не являлась объективно необходимой, что принципиально исключало саму возможность превращения её в развитую действительность”³. Им вторит Н. А. Дунаева, по мнению которой, попытка правительства разрушить общину была ошибочной. “Вместо изменения системы землепользования внутри общины, что действительно назрело и было необходимо, правительство, — пишет автор, — стало на путь полного уничтожения этого социального института”⁴.

Однако такой односторонний подход говорит о поверхностном суждении и неправильном понимании стратегических целей столыпинского реформирования. Между тем, в своих многочисленных речах в Государственной Думе

и Госсовете П. А. Столыпин, отвечая на критику выбранного курса, неоднократно разъяснял позицию правительства, истинные предпосылки и цели аграрной реформы. Так, ещё будучи на посту саратовского губернатора, в отчёте за 1904 год П. А. Столыпин обозначал общие черты будущей земельной реформы, в результате которой, «наряду с общиной, где она жизненна, появился бы самостоятельный зажиточный поселянин, устойчивый представитель земли»⁵.

Весьма полная формулировка основных целей реформирования была представлена П. А. Столыпиным в его выступлении во II Государственной Думе 10 мая 1907 года: «...цель у правительства вполне определённа: правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным... Но для этого необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община ещё не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть она будет наследственная»⁶.

Эту же мысль реформатор развивал и в речи перед депутатами Государственной Думы третьего созыва в начале декабря 1908 года: «В основу закона 9 ноября, — отмечал П. А. Столыпин, — положена определённая мысль, определённый принцип... В тех местностях России, где личность крестьянина получила уже определённое развитие, где община как принудительный союз ставит преграду для его самостоятельности, там необходимо дать крестьянину свободу приложения своего труда к земле, там необходимо дать ему свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; надо дать ему власть над землёю, надо избавить его от кабалы отживающего общинного строя»⁷. Далее он особо подчёркивал, что «закон, вместе с тем, не ломает общины в тех местах, где хлебопашество имеет второстепенное значение, где существуют другие условия, которые делают общину лучшим способом использования земли»⁸. Эти слова П. А. Столыпина не оставляют двойного толкования — его подход к общине являлся продуманным, дифференцированным, учитывавшим региональную специфику огромной страны. При этом нет никаких оснований сомневаться в искренности слов П. А. Столыпина.

В речи в Государственном Совете 15 марта 1910 года глава правительства, весьма оптимистично оценивая успехи реформирования, отмечал, что «... при такой же успешной работе ещё через 6-7 таких же периодов, таких же трёхлетий, общины в России — там, где она уже отжила свой век — почти уже не будет»⁹. Как можно видеть, П. А. Столыпин снова говорил не о всей стране, а только о тех регионах, где община уже изжила себя и являлась тормозом для агротехнического прогресса крестьянского хозяйства. Кроме того, в цитированной речи премьер в очередной раз обращал внимание на невозможность и нежелание правительства «производить какую-либо насильственную ломку».

Таким образом, П. А. Столыпин никогда не выступал за немедленный и повсеместный слом общины, последовательно высказываясь за сохранение различных форм крестьянского землевладения и землепользования. Реформаторский курс П. А. Столыпина не являлся слепой атакой на общину, безоглядно ломавшей традиционные устои русской деревни и противоречащей желаниям крестьянства. Напротив, ряд исследователей, в частности, известные современные исследователи крестьянской общины О. Г. Вронский и Д. В. Ковалёв, отмечают в аграрном законодательстве П. А. Столыпина ряд серьёзных правовых компромиссов и уступок по отношению к общине, учёт особенностей крестьянского правосознания¹⁰. Премьер, прекрасно понимая нецелесообразность скорейшего и полного распада общины, считал необходимым сохранить её там, где она была жизнеспособна, где переход к индивидуальному хозяйству не гарантировал крестьянам больших выгод. Отсюда — сильная неравномерность в выходах крестьян из общины, и это подтверждает правоту слов П. А. Столыпина. Указ 9 ноября 1906 года хорошо использовался крестьянами там, где мирской дух был уже слабым, и плохо использовался там, где община ещё не достигла стадии разложения. В этой связи О. Г. Вронский пишет, что «если бы правительство действительно вступило на

путь повсеместной ликвидации общинного землевладения, то оно должно было ввести в закон требование обязательного выдела наделной земли к одному месту, а также предельно упростить процедуру выхода из общины отдельных домохозяев и целых обществ”, чего сделано не было¹¹.

Программа реформирования, предложенная П. А. Столыпиным, не предполагала унифицированного подхода ко всему многомиллионному крестьянству. Им предоставлялся весьма широкий выбор новых условий хозяйствования, которые не ограничивались одними лишь хуторами, создание которых предполагалось только в тех случаях, когда это было возможно, исходя из местных условий. О невозможности разбить все крестьянские земли на хуторские участки говорил в своей речи в Государственной Думе товарищ министра внутренних дел А. И. Лыкошин, подчёркивая при этом, что “... такой мысли никогда не приводилось ни в Указе 9 ноября, ни в соображениях к нему...”¹². Сам П. А. Столыпин в письме к В. Н. Коковцову от 7 июля 1907 года отмечал: “Никогда и никто не предлагал нашим посланцам силком навязывать хутора...”¹³. Местные условия в ходе столыпинских аграрных преобразований, как резонно указывает Д. В. Ковалёв, не просто учитывались, “но и оказывали решающее влияние на их масштабы, характер, динамику и логику развития на различных этапах реформирования”¹⁴.

Указ 9 ноября 1906 года, положивший начало коренному переустройству деревни, предоставлял право свободного выхода из общины тем крестьянам, кого сковывали рамки общины, кто желал из неё выйти, чтобы более рационально и эффективно хозяйствовать на своей собственной земле. Как отмечал известный экономист-аграрник Л. Н. Литошенко, “... чувство собственности, сменившее неопределённые права временного пользования, само по себе удесятерило силы мелких землевладельцев”¹⁵. Не менее красноречиво на этот счёт мнение подмосковного крестьянина С. Т. Семёнова, который на основании собственных наблюдений и практического опыта писал, что выделы из общины “дают труженику землю свободную, и на такой земле есть возможность проявить всю ту хозяйственную самостоятельность, на которую только человек и способен. При свободной земле могут беспрепятственно развиваться те творческие задатки человека, которыми богат и русский крестьянин и которым гнёт мирского большинства не давал хода”¹⁶.

Когда мы говорим о столыпинской аграрной реформе, не следует забывать тот факт, что распад общины начался задолго до начала реализации реформы и по инициативе самих крестьян. Новые веяния в жизни деревни, усиление противоречий между крестьянами, развитие индивидуализма способствовали трансформации общинного строя. Многие крестьяне переставали нуждаться в общине как в институте, который уже не гарантировал им достойного существования, тормозил развитие хозяйства, стесняя личную свободу наиболее предприимчивых земледельцев. Так, по подсчётам известнейшего исследователя социальной истории России Б. Н. Миронова, за предреформенный период, к началу столыпинской реформы, около 3,7 млн дворов, или 39% всех крестьян – членов передельных общин, – разочаровались или не доверяли полностью традиционным общинным порядкам¹⁷. При этом в некоторых губерниях (Витебской, Волынской, Псковской и др.) ещё до реформы отмечены массовые расселения крестьян на хутора¹⁸. Известный историк В. Г. Тюкавкин сделал аналогичный вывод о том, что предпосылки реформы были созданы гораздо раньше отказом многих общин от традиционной земельно-распределительной функции (в 58% общин 40 губерний Центральной России не было переделов после отмены крепостного права)¹⁹. На это обстоятельство обращали внимание и дореволюционные исследователи²⁰.

Следовательно, далеко не малая часть крестьян тяготилась общиной и была готова к восприятию инноваций. На таких крестьян, а вовсе не на кулаков, как о том в один голос утверждала советская историография, и была сделана ставка в правительственной программе реформирования. Эта мысль весьма рельефно выражена П. А. Столыпиным и в цитированном уже нами отчёте за 1904 год и в интервью корреспонденту газеты “Волга”²¹.

Указ 9 ноября, отвечая назревшим потребностям крестьянства или, как говорил П. А. Столыпин, “потребности самой жизни”, лишь ускорял процесс распада общины в тех регионах, где община уже фактически не существовала, создавая, тем самым, альтернативный тип крестьянского хозяйства и домохозяина, более успешного и приспособленного к новым реалиям²².

Более того, по обоснованному замечанию историка Э. М. Шагина, для П. А. Столыпина и его соратников по реформированию разрушение общины ни в экономическом, ни в политическом плане не являлось самоцелью, а было лишь одним из средств осуществления аграрных преобразований, направленных на создание мелких собственников с устойчивым хозяйством²³.

Стереотип второй: Правительство П. А. Столыпина проводило реформу в порядке административного нажима и насилия над крестьянами.

Подобный упрек в адрес П. А. Столыпина является не менее традиционным для отечественной историографии. Ещё в дореволюционной литературе, а затем и в последующих трудах случаи насилия над крестьянами приведены многими исследователями.

Действительно, местные чиновники, желая искусственно форсировать ход реформы, прибегали к мерам давления на крестьян, принуждая их подавать заявления о выходе из общины и о землеустройстве. В этом никаких сомнений быть не может.

Между тем, реформаторский курс П. А. Столыпина не предполагал принудительных мер, применяемых к крестьянам. На это П. А. Столыпин обращал внимание в циркуляре губернаторам от 26 августа 1907 года: «Правительство непреклонно решило дать возможность населению владеть и пользоваться землёю в лучших условиях, чем ныне. Сделать это решено безо всякого насилия, так как в таком деле насилие исключает успех. Решено лишь дать возможность каждому свободно владеть своим участком, создать мелкую личную собственность», подчёркивая при этом, что «...где община жизненна, там она и сохранится...»²⁴.

Не менее отчётливо позиция правительства отражена в уже цитированной нами речи премьера в Государственном Совете, в которой он ещё раз напоминал, что политика правительства не направлена на насильственное разрушение общины: «Не вводя силою закона никакого принуждения к выходу из общины, правительство считает совершенно недопустимым установление какого-либо принуждения, какого-либо насилия, какого-либо гнёта чужой воли над свободной волей крестьянства в деле устройства его судьбы, распоряжения его наделённой землёй. Это главная коренная мысль, которая легла в основу нашего законопроекта»²⁵.

Правительство было обеспокоено произволом местных властей и со своей стороны принимало все необходимые меры по пресечению подобных случаев, требуя исключить любое давление на крестьян и тщательно следить за правильным применением указа 9 ноября. В связи с этим в циркулярном письме от 21 января 1909 года П. А. Столыпин разъяснял, что «...вся сущность закона 9 ноября основывается исключительно только на добровольном сознании населением выгод для него от перехода к личной земельной собственности и не даёт никаких прав администрации оказывать в этом отношении какое-либо давление на население»²⁶. «...Органы правительства, — дополнял П. А. Столыпин, — могут лишь разъяснять населению смысл перехода к лучшим формам землевладения, ознакомлять крестьян с порядком этого перехода и его практическими и юридическими последствиями, требовать от должностных лиц исправного исполнения их обязанностей по этого рода делам, но отнюдь не могут понуждать этих лиц и вообще кого бы то ни было к переходу к личной собственности, составляющему по Указу 9 ноября 1906 г. право крестьян, воспользоваться или не воспользоваться коим всецело зависит от личного усмотрения каждого отдельного крестьянина»²⁷.

Таким образом, П. А. Столыпин был непримиримым противником каких-либо принудительных мер, неоднократно указывая на недопустимость и незаконность их. Подобные меры противоречили основополагающей идее столыпинского аграрного законодательства, которое не являлось инструментом принудительной ликвидации общины, обеспечивая крестьянам право добровольного перехода от общинного владения к личному, но не обязывая их к этому. Непременный член Калужской уездной землеустроительной комиссии Г. А. Ермолов, опровергая обвинения в насилии, писал: «...едва ли может подлежать сомнению, что в таком громадном деле, как землеустройство, деле, затрагивающем внутреннюю жизнь крестьян, невозможно было бы достигнуть каких-либо благоприятных результатов путём насилия. Я ещё могу поверить, что единичные дела могли быть проведены таким образом, но чтобы где-либо это было введено в систему и чтобы эта система дала благие

результаты и оказалась жизненной — это может утверждать лишь лицо, совершенно незнакомое ни с бытом, ни с характером крестьян²⁸. В наши дни необоснованность тезиса о повсеместном принуждении весьма убедительно показана в одной из работ историка М. Д. Карпачёва, который, исследовав цели и результаты аграрной реформы на материалах Воронежской губернии, констатировал отсутствие фактов принудительного роспуска общины в губернии²⁹. Даже такой убеждённый критик реформы, как В. П. Данилов, в одной из последних своих работ вынужден был признать, "... что принудительность всё-таки не приняла всеобщего и исчерпывающего характера, реформаторы не встали на путь безудержного форсирования развала общинного уклада (как это случилось в годы сталинской коллективизации)"³⁰.

Итак, тезис о "крахе" реформы по причине неполного разрушения общины является несостоятельным. П. А. Столыпин, прекрасно понимая, что далеко не все крестьяне желают перехода к единоличному хозяйству, вовсе не собирався в приказном порядке всех крестьян сделать частными землевладельцами. Насильно из общины никто не выгонялся, крестьянам предоставлялась полная свобода в выборе формы землепользования. В связи с чем оценивать конечные результаты реформы по количеству крестьянских дворов, покинувших общину, а также по количеству созданных хуторских хозяйств, как это делается почти повсеместно, ошибочно. Подобный подход является в корне неверным, и от него необходимо отказаться.

Выход крестьян из общины и укрепление наделной земли в личную собственность являлись лишь начальным этапом реформирования, на что неоднократно указывал П. А. Столыпин. Так, например, в циркуляре губернаторам от 19 июня 1910 года П. А. Столыпин подчёркивал, "что в землеустроительных начинаниях правительства укрепление наделной земли в личную собственность является лишь переходную ступенью, конечная же цель их заключается в устранении чересполосности и других недостатков существующего землепользования"³¹.

На втором этапе, начавшемся после издания закона 29 мая 1911 года, главным стержнем в реализации реформы становится землеустройство, в ходе которого каждый домохозяин без предварительного укрепления при проведении землеустроительных работ становился собственником своего участка, получая на руки удостоверительный акт на землю. Неудивительно поэтому, что на данном этапе количество заявлений об укреплении наделов стало снижаться, это давало повод противникам реформы утверждать, что она провалилась, игнорируя итоги и значение землеустройства, в особенности группового землеустройства. Например, уже упомянутый нами А. М. Анфимов падение числа выходов из общины называл "катастрофическим для столыпинских реформаторов"³². Между тем, землеустройство занимало в реформировании гораздо более значимое место, чем простое закрепление наделов в личную собственность. Оно имело огромное значение в контексте рационализации крестьянских хозяйств, было важным шагом на пути к поднятию культуры землепользования, а именно эта цель являлась ключевой в реформировании. Недаром в докладе, прочитанном в Вольном экономическом обществе в начале апреля 1917 года, известный знаток аграрного строя России Б. Д. Бруцкус, отмечая несомненный успех столыпинского землеустройства, призывал Временное правительство и в дальнейшем не отказываться "от этой важной для сельского хозяйства меры единственно потому, что её выдвинул старый режим"³³.

Снижение числа выходов из общины сопровождалось ростом прошений о землеустройстве, число которых в 1913 году в пять раз превышало число ходатайств за 1907 год и в три раза — за 1908-й. По сравнению с 1910 и 1911 годами число ходатайств увеличилось, соответственно, на 70% и 63%. Характерно, что рост числа ходатайств наблюдался во всех губерниях, где были учреждены землеустроительные комиссии³⁴. Например, в Тверской губернии количество ходатайств за 1912–1913 годы составляло 51% от их общего числа³⁵. В Московской губернии за 9 месяцев 1912 года выдвинулось в 30 раз больше хозяйств, чем в 1908 году, и на 67% больше, чем в 1909-м³⁶. В итоге площадь завершённых и подготовительных землеустроительных работ, с учётом землеустройства на землях Крестьянского банка и в Сибири, охватывала огромную территорию, равную площади современных Франции, Бельгии, Швейцарии и Австрии вместе взятых³⁷. Впечатляющий рост объёмов производимых землеустроительных работ сопровождался улучшением их качества.

Как видим, темпы проведения реформы не только не замедлились, но даже увеличились, в связи с чем никак нельзя говорить о её провале после 1910 года. Оценивать результаты столыпинской аграрной реформы следует исключительно на основании заявлений о выходе из общины в сумме с количеством ходатайств о землеустройстве. При таком подходе становится очевидным, что реформа не исчерпала свой потенциал, а, по сути дела, только набирала ход. Об этом умалчивала советская историография, ибо, если не было спада реформы, то все разговоры о ее «крахе» лишались твёрдой почвы.

В проведённом исследовании не находит также своего подтверждения тезис о повсеместном применении принуждения в отношении крестьян. Как было показано, злоупотребления на местах в ходе реформы имели место лишь в отдельных районах, происходили вопреки указаниям правительства и объяснялись, главным образом, некомпетентностью, карьеристскими устремлениями и личными качествами местных чиновников³⁸, что при грандиозном масштабе преобразований являлось вполне закономерным.

Очень важно отметить, что многие из упоминаемых в трудах историков случаи массового силового давления на крестьян приводятся без достаточной доказательной базы, очень часто без единой ссылки на источники. Так, для С. А. Сафронова вывод об административно-принудительном характере реформы является очевидным и не требующим каких-либо доказательств³⁹. П. Н. Зырянов, подчёркивавший в своих работах насильственный характер реформы, «многообразное и неустанное, законное и незаконное давление центральных и местных властей на общину», в качестве доказательства приводил один-единственный пример⁴⁰. Ещё один историк – А. П. Корелин – писал, что «несмотря на массивное административное давление, а может быть, отчасти и в результате него значительные массы крестьян выступили против насильственного разрушения общины», и тут же следовала оговорка, что «открытых выступлений было не так много»⁴¹.

Насильственный и антикрестьянский (как считали советские историки) характер реформы должен был вызвать массовые протесты крестьян и волну аграрных беспорядков. Известный советский историк С. М. Дубровский⁴², на основании данных Департамента полиции (который фиксировал все случаи крестьянских выступлений), привёл статистические подсчёты, которые однозначно свидетельствуют о том, что массовых протестов крестьян против столыпинской аграрной реформы не было. Так, на странице 518 его монографии приведены данные по общему количеству крестьянских выступлений в 1890–1917 годы (таблица 212), далее на странице 551 (таблица 222) приведены данные уже только о выступлениях крестьян непосредственно против реформы. Сопоставление этих данных позволяет сделать однозначный вывод, что в общем количестве крестьянских выступлений протесты против реформы были крайне незначительны. Хотя сам С. М. Дубровский считал иначе, но статистика говорит сама за себя. На странице 536 историк привёл данные о характере крестьянских выступлений (таблица 218). Данные этой таблицы показывают, что подавляющее большинство аграрных волнений было направлено против помещиков.

Надо сказать, что в отечественной историографии, особенно советского периода, имела место тенденция к преувеличению масштабов неприятия реформы крестьянами. Так, Г. А. Герасименко в своей монографии, вышедшей в середине 80-х годов прошлого века, писал, что «столкновения и конфликты имели место во всех регионах страны безотносительно к тому, какая система землепользования там преобладала»⁴³. Между тем, подобное утверждение историка не имеет под собой никаких оснований и опровергается донесениями губернаторов, предоставленными в Земский отдел МВД в августе–ноябре 1911 года, согласно которым почти в половине губерний Европейской России (в 22 из 47) случаев массовых протестов общинников, которые бы вылились в серьёзные конфликты и беспорядки, зафиксировано не было⁴⁴. Имевшиеся выступления крестьян зачастую объяснялись не протестами против реформы как таковой, а спорами и разногласиями между общинниками и выделяющимися. Вполне понятно, что раздел земли для крестьян являлся вопросом крайне болезненным. При этом необходимо отметить, что, вопреки устоявшимся представлениям, противоречия между крестьянами не носили массового характера. В начале 1909 года в Санкт-Петербурге состоялся съезд непрременных членов губернских присутствий и землеустроительных комиссий. Материалы

съезда дают весьма целостную картину настроения крестьян и их отношения к проводимой реформе. Так, неприменный член Нижегородского губернского присутствия отмечал, что «ни враждебного отношения, ни тем более открытого насилия со стороны общинников к выделившим и укрепившим землю не наблюдалось...»⁴⁵. Земский начальник Холмского уезда Псковской губернии докладывал, что «отношение крестьян к укрепившим свои наделы и к хуторьям самое дружелюбное, причём последние пользуются особым уважением общинников, сознающих прекрасно всю выгоду хуторского хозяйства, но вместе с тем ещё недостаточно решительными, чтобы последовать их примеру»⁴⁶.

Одним из заблуждений критиков реформы является утверждение о том, что выход крестьян из общины совершался повсеместно в административном порядке, по постановлениям земских начальников. К примеру, в Калужской губернии подавляющее большинство выделяющихся домохозяев (74%) получили согласие сельских сходов, и лишь 26% укрепили землю на основании постановлений земских начальников⁴⁷. В Витебской губернии эти цифры были ещё более внушительными — 85% укреплений состоялось по приговорам обществ⁴⁸. Некоторое увеличение протестов против землеустройства в годы Первой мировой войны было связано с тем, что общинники выступали против его проведения в условиях, когда огромное число домохозяев находилось на фронте, они требовали его переноса на мирное время. Продолжение реформы в условиях военного времени воспринималось ими как дело сомнительное и несправедливое⁴⁹. Не желая нарушать интересы крестьян, Главноуправляющий Землеустройством и Земледелием А. В. Кривошеин 29 апреля 1915 года издал циркуляр о временной приостановке землеустроительных работ до возвращения находящихся в действующей армии домохозяев. Очевидно, что ни о каком насилии речь здесь идти не может.

Кроме того, выводы к которым приходил Г. А. Герасименко, строились во многом на материалах оппозиционной дореволюционной печати, страницы которой пестрели критическими публикациями и заметками. Многие факты преподносились, как в кривом зеркале. Общую тональность таких публикаций весьма полно передавал публицист Б. Юрьевский: «Любой, даже неперевёрнутый слух о неудачной землеустроительной работе моментально комментируется в самых различных органах печати, переносится в ежемесячные журналы, в коих производится тщательная сводка таких неудачных примеров, приведённых в газетах. Между тем как об удачно исполненных работах оппозиционная печать сведений никогда, конечно, не даёт. Для непосвящённых в дело широких слоёв общества нетрудно при таких условиях сделать вывод, что землеустройство проводится в большинстве случаев крайне неудачно»⁵⁰.

Крестьянские выступления в большинстве случаев были спровоцированы революционной пропагандой, носили единичный характер и не отражали настроения всего крестьянства. Естественно, что, узнавая о реформе по ложным слухам, крестьяне настороженно и с недоверием относились к правительственным начинаниям. Например, под влиянием революционной пропаганды крестьяне Чистопольского уезда Казанской губернии считали, что нужно всеми мерами настраивать односельчан против землеустройства⁵¹. Тем не менее, нам представляется, что Б. Д. Бруцкус был не столь далёк от истины, когда писал, что реформа «...ни разу не вызвала ни одной серьёзной вспышки народного неудовольствия»⁵².

Принимая во внимание, что более 25% домохозяев заявили о своём желании выйти из общины и почти половина (47%) ходатайствовали о проведении землеустройства, и при этом учитывая тот факт, что около половины всех поступивших прошений не были вовремя удовлетворены землеустроительным ведомством, становится очевидным, что правительству абсолютно незачем было форсировать ход реформы, прибегая к принудительным мерам. И без того производство работ, несмотря на увеличение к 1914 году штата землемеров почти в десять раз (с 650 до 6.397), значительно отставало от количества ходатайств, удовлетворения которых крестьянам приходилось ожидать иногда по несколько лет. Например, в 1913 году удалось закончить работы только для одной трети всех ходатайствующих.

В целом, перестройка аграрных отношений осуществлялась на здоровой и добровольной основе. При прямом или косвенном давлении местных властей общину покинуло, предположительно, не более 20–25% домохозяев⁵³. Разумеется, цифры эти не могли оказать существенного влияния на общий ход

реформы. Несмотря на все издержки (на которые, кстати говоря, указывал и сам реформатор), подавляющее большинство крестьян перешло к новым формам хозяйствования исключительно по внутреннему убеждению, осознанная выгодность такого шага, и, как совершенно справедливо отмечал П. А. Столыпин, “безрассудно было бы думать, что такие результаты достигнуты по настоянию правительственных чинов”⁵⁴.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит сказать, что все претензии к аграрной реформе П. А. Столыпина – её искусственный характер, насильственное разрушение общины, несоответствие преобразований традициям и менталитету крестьянства и т. п. – предъявлялись аналогичным реформам в других странах Европы и также оказались несостоятельными⁵⁵. По замыслу П. А. Столыпина, столь грандиозная по своим масштабам земельная реформа должна была проводиться в течение 6–7 трёхлетий, то есть примерно в течение 20 лет. Учитывая, что Первая мировая война приостановила реализацию реформы, а после февральских событий 1917 года она была и вовсе прекращена постановлением Временного правительства, на наш взгляд, было бы уместней говорить лишь о промежуточных её результатах, которые, учитывая короткие сроки преобразований, несомненно, оказались весьма значительными.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Анфимов А. М. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. – С. 264.
- ² Максимов С. В. Столыпинское землеустройство (1906–1916 гг.). Арзамас, 1999. – С. 135.
- ³ Ефременко А. В. Земская агрономия и её роль в эволюции крестьянской общины. Ярославль, 2002. – С. 25–26.
- ⁴ Дунаева Н. А. Модернизационные процессы в поволжской деревне в 1907–1917 годах. Ульяновск, 2012. – С. 85.
- ⁵ Столыпин П. А. Грани таланта политика. М., 2006. – С. 71.
- ⁶ Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия... Полн. собр. речей в Государственной думе и Государственном совете, 1906–1911 гг. М., 1991. – С. 93–94.
- ⁷ Столыпин П. А. Программа реформ. Документы и материалы. В 2-х тт. Т. 1. 2002. – С. 61.
- ⁸ Там же.
- ⁹ Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия... – С. 248.
- ¹⁰ Вронский О. Г. Государственная власть России и крестьянская община в годы “великих потрясений” (1905–1917). М., 2000. Ковалёв Д. В. Аграрные преобразования и крестьянство столичного региона в первой четверти XX века (на материалах Московской губернии). М., 2004. Он же. Правовые компромиссы в земельной политике П. А. Столыпина // Вопросы истории. – 2018. – № 7. – С. 43–49.
- ¹¹ Вронский О. Г. Указ. соч. – С. 232.
- ¹² Дебаты о земле в Государственной Думе (1906–1917 гг.). Документы и материалы. М., 1995. – С. 252.
- ¹³ Столыпин П. А. Переписка. М., 2004. – С. 158.
- ¹⁴ Ковалёв Д. В. Аграрные преобразования и крестьянство столичного региона... – С. 82.
- ¹⁵ Литошенко Л. Н. Социализация земли в России. Новосибирск, 2001. – С. 141.
- ¹⁶ Семёнов С. Т. Крестьянское переустройство. Три статьи. М., 1915. – С. 85.
- ¹⁷ Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3-х тт. Т. 2. СПб, 2015. – С. 231.
- ¹⁸ Там же. – С. 212.
- ¹⁹ Тюкавкин В. Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М., 2001. – С. 185.
- ²⁰ Лосяцкий А. Е. К вопросу об изучении степени и форм распада общины. Укрепления наделов в полную собственность. Удостоверительные акты. Выходы на хутора и отруба. М., 1916.
- ²¹ Столыпин П. А. Грани таланта политика. М., 2006. – С. 485.

- ²² Павлова О. В. Аграрная реформа в Тверской деревне (1906–1917 гг.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Тверь, 2006. — С. 18.
- ²³ Шагин Э. М. Столыпинская аграрная реформа: её результаты и судьба // Очерки истории России, её историографии и источниковедения (конец XIX — середина XX вв.). М., 2008. — С. 80–81.
- ²⁴ Столыпин П. А. Грани таланта политика. — С. 171–172.
- ²⁵ Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия... — С. 247.
- ²⁶ Столыпин П. А. Грани таланта политика. — С. 230.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ Землеустройство в Калужском уезде. Калуга, 1915. — С. 45.
- ²⁹ Карпачёв М. Д. Столыпинские аграрные реформы в восприятии Воронежского крестьянства // Исторические записки: науч. тр. ист. фак. Воронеж. гос. ун-та. Вып. 1. Воронеж, 1996. — С. 74.
- ³⁰ Данилов В. П. Судьбы сельского хозяйства в России (1861–2001 гг.) // История крестьянства России в XX веке. Избранные труды. В 2-х ч. Ч. 2. М., 2011. — С. 637.
- ³¹ Столыпинская реформа и землеустроитель А. А. Кофод. Документы, переписка, мемуары. М., 2003. — С. 704.
- ³² Анфимов А. М. Указ. соч. — С. 122.
- ³³ Бруцкус Б. Д. К современному положению аграрного вопроса. Пг, 1917. — С. 21.
- ³⁴ Комитет по землеустроительным делам. Краткий очерк за десятилетие 1906–1916. Пг, 1916. С. 60.
- ³⁵ Павлова О. В. Указ. соч. — С. 18.
- ³⁶ Личное крестьянское землевладение в Московской губернии в 1907–1912 гг. М., 1913. — С. 26.
- ³⁷ Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте-Столыпина. 2-е изд., испр. и доп. СПб, 2016. — С. 805.
- ³⁸ Тюкавкин В. Г. Указ. соч. — С. 156.
- ³⁹ Сафронов С. А. П. А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы. В 2-х тт. Т. 2. Красноярск, 2015. — С. 455.
- ⁴⁰ Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России, 1907–1914 гг. М., 1992. — С. 134–135. Он же. Пётр Столыпин. Политический портрет. М., 1992. — С. 59–60.
- ⁴¹ Корелин А. П. Реформы П. А. Столыпина: исторический опыт и уроки // Труды Института российской истории. Вып. 11. М., 2013. — С. 105.
- ⁴² Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа. Из истории сельского хозяйства и крестьянства России в начале XX в. М., 1963.
- ⁴³ Герасименко Г. А. Борьба крестьян против столыпинской аграрной политики. Саратов, 1985. — С. 173.
- ⁴⁴ Климин И. И. Столыпинская аграрная реформа и становление крестьян-собственников в России. СПб, 2002. — С. 209–210.
- ⁴⁵ Труды съезда непреременных членов губернских присутствий и землеустроительных комиссий. СПб, 1909. — С. 263.
- ⁴⁶ Там же. — С. 264.
- ⁴⁷ Панасюк В. В. Столыпинская аграрная реформа и российская провинция (по материалам Калужской губернии) // Российская история. — 2017. — № 1. — С. 159.
- ⁴⁸ Труды съезда непреременных членов... — С. 259
- ⁴⁹ Шевелёва О. В. Сельскохозяйственное развитие Великорусской провинции и столыпинская аграрная реформа в годы I мировой войны (по материалам Тульской губернии). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Тула, 2008. — С. 22.
- ⁵⁰ Юрьевский Б. Правительство и земля. СПб, 1912. — С. 6.
- ⁵¹ Кабытов П. С. Власть и крестьянство Поволжья в период проведения Столыпинской земельной реформы // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. Саранск, 2004. — С. 239.
- ⁵² Бруцкус Б. Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг, 1922. — С. 131.
- ⁵³ Климин И. И. Указ. соч. — С. 162.
- ⁵⁴ Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия... — С. 252.
- ⁵⁵ Миронов Б. Н. Указ. соч. — С. 239.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 13

Русская Идея

Когда Вадим Кожинов отправлялся в компании друзей в Саранск на свою первую встречу с Бахтиным, на Казанском вокзале его провожали два молодых поэта – Анатолий Передреев и Станислав Куняев.

“Мы познакомились, – вспоминал о Передрееве через много лет Кожинов, – и уже не могли расстаться целые сутки – в предзимний день 1960 года. Анатолий к тому времени ещё не создал ни одного из тех своих зрелых стихотворений, которые обеспечили ему место в любой – даже наиболее придирчиво составленной антологии русской поэзии второй половины XX века. Однако и тогда легко можно было предвидеть, что он создаст такие стихотворения”.

Более красочно и развёрнуто (смещая дату на один год) Вадим Валерианович рассказывал о знакомстве с Передреевым на вечере памяти поэта в 1997 году:

“Я познакомился с ним в 1959-м. Он только что начал жить в Москве и жадно впитывал всё. Это было даже удивительное зрелище, причём в этом не было никакой напряжённости, никакого специального стремления. Это было само собой. Мы встретились в журнале “Знамя” и не расставались в течение суток, заходили в какие-то дома, были в каких-то ресторанах... И беспрерывно шло интенсивное общение. Вероятно, во мне его заинтересовал человек московский, потому что предыдущие годы его жизни прошли в глухой провинции. Я сразу в нём почувствовал огромный потенциал. Он читал стихи настоящие, добротные, но это не был ещё Анатолий Передреев в полном смысле. Но чувствовались в облике, интонации – предельные возможности в этом человеке”.

Думается всё же, что более реален здесь год 1960-й, когда в “Знамени” готовилась кожиновская статья “Внутренняя” и “внешняя” тема в современной лирике”. Познакомились они в кабинете заведующего отделом поэзии журнала Станислава Куняева, который к этому времени уже сдружился с Передреевым – не прошло и года с момента их первой встречи на Братской ГЭС, где Передреев работал бетонщиком и куда Куняев приехал как выездной корреспондент московского журнала “Смена”.

В 1959-м в Москве, в “Литературной газете” состоялась первая заметная публикация передреевских стихов с предисловием Николая Асеева, который столь же доброжелательно ранее “благословил” Виктора Соснору

Продолжение. Начало в №№1-7, 9 за 2019 год, 1-5, 7 за 2020 год.

и Юнну Мориц. Передрееву же он настойчиво советовал: “Толя, перебейте ноги ритму!” (думал, видимо, сформировать нечто вроде “нового ЛЕФа” в новых условиях). Он же ввёл молодого поэта в “салон” Лили Брик.

А Передреев, действительно, впитывал в себя всё “московское”, как жадная губка. И с Кожинным они поистине счастливо нашли друг друга.

Когда открываются друг другу два равноправных собеседника, одержимые общим порывом познания, настроенные на одну волну, “случайное” знакомство (в котором, на самом деле, нет ничего случайного) мгновенно переходит в теснейшее взаимное притяжение, в дружбу, которая осеняет последующие годы жизни. Это не просчитывается и не предугадывается. Всё происходит в мгновения, когда скрещиваются взгляды, когда первые же слова обнаруживают подлинное родство душ. Здесь невозможно говорить даже об “общем литературном интересе”, скорее, о подлинном взаимопроникновении на поле, пропитанном флюидами великих стихотворных творений русских классиков и жгучими токами современной жизни воедино.

Что же касается Станислава Куняева, то о своём знакомстве с Кожинным, также перешедшем в теснейшую дружбу, он вспоминал так:

“Не помню, кто познакомил нас, но это было жарким июньским днём 1960 года. Светловолосый, излучающий молодое дыхание жизни — ему не было ещё и тридцати — Вадим затащил нас с Передреевым в какую-то светёлку, которую он снимал в старинном московском особняке на бывшей улице Воровского. Он недавно ушёл от своей первой жены и, празднуя холостяцкую свободу, буквально купался в череде мимолётных, но искренних романов, наслаждаясь декламацией стихов, брызгами шампанского, стихией “Цыганской венгерки”, звуки которой так естественно вырывались из полукруглых окон бывшего дворянского гнезда. “Цыганскую венгерку”, которую я услышал в тот вечер, он разыгрывал самозабвенно, как бы воскрешая быт и нравы молодых московских славянофилов, живших столетием раньше в подобных особняках. Слушая его, я тогда подумал, что он, может быть, неосознанно, но страстно, глядя в потускневшее зеркало истории, ощущает себя таким молодым Аполлоном Григорьевым, когда с кожинновским обаянием, к восторгу нашему, буквально терзая дешёвенькую ширпотребовскую гитару, воскричал волшебные заклинания, вот уже полтора века не выходящие из моды:

*Басан, басан, басана,
Басаната, басаната,
Ты другому отдана
Без возврата, без возврата...*

...А может быть, я встретился с ним впервые на квартире в Лаврушинском, где он обосновался у своей второй жены — Лены и у тестя, известного идеологического критика и крупного литературного чиновника сталинской эпохи Владимира Владимировича Ермилова...

Очутившись в громадной по тем временам многокомнатной квартире, куда нас пригласил Вадим, чтобы немножко выпить и познакомиться со своим именитым тестем, я вышел в коридор покурить, да заблудился и попал на кухню, где гремела кастрюлями и тарелками домработница Ермиловых, бывшая тверская крестьянка Нюра. Она поглядела на меня неодобрительно и забормотала почти что в рифму:

— Подлый Гачев жил у нас на даче, ел, пил, жену соблазнил...

Потом мы со смехом выяснили, что Ермилов после смерти жены привёл в дом свою аспирантку Ларису — рыжеволосую пышнотелую женщину. А Вадим Кожиннов, ухаживая за дочкой Ермилова, приезжал к ним на дачу в Переделкино не один, но с компанией своих друзей — с Палиевским, Гачевым, Сергеем Бочаровым. Тут-то Георгий Гачев и закрутил роман с рыжей Ларисой. Нюре всё это было не по душе, и каждого нового молодого человека, появившегося в доме, она встречала, как заговорщика, покушающегося на честь новой хозяйки, и словно крестным знаменем отгоняла его зловещим заклинанием: “Подлый Гачев жил у нас на даче...”

Смех смехом, а Нюра была своего рода исторической личностью (я помню её нелюдимой и молчаливой, неторопливо сновавшей по кожинновской квартире уже на улице Мясковского и быстро исчезающей в своих “хозяйственных пределах”). Вот как писал о ней через много лет сам Кожиннов:

“А. П. Блохина родилась и до начала 1930-х годов жила в деревне Васильево Моршанского уезда (ныне – Пичаевский район) Тамбовской губернии, затем её семья была “раскулачена”, и ей пришлось покинуть родные места, о жизни в которых она до конца своих дней вспоминала, как об утраченной благодати. Анна Петровна сохранила изначальную нерушимую веру в Бога и до самых преклонных лет постоянно посещала храм. Слово “коммунисты” в её устах всегда имело бранный смысл, ибо они, по её представлениям, напрасно свергли царя (хотя на деле его свергли другие), порушили вековой уклад жизни и пытались уничтожить Церковь. “Ленин весь свет перевернул”, – часто повторяла она...”

И она же, свидетельница знаменитой “антоновщины”, хорошо помнила руководителя самого мятежа Александра Антонова, оставшегося в её памяти “страшным человеком”... Такого рода люди старших поколений ещё не были редкостью в начале 1960-х, но молодая генерация “детей XX съезда” относилась к ним со снисходительной насмешкой, как бы допуская их “старорежимную” жизнь рядом с собой... Красочным по контрасту в глазах молодого Кожина было сосуществование по одной крыше убеждённого коммуниста и “сталиниста” Ермилова со своей православной домработницей... Многие в её бытии и сознании станут понятным и близким Вадиму, когда он в начале 1960-х полностью отринет всю революционную идеологию, которой были пропитаны умы и уши миллионов его сверстников.

Пройдёт несколько лет, и Анатолий Передреев, всю жизнь хранивший память о саратовской деревне – своей родине, – откуда его родители в годы коллективизации “едва-едва успели убежать”, напишет стихотворение, посвящённое Анне Петровне:

*Ты просто Нюркою звалась,
Хотя красой — под стать царевне,
Когда в столицу подалась
Из голодающей деревни.*

.....
*Хозяин — важная был птица.
На всю столицу знаменит.
Но не могла и вся столица
Твоей природы изменить.*

*Ты для семьи чужой старалась,
Вжилась в неё, сроднилась с ней,
Но всю сущностью осталась
В деревне брошенной своей.*

.....
*Творя добро, не захотела
Ты здесь добра себе нажить,
Как будто и душой, и телом
В деревне продолжала жить.*

*Верна простым её заветам
Так много лет, так много дней...
Хотя давно на свете этом
Деревни не было твоей.*

... И Станиславу Куняеву, и Анатолию Передрееву оказывал покровительство и поддержку Борис Слуцкий. Не без его содействия передреевские стихотворения были представлены Асееву и напечатаны в “Литературной газете”. Он же стал редактором первой московской книжки Куняева “Звено”, которая почти вся была пронизана “слуцкими” ритмами и “слуцкой” интонацией (а в иных случаях сказывалось и влияние поэтики Леонида Мартынова и Ильи Сельвинского). В эту книжку вошло, в частности, напечатанное двумя годами ранее в “Дне поэзии” знаменитое “Добро должно быть с кулаками...”

Собственно говоря, это была вариация на заданную тему. Михаил Светлов (ещё один кумир поэтической молодёжи тех лет) предложил нескольким поэтам – среди которых был, в частности, Евтушенко, – написать по стихотворению, начинающемуся с этой строки. Поэты выполнили задание, и потом

все опубликовали написанное, но “хрестоматийным”, тут же зацитированным, запародированным стало именно куняевское стихотворение: ни одна из вариаций его “собратьев” не вобрала в себя столько энергии, не была воплощена с такой чёткостью и отточенностью формы и смысла. Да и само по себе оно абсолютно гармонировало с тем, что читалось тогда у памятника Маяковскому и в Лужниках, — было более чем евтушенко-рождественско-вознесенское.

*Добро должно быть с кулаками,
добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.*

Вся книжка “Звено” была пропитана интонациями её редактора Слуцкого, в отдельных стихотворениях слышался голос Леонида Мартынова, и сквозь эти напластования пробивались собственные ноты, которые возьмут своё уже в книге “Метель заходит в город”, которая выйдет в свет через четыре года.

*Мои учителя устали,
им доставалось трудновато,
они устали, как детали,
по всем законам сопромата.*

Эти строки вызвали недовольный окрик Сельвинского в “Литературной газете”, для которого сама по себе предполагаемая возможность выхода из-под влияния рационалистической поэтики (свойственной и ему самому, и Мартынову, и Слуцкому) представлялась тяжёлой “крамолой”... Кажется, он не знал куда более резких куняевских строк на эту же тему:

*Я предаю своих учителей,
поэтов из другого поколенья.
Довольно, я устал от поклоненья,
я недоволен робостью своей.*

И ещё большую “бурю” наверняка вызвали бы строки стихотворения Куняева, написанного через два-три года после “Добра с кулаками”, будь они в то время опубликованы:

*Постой. Неужто? Правда ли должно?
Возмездье, справедливость — это верно,
пожалуйста, но только не добро,
которое бесцельно и безмерно.*

*Недопустима путаница слов,
подмена силлогизмов и понятий...*

По существу, это был расчёт с целым комплексом чувств и идей, которыми на протяжении нескольких лет был обуреваем молодой поэт, и едва ли этот расчёт состоялся бы в столь короткое время и был бы настолько решителен, если бы к этому времени Куняев не обрёл задушевных друзей и мудрых страстных собеседников в лице Вадима Кожинова, Анатолия Передреева, Владимира Соколова...

О Владимире Соколове речь особая.

Где и когда он познакомился с Вадимом Валериановичем? Документальных свидетельств тому не осталось, но с уверенностью можно сказать, что к концу 1950-х его стихи стали частью кожиновской жизни.

Рядом с проникновенной точностью, глубиной и многослойностью соколовских строк раскрашенной фанерой представлялись изделия “повсеградно обэкрашенных” эстрадников всех мастей с их отточенными формулировками на все случаи жизни.

Для Соколова тайной была сама жизнь, само человеческое бытие — и каждая строка была лишь попыткой приблизиться к ней:

*Паровик. Гудок его глухой.
Ночь. Платформа. Думы об одном.
Снег метался, тонкий и сухой,
Железнодорожным полотном.*

.....
*Мост был выгнут через полотно.
Кто-то шёл по этому мосту.
Шёл незримо в клубах дыма, но
Сбоку луч вонзился в темноту.*

.....
*Паровик прогрохал под мостом,
Электричка встречная прошла.
И исчезла в воздухе пустом
Тень, что дымом поймана была.*

*Я не знал, что делать мне с тоской
О часах текучих... А кругом
Снег метался, тонкий и сухой,
Задыхался и бежал бегом.*

*Только я запомнил не его.
Свет, и дым, и чью-то тень навек.
И не знал об этом ничего
Тот, мостом прошедший, человек.*

И вечность, и современность, и само человеческое бытие, воплощённое вроде бы в мимолётных приметах времени, — вот что властно притягивало к себе в поэзии Соколова его новых друзей.

*Всё открыто пристальному взору —
Дно речное, паутинки нить.
Очень любит осень в эту пору
Отобрать, отсеять, отцедить...*

*И, следя за днём, за цепью уток,
В час такой, давно ли слеп и глух, —
Я и сам, как это утро, чуток,
Обращённый в зрение и слух.*

*Я ловлю, раскидываю сети,
Только вовсе мне не до игры.
Я и сам как будто на примете
У большой и пристальной поры.*

*Я молчу, тревогою объятый:
Эта осень видит всё насквозь...*

Эти стихи 1956 года Кожинов выделил как одно из лучших поэтических творений этого времени, где поэт стремится разгадать себя в эпохе и эпоху в себе, а не вплести свой голос в хор “всезнающих” и “всеопределяющих”.

Поэтический дар Соколова уже к концу 1950-х годов был признан практически всеми, кто имел какое-либо отношение к поэзии. Его приветствовали и старшие, и ровесники. На него слегка снизу вверх смотрел и Евтушенко, естественно, до поры до времени этого не обнаруживая. Но в начале 1960-х положение дел резко изменилось.

Ко времени знакомства с Кожиновым Соколов был уже автором трёх книг и обладателем репутации тонкого проникновенного лирика. Он начал писать в конце 1940-х, в первоначальную свою студенческую пору, словно минуя стадию какого бы то ни было ученичества. Конечно, в его стихах время от времени слышались ноты и Есенина, и Пастернака, и Заболоцкого, и Твардовского, и Смелякова, и Межирова, но при всём при том его “лабораторные”,

“ученические” опыты фактически остались за пределами вышедших сборников. Он писал много и вдохновенно, насыщая стихи приметами современности, но насыщая так, что эти приметы никогда не резали глаз (в отличие от стихотворений десятков и десятков тогдашних стихотворцев), растворяясь в общей гармонии человеческого и природного мира, воплощённого в его стихах с одухотворяющей пронзительностью.

Кожинова неудержимо влекло к стихам Соколова, где мир городской окраины и самого города существовал в равновесии с человеческой и природной субстанциями, где трава, дерево, снег и дождь жили в городском мире своей жизнью, органически вписанной в мир, где сугубо городские и ещё не изжитые временем “окраинные”, “мещанские” приметы существуют как единое целое, обнимающее человеческое существо, сообщающее ему то обострённое чувство жизни, времени, судьбы, всего, что составляет смысл бытия.

*Из переулка сразу в сон
Особняков, в роман старинный
И к тишине на именины,
Где каждый снами угощён.*

*Из переулка сразу в тишь
Ещё торжественней и глубже,
Где тает лист, где блещут лужи,
Где каплет с порыжелых крыш.*

.....
*Мы жили здесь без гроз, без слёз,
Средь ветхих стен — на слух, на ощупь.
Однажды вышли мы на площадь,
Нас ветер в стороны разнёс.*

И ещё одно невозможно было не увидеть пристальному взгляду, не услышать обострённому слуху в стихах Соколова, то, о чём Кожин написал десять лет спустя: “В стихах Соколова... нет ярко выраженной манеры, но нет её как раз потому, что поэт создал подлинный стиль, который невозможно определить по нескольким очевидным внешним приметам, ибо его основа залегает в самой глубине творчества... В поэтической форме, как и в содержании, Владимир Соколов никогда не опирается на мимолётные и случайные приметы времени, так, у него — за исключением прямой речи тех или иных лиц — нет и следа каких-либо сиюминутных жаргонных словечек и оборотов... Владимир Соколов более, чем кто-либо другой, создаёт доподлинную живую ткань современного поэтического стиля. В этот стиль органически, незаметно внедряется архаика и последние языковые новации, речения возвышенного толка и непритязательные житейские обороты. Но главная его черта — жизненность, способность к постоянному развитию и плодотворному обновлению, не отменяющему прежнее, а прорастающему уже на сложившейся почве”.

Как бы “поперёк” времени возникали иные стихи Соколова, в которых, по сути, современность органически входила в поток Большого Времени и словно замирала перед очередным “рывком”...

*Всё как в добром старинном романе,
Дом в колоннах и свет из окна.
Липы чёрные в синем тумане,
Элегическая тишина.*

*В купах вымокших — шорох вороний.
Тихо плавают листья в пруду.
Что за чёрт, я совсем посторонний
В этом жёлтом, забытом саду.*

.....
*Но с какой-то навязчивой грустью
Лезет в душу мне сырость колонн
И в садовом своём захолустье
Позабитый людьми Аполлон.*

А в 1960 году им, в пору оглушившей всё и вся поэтической эстрады, было написано стихотворение, о котором вспомнили, которое читалось и цитировалось десяток лет спустя, а тогда оно осталось практически незамеченным:

*Вдали от всех парнасов,
От мелочных сует
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет.*

*Они со мной ночуют
В моём селе глухом.
Они меня врачуют
Классическим стихом.*

*Звучат, гоня химеры
Пустого баловства,
Прозрачные размеры,
Обычные слова.*

*И хорошо мне... В долах
Летит морозный пух.
Высокий лунный холод
Захватывает дух.*

Это стихотворение было посвящено Юзику Алешковскому – неизменному гостю кожиновского дома и собутыльнику весёлой дружеской компании.

* * *

С Вадимом Кожинным, Анатолием Передревым, Станиславом Куняевым Соколов сошёлся в крайне непростое для себя время. В 1955 году он заключил брак с болгаркой, выпускницей философского факультета МГУ Хенриеттой Поповой, ушедшей ради Владимира от своего первого мужа. Новая семья поселилась в писательском доме в Лаврушинском переулке, родились сын и дочь. Соколов много переводил с болгарского, жил, фактически, на две страны... А потом произошла трагедия.

Хенриетта Попова без памяти влюбилась в Ярослава Смелякова, который был старше её на добрых 12 лет. Человек сложнейшей судьбы (он, начиная с 1930-х годов, имел, кроме “финского” плена, три лагерные “ходки”) и сложнейшего характера, он обладал непререкаемым авторитетом в поэтическом сообществе. Те, кого признавал Смеляков, знали: это серьёзно. Его мнение ценилось, как мнение немногих поэтов в ту эпоху... Никто не мог сказать, когда у Ярослава Васильевича всё “закрутилось” с Хенриеттой, но об этом романе шёпотом судачили в литературной Москве – и только Соколов долгое время ничего не знал. Потом он рассказывал матери и сестре: “Буба (так Соколов называл свою жену. – С. К.) сказала, что уходит от меня к Смелякову, что она меня не любит, а любит его. После того, как он отправил меня в командировку в Братск, он пришёл к ней домой, тогда у них всё и началось... Стала рассказывать все детали... Я просил её: не рассказывай! А она всё говорит и говорит... Я ушёл... И вот пришёл к вам”.

Этот тяжёлый разговор состоялся 31 марта 1961 года. После ухода мужа Попова отправилась прямо к Смелякову. Дверь ей открыла Татьяна Стрешнева, жена Ярослава Васильевича.

Смеляков явно не ждал прихода любовницы. И, очевидно, чтобы сгладить ситуацию, намеренно вышел из себя. Наговорил “Бубе” оскорблений и послал её куда подальше. Та, потрясённая, видимо, уже в полувменяемом состоянии вернулась домой и не смогла войти – забыла ключи в квартире. Как раз появились заранее приглашённые гости Александр Межиров и Галина Евтушенко (жена поэта). Их всех вместе с Хенриеттой позвала к себе проходившая мимо жена писателя Василия Ажаева. “Бубу” отвели в отдельную комнату и уложили отдохнуть – её поведение показалось собравшимся весьма

странным. Отдыхала она недолго — подошла к окну, распахнула его настежь и выбросилась на московский асфальт.

*Ты камнем упала, я умер под ним.
Ты миг умирала, я — долгие дни.
Я всё хоронил, хоронил, хоронил
Друзьями — меня выносили они.
За выносом тела шёл вынос души.
Душа не хотела, совала гроши.
А много ли может такая душа,
Когда и у тела уже ни гроша...*

Эти стихи были написаны в 1963-м.

Одновременно с личной трагедией Соколов переживал нешуточную драму в своей литературной жизни. Две книги, “Трава по снегом” и “На солнечной стороне”, вышли на рубеже 1950–60-х годов, когда лучшие стихи его этого времени практически не были услышаны. “Эстрада” заслонила собой всё остальное поэтическое пространство. Стихи Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Окуджавы, перипетии их биографий, каждый их жест и поступок мгновенно становились предметом печатных и устных дискуссий, обсуждений, похвал и ругательств. Создавалось ощущение, что кроме них в современной поэзии нет никого. Во время съёмки фильма “Застава Ильича” рядом с ними ещё зримо присутствие Слуцкого и Светлова (талантливого поэта Сергея Поликарпова, чьё выступление тогда сорвало самые бурные аплодисменты, режиссёр Марлен Хуциев из фильма вырезал). А в недавно снятом фильме “Таинственная страсть” рядом с ними не присутствует вообще ни один поэт.

Скандал вокруг евтушенковских “Наследников Сталина” и “Бабьего Яра”, кажется, был самым запоминающимся событием литературной жизни. Истерический ор Хрущёва на Вознесенского во время встречи деятелей искусства с членами правительства, кажется, заглушил собой все остальные звуки. Само собой разумеется, подлинная гражданственность, — а это подавалось как главное поэтическое качество, — виделась исключительно в творчестве выше-названных “звёзд”, их многочисленных последователей и подражателей.

Две книги Соколова стали предметом изощрённого издевательства — первую скрипку играла здесь критикесса Алла Марченко на страницах “Вопросов литературы”. Соколов был уличён в “отрыве от современности”, “мелкотемье”, “душевной опустошённости”, а его лирический герой, оказывается, “нисколько не стыдится ни своей слабости, ни своего безволия...”, более того — “публично признаётся в грехе Клима Самгина... заявляет, что ему нравится спокойная и медленная жизнь — “окраина” с жирными фикусами и чистенькими занавесками”... Естественно, этой “позиции” противопоставлялась “позиция вмешательства, вторжения, ответственности”, которую выражали, по мнению воинствующей “шестидесятницы”, такие стихотворцы, как Владимир Гордейчев, Римма Казакова, Владимир Британский, Майя Борисова... И занятая “деталь”: невзирая на все “разгромы”, ни Евтушенко, ни Вознесенский никогда не испытывали никаких недостатков в публикациях, несмотря на все их позднейшие воспоминания о лютых “гонениях”. Более того, вокруг них лишь накалялся интерес, который и так был всеобъемлющим. Соколов же после учинённой над ним экзекуции “по-тихому” на два года “выпал” из поля зрения редакторов. В 1963 году он опубликовался всего четыре раза — причём все публикации приходятся на журнал “Литературная Грузия” и альманах “День поэзии”, а в 1964-м — два раза, и обе публикации состоялись в тех же изданиях.

В своём новом кругу Соколов лечил душу в долгих дружеских беседах, чтении стихов классиков, чтении и разборе стихов друзей... И Передреев, и Куняев признавали тогда его безусловное первенство и во многом с его помощью подходили каждый к своему порогу, за которым начиналось настоящее творчество. Наиболее взаимоотношения у Соколова сложились с Передреевым, с которым они ещё обменяются стихотворными посланиями.

Для Кожина обретение новых друзей стало ещё одним чрезвычайно значимым событием в жизни. Елена Владимировна Ермилова вспоминала,

что постепенно с выходом одного за другим томов “Теории литературы” стало не то чтобы распадаться, но ослабевать дружеское единение “четырёх мушкетёров” “Теории...” Пока выходили тома, пока Кожинов бился за бахтинские книги, пока работы друзей пристрастно и жёстко обсуждались на страницах “Вопросов литературы”, “Октября” и других изданий, где молодые теоретики вступали в ожесточённое противостояние с Геннадием Поспеловым, Вадимом Назаренко (хамовато нападавшим на Кожинова ещё в 1952 году), Петром Строковым, Анатолием Дрёмовым и другими оппонентами, они ощущали себя единым целым. Палиевский откровенно высмеивал навязанный им стиль полемики: “Разные мнения о “Теории...” были совершенно уничтожающими по отношению друг к другу. Один товарищ взволнованно говорил, что весь этот труд посвящён принижению роли сознания. Другой решительно осуждал авторов за последовательное и упорное преувеличение роли сознания. Одно выступление разоблачало примитивное понимание художественного образа как прямого отражения форм самой жизни, понимание, которое, по мнению выступающего, составляло почву труда; в другом, где вскрывались причины, почему эта книга не удалась, был сделан вывод, что не удалась она из-за открытого пренебрежения мыслью революционных демократов об искусстве как отражении жизни в формах самой жизни и пр. Вряд ли такая критика — будто бы с разных сторон, но, по существу, единая в желании “вскрыть” — убедительна: критикующие рискнут лишь встретиться, нагнув головы, на критикуемом предмете, как на мосту, и им придётся уступать друг другу дорогу...”

Общее дело подходило к концу, связывающие нити истончались. И Гачев, и Бочаров десятилетия спустя делились уже обрывочными воспоминаниями о Вадиме Валериановиче, о его жизни за пределами работы на “Теорией...”. Интенсивное общение с Палиевским сохранялось, но переходило уже в иную стадию и обрело иные тональности. Чем дальше, тем больше Вадимом Валериановичем овладевало психологическое утомление от собственно теоретических проблем — и всё более властно влекло его к себе живое поэтическое слово. Путь теоретика завершался, начинался путь критика и историка литературы.

Здесь он и обрёл новых друзей и собеседников. И в 1962 году в их кружке появился новый поэт, младший по возрасту, как и Передреев, студент Литературного института.

Звали его Николай Рубцов.

Он появился в журнале “Знамя” с подборкой стихов. Станислав Куняев мгновенно выделил несколько стихотворений, в частности, “Доброго Филю”, но ни главный редактор, ни его заместители, что называется, “не тронулись”. Сочи представленную подборку “неактуальной”.

Но в обществе Кожинова, Передреева, Соколова Рубцов нашёл поистине благодарных и одновременно требовательных читателей и слушателей. Анатолий Передреев, человек абсолютного поэтического слуха и безупречного вкуса, стал своего рода “наставником” Рубцова, который и годы спустя признавал безусловное право своего друга на “учительство”.

Контраст между ними внешне был разительным. Высокий, статный красавец с шапкой льняных волос Передреев — и низенький, лысоватый, совершенно не “представительный” Рубцов, словно “съжившийся” на его фоне... И совершенно иная картина предстала бы перед глазами постороннего наблюдателя, который застал бы Рубцова в товарищеском кружке за чтением стихов.

“Все, кто слышал стихотворения Николая Рубцова в его собственном исполнении, — вспоминал Кожинов, — вероятно, помнят, как, увлекаясь чтением, поэт сопровождал его характерными движениями рук, похожими на жесты дирижёра или руководителя хора. Он словно управлял слышимой только ему звучащей стихией, которая жила где-то вне него, — то ли в недрах родной речи, то ли в завываниях ветра и лесном шуме Вологодчины, то ли в создаваемой веками музыке народной души, музыке, которая существует и тогда, когда никто не поёт...”

И тогда все обращались в слух. И сам Передреев смотрел на Рубцова, как на живое чудо.

*Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.*

*И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..*

*О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!*

*Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, моё божество!*

*Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..*

...Сравнительно недавно Кожинов озвучил новую поставленную перед собой задачу: заниматься разработкой русской национальной идеи. И вот теперь эта идея на его глазах обретала словесную плоть, музыку, единый исторический смысл.

Соединялась столь вожделенная им связь времён. И соединял её уже не один старший современник Бахтин, что родом из XIX века. Она воплощалась в стихах поэта, что на несколько лет был моложе него самого, — ему ещё не исполнилось и тридцати.

“Ясно помню, — писал Кожинов полтора десятилетия спустя, — как с самого начала из стихов Николая Рубцова, написанных до приезда в Москву, его собратья по кружку решительно выделили те, — кстати сказать, очень многочисленные — стихотворения, которые, как стало ясно позднее, предвещали дальнейшее зрелое творчество поэта. Это были, прежде всего, “Добрый Филя”, “Осенняя песня”, “Потонула во тьме...” с её гораздо более глубоким, чем во многих других ранних стихах, драматизмом и “Видения на холме” (“Взбегу на холм и упаду в траву...”), — между прочим, значительно переработанные уже в Москве... Поистине восторженно были встречены в кружке такие новые стихи Рубцова, как “В горнице...”, “Прощальная песня” (“Я уеду из этой деревни...”), “Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...”. Эти стихотворения звучали почти на каждой встрече Николая Рубцова с друзьями — первые два он покоряюще напевал под гармонь или под гитару, третье с замечательной выразительностью декламировал... подкрепляя мелодику голоса напряжённым движением рук...”

Позволительно и мне будет соединить здесь свой голос с голосом Вадима Валериановича. Я видел Николая Рубцова несколько раз, когда он приезжал в Москву и останавливался в квартире отца на 2-й Аэропортовской (иногда и жил там по несколько дней). Но одна сцена врезалась в память, что называется, намертво.

Это был, кажется, 1965 год. В отцовском доме, как это частенько тогда бывало, собралась шумная компания. Хорошо помню Передреева, Кожинова, кажется, был и Соколов, и старый калужский приятель Станислава Юрьевича Борис Горелов... Шёл шумный разговор, в памяти от которого осталось лишь общее звуковое впечатление... И лишь один гость не принимал участия в этой довольно громкой беседе. Худощавый, небольшого роста человек сидел в углу на диване, держа на коленях простенькую отцовскую гитару, и перебирал струны. Я, сидевший на другом конце дивана, прислушался и услышал глуховатый напев:

*Рукой раздвинув тёмные кусты,
Я не нашёл и запаха малины,
Но я нашёл могильные кресты,
Когда ушёл в могильник за овины...*

Что-то знакомое послышалось мне тогда в этом напеве... Через какое-то время я понял, что напетое неизвестным мне человеком перекликается с мотивом старой песни, которую напевала мне моя матушка: “Послали меня за малиной, малины я там не нашла. Нашла я там крест над могилой, которая травой поросла...”... Уже через много лет я, зная, что это был Рубцов, понял: я стал невольным свидетелем творческого акта, когда поэт, отрешившись от всего внешнего – в том числе и от беседы своих друзей, – не музыку подбирал к стихам, а искал продолжение внутренней мелодии, на которую ещё не легли извлекаемые из небытия слова, преобразовавшие в подлинный шедевр стихотворение, начинавшееся как вариация на тему мещанского романа.

*И так в тумане омутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким всё было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя.*

*И эту грусть и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть,
И обнимать ромашки, умирая...*

Смерть и святость... Грусть и святость... И, кажется, эта грусть и эта святость не дадут покоя и после ухода за грань земного бытия.

* * *

Существование этого дружеского кружка долгое время в литературном мире воспринималось если не как должное, то с неким опасливым интересом: что за странные люди (конечно, талантливые), которые решили ещё в начале 1960-х пойти против “общего течения”... Причём естественно, без шума и надрыва, в отличие от других – небесталанных – поэтов, таких как Владимир Фирсов, Владимир Цыбин, Игорь Кобзев, Владимир Котов, Валентин Сидоров, которые вознамерились бороться с поэтами “эстрады” “эстрадными” же приёмами и заклинаниями.

“Жить бы мне, на ромашках гадая, // зная дело, сжимая перо...” – писал Владимир Соколов, и, кажется, это был максимум требований от жизни друзей по лире.

Но когда с годами вокруг дружеского поэтического соединения начали клубиться разного рода недобросовестные (а сплошь и рядом и недостоверные) слухи и сплетни, сам Кожин счёл нужным написать – нет, не мемуары, а, скорее, портрет того “поля”, в котором сформировались поэты, ежeminутно жившие напряжённой духовной жизнью, делавшие своё “дело”:

“Очень трудно или, пожалуй, даже невозможно наглядно показать творческую жизнь поэтического кружка, ибо она складывается из мелких и незначительных по видимости подробностей. Но тот или иной диалог, отдельное слово, даже просто молчание были подчас необычайно весомыми. Главное заключалось в единой творческой позиции участников кружка – твёрдой, бескомпромиссной и в то же время лишённой какого-либо догматизма и сектантства. Ими всецело владела идея русской Поэзии, притом вовсе не в эстетически замкнутом, книжном смысле, но поэзии, воплощающей жизнь человека и народа во всей её глубинной сути.

Творения Пушкина и Тютчева, Лермонтова и Некрасова, Фета и Полонского, Блока и Есенина были для Николая Рубцова и его братьев не “литературными фактами”, но именно глубочайшими воплощениями духовной жизни русского народа и русского человека, – а значит, прообразами их собственной

духовной жизни. Они никак не отделяли поэзию от жизни в её сущностной основе и потому были свободны от какой-либо литературщины.

С другой стороны, именно это глубокое проникновение в классическую поэзию и подлинное овладение ею, о-свое-ние её (то есть превращение её действительно в своё достояние) и делало Николая Рубцова и его братьев настоящими людьми культуры, а не поверхностными её потребителями, способными лишь щеголять “информированностью”. Все, кто знал Николая Рубцова, помнят, что он постоянно пел на свои собственные бесхитростные мелодии стихи Тютчева, Лермонтова, Блока – нередко, между прочим, “Брат, столько лет сопутствовавший мне...” Тютчева. Это пение, я полагаю, было для него способом полного, предельно родственного освоения классической поэзии, дело которой он стремился и действительно смог продолжить”.

“Дело”, о котором писал Владимир Соколов, Кожин впоследствии определил как стремление “к тому, чтобы в полной мере возродить, воскресить заветы русской классической поэзии, усматривая в этом отнюдь не собственно литературную, а жизненную, бытийственную задачу”. Те, кто не по книгам, а “по жизни” знают атмосферу 1960-х, согласятся: эта задача была не просто труднейшая, она, если угодно, противоречила всеобъемлющей тогдашней “философии жизни”, отпечатавшейся в броских лозунгах “Мы родом из Октября”, “Мы – дети XX съезда” и, соответственно, нашедшей своё воплощение в прозе, поэзии и критике так называемого “шестидесятичества” (статья очень либерального критика Станислава Рассадина “Шестидесятники”, опубликованная в 1960 году в “Юности”, – точнее, её заглавие – стала своеобразным паролем целой генерации, паролем, сохранившимся до наших дней).

“Почему мы отказываемся от наследства 60-х годов?”, – слегка прищуривая глаза через стёкла роговых очков, насмешливо цитировал Кожин Розанова, самой цитатой отрицая всю утилитарность времени и литературы, порождённой им, в новую эпоху, в эпоху 60-х XX века. Он буквально издевался над процитированной строчкой Евтушенко, которой тот открыл свою “Братскую ГЭС”: “Поэт в России больше, чем поэт”, – говоря, что здесь сказалось потрясающее невежество стихотворца: в одной этой строке он умудрился унижить и поэзию, и Россию.

Чрезвычайно интересно посмотреть на поведение Кожина не внутри “кружка”, а в среде, по сути, чужих ему людей, когда он появлялся там рука об руку с Рубцовым. Сохранились чрезвычайно интересные воспоминания Владимира Алейникова, тогдашнего участника неофициальной поэтической группы СМОГ (как расшифровывали аббревиатуру сами её изобретатели – “Смелость. Мысль. Образ. Глубина” или “Самое Молодое Общество Гениев”). Гениями они считали себя на полном серьёзе при всём эпатаже их поведения (шествовали, в частности, толпой к Центральному дому литераторов, держа над головой лозунг: “Лишим соцреализм девственности”). Гением, без всякого юмора, считал себя действительно способный поэт Леонид Губанов, о котором Давид Самойлов, правда, писал в своём дневнике, что тот “выглядит отвратительным фашистом”.

... Итак, однажды Кожин и Рубцов, встретившись с молодым прозаиком Андреем Битовым, который Кожин очень высоко ценил, отправились на день рождения к Алейникову (Битов направлялся туда и пригласил с собою друзей).

А дальше – слово Алейникову.

“На трамвайной остановке пришлось мне довольно долго стоять и ждать своих запаздывающих гостей.

Наконец, увидел я знакомые фигуры – Андрея, несколько набычивавшегося, то наклонявшего крупную голову вперёд, то откидывавшего её назад, куда-то за плечи, на спину, по привычке державшегося прямо, и его жены Инги Петкевич в вихре рыжих волос, весело и громко ржущей, хохочущей.

Но с ними вместе были и незнакомые люди.

Один из них, довольно высокий, худой, очкастый, держался вроде бы с некоторой отстранённостью от всего, что происходило рядом, но одновременно и так, будто всё вокруг вертелось именно вокруг него, как вокруг оси, то есть чувствовал себя, похоже, главным, осознавал себя хозяином положения. Почему я это сразу же увидел и отметил? Не знаю. Но первое впечатление всегда самое верное.

Второй, маленький, тщедушный, совсем уж хлипкий какой-то, находился будто бы в тени высокого, худого, очкастого. Видно было, что он старался далеко от этого высокого не отходить, вообще — держаться поближе, почти вплотную. И когда он удалялся от этого высокого, — несомненно, того, от которого он зависел, покровителя, даже, может, хозяина, — хотя бы на небольшое расстояние, то тут же оглядывался назад, замедлял шаг и норовил опять прибиться поплотнее к высокому, притулиться к нему. На плече этот маленький держал гитару.

Создавалось впечатление, что этот пока что не известный мне высокий вёл ещё не известного мне маленького, как собачонку, на поводке.

Вся компания двинулась ко мне. Все они были навеселе.

Андрей и рыжегривая Инга шумно поздоровались со мной.

Потом Андрей представил меня незнакомцам:

— Это Володя Алейников, замечательный поэт. Прошу любить и жаловать. У него сегодня день рождения. Мы пришли к нему в гости.

Произнеся своим артистическим голосом эту рядовую тираду, Андрей представил мне высокого и маленького незнакомцев.

Поначалу — высокого:

— Вадим Кожинов.

Церемонно и сухо, чуть-чуть, всего лишь на полсекунды, склонив голову и тут же выпрямив её, Кожинов пожал мне руку.

Потом — очередь дошла и до маленького:

— Николай Рубцов.

Скорчив почему-то гримасу, маленький небрежно, как смятый газетный кулёк с закусью где-нибудь в пивной, протянул мне влажную, скрюченную ладонь и тут же отдернул её, словно боясь обжечься.

— Вот и познакомились! — резюмировал Битов. — Ну что, куда идти? Пора, пора праздновать. Мы запоздали, конечно. Ты уж извини, Володя. Но зато и у нас тут кое-что есть с собой.

В карманах и сумках у компании выразительно звякнули бутылки спиртного.

Я повёл их за собой.

Они поднялись вслед за мной по скрипучей лестнице наверх, вошли в Лялину квартиру, их встретили там достаточно приветливо, но что-то сразу же здесь изменилось.

Что-то нарушилось. Почему?

Нарушилось, и всё тут.

Я чувствовал вторжение чужеродной энергии.

Новые гости разместились за столом.

Достали принесённые бутылки.

Немедленно принялись их открывать.

Полилась в стаканы водка.

Свою дешёвую, глухо, обиженно звякнувшую струнами гитару, доселе закинутую на узкое плечо, Рубцов сразу же прислонил к стене позади себя.

Он придвинул свой стул поближе к столу.

Его сейчас интересовало только одно — водка.

Он вожацки смотрел на стаканы, наполняемые Битовым.

Получилось так, что пришедшая компания расположилась за столом напротив нашей.

Верховодил в компании Кожинов.

Он сидел посередине, и с одной стороны от него сидел Битов, а с другой — Инга.

А вроде бы и здесь же, но как-то в сторонке всё же, сидел Рубцов.

Гости наполнили стаканы, подняли их — и, произнеся краткий тост в мой адрес, осушили их.

Мы все вынуждены были привыкать к их присутствию в Лялиной квартире.

Я подумал, что им, в сущности, наплевать было и на мой день рождения, и на всех нас, если не Андрею с Ингой, такое вряд ли могло быть, то уж точно — Кожинову с Рубцовым.

Но поскольку Битов с женой пришёл с ними, то и эти питерские люди, считавшиеся моими друзьями, оказывались в другой команде, не нашей, а кожиновской.

Да так оно и было.

Вначале они просто выпивали и закусывали, весьма обособленно, с некоторым вызовом даже, что и было всеми нами незамедлительно замечено и как-то неприятно резануло, по живому.

Наташа Горбаневская встала из-за стола и вышла в соседнюю комнату.

Вслед за нею вышла Наташа Светлова.

За Светловой вышел и я.

Наша хозяйка, Ляля, растерянная, покрасневшая, пыталась не замечать неприятных для неё черт в поведении совершенно незнакомых ей, озадачивающих, чужих людей – Кожинова и Рубцова.

На Битова с Ингой она, зная, что это, время от времени поглядывала, будто надеясь, что вот-вот они сумеют всё смягчить, уравновесить.

Наташа Кутузова молча курила.

А Виталик Гладкий сразу понял всё.

Губы его, как это с ним в подобных ситуациях всегда бывало, сжались, образуя направленную концами вниз твёрдую подковку.

В его глазах за стёклами очков с большими диоптриями разгорелся огонь негодования.

Он весь напрягся, помрачнел.

Видно было: в случае чего – он за словом в карман не полезет.

Он оглянулся на меня.

Издали я сделал ему знак, чтобы потерпел, подождет.

Он хмыкнул и нехотя качнул головой.

Потом налил себе в рюмку немного “Плиски” и залпом выпил.

В соседней комнате я подошёл к моим подругам Натальям – Светловой и Горбаневской.

Наташа Горбаневская стояла бледная, нервно курила.

– Кто это такой, тот, высокий, в очках? – спрашивала её Наташа Светлова.

– Как? Ты не знаешь? – вскинула на неё близорукие, огорченно моргающие глаза Горбаневская. – Это же Кожинов!

– Кто? – удивлённо переспросила Светлова.

– Ну, Кожинов, Кожинов. Тот самый. Ну, вспомни!

– Ах, тот самый Кожинов? – Светлова вспомнила. – Ну и что? Раз пришёл, так пусть уж сидит. Что делать?

Выдержке её можно было позавидовать.

– Милые мои дамы! Никто его сюда не звал! – грустно сказал я. – И Кожинов, и Рубцов пришли с Битовым. Некстати, конечно, всё это. Больше того: зачем? И мне-то – каково теперь?

– Не огорчайся, Володя! – утешила меня Наташа Светлова. – И не такое бывает.

– Вот уж точно! – вздохнула Наташа Горбаневская.

– Пойдёмте-ка за стол! – решительно сказала Светлова. – Будем отмечать Володин день рождения.

И мы втроём вернулись за стол.

Вечер наш продолжался.

Уж так, как сложился.

На противоположной стороне стола шла обычная, заурядная пьянка. Там – говорили всё больше о своём, непонятном для нас.

На нашей стороне шло тихое застолье.

Кожинов обратился вдруг ко мне:

– Сколько вам лет исполнилось, Володя?

– Двадцать один, – ответил я.

– Моей дочке почти столько же! – сказал Кожинов. – И что же, стихи пишете?

– Пишу, – сказал я.

– Почитаете нам?

– Почитаю, пожалуй, – сказал я ему. – Но только сегодня – мой день рождения. Поэтому, раз уж вы привели его с собой, пусть вначале почитает Коля Рубцов. Потом, надеюсь, почитает Наташа Горбаневская, замечательный поэт. А после Наташи почитаю и я.

Андрей Битов с интересом слушал меня. Его, видно, удивило такое распределение очерёдности чтения.

– Володя Алейников – гениальный поэт! – сказал он, обращаясь к Кожинову.

– Ну-ну, – сказал Кожинов, – посмотрим, послушаем.

– Ладно тебе, Андрей! – отмахнулся я. – Ты уж прямо этак патетично, категорично заявляешь. Не смущай меня.

– А я так считаю! – заявил Битов, обращаясь опять-таки к Кожинову.

Тот сделал каменное лицо.

– Володя – гений! – воскликнула Инга, встряхнув рыжей гривой. – Мы у нас дома, в Питере, читали вслух его стихи, целых две книги. И все в восторге были. И даже письмо ему тогда же написали и отправили. Было письмо? – спросила она меня.

– Было, – сказал я.

– Ну вот! – Инга радостно заржала. – Было.

– Ребята, – сказал я им, – хоть у меня и день рождения, но мне, поверьте, неловко такое слушать.

Рубцов сидел, надувшись. Молчал.

Что-то было в облике его от подростка, что-то – от старичка.

Рубцов молчал – будто ждал какой-то команды.

И такая команда последовала.

– Коля! – обратился к нему Кожинов. Обратился ласково, мягко. Но – требовательно, – Коля! Почитай нам. Ты же такой хороший, просто замечательный – русский поэт. – Кожинов сделал сознательное ударение на слове “русский” и покосился на нашу сторону стола. – Почитай, Коля! Надо читать!

Рубцов, не глядя, протянул вперёд руку к бутылке с водкой, налил себе полный стакан, выпил его, поставил на стол, вытер длинноватым для его руки, широким раструбом, прячущим его ладонь, рукавом пиджака нервически искривлённый рот, затем точно так же, не глядя, протянул другую руку за спину, достал гитару и пристроил её у себя на коленях.

Он ударил по струнам, которые скрипнули, звякнули, но никак не зазвучали.

Играть он явно не умел.

Может быть, так, немножко. Приблизительно.

Он ударил по струнам – и вдруг запел, и даже не запел, а заголосил, потом сразу же перешёл на негромкий речитатив.

Гитару он держал то как гусли, то как балалайку. Она была скорее антураж, реквизит, нежели музыкальный инструмент.

Он произносил, полупел, говорил нам свои стихи:

– Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...

Он преобразился. Похорошел.

По его некрасивому, простоватому, маловыразительному лицу прошло вдруг видение красоты.

Прошло, но в глазах – осталось.

Кожинов смотрел на него задумчиво, с нежностью.

Битов растерянно моргал покрасневшими глазами.

Стихи рубцовские – песня, баллада, реквием, плач – звучали в тишине.

Мы внимательно слушали.

Стихи были действительно хороши.

Они жили, звучали.

Были они настоящими...

Потом Рубцов читал и другие свои стихи.

И мне они нравились.

Да и всем – на нашей стороне стола – нравились тоже.

Талантливый человек, это было ясно.

Кожинов победоносно поглядывал на нас.

Ещё бы! Рубцов – его, кожиновская, гордость, его открытие.

Его подтверждение собственных теорий.

Его фигура – в его, кожиновской, литературной игре.

А мы все, и особенно – мы с Горбаневской, – что мы?

Что мы – для него, стратега и тактика литературного, но ещё и практика, так сказать – матёрого, железного реалиста?

Посторонние люди, да и только.

Всем своим видом, всем поведением своим он это нам показывал.

Ну что ж, валяйте, стратег и тактик.

Торжествуйте, коли очень уж хочется.
Так я тогда рассудил. . .”

Эта сцена поучительна многими моментами. В первую очередь, обращает на себя внимание то, что Алейников даже и не пытается изначально налаживать контакт с гостями, приведёнными Битовым. Можно было бы всё списать на вторжение “чужеродного тела”, на появление незнакомых людей. . . Но так просто не спишешь. Потому что перед СМОГистом Алейниковым, будущей диссиденткой Горбаневской и будущей женой Солженицына Светловой предстал не кто-нибудь, а “тот самый Кожинов”. С уже устоявшейся литературной и идеологической репутацией. И в этом кругу он если не лютый враг, то уж точно — “чужой”, со своей “чужеродной энергией”. Более того, эта “чужеродная энергия” начинает в глазах Алейникова превалировать над энергией его самого и энергией его друзей. И в каждом жесте, в каждом движении Кожинова он видит вызов самому себе.

Кожинов, естественно, не собирался бросать никакого “вызова”. Он, очевидно видя неловкость ситуации, пытается её сгладить единственным возможным способом. Он сам начинает диалог и просит почитать стихи. И в его присутствии Алейников, в кругу друзей — “гений” (наравне с остальными “СМОГистами”) — отпихивается от этого определения, тут же данного Битовым, ибо в присутствии Кожинова он испытывает нешуточный дискомфорт, видимо, зная, что при нём эти игры в “гения” тут же обнаружат свою межеумочность. Он не читает — он молчит. И Кожинов одаривает именинника, на свой взгляд, самым лучшим подарком. Он просит почитать Рубцова.

И стихи Рубцова покоряют всех. Кожинов, естественно, торжествует. Он одарил новых знакомых стихами подлинного, а не самодельного гения. Он счастлив оттого, что — в его глазах — атмосфера разрядилась и все вроде бы почувствовали себя в общем кругу. Но как бы не так. . . Алейников (я не очень верю в то, что именно подобные чувства он испытывал в ту минуту, скорее, он приписал их себе во время создания своего “мемуара”) видит в Кожинове “стратега и тактика”, одержавшего сиюминутную победу, представив окружающим русского поэта, очевидно (и это у Алейникова читается невооружённым глазом) имея в виду, что остальные, сидящие за столом, поэты “не русские”. . . Прямо скажем, это портрет Кожинова, сильно смахивающий на карикатуру уже весьма поздних времён, когда о нём стали уже не шептать, а писать и говорить в открытую, как о “стратее”, проводившем в литературе свою “линию” чуть ли не с младых ногтей, и отказывая ему практически во всех человеческих чувствах. . .

“Потом читала Наташа Горбаневская.

Читала свои великолепные стихи шестидесятых, стихи — выражение сердцевинного времени шестидесятых, стихи, которые так бесконечно дороги мне.

И её слушали.

И Кожинов — напряжённо, внимательно — слушал.

И Рубцов — да куда ему было деваться? — тоже слушал. Наташа — поэт. И другого такого доселе — среди пишущих женщин — нет.

Потом читал я.

И меня слушали.

И Кожинов — заинтересованно даже — слушал.

И Рубцов — ревниво, насупившись, таким букой, не туда, выходит, попавшим, где его всегда привечали, но, поскольку здесь выпивка есть, тоже, вроде бы, слушал — не слыша.

Но слышал меня Битов. Инга Петкевич слышала.

Слышали меня — мои друзья.

Ну, а после того, как мы почитали стихи, взял гитару Вадим Кожинов и запел. Хорошо, душевно. Пел он вроде и сдержанно, тихо — да всё же с надрывом. Не без этого. Русские, старые — тактик, стратег, — или, может, главарь несусветного лагеря? кто он? — ответа не ждите, не скажет никто и не знает никто, просто — вечером зимним хмельной человек, — романсы он пел. Захотелось, наверное, петь — вот и пел. Что же! Вольному — воля”.

Алейников противоречит самому себе. “Стратег” и “тактик”, нарисованный им, удовлетворился бы исполнением Рубцова и или сразу ушёл бы, увидя его с собой, или отстранился бы от “чужого” чтения. Но Кожинов слушал,

как слушал он со вниманием, напрягая слух, в течение всей своей жизни любого поэта, который взялся бы читать ему свои стихи... Конечно, ни Алейников, ни Горбаневская как поэты не годились Рубцову в подмётки. И Алейников это понял мгновенно. И это понимание, видимо, жжёт его по сей день, потому что в конце своего "мемуара" он не выдерживает. Он пишет, что у Рубцова "не русское мышление, не стержневое", что "сам строй стихов, сам звук – блёклый, белокровный, какой-то белёсый, синеющий, торфяной, каменистый, мшистый", чем обнаруживает свою собственную глухоту. Более того: "какая же это русскость, если это – другая кровь?" – задаёт он свой замечательный вопрос, который в голову не пришёл бы Кожинovu, но который Алейников всем строем своего сочинения ему навязывает... И, наконец, финал: оказывается, по словам Битова, Рубцов – "вепс", а по словам самого Алейникова – "алкоголик, псих и садист"... Ну, надо же было как-то притушить до сего дня сохранившееся очарование теми рубцовскими стихами и их исполнением, как и исполнением Кожиновым русских романсов...

Появление Андрея Битова в кожиновском кругу может сейчас показаться неожиданным, но для Кожинова это было тогда настоящей нечаянной радостью. Впрочем, об этом далее.

(Продолжение следует)

СЕРГЕЙ ПЕТУНИН

“СИНДРОМ ВОДОЛАЗКИНА”: ПОЧЕМУ ФИЛОЛОГИ ПИШУТ ПЛОХИЕ РОМАНЫ?

Литературный суп — обязательно из топора (в “Преступлении и наказании” это буквально так), но приходит мгновение облизывать его на краях мозговой кости. А — невкусно. Тут и сыплется последняя специя, колониальный товар: приём, фокус, ужимка, авторский голосок...

Андрей Битов

На заре XX века филологи ещё ничем не напоминали того рядового потребителя, каким стали в наше время.

Это было время некоммерческое, когда любителями слова руководили не корыстные помыслы, а творчество, любовь к профессии и желание двигать словесность дальше, в новый век. А “двигать” в те времена приходилось не только филологию, но и литературу.

В. Н. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Л. Я. Гинзбург — вот лишь некоторые имена тех, кто в 20-х годах прошлого века творил современную филологию и преодолевал границы прежних литературных жанров и канонов, которые, по убеждению словесников, уже не отвечали требованиям изменившейся действительности.

Преодоление это выразилось в ряде литературных экспериментов, провозглашавших элементы нового жанра: прежде всего, обращение художественного текста к филологам и проблемам филологии, таким как кризис прежних прозаических форм. Обилие отсылок, слом прежних сюжетов и образов, игра с культурными кодами, литературоведческие “вставки” и стремительное сокращение дистанции между читателем и автором — основные черты произошедшей тогда литературной революции.

Например, в центре романа Вениамина Каверина “Скандалист, или Вечера на Васильевском острове” (1928) стоит кризис русского романа, который, по мнению писателя, больше не может идти по однажды проложенной линии. Пытаясь ответить на вопрос, каким будет русский роман, — автор воплощает бурлящие в филологической среде 20-х идеи в портретах узнаваемых филологов. Прототипом сторонника “литературы факта” Некрылова стал неизвестный формалист Виктор Шкловский.

ПЕТУНИН Сергей Владимирович родился в поселке Ола Магаданской области в 1987 г. Выпускник факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета. С 2013 г. работал в новосибирских СМИ, с 2014 г. — сотрудник Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Достижения этой “промежуточной прозы”, объединившей в себе художественный и научный текст, окончательно оформились лишь к семидесятым годам, в романе Андрея Битова “Пушкинский дом”. А название получили и того позже – с выходом книги А. Гениса “Довлатов и окрестности”, опубликованной под знаковым заголовком “филологический роман”. Эта знаменитая приписка и дала название жанру.

Параллельно с Андреем Битовым задумывал и писал свой первый роман “Ложится мгла на старые ступени” другой филолог-классик и чеховед – Александр Павлович Чудаков. “Ложится мгла...” – это уже не стерильная проза филолога о филологии, а портрет эпохи глазами юного героя Алексея, выходящий далеко за рамки детского восприятия.

Впрочем, “Пушкинский дом” уже в те времена продемонстрировал все возможные достоинства и недостатки филологической прозы. Сюжетная канва бедна: концептуальный разговор Одоевцева с дядей, первые любви, филологические “тёрки” с Митишасьевым, затем итоговый погром в Пушкинском музее. При желании всё это легко можно было уместить в рассказ, как изначально и задумывалось автором.

Романом это произведение, как ни странно, делают гипертрофированные отступления, которые связывают небогатую сюжетную канву. Авторские ремарки полны оригинальных мыслей и размышлений, зачастую выходящих далеко за рамки филологии и потому сохранившихся в народе под видом анекдотов. Например: “Долг, честь, достоинство, как и девственность, употребляются лишь один раз в жизни, когда теряются”. Или: “Мы привыкли думать, что судьба превратна и мы никогда не имеем того, чего хотим. На самом деле все мы получаем своё, и в этом самое страшное...”.

Именно в авторских размышлениях раскрывается трагический путь русской культуры в новом веке, превращение филолога-творца в рядового и ничем не выразительного потребителя, автоматически повторяющего добытые когда-то творческим трудом предшественников филологические истины.

Несмотря на стремление писателя разрушить канон, за “Пушкинским домом” чувствовался автор-титан, который мог вырасти только на питательной почве традиции. Но временам менялись. Передовая филология заблудилась в лабиринтах постмодерна, профессия писателя потеряла официальный статус, а слово “филолог” перестало ассоциироваться с интеллектом, образованностью и широким кругозором. Скорее – с неудачником, не нашедшим себе более удачного применения.

Отчасти это было правдой. В постсоветские годы в силу всем известных причин резко падает интерес не только к гуманитарным наукам, но и к науке в целом. Спектр важнейших профессий – учитель, филолог, писатель – в одночасье лишились былого статуса. Выбирать филологию в таких условиях могли только витающие в облаках романтики либо отчаявшиеся двоечники, которым не хватило смелости учиться в ПТУ. А те, кто ощущал в себе способности, были вынуждены спешно осваивать более доходные должности.

Но не все нашли в себе силы уйти в другие профессии. Причины были разные, но среди оставшихся энтузиастов оказалось немало фанатов слова и филологической науки. Для таких оставалось единственное средство соответствовать “запросам времени”, способное как наладить финансы, так и восстановить покорбленное перестройкой чувство профессионального достоинства: писать роман.

Как ни странно, при общем упадке литературы в те времена этим занимались все, кому не лень, – адвокаты и офисные мальки, бывшие военные и зеки, уличная шпана и даже домохозяйки. Казалось бы, на этом фоне не так уж и сложно выделиться человеку, у которого профессиональные отношения с литературой и словом.

Он, филолог, прочно усвоил, что роман – это механическая сумма композиции, метафор, героев, коллизий и других приёмов, которые он отыскивал в тексте с закрытыми глазами, что и поселило в нём уверенность в своих романских способностях. Постепенно спасительное средство начинает притягивать, как магический кристалл: в нём видятся филологу сцены грядущего благополучия. И вот кропавший статейку в очередной университетский пылесборник филолог вдруг обнаруживает себя за написанием объемной рукописи. Казалось бы, всё должно получиться. Но “получилось” лишь у некоторых...

В этом обзоре на выборке наиболее заметных российских писателей-филологов мы разберём, с какими трудностями сталкивается “любитель слова”

при попытке стать писателем и почему, вопреки всем ожиданиям, роман у него всё-таки не выходит.

Водолазкин Е. “Брисбен”, или литература приёма

Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, радостями и печалью, как своими собственными...

Иван Бунин

Судьба российского писателя, доктора филологических наук, ученика Дмитрия Ивановича Лихачёва и специалиста по древнерусской литературе Евгения Водолазкина сложилась в целом успешнее, чем у большинства писателей-филологов.

Благодаря научным регалиям ему не пришлось долго ожидать публикации своих произведений, как, например, легендарному автору “Пушкинского дома”. Уже третий роман Евгения Водолазкина “Лавр” (2014) оказался писательским успехом. В основу произведения лёг богатый материал по древнерусской литературе, накопленный за годы научной работы. А участие в “Тотальном диктанте” сделало автора узнаваемым писателем. Однако после первого удачного рывка накопленный материал закончился, оставив автору небогатые на коллизии филологические будни. Выпущенный в 2016 году “Авиатор” лишь в очередной раз разморозил сюжет о засланце в будущее.

И вот в 2018 году в популярной “Редакции Елены Шубиной” вышел четвёртый роман филолога – “Брисбен”. Тираж – 5000 экземпляров. Формально всё было неплохо, но по факту проза Евгения Водолазкина скатывалась к литературе приёма, чего в своих интервью и опасался писатель.

“Успешный музыкант-гитарист украинско-русского происхождения Глеб Яновский на пике славы узнаёт, что у него болезнь Паркинсона – скоро он не сможет подтереть себе слюни, не то что бы держать в руках инструмент. Карьера известного музыканта под угрозой. Как жить без музыки, если до сих пор она была смыслом жизни?” – гласит аннотация. Автор избегает линейного рассказа о жизни Глеба Яновского, вместо этого он тщательно тасует прошлое и настоящее своего героя. Приём это или шулерство – станет ясно через несколько страниц.

Начинается роман знакомством гениального музыканта с неким Сергеем Нестеровым (!), который предлагает Яновскому написать о нём роман. Перед нами первый содержательный диалог:

“– Сейчас вдруг подумал, я мог бы написать о вас книгу. Вы мне интересны.

– Спасибо.

– Вы мне рассказали бы о себе, а я бы написал (здесь и далее выделено мной. – С. П.)

Обдумываю предложение минуту или две.

– Не знаю, что и ответить... Обо мне есть уже несколько книг. По-своему не плохие, но всё как-то мимо. Понимания нет.

– Музыкального?

– Скорее, человеческого... Я бы сказал так: нет понимания того, что музыкальное проистекает из человеческого.

Нестор тщательно обдумывает сказанное. Вывод – неожиданный.

– Я думаю, моя книга вам понравится.

Алкогольный выдох как предложение верить”.

Интересно, что бы это значило?

“Становится смешно”.

Действительно смешно.

“– В самом деле? Почему?”

– Потому что я хороший писатель. Нескромно, конечно.

– Есть немного. А с другой стороны, чего уж тут скромничать, если хороший”.

Опасаясь, что читатель не заметит жемчужин его прозы, Евгений Водолазкин старательно помечает каждую “пасхалку” биркой: “Как это у Чехова? Цветы запоздалые”. В таком виде они смотрятся, словно бусы с потрескавшимся лаком. Это результат торопливости “Брисбена”, а в случае с “алкогольным выдохом” — ещё и неспособности внятно сформулировать мысль...

Но ободрённые творческой задумкой Просто Гениальный Музыкант и Скромный Хороший Писатель обходятся и без ясных сентенций — они понимают друг друга с алкогольного полувыдоха. В итоге Нестор и “описывает” прошлое музыканта, из чего мы делаем вывод, что со статусом хорошего писателя он поторопился.

Евгений Водолазкин всячески показывает, что его герой — личность чрезмерно талантливая. Он раздаёт автографы и выступает в Карнеги-холле вместе с Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Миком Джаггером, Шинейдом О’Коннором. Люди на его концертах ведут себя, как жертвы Кашпировского, — качаются в такт музыке и обливаются слезами. Не обходится и без летальных случаев: “По центральному проходу бегут два человека с носилками наперевес. Кого-то поднимают с пола, кладут на носилки, привязывают. Движение к выходу (звучит “Летят утки...”) неспешно и соответствует настроению песни. Оставшиеся видят, чем грозит полное растворение в музыке”.

Автор, понимает, что вся эта чертовщина не заставит читателя поверить в убийственный талант, и потому решается на фортель: **“Звучит моё странное гудение**. Никогда с него не начинаю: пусть вначале послушают, каково оно без него — с одними лишь струнами. Мой голос входит в резонанс с гитарой, я чувствую их гармонию. Лишаюсь тела и превращаюсь в звук, в тонкую такую, почти неосязаемую энергию”. Оказывается, Яновский гудит.

Комментируя эту “суперспособность”, самое время вспомнить тёткушу Айн Рэнд: “Чтобы показать, что человек гениален, вы должны показать это за его действиями и словами. Не утверждайте того, чего не сможете доказать”*. Оставим это здесь как учебное пособие. Видимо, “отнять настоящее” не так уж трудно — писатель у нас на глазах проделал это со своим героем. “Отнять прошлое — труднее”, — продолжает автор, и с этим трудно поспорить. Прожитое всегда удаётся послушать, чем выдуманное.

Второй этап жизни Глеба Яновского — биографический. Нам расскажем о юношеских увлечениях будущего гения музыкой и филологией. Вот здесь бы и развернуться филологической драме, но не тут-то было... Наши ожидания разобьются об излюбленный миф современной литературы — более нерушимый, чем Советский Союз: “Бурцев (преподаватель. — **С. П.**) перешёл к третьей части мероприятия: **каждый должен был встать и сказать, верит ли в Бога**. Расстрел признавшимся, безусловно, не грозил, но исключение из университета выглядело вполне реальным”.

Подозреваю, во имя художественной правды автор с удовольствием довёл бы дело до высшей меры наказания, но сработало чувство такта выпускающего редактора. В мастерстве очернения всего советского много лет соревнуется плеяда авторов, поэтому ничего, кроме усталого равнодушия, эти сцены не вызывают.

Или вот — “полемика” противника Бахтина Чукина с неким Иваном Алексеевичем, который “остроумно отвечал на все его антибахтинские речи”. “Остроумие” присутствует здесь только номинально — ибо все ответы Ивана Лексеича тщательно запрятаны между строк.

В этом месте роман Евгения Водолазкина “напоминает шахматную партию с самим собой”, где автор сносит “разъярённым ферзем” им же выдуманный ход противника. В итоге произведение лишается той самой полифонии, которую отстаивал “остроумный” Иван Алексеевич.

Тем временем болезнь Яновского прогрессирует, и музыканта отправляют к светилу неврологии профессору Венцу. Выясняется, что Паркинсон плавно подбирается к связкам музыканта, но врач просит не расстраиваться: “— Мне трудно не расстраиваться, — перехожу вдруг на шёпот. — Я музыкант”.

На деле музыкант спокоен. Он нежится в джакузи, приятно проводит время за ликёром и ведёт безмятежную курортную жизнь. Перед нами не образец ледяного самообладания, а искусственность героя.

* Рэнд А. Искусство беллетристики. Руководство для писателей и читателей / Айн Рэнд; пер. с англ. Т. А. Неретиной. — М.: АСТ Астрель, 2011. С. 263.

Под конец истории автор вспоминает, что в каждой книге должен быть “урок”, которого его герой дать не может.

Наступает время выхода заранее припасённых старцев. Скрашивая трапезу макаронными изделиями, ходульный старец советует музыканту “держаться за небо”. Неопределённый совет воплощается в том, что Яновский организует болеющей раком девочке благотворительный концерт.

Однако ни советы, ни светило неврологии Венц не помогают, и музыкант предсказуемо лишается голоса. Он продолжает выступать, сопровождая беззвучное раскрытие рта обильными слезами. Желая удержать ускользающую концовку, автор философствует:

“Ответ: Может ли быть лучшее окончание музыкальной карьеры?”

Вопрос: Вы шутите?

Ответ: Я не шучу уже много лет. Идеальная музыка – это молчание”.

Красивая натяжка. Если молчание – это идеальная музыка, может, Глебу вообще не стоило петь?

Несмотря на все старания Водолазкина, за Глеба читателю не страшно – он знаменит, богат. Да и продажи аудиозаписей после такого завершения карьеры взлетят до стратосферы.

утверждают, что в романе “Брисбен”, как и в нотной грамоте, два регистра – нижний и верхний. Нижний – это рассказанная от первого лица история Глеба Яновского, а верхний – его современные будни. Ради правды отметим, что в музыке регистров три – нижний, верхний и средний. Но что нам с этого, если смысла в тексте больше не становится? Всё это – голая специя, которой сыт не будешь. Та самая непреодолимая литература приёма. . .

Кажется, что к моменту создания “Брисбена” Евгений Водолазкин уже истощил свою небогатую фантазию и исследовательский пыл, а потому закономерно принялся дожимать (выжимать) интеллигентскую биографию. В общем-то, и тут не обнаружил богатых творческих плодов.

Созревание искусства – процесс долгий. Николай Васильевич Гоголь, как известно, много раз дописывал и переписывал свои произведения. Чувствуя духовное опустошение, он откладывал рукопись до тех пор, пока она сама “не звала” его к работе). Отдохнувший взор писателя находил возможность для новых исправлений и пометок, исправлял невидимые ранее изъяны. Окинув написанное свежим взглядом, он делал новую порцию исправлений, вновь откладывал рукопись до востребования. И так до восьми раз.

Но современному издателю нет дела до этих духовных тонкостей – не желая терять время и деньги, он требует от писателя по роману в год. Вот и приходится порабощённому контрактнику лукаво мудрствовать и работать по лекалам.

Выпустив “Брисбен”, писатель формально отсрочил финал своей писательской карьеры ещё на пару лет, но явил миру “синдром Водолазкина” – образец предельного творческого кризиса. Мера, по которой будущие писатели смогут оценивать степень своего творческого истощения.

Но что это мы? Пока у Евгения Водолазкина всё хорошо – его читают, выпускают. Паркинсон ему, хочется надеяться, не грозит, и рука писателя бойко скачет по бумаге в погоне за новыми чеками. Проблемы, дорогие читатели, у нас. И вы уже знаете, почему. . .

Михаил Гиголашвили. “Тайный год”, или Иван Васильевич на грани нервного срыва

*В одном из подмосковных подземелий
найдена библиотека Ивана Грозного!
Любопытные пометки нашли археологи
на читательских формулярах:
“Отрубить голову”, “Посадить на кол”,
“Подождать – может, ещё вернёт книжечку”...*

Михаил Гиголашвили

Михаил Гиголашвили – современный грузинский художник, писатель, специализируется на исторической прозе, и, как вы уже догадались, потомственный филолог, закончивший филфак Тбилисского университета. Михаил

Георгиевич получил степень доктора наук и написал монографию, посвящённую творчеству Фёдора Достоевского, а также несколько научных статей об образе иностранцев в отечественной литературе.

Казалось бы, и здесь первый филологический роман отбрасывает на жизнь писателя основательную тень... Но в этой судьбе свои сюжеты: в 1991 году Михаил Георгиевич эмигрировал в Германию, где и живёт по сей день. По словам писателя, эмигрантом он оказался поневоле – отправился в Германию прочитать курс интенсивного русского, но тут в Грузии началась война, и отец запретил сыну возвращаться. Так и огерманился.

Свою изоляцию от русского мира проблемой для творчества автор не считает, пищу для литературных размышлений о современной России (вплоть до деталей быта) он черпает из русского телевидения, отечественных газет, журналов, а также из многочасовых телефонных разговоров с Тбилиси и Москвой. Своё положение Гиголашвили считает даже преимуществом: языковое уединение, по мнению писателя, положительно влияет на качество и оригинальность авторского языка. На самом деле индивидуальный язык без подпитки среды скорее вырождается и захламляется, чем питается творческими соками...

Сегодня у нас есть уникальная возможность проверить, насколько благотворно сказываются на творчестве Михаила Гиголашвили газеты и телефонные разговоры.

Отечественная литература уже не раз обращалась к образу Иоанна Васильевича Грозного. Например, в трагедии А. К. Толстого “Смерть Ивана Грозного”, в пьесе его не менее знаменитого тезки А. Н. Толстого “Иван Грозный”. Михаил Булгаков в 1936 году написал комедию “Иван Васильевич”, по мотивам которой советский режиссёр Леонид Гайдай снял знаменитый фильм “Иван Васильевич меняет профессию” (1973). Книги об Иване Грозном писали Эдвард Радзинский, Александр Бушков, Руслан Скрынников, Дмитрий Володихин, Борис Флора и др.

В 2014 году этот длинный список пополнил роман Михаила Гиголашвили “Тайный год”. В отличие от остальных, автор предлагает нам взглянуть на личность царя в кризисный 1575 год, когда правитель отрекается от престола и на целый год скрывается с глаз людских... Обстоятельства, в которых раскрывается главный герой, выбраны с чутьём художника. Завязка вызывает неподдельный интерес у читателя и развязывает руки автору.

Как и Евгению Водолазкину, Михаилу Гиголашвили пригодилась докторская диссертация, которую он писал по образам рассказчиков в творчестве Достоевского. Судя по тому, как царь комментирует строки о себе из свободной энциклопедии*, кое-что полезное о жизни Ивана Грозного специалист по исторической прозе (!) нашёл и в “Википедии”: “Враньё бесспорное! И ложки у меня есть! И мысы! И ставцы! Обьедки собакам и шутам бросаем! Вот вилок нет – это правда. А у тебя? Ну, вилка, габель, сатанинская рогатина есть? Нет, и не имей никогда! Сие есть сатанинская выдумка. ею можно не токмо глаза, но и горло проткнуть...”.

Но не будем ёрничать, автор не хуже Умберто Эко разбирается в средневековой эстетике. Чего только стоит сцена, где слабо владеющий русским языком немец Шлоссер путается в числах и называет зоопарк “Садом зверя”, чем поднимает народный вопль по всей округе.

Вернёмся к тесным литературоведческим связям Михаила Гиголашвили и Фёдора Достоевского. Типовое сходство великого писателя и грозного царя послужило основой интереса писателя к будням неоднозначного правителя. Как и в произведениях Достоевского, в характере Ивана Грозного мы видим гремящее и роковое соседство греха и раскаяния, самоумаления и возвеличения, одновременной тяги к пороку и к свету.

Итак, как же проходили эти тайные будни? Да обычно... Ночью Иоанн видит кошмары, где приходит к нему Малюта Скуратов и другие жертвы грозного царского темперамента. Правитель просыпается в холодном поту, божится, кается в грехах. Днём он принимает заморских гостей и решает различные

* “Сам он <царь> грубых нравов; ибо он опирается локтями на стол, и так как не употребляет никаких тарелок, то ест пищу, взяв её руками, а иногда недоеденное кладёт опять назад в чашку (inpatinam)” // Википедия [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9 (дата обращения: 21.04.20).

государственные вопросы: поиск изменников, блуждание по городу в наряде нищего с целью понять, что народ о царе и его делах думает. Далее по порядку царь покрывает кого-нибудь из молодых. А под конец главы кривая сюжета вновь подскакивает: падает с небес плита со странными письменами, сбегает разбойник Кудеяр или сатанинский лекарь Бомелий, либо ловят охотники в лесу дикого покрытого шерстью человека — шишигу.

Завершается каждая глава длинными списками царёвых опальных... Как говорится, намёк понят. Порядок этот не нарушается никогда, можно смело пользоваться этим шаблоном, в каждой главе лишь подставляя разные слагаемые.

Мировоззрение Ивана Грозного опережает своё время, в голове под шапкой Мономаха умещаются дебри фактов и оригинальных мыслей: “Душа его после смерти в капель дождя вернётся на землю, капля лопнет, душа выпорхнет и в какого-нибудь красивого и здорового младенца влетит...”.

Чего только не знает царь. Эрудиция его порой опережает своё время. Он в курсе современных научных теорий:

“... тупые музельмане, которые думают, что земля плоская, солнце закатывается в озеро, горы положены на землю, чтобы она от ветра не свернулась”. И даже знаком с высказыванием эксцентричной советской актрисы: “... жизнь человечья есть один долгий скок из бабского разверстого лона в земляную отверстую могилу, а на скаку много ли познаешь?”

Видимо, подражая свободомыслию союзной львицы, богобоязненный царь часто мыслит на грани фола: “Удобно придумано — всё на бесей валить! Беси попутали! Беси под руку толкнули, завлекли, окутали! Беси на похоть подбили, беси на хищу наострили! А ты закрой сердце — и беси уйдут ни с чем! Знаешь ли, нехристь, что беси токмо на того кидаются, кто им сердце отворяет?” Или: “Я зело до баб охотчив: как красивую девку увижу — тут же на неё блудным смаком наливаюсь <...> Невелик грех. Ты же никому-никому плохого не делаешь? Грех — то, от чего другим плохо, а ты кому мешаешь?” — царёв ответ.

Также Иван Грозный не ко времени толерантен: он задумывается о демократии в отдельно взятой стране и равном положении князей и народа: “... вся власть в голове — только в головах людей? А если в эти головы вбить, что нет князей и царей, все равны и должны быть только по делам своим измерены и взвешены, а не по родам и дедам...”; “... но если не будет царей и князей, кто будет водить народ на бой, на стройки, на пахоты, на работы? <...> если даже при деспоте, как меня глупцы величают, царёвы приказы добротнo не исполняются, к ним ещё кнут присовокуплять надо, то что без деспота твориться будет? Захлебнётся народ в грехе, воровстве, мздоимстве...”.

В оставленных реальным Иваном Грозным дневниках и записках, конечно же, о демократии ни слова. Но они позволяют оценить масштаб образованности первого русского царя, который владел швабским (немецким), татарским, сербским языками, разбирался в литературе, живописи и, судя по всему, сам неплохо владел писательским ремеслом.

Вот только разговаривают герои романа на волапюке из просторечия, церковнославянизмов, высокой лексики и словотворчества. Ведь единственные источники их “старорусского” — телефон, газеты и телеканалы. И это несмотря на то, что прототип главного героя “Тайного года” оставил многочисленные образцы письменной речи своей эпохи. Например, послания от царя князю Андрею Курбскому.

В художественной прозе существуют вполне объективные проблемы воспроизведения языка прошлого в исторической прозе. В документах эпохи оседает преимущественно церковнославянская речь, в то время как речь народная не сохраняется и потому известна науке мало. В связи с этим для передачи исторического колорита часто используется диалектная лексика, которая, как известно, устойчива к изменениям и потому отражает состояние языка в прошлом.

Мы знаем авторов, которые умеренно использовали устаревшую лексику (А. Н. Толстой “Пётр Первый”). Знаем и таких, которых трудно читать без словаря архаизмов (М. Н. Загоскин, В. И. Язвицкий). Михаил Гиголашвили в романе “Тайный год” идёт дальше остальных, образцы его “народной речи” в этом обзоре уже встречались...

О подобном стремлении писателей сделать народную речь “узнаваемой” в истории литературы уже неоднократно высказывались: “... почти все наши писатели старой школы, с лёгкой руки г. Загоскина, заставляют говорить народ русский каким-то особенным языком с шуточками да с прибаутками. Русский человек говорит так, да не всегда и не везде: его обычная речь замечательно проста и ясна” (И. С. Тургенев).

Среди откликов читателей можно встретить замечания о том, что характеры героев в книге не развиваются. В самом деле, большинство героев выполняют роль статистов и нужны автору лишь для раскрытия социально-исторического фона произведения. Но развитие характеров – это инструмент художественной прозы, а не творческая самоцель.

Но если уж так хочется эволюции характера, то в конце текста Иван Грозный отпускает разбойника, который ограбил царя на ночной дороге, приняв его за бездомного путника... И за этим поступком ирода, кровопийцы, “Цепеша” стоит огромная внутренняя работа, хотя автор и не раскрывает нам её тонкостей.

Исторические романы, как правило, одевают в костюм истории то, что авторы не отважились высказать прямо. В этом случае политика Ивана Грозного, безжалостно вышибающего страхом и кровью коррупцию, мздоимство, предательство, а также настоящие многостраничные списки опальных царя приобретают в свете не столь давней российской истории двойной смысл.

Избегая современных литературных штампов, автор даёт комплексную оценку феномена диктатора, признавая, что не всё в его действиях обусловлено жестокостью и личной выгодой. Царь вынужден быть жестоким, ибо “... если даже при деспоте, как меня глупцы величают, царёвы приказы добротой не исполняются, к ним ещё кнут присовокуплять надо, то что без деспота твориться будет? Захлебнётся народ в грехе, воровстве, мздоимстве...”. “Шпионы на каждом шагу, мздоимцы, предатели и изменники”. При всех ужасах опричнины и неудачах Ливонской войны Иван Грозный оказал положительное влияние на культуру, укрепил опасные южные рубежи России, сформировал регулярные войска и разгромил остатки Золотой Орды, чем сохранил российскую государственность.

На фоне лучших романов Михаила Гиголашвили (“Толмач”, “Захват Московии”, “Тайнопись”) “Тайный год”, как минимум, не выглядит романом, написанным за год, хотя и унаследовал их некоторые традиционные недостатки. Свойственное книгам Михаила Гиголашвили лингвистическое буйство в “Тайном годе” создаёт непредвиденный нежелательный эффект.

На фоне разудалой народной речи слишком уж весёлым и мультяшным выглядит царь, которому положено быть (сама история велела) роковым. Изрека перлы вроде “выпороток толстозады, пехтук псовый”, “У тебя зуд – у меня уд. У тебя ямка – у меня лямка... Твой замочек – огонь... Мой ключ, ухти, крепок...”, роковой правитель превращается в своё кривое отражение, в самопародию. Подобный образ вполне сгодился бы для плутовского романа, но для серьёзного исторического романа, посвящённого кризисному году в жизни Ивана Грозного, – едва ли.

Это касается не только царя: второстепенные персонажи в книге тоже ломают недокомедию в лучших традициях петросяновской труппы. “Та шиф, касутар...” – ломает русскую речь на манер эстрадных артистов немецкий подданный царя Шлоссер.

Но и государь не отстаёт от подданных: “... звать его Иоп. Это развеселило. – Ёб? Хорошо имечко! Однорукий мастер Ёб! А по батеньке? Тоже? Значит, Ёб Ёвович, мастер с одной ладонью!” Здесь писателю окончательно изменяет чувство такта, а царь в его исполнении превращается в скомороха, который мог бы веселить придворных, но никак не быть царём. Как метко выразился один неизвестный рецензент, “... карнавал, а не почва для написания серьёзной и остроумной прозы...”.

Языковая изоляция всё же сказывается. Но Михаил Георгиевич по этому поводу не унывает. В истории, как известно, ещё море нераскопанных сокровищ, так что проблем с материалом у Гиголашвили не предвидится. Осталось только научиться тому, с чем Михаил Георгиевич уже справился как художник: рисовать портреты, а не бурлески.

**Андрей Аствацатуров. “Не кормите и не трогайте пеликанов”,
или “материала там мало, надо больше”**

*Жизненный опыт для писателя? Скорее
да, чем нет. Но у меня его совсем мало.*

Андрей Аствацатуров

В биографии Андрея Аствацатурова, автора серии книг о занимательных приключениях неуклюжего филолога, есть одна любопытная особенность. Стоит сравнить её с жизнью знакового персонажа филологической прозы, как начнётся череда (мистических ли?) совпадений. . .

Настолько точных, что знаменитую книгу можно цитировать почти дословно, лишь подставляя другие инициалы. Как и “жизнь” известного персонажа, будни Андриушеньки из знатного филологического рода (да, из того самого, родоначальником которого был академик В. М. Жирмунский) протекали без особых потрясений. Нить его потомственной петербургской жизни “находилась в ровном и несильном натяжении и лишь временами немного провисала”*. Как выясняется, это особенность жизни в Северной столице: “Организм петербуржца работает как бы вполсилы, в режиме сохранения”, – признаётся Андрей Аствацатуров, добавляя, что временами Питер отнимает силы и у него: “. . . я бываю вял, безынициативен, у меня пропадает интерес к жизни и к окружающему миру”**.

Впрочем, скорее всего, это единственное потрясение в жизни маленького Андриуши. Он рос в академической среде, кичился тем, что не читает тонких детских книжек, и, конечно же, мечтал стать учёным. Но только не филологом, как отец и, кажется, дед. Впрочем, принадлежность к старому филологическому роду не оставляла выбора. Андрею с детства внушалась мысль, что он пойдёт по семейной тропе и станет новым солнцем русской филологии. Невольный заложник научной династии так и поступил. . .

С этого момента начинаются расхождения с литературным прообразом. Несмотря на закон сохранения энергии, на волну которого настроен организм петербургского филолога, однажды Андрею стало тесно в рамках университетской кафедры. Изучив вкусы публики, автор смекнул: можно особо и не напрягать свою метеозависимую натуру, достаточно набросать университетских шуточек, приправить пошлостью всех мастей, добавить туалетных хохм и ничего не значащих историй, и можно сойти за читаемого автора.

Не состоялось в этой словно списанной с известной книги жизни и другого важного узла – встречи Андрея Аствацатурова с собственным маститым предком. Нетрудно предсказать оценку, какую дал бы В. М. Жирмунский литературным увлечениям внука. Отсутствие столь поучительного события писатель компенсирует аналогичной сценой в собственном тексте, но об этом позже.

Во многом герой Аствацатурова – это герой Битова, только в оскорбительно упрощённом виде. Вообще автор не скрывает автобиографического происхождения своего персонажа: “Герой похож на меня. Но это лишь часть меня, даже если и усиленная. <...> Хотя герой, на первый взгляд, принимает как будто бы самостоятельные решения, ведёт себя как довольно неприятный человек, его поведение и поступки предопределены замыслом (тот случай, когда схема важнее героя. – С. П.). Сюжет я выстроил правдоподобно, но герой не принадлежит себе: его берёт одна женщина, женит на себе, потом они разводятся. Подбирает другая. Потом случайная связь, когда героя захватывает мощь крупных грудей, больших рук. В итоге, слабый человек бархатается во всём этом. <...> Его уносят самолёты, увозят автомобили”, – признаётся писатель в интервью***.

В своём романе Аствацатуров маскирует тотальное отсутствие сюжета и материала. В ход идут лондонские описания, вставные новеллы и беспочвенные воспоминания времён университета. Вместе с филологом путешеству-

* Битов А. Пушкинский дом. М.: Современник, 1989. С. 13.

** Бекуров Р. Андрей Аствацатуров: “Петербург как однообразная красавица” // ЗАГРАНИЦА [Электронный ресурс]. URL: <https://saintpetersburg.zagranitsa.com/blog/2098/> (дата обращения: 21.04.20).

*** Сидоровская Наталья. Писатель Аствацатуров: за современными героями типа Ксюши Собчак стоят корпорации // Metronews.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/> (дата обращения: 21.04.20).

ет ботоксная Катя, переходящая из рук бандитов в сильные объятия фитнес-инструкторов. Зачем гламурной девице сутулый подслеповатый преподаватель (как он описан в романе), автор не уточняет и старательно избегает однозначного ответа на этот вопрос в интервью.

Если вы думаете, что описания Лондона скрасят чтение и дадут вам представление о городе, то и здесь вас ожидает разочарование: “Улицы спускаются, потом начинают медленно ползти вверх, загибаются, уходят в стороны, запутываясь, запутывая нас с Катей, переплетаясь, как тристамовские аккорды в громоздких немецких операх, как щупальца осьминога или как морские чешуйчатые змеи из поэмы Колриджа, решившие совокупиться”. Совокупляющиеся улицы – вот уровень аствацатуровской метафорики. Такое описание способно скорее отпугнуть потенциальных туристов, чем дать представление о реальных улицах столицы туманного Альбиона.

Чтобы хоть немного взбодрить читателя, автору приходится выдумывать холостые сюжетные ходы. Например, бандитов, приревновавших свою секс-игрушку Катю к щуплому филологу. Кончается это действие, едва начавшись, без последствий для всех его участников. Или история с задержанием в аэропорту ничего не подозревающего филолога с гашишем, запрятанным в капсулы от геморроя.

В ход идут и наблюдения про разницу между людьми, путешествующими самолётами и поездами, про доброе, которое всегда выглядит глупым, и про левых, похожих на безголовых манекенов в витрине магазина. Попутно главный герой вспоминает свои университетские будни. А именно: споры с преподавателем филфака Петром Алексеевичем о недолговечности искусства и слабости человека, его ничтожности без традиции. В этом месте снова хочется передать привет Андрею Битову.

А ведь работа преподавателем даёт возможность рассказать много интересного. Конечно, наблюдением “всех типов и пороков” уже не удивишь, но можно, например, рассказать о современных проблемах университета, руководство которого в эпоху ИП и ИТ больше думает о том, как удержаться на плаву, чем о том, чтобы дать студентам качественный пропуск в жизнь. Как следствие – непрекращающийся набор филологов, обречённых ещё долгое время пополнять персонал общепита, и замещение в образовательных программах классических дисциплин гибридными курсами, которые лишь засоряют голову студента.

Но герой Андрея Аствацатурова способен думать только о себе, а университетские будни возвращаются на самой отдалённой орбите его мыслей. Нашкодивший филолог возвращается домой без гроша в кармане. Дома ждёт приятная новость: его уволили с работы за двухнедельный прогул. Описание дальнейших бедствий незадачливого филолога в поисках работы – единственные наполненные жизнью страницы: “Требовались люди самых разных специальностей: программисты, грузчики, парикмахеры, бухгалтеры, прорабы, требовались токари с опытом работы, экспедиторы, повара, медсёстры, санитарки, требовались инженеры-строители, музыканты в рок-группы, водолазы, требовались стройные девушки в салоны интимных услуг. Эти последние требовались особенно. Но преподаватели литературы, тем более зарубежной, не требовались. Царство Божие, где правило Евангелие работы, без меня прекрасно обходилось”; “Неделю спустя я обнаружил, что каждый новый день добавляет какую-то новую черту в мой характер, причём черту омерзительную. Мне вспомнились друзья, у которых была работа, и я начал им завидовать, искал в них недостатки, находил и убеждал себя в том, что если эти бездари имеют работу, а я, такой одарённый, способный, полный сил и знаний, не имею, то, значит, мир несправедлив. Я сделался скуп, жаден, издевательски кричал попрошайкам на улице, что хрен они у меня получат, а в магазине по несколько раз проверял сдачу. Мне казалось, все меня хотят обдурить, обсчитать”.

Эти пассажи заслуживают того, чтобы привести их целиком. Верю, что так оно и было. Даже хочется посочувствовать, хотя непонятно: о чём думал герой, когда две недели не появлялся на работе? Патриотические чувства пробудились спустя две недели необоснованного отсутствия.

Словечки вроде “целокупность”, “выбритое межножье” – тот случай, когда филологическое образование не даёт права на словотворчество. Словом, выводы на поверхности, и их озвучил в первом же абзаце произведения один

безымянный статист: “Материала там мало. Надо больше”. Герой, промелькнувший в одном абзаце, умудрился сказать больше, чем автор книги и все остальные персонажи вместе взятые. Добавить к этому нам нечего.

Андрей Аствацатуров – представитель филологов, самые большие творческие взлёты и падения которых произошли в стенах библиотеки. Это могло бы прозвучать комплиментом, но не в этом случае, когда речь идёт о том, кто осмелился прикоснуться к литературе. Ведь искусством её делает не пересказ прочитанного, а форма поиска художественной истины, доступная лишь конкретному перу. Если Водолазкин ещё пытается решать “великие вопросы”, то Андрей Аствацатуров, не таясь, осваивает прибыльную нишу эрзац-литературы. “Хавайте! Вот ваш любимый комбикорм”, – таков подтекст произведений петербургского филолога.

В конце произведения автор традиционно раздаёт благодарности за “ценные советы”. Но при таком уровне книги остаётся лишь догадываться, какие “ценные советы” давали автору друзья...

Михаил Елизаров. “Библиотекарь”, или поэтический горб

...если бы мне некий волшебник сказал: хочешь, чтобы был Союз, но ты не будешь писателем, я бы на это согласился. Потому что количество людей, которые стали несчастными, гораздо больше тех, которые стали счастливыми из-за того, что получили возможность писать книги с матом.

Михаил Елизаров

Писатель Михаил Юрьевич Елизаров родился в Иваново-Франковске (Украина), в семье советского психиатра. Страна, в которой он появился на свет, была самой большой и счастливой. В ней царил восьмичасовой рабочий день, бесплатное высшее образование, жильё давали без ипотеки, а пломбир в вафельном стаканчике стоил 19 копеек.

Вместе с остальной детворой Миша веселился, получал подарки, катался на санках, играл с вислоухим щенком, ходил в общеобразовательную школу и совершенно бесплатно учился оперному вокалу в местной музыкалке.

Будущее казалось светлым и прозрачным. Как и миллионы других советских граждан, юноша прекрасно знал, что нужно делать для того, чтобы в него попасть: побывать октябрёнком, пионером, комсомольцем. Возможно, вступить в партию. Но главное – хорошо учиться и честно работать.

В комсомол четырнадцатилетнего Мишу не приняли. По словам писателя, уже тогда несостоявшийся комсомолец понял, что значит быть “не принятым”. Впрочем, в годы, когда формировалась личность писателя, изумившая мир советская страна уже заваливалась набок. Плановая экономика, в своё время творившая чудеса, теперь буксовала, и продукты первой необходимости тонули в бумажной Лете отчётности и планирования.

Народ понемногу мечтал о колбасе и джинсах, а кухонные заседания интеллигенции медленно разъедали советские опоры. Несмотря на это, на улицах невозмутимо пестрели пионерские галстуки, заливались “Крылатые качели”, а проезд по-прежнему стоил символическую сумму.

В качестве последнего подарка уходящей эпохи Михаил бесплатно поступает на филфак Харьковского университета. Можно сказать, что будущий писатель вскочил на подножку уходящего поезда. Грянул 91-й...

А в 93-м на пёструю от не-майских транспарантов площадь перед зданием московского правительства подкатили танки. Седовласый господин с одутловатым лицом и характерным гнусавым голосом яростно обещал ощетиненной лозунгами площади новую страну и новые свободы... В ту пору Миша не придавал этому значения, голову туманил гормон, фантазия буйствовала, в сознании шевелились первые рассказы. Было не до страны.

Понимание пришло, когда обещавший народу глоток свежего воздуха человек дирижировал оркестром на виду у всей страны. Понимание, что “новогодние хороводы, катание на санках, звонко твякующий вислоухий щенок, майские праздники в транспарантах, немислимая высь полёта на отцовских

плечах” и мороженое за двадцать копеек – всё это, жалобно распевая “Прекрасное далёко”, ушло ко дну вместе с колоссом, на борту которого прощально рдели четыре великие буквы. А вместе с ним тонули надежды на светлое будущее.

В 2001 году переполненный впечатлениями молодой человек издал свой первый сборник повестей и рассказов “Ногти”, озаглавленный мною Книгой Сочувствия.

Подарившая название сборнику повесть рассказывала о жизни интернатского горбуна, который оказался прирождённым музыкантом. Не зная нотной грамоты, он играл на старом интернатском пианино, воплощая мелодичные фантазии своего горба. Став совершеннолетними, горбун и его слабоумный товарищ Бахатов покинули неласковый приют и оказались один на один с незнакомым и жестоким миром. В этих двоих бедолагах при желании можно увидеть портрет всех россиян, в одночасье лишившийся крыши социализма над головой.

Повесть и рассказы вышли в издательстве “Ad Marginen” (2001) и сразу привлекли внимание. Лев Данилкин, в ту пору ещё не покинувший стан критиков, назвал сборник дебютом года.

Метафора горба применима к творчеству самого писателя. Потому что зачастую пишет Михаил Елизаров словно “через горб”. Посмотрите сами: “... блондинка шла, **гримасничая ягодицами**. Мой взгляд упал на них и задержался, но тут же был **пережёван, растёрт безжалостными, точно жернова**, словами, которые шептали **ягодицы**”

Но “горб” у писателя не простой, а удалой. Как у причудливого героя повести “Ногти”, внутри этого “вскинутого на спину живота”, “беременного чудным постояльцем”, “играет самостоятельный неслышимый миру органчик”.

Этот “чудный постоялец” – писательский дар. Он и подсказывает автору верную интонацию и чувство. Всё, что нужно делать Михаилу Елизарову, – лишь прислушиваться к этому странному, но очень искреннему и лиричному инструменту, передавая словами его творческие вибрации.

Как, например, в эпизоде, где испугавшаяся безобидных выходцев из интерната продавщица вызвала подмогу, а не подозревающий беды горбун с надеждой протянул подоспевшему верзиле листок с адресом училища, где собирались приютить интернатских. Все, кто дочитает до этого места, почувствуют на своей щеке сентиментальную слезу.

На волне европейских успехов сборника “Ногти” Елизаров уехал в Германию, где учился на режиссёрских курсах. В Германии писатель выпускает Книгу Ненависти – роман “Pasternak” (2003) – о демонической природе стихотворного гения. Лев Данилкин, сделавший Елизарову европейскую славу, отнял её всего одним неосторожным словом. Критик назвал новую Книгу Ненависти “фашистской”. Нетрудно представить реакцию современной Германии: Елизарову пришлось вернуться на неласковую родину.

2005 год – Книга Отвращения – “Красная плёнка”. Лично знаю читателей, терпения которых хватало на полстраницы первого рассказа сборника. И, наконец, роман “Библиотекарь” (2007), или Книга Ностальгии, на страницах которой возродилась неистовая синева небес и рдеющая заря советского флага. Неожиданная совокупная сила печати и смысла внешне неказистых книг. Подпольный мир, в котором за право обладать этой силой готовы погибать и быть убитыми.

В последующие годы у Елизарова вышло ещё три книги, а затем дефицит идей заставил писателя уйти в музыкальную карьеру...

“Библиотекарь” получил “Русского букера” в 2008 году. Книга начинается рассказом о некоем пролетарском писателе Громе Дании Александровиче, авторе семи забытых книг о шахтёрах, фабриках, героических битвах за урожай и весёлых комсомольцах, готовых в рекордные сроки восстановить работу металлургического комбината... В наше время книги Громова доживали свой век в сельских библиотеках, тюрьмах, интернатах и далёких посёлках, “... и всё же у Громова имелись настоящие ценители”. Они ревностно собирали книги Громова и давали им свои названия – Книга Силы, Книга Власти, Книга Ярости, Книга Терпения, Книга Радости, Книга Памяти и Книга Смысла.

Каждая из книг обладает индивидуальным психотропным эффектом и способна вызвать эйфорию, транс или ослепляющую ярость. Те, кто в своё

время открыл удивительные свойства старых советских книг, назвались “библиотекарями”. Они сформировали вокруг себя читальни и библиотеки, которые должны были охранять тайную силу советских переплётот от непосвящённых глаз, и стремились заполучить всё Семикнижие. Этаким Скорсезе на библиотечный лад...

Регулирует подпольный мир Совет библиотек, но закон писан не для всех: отстаивать книги приходится путём интриг и в кровопролитных сражениях, патриотический накал которых не уступает Куликовской битве или Курской дуге. Погибшие конспиративно выдаются библиотекарями за жертв ДТП и других несчастных случаев.

В эти интриги и оказался втянут племянник убитого библиотекаря Широининской читальни Алексей Вязинцев. Молодой человек как раз получил квартиру Максима в наследство и приехал продавать дядин угол.

Стало быть, Алексей Вязинцев – прямой наследник неофициальной должности. Против своей воли он становится руководителем одной из подпольных организаций сумасшедших книголюбов. Ему ещё предстоит понять причины, по которым читальни и библиотеки пускают друг другу кровь за право обладать Семикнижием Громова.

Как видим, Елизаров в своей манере траверсирует герметичный советский мир в неуклюжий фарс, задрапированный под тщательно скрываемую спецслужбами реальность. Трудно без улыбки читать о битвах за потёртые советские тома с буккроссинга. Но у этого абсурдного бурлеска серьёзная подоплёка.

Признавая особую силу воздействия каждой детали “скучнейших производственных романов” – желтоватой бумаги, запаха краски, – в своём выдуманном мире автор доводит силу каждой из них до предела, и тогда в придуманной им шуточной вселенной разворачивается нешуточная битва за исчезнувший из книги листочек с опечатками, без которого она теряет силу. Важна каждая деталь: обложка, запах типографской краски, пожелтевшие страницы и, наконец, типографский листочек с исправлением опечаток.

Что не извиняет традиционных огрехов с желанием уплотнить язык: “После победы Громов увёз **семью из ташкентской эвакуации на Донбасс** и до пенсии оставался в редакции городской газеты”. Увёз семью на Донбасс или из Ташкента эвакуировали на Донбасс? “Разворачивались и любовные страсти, но очень целомудренные – **поцелуй**, заявленный в начале книги, по аксиоме театрального ружья **стрелял холостым** чмоканием в щёку на финальных страницах”. Поцелуй стрелял? Как “чмокание” может быть холостым? “... Громов – это **безобидный словесный мусор ветерана** войны, в котором общественность не особо нуждается”. А ведь это только вторая и третья страницы текста. Или в елизаровском суржике возможно всё?

В “Библиотекаре” подкупает искреннее чувство автора к ушедшей эпохе, которое в решающий момент приводит к катарсису. Серьёзность “Библиотекаря” потребовала бы от Елизарова возвращения к невозможному сегодня социализму, а перевод повествования на фантастические рельсы рискован столкновением с сорокинской “Манарагой”. В свою очередь, антисоветская эстетика поместила бы автора в начало длинной и шумной очереди и потребовала бы кардинального пересмотра взглядов.

Если сравнивать книги Михаила Елизарова с набором человеческих чувств, то “Библиотекарь” – это щемящая ностальгия, которая в финале возрастает до молитвенной силы. Венчает эту гамму эмоций пронзительно патриотическая эмоция библиотекаря, охраняющего Родину силой семи советских книг. В этом смысле кровопролитные сражения библиотечных кланов приобретают смысл художественной иллюстрации той власти, какой обладает хорошая книга над человеком. Книга не весёлая, не интересная, а именно “хорошая” – подчёркивает автор.

В процессе чтения молодой библиотекарь Алексей Вязинцев прозревает смысл книг и всего библиофильского фарса вокруг них.

В час, когда “всплывут вражеские субмарины в Тихом океане, Северном, Балтийском, Баренцевом и Чёрном морях, сквозь переродившуюся Украину на урчащей бронетехнике двинутся угрюмые солдаты в дедовском немецком камуфляже. Со стороны Грузии в американских вертолётках полетят чеченские боевики. По стылým водам Амура заскользят хищные перепончатые джонки, понесут пиратский десант к российским берегам...”, а красная

кнопка ракетного чемоданчика не сработает, оберегать родину будет "...особый тайный человек, владеющий сокровенным Семикнижием. Ему известно: куда читаются книги, одна за другой, без перерыва, страшный Враг бессилён. Страна надёжно укрыта незримым куполом, чудным покровом, непроницаемым сводом, твёрже которого нет ничего на свете, ибо возводят его незыблемые опоры — добрая Память, гордое Терпение, сердечная Радость, могучая Сила, священная Власть, благородная Ярость и великий Замысел". Именно эту благородную миссию и предстоит исполнить молодому библиотекарю.

Клановые враги запирают его в подземном бункере дома престарелых, где Вязинцев, оберегая Родину от всевозможных невзгод, снова и снова перечитывает семь советских оберегов. Правда, для спасения Родины одними усилиями библиотекаря не обойтись. Здесь писатель жертвует логикой ради красивого магического образа. И, как ни странно, это не только не ущемляет реальность, а, наоборот, кристально чисто высвечивает позабытую в современной России миссию библиотекаря: "Если свободна Родина, неприкосновенны её рубежи, значит, библиотекарь Алексей Вязинцев стойко несёт свою вахту в подземном бункере, неустанно прядёт нить защитного Покрова, простёртого над страной от врагов видимых и невидимых".

Одним словом, цела будет отечественная литература, пока охраняют её неформальный библиотекарь из Харькова и невидимый купол его Книги Ностальгии.

Даже если этот купол — последняя творческая удача талантливого писателя.

Вадим Левенталь. "Маша Регина", или три смертных греха творчества

Как в плохой книжке — что-то у автора не получается, и он вводит героев, ещё, ещё, ещё, а всё только больше расплзается. А заканчивать-то надо. И в конце концов, ему приходится всех убивать, чтоб не путались под ногами. Вот в чём проблема.

Вадим Левенталь

В памятном интервью "Комсомольской правде" исполнительный директор "Нацбеста" и по совместительству писатель Вадим Левенталь охарактеризовал современный литературный процесс как "пресный супчик в городской больничке. Невкусно, пресно, без перца и без соли".

Здесь уместно привести первоисточник, вдохновивший писателя на подобное высказывание. Андрей Битов, "Пушкинский дом": "Литературный суп — обязательно из топора (в "Преступлении и наказании" это буквально так), но приходит мгновение облизывать его на правах мозговой кости. А — невкусно. Тут и сыплется последняя специя, колониальный товар: прием, фокус, ужимка, авторский голосок..." Насколько справедлива подобная оценка в отношении самого Вадима Левенталья?

Первая самостоятельная книга от известного составителя сборников — "Маша Регина" (2013) — сразу привлекла внимание критики. Вадима Левенталья нарекли "писателем на все времена", а Лев Данилкин и вовсе назвал литератора художником "калибра раннего Битова".

Начинается роман как типичная история успеха. Девочка Маша живёт с родителями в провинциальном городе, где женщины жадны и сварливы, а мужчины медлительны... Но однажды загорается мечтой покинуть родной город и окончить школу в "Ленинграде", как до сих пор его называют местные жители. Преодолев гнев и слёзы родителей, Маша садится на поезд до Петербурга. В вагоне она знакомится с Ромой, мальчиком "с лицом наследного принца", который в приватном разговоре сообщает Маше, что собирается учиться на режиссёра. На вопрос барышни юноша поясняет, что режиссёр — это такой человек, который кричит на актёров в то время, когда оператор снимает кино.

Рассказы юноши производят неожиданный эффект на мечтательную барышню — Маше до того захотелось покричать на артистов, что в тот же момент

с девочкой случается выход в астрал, и она видит себя в кресле режиссёра. Эти изменённые состояния сознания будут в дальнейшем служить Маше основным источником творчества. Регина будет старательно зарисовывать постигнутое на бумагу, а затем переносить на киноплёнку.

Но прежде чем Маша станет великим режиссёром, ей предстоит пройти через горнило вступительных экзаменов, первых любовей и – главное – левенталевских афоризмов. Лев Данилкин явно поторопился раздаривать лавры “раннего Битова”, ведь большинство умозаключений в “Маше Региной” банальны, как стихи скучающей домохозяйки: “Мужчины тотально смертны потому, что их тело легко, как рукоятка молотка”; “старея, люди чаще всего живут назад – стремительно, как пружина, которую наконец отпустили”; “Жизнь абсурдна, но когда она хочет шутить, она надевает маску логики”; “Жизнь – как крутая дорога, у ней свои ухабы и кордоны, которые надо прошагать, чтобы не было мучительно больно”. Последний пример – это пародия Игоря Сахновского, наглядно показавшая, почему трюизмы Вадима Левенталья никогда не станут афоризмами.

На примере “Маши Региной” Вадим Левенталь рассматривает несколько мотивов, побуждающих к творчеству. Первое место (судя по времени появления в тексте) в списке вдохновляющих пинков отводится мести: восемь лет спустя, когда Рома уже стал оператором в съёмочной труппе Региной, Маша припоминает “принцу” его бывую фригидность и снимает в роли спящего на скамейке бомжа. “В этой роли мне нужен только ты”, – злорадствует Маша.

Здесь вспоминается Виктор Пелевин, устроивший Павлу Басинскому в “Generation P” публичную неблагородную казнь за написанный когда-то критический отзыв. Единственное, на что годятся жёлчные побасёнки, – потешить бывшие писательские обиды.

Второе место в топе занимают личные откровения. Подискутировав с подругами о мужчинах... Маша отправляется творить. Во время одного из таких мероприятий героиня постигает скоротечность молодости. Девушка рисует в альбоме красавиц с коричневыми узловатыми руками и поедающих пломбир старух с молодыми глазами. Ощущение, запечатлённое в рисунке, восемь лет спустя легло в основу первого фестивального фильма “Гугеноты”, где дети с ужасной достоверностью изображают в спектакле взрослых, а потом, как ни в чём не бывало, с гиканьем бегут в свой жёлтый детский автобус.

Следует признать: автор хорошо прописал механику творческих процессов, внеся свою лепту в давний спор о степени влияния биографии на творчество. Правда, большинство киносценариев в романе “Маша Регина” не оригинальны. Например, замысел фильма о Колумбе, которым героиня делится в конце книги, почти во всех подробностях совпадает с лентой “Кон-Тики” Хоакима Рённинга и Эспена Сандберга.

Ещё одна “случайность” на пути к призванию – отправленная Машей в кинокомпанию пачка рисунков. После этого Машу как начинающего режиссёра приглашают в Европу снимать малобюджетный фильм. Дело оказывается даже не в даровании Региной, сколько в её статусе, а точнее – в его отсутствии: на известного режиссёра просто не хватило бы денег. Впрочем, карт-бланш Маши заключался в том, что она пригласилась известному пожилому кинокритику. Не растерявшись, героиня намекнула на свою “нетрадиционную ориентацию”, и заложник формулы “It’s ok to be a gay” был вынужден отступить.

Есть у писателя такая дурная замашка: шеголять иностранными словечками. Далеко не всегда это всем известные oh, he’s okay. “Public relations”, “Diese Geistesranke”, “Разок сделает glance”, “Final cut”, “Childfree”, не что иное, как “fear full”. Быть может, это речевая характеристика героини, модного в Европе режиссёра Маши Региной?

Откроем сборник рассказов “Комната страха”, в нём другие тексты автора: “Cruel nature...” На этой же странице: “has won again”, “must see”, “BisBald!” Быть может, мы открыли по ошибке немецко-английский разговорник? “Faggots, fafickte, goddamn”, – смею спросить, из какого словаря автор почерпнул такие словесные богатства?

“Глаз его не горел, девицы, которым нужно было ощущение игры для оправдания (сама не знаю, как это получилось), уезжали с другими, а Рома сохранил в закладках всё больше порно-сайтов – там всё всегда всерьёз”. Благо, источник живого слова для писателя всегда под рукой. Про обилие мата на страницах романа я вообще молчу.

Следить за лабиринтами сюжета далее нет смысла, ведь главное здесь “не в последовательности событий, а в единстве свершающегося сюжета”, в том, как этот жизненный материал переваривается в творческом сознании главного героя.

Вырисовывая переплетения случайностей, которые приводят Машу к режиссёрскому креслу, автор настаивает на мысли, что жизнь спонтанна и в ключевых своих событиях напоминает плохо написанный роман, где все сюжеты обрываются в никуда. Но не мы проживаем эти сюжеты, а сюжеты проживают нас. То немногое, что придаёт жизни осмысленность и ослабляет наш экзистенциальный страх, — творческая деятельность.

Едва родившись, мы уже увязаем в ограничениях и путях окружающего мира, словно в трясине, и потому страх “связать свою жизнь” штампом в паспорте похож на страх умирающего плохо получиться на посмертной фотографии. Стоит отдать должное автору, его тонкой наблюдательности, обнажившей способы преломления реальности в подкорке творческого человека и подробно, даже несколько избыточно, ответившему на вопрос: откуда берётся творчество. Различные мелочи жизни порождают в голове Маши Региной картинки, которые затем перетекают на плёнку.

Вот только чтобы развязать тугий узел из прошлого и настоящего и при этом не увязнуть в метафорах, приходится перечитывать одно место по нескольку раз. Виновата здесь не столько невнимательность, сколько непроходимая орнаментальность стиля: “Поход этот был вполне донкихотовский, но бросаться на ветряные мельницы судьбы в доспехах из глухо постукивающих друг о друга слов так же естественно человеку, как писателю — **злоупотреблять метафорами**”. Вот и думай, что это: ирония автора над самим собой, героем, или крайняя степень невнимательности писателя, выводящего в своём же пассаже самоприговор? Ещё один пример: “Правда заключалась в том, что Маша в несколько последовавших за смертью А. А., похоронами отца и свиданием с матерью недель как будто плыла **в молоке, в молочном супе** из поднимающихся откуда-то из глубины **образов**. У неё было такое чувство, будто на энергии воплощения этих образов в реальности можно контрабандой протаскать в реальность и себя саму, вместе с мягкими макаронинами **образов** выплыть из молока на ясный и яркий свет дня”. Автор развёртывает стёртую метафору, но получается абсурд. Только вдумайтесь: герой будет выплывать вместе с макаронинами на ясный свет дня...

Словом, “Маша Регина” — это не новая Земля, открытая Колумбом, но и не голая специя тоже. Как раз со специями у Вадима Левенталья не всё в порядке. Все аллюзии и горячо любимые автором “пасхалки” — на уровне прямых цитат: “Евгеньев, ты хоть бы Эрика Берна почитал — сама ты дура!”; “... (смешно не поддаваться, — сказал бы А. А., но Маша не читала Бродского)”. В общем и целом, перед нами стандартный филологический рецепт: сухо, пресно, местами совсем невкусно, а персонажи вызывают чувств не больше, чем стоящий во дворе жестяной гараж.

Коренной петербуржец Левенталь далёк от проблем провинциала, приехавшего в большой город делать творческую карьеру. Эта дистанция между автором и героем ощущается в тексте. Поэтому, несмотря на все злоключения главного героя, “стук крови в висках”, обмороки от перегруза и откровения вроде “когда он спросит, трудно ли ей было, она ответит: протяни руку к потолку. Вот так. А теперь не отпускай её три месяца”, “Маша Регина” существует параллельно эмоциям читателя, никак на них не влияя.

Но вот то главное, в чём проявилась эрудиция Вадима Левенталья, так это способность здраво оценить свои возможности и ограничиться одним романом. Тем самым автор обезопасил себя от творческого выгорания и возможных насмешек, как бы создал подушку безопасности для своего произведения. Грехи дебютного романа, как известно, уже наполовину прощены. Ведь всегда найдутся те, кто не без оснований скажет, что одного романа недостаточно, чтобы раскрыть творческий потенциал. А следующий уж точно закроет рты всем скептикам...

Ко всему сказанному остаётся добавить, что Вадим Левенталь — хороший рассказчик. Слушать его зачастую интереснее и проще, чем читать. По этой причине писателю хочется адресовать совет Михаила Булгакова, который тот когда-то дал одному начинающему автору: “пишите так, как говорите”... и не пытайтесь стряпать “литературный текст”. Быть может, если

Левенталь последует этому совету, то его проза избавится от “злоупотребления метафорами”, а значит, от всех “всплывающих на ясный свет дня макаронин”, которыми чаще всего драпируется пустота.

Так всё-таки, из-за какой превратности судьбы человек, профессионально разбирающийся в книгах, оказывается не способен написать свою?

Как догадывается читатель, под словом “книга” мы имеем в виду определённое совершенство, а не тот современный затейливый трэш, который, по меткому выражению Игоря Сахновского, литературой только притворяется.

Во-первых, виновата в подобном обмельчании, прежде всего, неприкрытая коммерция, давно определяющая литературный процесс. Вступая в безжалостный мир современной литературы, филологи хотят, чтобы их книги покупали, и потому невольно тиражируют распространённые в современной литературе приёмы.

Во-вторых, понимание законов литературного произведения – не самый важный параметр творческого успеха. Для писателя гораздо важнее жизненный опыт, богатая фантазия и чувство слова, которое есть понимание системных связей языка. Если на последнее филология способна повлиять, то на остальные качества – едва ли.

Корпение над книгами требует усидчивости и поглощает много времени, что напрямую выражается в общем недостатке ощущений и жизненного опыта. В этой связи уместно вспомнить рассказ Бунина “Книга”. Когда человек, полжизни проживший “в каком-то несуществующем мире, среди людей никогда не бывших”, садится за письменный стол, то вдруг обнаруживает, что вынужден либо выдумывать, либо повторять уже существующее. Если филолог при этом не обладает богатой фантазией, то довольно скоро писать станет не о чем.

Есть у филологии и другое негативное свойство: она разжигает писательские амбиции. Филолог проникается опасной уверенностью, что он способен написать хороший роман. В итоге за перо берутся те, кто не обладает даже предпосылками к творчеству.

В-третьих, литература воздействует на читателя не только словесно-логически, но и образно. Мысль здесь выражается не прямо, а как бы обходным путём – через картины и образы. “Литература – это плохо выраженная мысль” – так определяет специфику художественной словесности литературовед А. Г. Андреев. Поэтому слово, которое не способно “обмануть” органы чувств, превращая синтаксис и лексику в правдивые модели реальности, не может называться художественным.

Зажатые в “ловушке” научного и научно-публицистического стиля филологи, оказавшись на художественных просторах, зачастую чувствуют себя неуверенно и напрямую проговаривают то, что должно являться в образах и в действии. В итоге получается не литература, а близкий к ней промежуточный жанр.

При этом нельзя отрицать важность учёбы и чтения для всякого сочинителя. Писал же Константин Бальмонт в одном из сочинений: поэт должен “уметь в весенний свой день сидеть над философской книгой, и английским словарём, и испанской грамматикой, когда так хочется кататься на лодке и, может быть, можно с кем-то целоваться. Уметь прочесть и 100, и 300, и 3000 книг, среди которых много-много скучных. Полюбить не только радость, но и боль”.

В связи с этим вспоминается известный анекдот об Алексее Николаевиче Толстом: создавая драматическую повесть “Иван Грозный”, писатель настолько изучил исторический контекст, что вложил в уста правителя слова, которые, как выяснилось по открытым позже документам, тот произнёс на самом деле. Это ли не высшее мастерство писателя?

И дело здесь не только в образовании, которое открыло писателю горизонты прошлого. Помимо знаний, Алексей Толстой обладал яркой фантазией и пронизательным взглядом художника. Наложённые на знания, эти качества позволили писателю убедительно рассказывать о том, с чем он не сталкивался лично.

К сожалению, сочетание способностей “зорко видеть, глубоко мыслить, ярко изображать”* редко встречается не только в филологической,

* Г. Н. Соловьёв.

но и в писательской среде. В условиях дефицита материала на первых порах филолога способна выручить диссертация. Богатый проверенный материал — уже половина дела. Остаётся лишь привлечь свой житейский опыт и дополнить научные абстракции живой текучестью бытия, чем в своё время и воспользовались Михаил Гиголашвили и Евгений Водолазкин. Книги “Тайный год” (2014) и “Лавр” (2012), сочинённые на основе диссертаций, заняли видное место в творчестве обоих писателей.

Но даже самый объёмный научный труд когда-нибудь кончается, и тогда писатель оказывается наедине с бесцветными годами, проведёнными в библиотеках и архивах. К сожалению, от подобных проблем не застрахованы и классики.

Опыт, знания, фантазия, даже самые обильные картотеки склонны истощаться. И когда-то писавший будоражащие юные умы романы Жюль Верн, взрастивший не одного известного учёного, в позднем творчестве вынужден был повторять самого себя. Не избежал подобной судьбы и Артур Конан Дойль со своим самым известным героем. Пытаясь удовлетворить неутраченный спрос на детективные истории, Конан Дойль выдумывал всё новые и новые приключения неутомимого сыщика, которые выходили бледной копией прежних.

Не избежал трагедии и жизнелюбивый американец по имени Джек Лондон — рабочий, матрос, спортсмен, беспризорник, познавший суровую жизненную школу подворотен. Писатель-социалист, подаривший миру “Железную пяту” и “Клондайкские рассказы”, вложивший всю силу темпераментной души в “Мартина Идена”. Истощив творческие житницы до дна, писатель ушёл в литературные эксперименты и начал покупать сюжеты у молодых авторов.

Неужели у большинства писательских судеб один конец, и нет возможности его избежать? Остаётся единственный справедливый выход — не уходить в тираж и по примеру Вадима Левенталья ограничиться одним романом, либо — вовремя отложить перо и уйти с достоинством, как поступил в далёком уже 2012 году Михаил Елизаров.

Писательская ссылка не обязательно должна быть вечной. Опыт медленно, но копится, а освобождённое от мучительного поиска идей сознание омоется живительной силой новых впечатлений. И тогда, быть может, литература подарит автору второй шанс...

ЛИТЕРАТУРА

1. Аствацатуров А. Не кормите и не трогайте пеликанов. М.: АСТ, 2019. 348 с.
2. Водолазкин Е. Брисбен. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. 410 с.
3. Гиголашвили М. Тайный год. М.: , , 2017. 732 с.
4. Елизаров М. Библиотекарь. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. 476 с.
5. Левенталь В. Маша Регина. СПб: Издательская группа “Лениздат”, 2013. 348 с.

МАКСИМ ЕРШОВ

“НАДЕЖДЫ” ДЕВЯТНАДЦАТОГО ГОДА

Надежды наши всегда делятся на оправданные и неоправданные. С одними понятно: были они, и нет. Другие опять-таки делятся, со временем, на сбывшиеся и несбывшиеся. Правда, тут сразу не скажешь, надо смотреть. Редактор, конечно, уже смотрит, своим постоянным вниманием к той или иной литературной надежде выражая своё авторитетное мнение. Но то оценка с одного берега. Чтобы получилось эхо, нужен отзвук. Беспокоиться о нём – обязанность всякого, кто по сей день считает литературу серьёзным делом.

В августе 2019 года увидел свет новый выпуск журнала “Наш современник”, посвящённый творчеству молодых поэтов, прозаиков и публицистов. Публикации эти маркируются рубрикой “Наши надежды”. То есть редакция видит в этих писателях талантливых и достаточно зрелых представителей молодого поколения в литературе. Прочитав номер, могу сказать, что оценка писателей редакцией в полной мере соответствует действительности. Перед нами молодые писатели-реалисты, всем своим вниманием погружённые в российскую действительность, в присутствующую в этой действительности историю, прорастающее в ней будущее. Элемент субъективизма (восприятия), для всякой хорошей литературы необходимый, а для современной и неизбежный, здесь не является основой. Внутреннее преломление мира, даже если оно становится главной мотивирующей силой (что происходит у этих авторов редко, если вообще происходит), вызвано тем, что писатель делает своё (своего героя) стихийное переживание призмой, в которой приобретает своё значение этот же самый мир, функцией которого остаётся литература.

Когда номер дочитан, становится понятно, что многие надежды, в общем-то, уже сбылись, а значит, стали актуальностью. Это ободряет, но налагает новую ответственность. Время наше в культурологическом смысле переломное. Поэтому должно быть хотя бы это. Хотя бы эхо...

Александр Тихонов

*Разъятая на органы страна:
На лес, на нефть, на золотые жилы.
В глубинке, где пригрелась тишина,
Ждут городских поэтов старожилы.*

*Неужто я так беспросветно глуп,
Раз вижу немощь в этой древней силе?
Шесть лавок, восемь стульев — сельский клуб,
Куда нас со стихами пригласили.*

*Здесь пели ветры испокон веков.
Теперь тайга всё реже и плешивей.
И страшно в этом царстве стариков
Хоть парой строк, хоть парой слов сфальшивить.*

Вот стихотворение-вопрос. Судя по подборке, лучше всего Тихонову удаются пятистопники. Традиционность этих стихов могла бы насторожить, если бы не два обстоятельства. Стихи талантливые, они имеют в себе единство образа и смысла, среды и языка. Да, рама именно таких строк остаётся единственно естественной для разговора вне МКАД, вне Города вообще. Для разговора с людьми, не только с тусовкой. Пройдёт время, и поэт будет меняться. Поручкой тому состояние “творческого соответствия жизни”, которое можно увидеть и сегодня. Изменения неизбежны, закоснение — гибель, и Александр это увидит.

Пока же вот его стихотворение-ответ:

*На влажных рельсах — брызги тишины
И отсветы от фонарей окрестных.
Здесь свет земной вбирает свет небесный
И делает земное неземным.
Сквозь сумрак утекают поезда.
Стучат-стучат... и исчезают в дымке.
Висит над миром блёклой невидимкой
Пронзительно-последняя звезда.
Её едва возможно разглядеть
В космическом пространстве надо мною.
А ей ещё лететь-лететь-лететь...
Из горних высей. Становясь земною.*

Когда та или иная тема требует писательского участия, очень важно сначала ощутить, определить как единственно верную ту точку, с которой будет простираться организующий художественное поле взгляд. Можно сказать, что это ракурс “оптики”, а можно назвать “оптику” лампой. Многое зависит от источника света.

Агата Рыжова написала необходимый и очень верно построенный рассказ-монолог о трагедии в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерове в марте 2018 года. Масштаб трагедии, гибель десятков детей так “оборвали” ширмы повседневной городской благополучной размеренности, что это стало шоком для всякого живого сердца. Беда сделала вдруг очевидной всю относительность, всю уязвимость пресловутых безопасности и стабильности. Хуже того, гибель и бессилие перед ней обнажили сущность экономической мистификации, фантазмами которой мы живём. Один гештальт для всякого очевидца событий сменился другим. И в каждой живой груди заболел осколок своей совести. Странно, но только большая смерть, только эта, по сути своей, гекатомба позволила людям почувствовать себя внутренне живыми. Реакции, слова, ритуальность, может быть, одно, но подо всем этим — другое: “И ты прислушиваешься, всматриваешься в себя, сопоставляешь. Потому что совсем другой мир вокруг. И вот ты живёшь и смотришь, как ты живёшь, как ты себя здесь чувствуешь. Голая нервная система. Обмениваешься сигналами с другими нервными системами, мол, какая большая беда, мол, переживаю вот, и тебе отвечают то же. Город — одна голая нервная ткань. Будто все мы стали нервными клетками города. Наверно, беременные так же прислушиваются к себе: “Что там, внутри?” Город, беременный бедой”.

Очень верный язык для своего репортажа выбрала Рыжова. Беда исчезнет с экранов и забудется. Поэтому и надо было зафиксировать случившееся искренним монологом-запlachкой, небольшой исповедью-отчётом героини. Когда смерть приводит жизнь к общему знаменателю, писатели пишут рассказы о том, что этот знаменатель опасно мал. Ещё не понимание, но ощущение пластмассового дыма в воздухе возрождает способность не просто взгляда, но видения. Хотя бы ненадолго — до следующего раза, столь же рокового и страшного. Но такова жизнь.

В № 8 за 2019 год опубликована повесть Ирины Михайловой “Я не боюсь”. Название переключается с названием рассказа Агаты Рыжовой “А я здесь живу”. Перед Михайловой стояла большая задача, так как “направления” реаль-

ной жизни, которыми шла Ирина, могли соединиться только на достаточно большом пространстве жизни и, соответственно, текста. Должно быть, горизонт задачи для автора стал отодвигаться в процессе создания повести. И заканчивать текст пришлось, так сказать, на полуслове. Тем не менее, на мой взгляд, произведение свою задачу – во-первых, разговора о современной молодёжи, вырастающей в социуме, сама социальность которого принимает всё более условные формы, и, во-вторых, пробы автором своих сил в “большом” жанре, – задачу, объединённую как два в одном, решает.

Школьники выходят в жизнь. Школа для них – скучная обязанность, и кому как не учителю “русского и лит-ры” Михайловой знать об этом. Родители для них не пример, а скорее, источник боли, ещё один рубеж непонимания. Остаётся улица и интернет, то и другое – джунгли. Странно, насколько мало изменилось в нашей жизни с конца 1980-х, когда интернета ещё не было, а кастеты у детей стали появляться. . .

Михайлова поставила себе задачу, решение которой далось ей не без трудностей. Тем не менее, образы старшеклассника Данила, студентки Алёны, матери Данила ей удались. Паренёк из бедной московской семьи за неимением привлекательных и реальных альтернатив стихийно, то есть полусознательно, приходит к политическому протесту. Образ этого протеста, которого не видит российская провинция, в повести также один из “героев”.

У протеста нет перспектив. И нет их у Данила и его “наставника” Димы. Оба они будут работать на некоего оборотистого Тимура. Страшная, уничтожающая ирония заключается в этой ситуации. А девушку, с которой у Данила искренние отношения, – Алёну – “закрыли”. И камеры наблюдения день и ночь бдят за всяким мальчишкой и девчонкой, которые не идут в ногу. А мама. . .”Мама. Она сидит обычно на диване на их кухне, вечно грязной, тёмной, маленькой, узкой – делает салат и пьёт кефир – потому что ничего остального ей уже нельзя из-за плохого здоровья. Переключает каналы на телевизоре, пока не найдёт какой-нибудь сериал. В халате. Тоже грязном, застиранном – некогда купить новый, некогда перестирывать, некогда убрать. Всё некогда. Некогда вызвать сантехника и починить кран. Ничего не успеваешь. А поздними вечерами, когда приезжает из своей Балашихи, сидит и переключает каналы. Мама”.

Повесть кончается, когда всё только началось, всё завязалось. Повесть обрывается, как полёт птенца, выпавшего из гнезда своей страны. И по прочтении её делается больно. Но хочется продолжения.

О творчестве Юрия Лунина говорится и пишется сейчас немало. Это хорошо: Лунин – пример того, как можно создавать стоящие имена без широкого участия медиа. Мы-то уже и забыли об этом, а оказывается – можно. Конечно, если сам автор, подобно представителям своего поколения – Андрею Антипину, Елене Тулушевой, Ирине Иваськовой – даёт тому почву. О рассказе “Три века русской поэзии” тоже высказались. Судя по разноголосице, рассказ не прост. Ни цитировать, ни сильно углубляться уже нет смысла (да и довольно уже с этого Лунина!), поэтому – реплика по существу.

Герою рассказа семнадцать лет. Возраст сам по себе тонкий, острый, звонкий. Почти как шпага. И вот не знавший беды герой попадает под нож хирурга. Временно он выброшен из привычных координат и куда-то заброшен. Куда? Из текущего бытия, которое в силу автоматизма в нём происходящего покрывается плёнкой неподлинности, в бытие – сначала – порезанной кожи. Что-то в герое проявляется такое, что похоже на внезапное возникновение большого вопроса о жизни, о смысле происходящего. И тут – хлоп! – судьба: на полке в больнице ждёт героя том, убийственнее которого в этой ситуации и не придумать. В “порез на душе” запускает свои роковые щупальца русская поэзия. Три века, между прочим. А это серьёзно.

Лунину удаётся сделать самое главное, то, что и было необходимо. За кадром его кинематографического повествования, где один день выпал из общего потока (можно снять отличную авторскую короткометражку), стрекочет проектор или хрустит о поверхность времени иголка винилового проигрывателя.

Резко расширившийся для героя объём бытия немедленно вступает в противоречие с жизнью. Подлинность с реальностью. Потому что взрослые герои уже пожилы, они знают, что в сказке не удержаться. Что жизнь – плен, со всех сторон обступающий, необходимость, которую просто нужно осознать. Мы понимаем, что герою Лунина предстоит ещё очень многое. Но всё-таки он уже сможет сказать, что был человеком, что видел людей. Чтобы написать такой рассказ, надо долго жить с песней внутри, иначе ничего не получится.

Мария Знобищева – поэт очень серьёзный. Наверное, в реке русской поэзии она русалка. И вот – русалке без реки никуда, но и в реке без русалки образуется пустотность, пробел, щербина. Из этого следует, что пора лауреата и кандидата наук из перечня “надежд” уволить: иному имени пора быть верхней строчкой списка. . .

Мария пишет о войне:

*...Война бесконечна и вряд ли красива.
Наверно, они бы на наше “Спасибо”,
На залпы вечерних огней
Сказали: “Чего уж там, Маша и Витя.
Мы всё вам оставили. Только живите.
Живите, родные, дружней...”*

Пишет Знобищева всегда серьёзно, пишет всегда о важном. Поэзия для неё устоявшаяся, как образ жизни, форма, которая должна приводиться в движение энергией души. Это достаточно умеренная творческая позиция, однако дело в том, чтобы соответствовать заявленному “минимуму”: мы знаем, что это не все могут.

Вот о Татьяне Лариной:

*Она жила, как море, беспокоясь,
Бушуя пеной страхов и словес:
Любила так, что первый незнакомец
Ей показался ангелом с небес.*

*И все приличья жертвенно нарушив,
Она решила дело не умом:
Любила так, что собственную душу
Отправила любимому письмом...*

Многие из молодых авторов “НС” подлежат разговору отдельно, а не в группе. Хотелось бы прочесть книгу Марии Знобищевой, потому что есть ощущение, что её стихи принадлежат к тем явлениям, которые в своей совокупности могут звучать до того неуловимым обертоном.

Виктория Сагдиева порадовала нас двумя довольно жёсткими в смысле социальной нагрузки рассказами. Один – “Кайзер” – о том, как легко в результате недлинной цепи обыкновенных обстоятельств оказаться в необыкновенном месте. В психбольнице: “Кайзер Алексей. Шестнадцать лет. Из неблагополучной семьи. Отец не жил с ними. Мать умерла год назад в ДТП. Опекун оформила на себя бабушка. После смерти матери стал плохо учиться, был оставлен на второй год. Имел привод в ПДН. Бабушка лишена опеки, так как не справлялась с ребёнком. В детский дом попал в прошлый понедельник. За эту неделю конфликтовал с персоналом, пытался сбежать, разбил окно. Для госпитализации была вызвана бригада “скорой помощи”. Ребёнок вёл себя неадекватно – матерился, дрался. Ввиду девиантного поведения. . .”.

Виктория Сагдиева пишет правду. Описывает реальность, которая нарастает в нашем исполнительском социуме по мере смены поколений. Может быть, она эту реальность несколько по-молодому артикулирует. Но ведь есть, есть у нас всё это – не в Москве, так в Сибири: “Тошнотворная вонь внезапно открыла Лёше правду о психдиспансере. Весь этот лёгкий таблеточный флёр лишь сбивал с толку пациентов и посетителей. Это была газовая камера, в которой воняло тушёной капустой. Из неё нельзя выйти, нельзя кричать, паниковать, просить помощи. Нельзя быть ребёнком. Можно только сидеть в углу и молчать. Надо быть удобным для врачей, медсестёр, санитарок, чтобы бесследно не сгинуть в этой всепоглощающей вонь”.

Неудивительно, что эта юдоль, где медперсонал больше не хочет, а пациенты больше не могут, рискует быть подождённой девочкой-сомнамбулой. . .

Развязка у рассказа “идеалистическая”. Кайзер и Рыжий бегут на Алтай к старообрядцам. Помогает им в этом молоденькая “необыкшая” ещё медсестра. . .

Неправду и бесчеловечность психбольницы для детей Сагдиева отрицает, в общем-то, художнически произвольно. Но она поднимает проблему, которая

болит. Вкупе с уверенной работой прозаика – именно эта способность привлекает к ней внимание.

Александра Яковлева представила два рассказа, где автобиографическое (по всей видимости) переплетается с жизнью традиционных поселений севера Сибири.

После окончания учёбы молодая учительница возвращается в родной посёлок. “Цивилизация” тянет её к себе, но атмосфера, “гений места”, кажется, затягивает по-своему. Отправляясь искать свою школу, Ярославна (Яра) встречается в заколоченном здании непонятную старушку:

– А вы-то что здесь делаете? – Яра в последний раз оглядывает заброшенную школу.

– Так Давыдовна я. Старожилка тутошняя, кружок веду.

– Кому?

– Да известно кому: школьникам.

– Так всё-таки учатся здесь?

– Вроде молодая ты, а уже глухая. Я-те чего говорю? Аварийное здание, заколочено. Не положено тут детям. Садики, вон, отдали под школу...

Они уже на улице, и старушка машет рукой куда-то в сторону. Сквозь слепящий свет дня Яра пытается разглядеть детский сад.

– ...Всё равно три карапуза на посёлок. Но ты не беспокойся, дочка, у нас Маня завсегда готовая с дитём посидеть. А то и на урок возьми, он никому не помешает!

– Что вы, – смеётся Яра, – нет у меня детей.

– Это пока нет. Но будут же!

– Да я, может, с первым же вертолётном полечу отсюда.

Давыдовна смотрит на Яру из-под платка. Улыбается хитренько так:

– Ой, кэку! – тянет. – Закуковала Ярославна наша. Полечу, говорит, кукушкой... И детей бросишь тут одних, безмозглых?

– Да нет у меня никаких детей!

– Так уж и нет? Ну, пойдём, Кэку...”.

“Кэку” означает “кукушка”. А дети народа – это и твои дети тоже. И их целых восемь.

Только спустя месяц прилетает вертолёт. Но Яра его уже не слышит: “Яра как раз проверяет тетрадки подле окна с гороховыми занавесками и потихоньку ест ежевичное варенье, почти чёрное от зимнего закатного солнца. Баба Маня сидит тут же, на сундуке. Она тихо напевает что-то причудливое, расширяет Яре унты: “Вот – говорит, – лучшая обувь для тайги, а не эти твои покупные”.

Под её руками буйно цветут тонкие завитки, разноцветные лепестки. Узор складывается в птицу, и Яра чуть улыбается, узнав её. Это кэку”.

Так молодую учительницу руками старой жительницы посёлок “пришил” к себе. К своей маленькой судьбе места, где жизнь будто бы остановилась...

Рассказ “Вот она я”, в отличие от “Кукушки”, ведётся от первого лица. Это отчётливое, талантливое описание жизни семьи северного народа. Точно выдержанная тональность успокоенного временем и просветленного воспоминания.

В прозе Александры Яковлевой есть то, что можно назвать отличным художническим вкусом, она оставляет доброе и радостное впечатление открытия.

Рассказ Михаила Калашникова “Итальянская зима” – это пример того, как можно написать небольшой рассказ, но так, чтоб в него уместилась... война. Великая Отечественная – во многих главных своих чертах, напряжении и самопожертвовании защитников, в отношениях одних захватчиков (германских) с другими (венграми, итальянцами), в нескольких отчётливых картинках – за минуты до гибели, когда так хрустально ясна должна быть жизнь. Советский интернационал в составе пятерых смертников занял оборону на хуторке. Гитлеровский интернационал количеством более дивизии идёт по дороге, идёт на прорыв. Происходит месиво, в котором есть смысл, но которому нет оправданья. Итальянцы в колоннах наступающих, пленный итальянец-шофёр среди обороняющихся... Михаил Калашников написал мастерский и гжучий рассказ. Не буду искать отрывок – желаю вам прочесть его целиком.

Обращает на себя внимание подборка Марины Перовой:

Я человек.

И когда опускаешь на кровать —

Не любовное ложе —

На строгие смертные простыни,

*До последнего мига
Любовью и жизнью опростанный,
Я пойму, как мне дорого
Каждое слово моё...*

Тема человека-вселенной стара. Но давненько я не видел, чтобы её так писали: “Страшно быть человеком”, – заключает Перова. Марина Перова, и это в ней интересно, – самостоятельное дитя века. Не индивидуалистка, не коллективистка. Человек, что случается редко, не боящийся права на внутренне-личную самостоятельность. Конечно, это путь трагедийный (в эмоциональном плане), но прислушайтесь:

*Что ни делай — будет всё одно.
Только бы остаться человеком!
Может, завтра встретимся в кино
И закажем фрукты и вино?
Скоротаем век и станем веком.*

Или:

*Машины бьют дорогу сквозь метель.
Я скоро в этой буйной белизне
Одна чернеть останусь.*

Стихи Перовой – написаны, а не присочинены абы как. Мысли – помыслены, а не кое-как схвачены. Подобные совпадения-попадания случаются только у хороших поэтов:

*Старый колодец средь голой степи —
Чёрные брёвна и ржавь на цепи.
Вёдра пустые несут от него —
Выпило воду земное нутро.
Выпило воду — ни капли не взять.
Ветры из глубы земной сквозят.
Грязь на венцах — стылый гудрон.
Воздух чернее вдовы с похорон.
Держит засовы воздушная клеть —
Камень не может до дна долететь.
Скрипом колодезных журавлей
Ветер из глубы сквозит моей.
Чёрный безжалостный суховей
Вьётся над степью...*

Прозаик Максим Васюнов – журналист и режиссёр документального кино – написал рассказ-очерк о встрече на селе с пожилой матушкой-служительницей в храме. Она рассказала главному герою историю об иконе, о России, о пути к вере. Рассказ называется “Кукла”, потому что в далёком предвоенном детстве у героини была “кукла”, сделанная из обрезанной иконы. Героиня, начав жизнь с этой игры, с иконой своей – Божией Матери Знамение – расстаться уже не могла.

Не уверен, что такие истории могут быть придуманными. Как обрезать выброшенную в мир из церкви икону Богоматери и сделать куклу для дочери колхозника? Не-ет, такое “выдумывает” только сама жизнь. А писатель, оценив огромный смысл истории, доносит. Максим – донёс, и это пока говорит о нём больше, чем качества, изыски текста. И говорит хорошее.

Ольга Ефимова своими стихотворениями оставляет читателя на перепутье раздвоенности мнения. Ефимова обладает хорошим фонетическим слухом, смело и богато рифмуется, иллюстрирует идеи рядом утончённых образов. Но образы эти хрупковаты, порой кажутся несколько надуманными, например:

*...В ноздри ударил яростный дух листьев.
Лепетом почв ты весело пренебрёг:*

*Шаг торопливый, птиц голоса чисты.
Капля свободы — жёлтый цветок у ног.*

Или:

*...Твердь орошаемой земли
О серость гальки резко бьёт.*

Со звуком здесь всё в порядке. Но как со смыслом? Образ поэта-современника, создаваемый Ефимовой, мы видим. Но если образ этот становится самоцелью, то нужно ли его было создавать, ведь и в нём — даже в образе героини — не очень много имеющего общее звучание, освещающего такую сложную, но неотъемлемую от человеческой истории социальную роль поэта. Не много (мы скорее встречаем не “поэта”, а “хипстера”...), но — есть. Нельзя не отметить стихотворение “Сотня дворов обветшалых. Там...”, и нельзя не прочитать вот эти строки из прощания с Севастополем:

*Осень к виску приблизилась роковым
Дулом холодным, длинной ручной пиццалью,
Я вернусь в этот город, дымом пороховым
Пропитанный.*

Обещаю...

Представительница Вологодчины Наталья Мелёхина пишет ладные и мудрые рассказы, подходящие и для взрослых, и для детей. Я подумал: будто и не рассказы это, а лирические миниатюры-молитовки. Отлично написанные, они очень теплы. Что добавить? Просто выпишу наугад один абзац из рассказа “Пестерь-невидимка”:

“Нам знакомы эти места так, что даже на ощупь мы опознаем не то что каждое деревце, но и каждую былинку, потому что эти травы, этот мох, эти ели росли вместе с нами. Кажется, и они тоже узнают нас по шагам, по запаху, по прикосновениям наших рук к ласковым зелёным лапам. И сам этот жест — будто спрятавшая когти-колючки лапа прижимается к ладони — так похож на рукопожатие”.

Из авторов, представленных на этот раз в разделе “Поэтическая мозаика”, нельзя не отметить двоих — Веру Бутко и Павла Великжанина. Крепкий стих Бутко радует нетривиальным этическим пафосом:

*...Под поцелуи подлецов
Не подставляю в страсти шею.
Враньём не пачкаю лицо.
Но главное, что я умею, —
Носить потёртое пальто
С апломбом итальянской дивы
И благодарной быть за то,
Что все, кто мне так дорог,
Живы...*

Рядом с такими людьми хочется жить.

А рядом с такими поэтами, как Великжанин, хочется писать. Безусловно, в стихотворении “От счастья” мы слышим кузнецовское присутствие. Но в таком виде оно может только порадовать:

*Я сплю, я сплю под стук колёс,
Я пуст, как мой стакан,
Но всё равно, как верный пёс,
Бежит к тебе строка.
К тебе за окнами бегут
Столбы и провода.
Дырявит снов моих лоскут
Полярная звезда.*

*К тебе гнёт ветер грозовой
Дождя диагональ.
Разлука яд пускает свой
По жалу слова “жаль”...*

Глубокие, как и положено быть настоящей литературе, очерки пишет Артём Попов из Северодвинска. Сколько важного, сколько лирического может передать нам время, схваченное аудиокассетой тридцать лет назад! Голоса людей, которых ты знал в детстве, которых больше нет, — их шутки, смех, пение... Вы представляете, как это может переворачивать душу? Артём написал об этом очерк-рассказ (тут вообще-то трудно провести жанровую грань с рассказом-очерком Максима Васюнова) “Прилетит вдруг волшебник...”. Действительно, время раскрылось голосами — по волшебству. Но волшебство не только функция техники. Без способностей к тому души сама по себе техника бессильна. Артёму Попову дано оживить для нас и то, чего будто бы не было. Зажечь “родные маячки” (так называется второй очерк) памятью о тех стариках из глухомани, о которых, конечно, не вспомнит история...

Дмитрий Филиппов не раз публиковал в “НС” свои исторические очерки о ленинградских страницах Великой Отечественной. Теперь история переплелась с литературой. С огромным интересом я прочёл работу “Ольга Берггольц. Голос блокадного Ленинграда”. Имя Берггольц известно всем, но благодаря Дмитрию лично я узнал о судьбе этого поэта много для меня ранее не известного. Времена Ольге Берггольц и её современникам выпали острые, грозные, жёсткие. Кто знает, что “голос Ленинграда” записывала в дневнике своём такие “прохладные строки”: “Я думаю, что ничто и никто не поможет людишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идёт по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилён”?..”

Тема такова, что Дмитрий предстаёт в ней на новом уровне писателя, готового к самому серьёзному разговору.

В конце номера в рубрике “Наши надежды” остаются только критические отзывы. Яны Сафроновой — на молодёжный номер журнала “Знамя” (№ 3 за 2019 год) и Константина Шакаряна — в ответ на либеральные “прононсы” над могилой Глеба Горбовского. Сафронова пишет, что стихи о стихах — дело сомнительное. Думаю, не менее сомнительна и “критика” на критику, тем более, что “Знамени” я не читал. Посему замечу лишь, что статья эта — партийная статья, и автору виднее, что правильнее. Но в общем смысле, как мне кажется, партийность — это приправа. Данная в избытке, она однажды может стать отрицанием самой себя. Но использование “хэштегов” в наименованиях главок статьи (не могу быть уверен, что это находка именно Сафроновой), во всяком случае, можно только поприветствовать...

Константину Шакаряну же хочу заметить вот что. Статья сама по себе хорошая, Горбовского отстаивать надо. Но на таких зубров, как Быков и Кукулин, нужно иметь карточку! Пожалуй, именно Константину Шакаряну теперь лучше всего подкрепить сказанное в статье “И что ей те болонки?..” конкретной работой о творчестве Глеба Горбовского.

Напоследок осталась статья Андрея Ветлугина о современном российском кинематографе — его достижениях и серьёзных проблемах. Статья опубликована частично (продолжение следует), но уже налицо её любопытное содержание и горячая глубина. Вот отчёркнутая мной “для себя” цитата: “Целое поколение россиян — сиротливые и бессловесные егоры, неспособные даже на простейший контакт с себе подобными, а единственная доступная экспрессия воплощается в резкой вспышке ярости, ставшей результатом много лет подавляемой агрессии. “Ни плавать, ни ходить не умеем, — говорит Егор Белке, заставляя её плавать, разрабатывая большую лапу. — Ну, ничего, мы научимся”. Вот и сам Егор (а с ним и пол-России) — как та Белка: ни плавать, ни ходить...”

Уже по этой цитате видно, что Андрей здесь вовсе не случаен, что он хорошо понимает, о чём пишет. И что мы его на страницах “НС” ещё встретим.

По итогам “Наших надежд”-2019 выдвигаю тезис о том, что поэты Мария Знобищева, Кристина Кармалита, Марина Волкова, Алексей Низовцев, прозаики Юрий Лунин, Елена Тулушева, Михаил Калашников, Наталья Мелёхина, Дмитрий Филиппов, Андрей Антипин — это самый короткий список имён — “надежды” уже воплотившиеся. И, может быть, уровень ответственности для них пора повысить.